СОЧИНЕНІЯ

В. Д. СПАСОВИЧА.

Томъ II.

Изданіе второе.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1913.

Новыя изданія собственныя и помѣщенныя на складѣ.

брамовичъ, К. Крестьянское право по рѣш. Пр. Сената. Изд. 2-е, дополн 1912 г. Ц. 2 р. 50 к.
ндреевскій, С. А. Защитительныя рѣчи. Изд. 4-е. 1909 г. Ц. 3 р.
алабановъ, М. Фабричные законы. Сборникъ законовъ, распоряженій и разъясненій по вопросамъ русскаго фабричнаго законодательства. Изд. 2-ое. 1909 г. Ц. 1 р.
— Законъ о вознагр. за увѣчье и смерть въ промышл. завед. м-ва финансовъ, съ разъясн. 1911 г. Ц. 60 к.
енедиктъ, Э. Адвокатура нашего времени. 1910 г. Ц. 1 р.
ернгефтъ, Ф. Колеръ, I. Гражданское право Германіи. Перев. подъ ред. В. М. Нечаева. 1910 г. Ц. 2 р. 50 к.
оровиковскій, А. Отчетъ судьи. Посмертное изданіе, съ предисл. А. Ф. Кони. Т. I-III. Ц. 3 р.
утовскій, А. Н. Давность владѣнія. 1911 г. Ц. 75 р.
ѣлецкій, В. П. Сборники обвинительныхъ пунктовъ. 1910 г. Ц. 1 р. 75 к.
ѣляцкинъ, С. А. Новое авторск. право въ его основн. принц. 1913 г. Ц. 1 р.
ольскій, А. Н. Наслѣдственная пошлина. 1909 г. Ц. 75 к.
— Крѣпостная пошлина. 1912 г. Ц. 1 р. (въ перепл.).
инаверъ, М. М. Изъ области цивилистики. 1908 г. Ц. 2 р.
аррисъ, Р. Школа адвокатуры. 1911 г. Ц. 2 р.
ессенъ, В. М. Исключительное положеніе. 1908 г. Ц. 2 р.
— О неприкосновенности личности. 1908 г. Ц. 50 к.
оссенъ, I. В. Узаконеніе, усыновленіе и внѣбрачныя дѣти, съ разъясн. по рѣш. Пр. Сен. Изд. 2-ое. 1910 г. Ц. 1 р. (въ перепл.).
— Судебная реформа. 1901 г. Ц. 1 р. 50 к.
— Раздѣльно[illegible]
ессенъ, Я. М. [illegible]
предметн[illegible]
огель, С. К. К[illegible]
уардъ, Э. Го[illegible]
йхбаргъ, А. [illegible]
1913 г. [illegible]
— Законъ [illegible]
пола и [illegible]
1913 г. [illegible]
ернбургъ, Г. [illegible]
ственное [illegible]
— Т. II (в[illegible]
еребцовъ, В. [illegible]
1911 г. [illegible]
— Таблица [illegible]
ирловъ, К. [illegible]
дополн. [illegible]
— Вознагр[illegible] [illegible]н.
здоровья [illegible] доп.
1912 г. [illegible]
— Учрежде[illegible] [illegible]закономъ о
преобра[illegible] [illegible]ми Сената,
предмет[illegible] [illegible]ъ перепл.).
— Уставъ [illegible] новымъ зако-
номъ о [illegible] рѣшеніями Се-
ната, пр[illegible] [illegible]ат.).
— Времен[illegible] [illegible]ь, въ которыхъ
введенъ [illegible] [illegible]о суда, Высоч.
утвержд. [illegible] [illegible]рилож. и алфав.
предм. [illegible]

СОЧИНЕНІЯ

В. Д. СПАСОВИЧА.

СОЧИНЕНІЯ
В. Д. СПАСОВИЧА.

Томъ II.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ И ПОРТРЕТЫ.

Байронъ и нѣкоторые его предшественники. — Мицкевичъ въ раннемъ періодѣ его жизни (до 1830 г.) какъ байронистъ.—Пушкинъ и Мицкевичъ у памятника Петра Великаго. — Байронизмъ у Пушкина.—Байронизмъ у Лермонтова.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Юридическій книжный складъ „ПРАВО".
Литейный пр., 28.

1913.

Байронъ

И НѢКОТОРЫЕ ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ.

Байронъ

и нѣкоторые его предшественники.

Въ «Посмертныхъ Запискахъ« Шатобріана есть нѣсколько любопытпыхъ сужденій о лордѣ Байронѣ и еще болѣе любопытныя личныя жалобы, весьма примѣчательныя въ устахъ человѣка столь самолюбиваго и крайне-притязательнаго, какимъ былъ основатель французскаго романтизма [1]). Шатобріанъ былъ безъ сомнѣнія искренно убѣжденъ, что ему лично принадлежала, по меньшей мѣрѣ, половина заслуги въ возстановленіи алтаря и упроченіи европейскихъ престоловъ подъ сѣнью этого послѣдняго [2]). Серафическій авторъ «Мучениковъ» оцѣниваетъ весьма трезво вождя той поэтической школы, которую прозвали «демонической». На его взглядъ, ни Руссо̀, ни Байронъ не понимали искусства (VI. 194). Геній Байрона лишенъ чувствительности (V. 413). Въ немъ «соединялись постоянно поэтъ и актёръ (c'était toujours l'acteur et le poète (V. 348)». Байронъ выводитъ

---

[1]) II. 146 «Мною началась такъ называемая романтическая школа, съ тѣмъ переворотомъ, какой она произвела въ французской литературѣ».

[2]) V. 348 «правда, я бы могъ пріискать средства къ жизни; могъ бы обратиться къ монархамъ. Такъ какъ я все принесъ въ жертву ихъ коронамъ, то было бы довольно справедливо съ ихъ стороны кормить меня».

на сцену вѣчно одно и тоже лицо подъ разными названіями: Чайльдъ-Гарольда, Конрада, Лары, Манфреда и Гяура. Геній его не только не обширенъ, но даже довольно ограниченъ. Поэтическая мысль его — неболѣе, какъ глубокій стонъ скорби, жалоба, упрекъ, и въ этомъ смыслѣ она несравненна. Что касается его ума, то онъ «многосторонен и саркастиченъ, но вызываетъ волненіе и вліяетъ вредно: авторъ зачитался Вольтеромъ и подражаетъ ему (II. 192)».

Невзирая однако на вольтеровскій сарказмъ (II. 188) Байрона, нѣкая сила духовнаго сродства влечетъ къ нему автора «Посмертныхъ Записокъ». «Онъ и я—вожди школъ англійской и французской, равные другъ другу, оба мы путешествовали по Востоку, пути наши встрѣчались, но мы съ нимъ никогда не видались. У насъ былъ общій запасъ идей (un même fond d'idées), сходная почти судьба, если не нравы». Шатобріанъ считалъ за Байрономъ вину по отношенію къ себѣ, имѣлъ на него претензію чисто-личнаго свойства. «Ренè явился ранѣе Чайльдъ-Гарольда. Байронъ, который читалъ и цитируетъ всѣхъ современныхъ французскихъ поэтовъ, не могъ не знать меня; почему же онъ имѣлъ слабость—ни разу не упомянуть обо мнѣ (I)? Неужели же онъ боялся умалить себя въ глазахъ потомства, признавъ, что свѣтъ фонаря съ моей гальской ладьи (le falot de ma barque gauloise) указалъ кораблю Альбіона путь на неизвѣданныхъ дотолѣ моряхъ (поставлено въ «Запискахъ» подъ 1822 годомъ, т. е. еще при жизни Байрона)».

Эти сѣтованія Шатобріана вполнѣ основательны. Байронъ не могъ не знать произведеній славнаго бретонца: есть даже положительное доказательство, что они не были ему незнакомы. Но самое это доказательство представляетъ характерный курьёзъ: единственный разъ, когда онъ упомянулъ о Шатобріанѣ («Мѣдный вѣкъ» XVI), Байронъ отозвался о немъ (по поводу конгресса въ Веронѣ) въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Тамъ мучениковъ въ книгахъ прославляетъ—Шатобріанъ, и онъ же,

вмѣстѣ съ тѣмъ, ведетъ, съ коварствомъ греческимъ, интриги, служа политикѣ татаръ непросвѣщенныхъ». Дѣло въ томъ, что именно одною изъ слабостей Байрона было, что онъ открыто чтилъ только такихъ поэтовъ, англійскихъ и иностранныхъ, въ сопоставленіи съ которыми онъ самъ не тратилъ. Такъ онъ превозносилъ По́па, хвалилъ и Мильтона, но сколько могъ умалчивалъ о Шекспирѣ. Немыслимо, чтобы Байрону были неизвѣстны «Атала», «Ренѐ» и хоть нѣкоторые эпизоды изъ «Генія христіанства». «Ренѐ», дѣйствительно, появился раньше Чайльдъ-Гарольда, и стало быть съ Ренѐ, а не съ Чайльдъ-Гарольдомъ (1801 г.) начался въ XIX вѣкѣ рядъ тѣхъ кипящихъ, бурныхъ, тревожныхъ духовъ, типъ которыхъ всего сильнѣе воплотился въ герояхъ Байрона, а впослѣдствіи обносился и перешелъ почти-что въ каррикатуру въ произведеніяхъ безчисленныхъ мелкихъ байронистовъ. «Всякій соплякъ въ школѣ сталъ воображать себя несчастнѣйшимъ изъ людей, каждый шестнадцатилѣтній ребенокъ думалъ, что уже исчерпалъ жизнь, изнывалъ, мучимый своимъ геніемъ, утопалъ въ пучинѣ мысли, предавался своимъ страстямъ и билъ себя въ блѣдное чело съ взъерошенными волосами, удивляя людей несчастіемъ, котораго назвать не умѣли ни они, ни онъ самъ (II. 262)». Оцѣнивая гораздо скромнѣе достоинство ихъ поэтическихъ произведеній, чѣмъ важность своихъ политическихъ дѣлъ, Шатобріанъ ставитъ себѣ въ заслугу то лишь, что вмѣстѣ съ Гёте въ «Вертерѣ» и съ Байрономъ, онъ высказалъ всепоглощавшія, исключительныя страсть и несчастіе своей эпохи».

«Въ «Ренѐ»—говоритъ онъ (II. 262)—я выразилъ болѣзнь вѣка. Чувства великія, всеобщія, вмѣщающія въ себѣ суть человѣчества, каковы любовь родительская, любовь половая и дружба являются неисчерпаемыми. Чувства же разныхъ особенныхъ родовъ, какъ и индивидуализмъ ума и характера, не могутъ быть обобщаемы или хотя бы распространяемы. Тѣ малые уголки человѣческаго сердца, которые еще не были открыты—тѣ-

сны, такъ что съ этой нивы не соберешь многаго послѣ первой же жатвы. Болѣзнь души не есть состояніе прочное и естественное, ея нельзя воспроизводить наново, ея не хватитъ на созданіе цѣлой литературы, изъ нея нельзя извлечь столько, какъ изъ чувства общечеловѣческаго, котораго проявленія могутъ быть безконечно измѣняемы обработывающими ихъ художниками и воспринимать постоянно новыя формы.» Но изъ этого же слѣдуетъ, что и самая слава тѣхъ писателей, которые изображаютъ не вѣчное содержаніе человѣческой души, а только болѣзни своего вѣка, не можетъ быть ни вѣчной, ни даже продолжительной. Шатобріанъ лично пережилъ свою славу и уже ему казалось, что слава Байрона угасаетъ, а слава Вольтера и совсѣмъ исчезла, такъ какъ «духъ вѣка постепенно слабѣетъ и угасаетъ, по мѣрѣ того, какъ намъ становится слышнымъ дыханіе вѣка новаго (V. 348)».

Несмотря на огромную разницу въ силѣ таланта, между Шатобріаномъ и Байрономъ есть умственное родство. Оба они шли во главѣ теченій вѣка въ извѣстную пору, оба изображали не нормальное состояніе человѣческой природы, но болѣзненныя ея содроганія и конвульсіи, и сами являлись отчасти примѣромъ этой болѣзни, продолжительной, но всетаки проходящей, которая, однажды миновавъ, обыкновенно уже не повторяется. Господство такихъ умственныхъ владыкъ въ данный моментъ бываетъ сильно, безспорно и нераздѣльно, даже деспотично; но оно не вѣчно, оно приходитъ къ концу съ ослабѣніемъ дыханія ихъ времени. Нашему времени Шатобріанъ уже чуждъ; да и самъ Байронъ уже устарѣлъ въ большей части своихъ произведеній—пожалуй во всѣхъ — за исключеніемъ послѣднихъ двухъ пѣсенъ Чайльдъ-Гарольда и Донъ-Жуана. Предъявляя свое замолчанное Байрономъ право первородства въ извѣстномъ родѣ поэзіи, свою привилегію на открытіе типа героя XIX вѣка, Шатобріанъ указываетъ на сучекъ въ глазу Байрона, а въ своемъ глазу не видитъ цѣлаго бревна. Во всякомъ случаѣ родство между ними довольно отдален-

ное, не по прямой, а лишь по боковой линіи и основано на предположеніи, что Байронъ ранѣе, чѣмъ выступилъ съ Чайльдъ-Гарольдомъ, быть можетъ, проникся идеями автора «Ренè», высосалъ изъ нихъ хотя каплю своего меда (Réné a pu l'apparenter à ses idées), но Шатобріанъ не скрываетъ, что онъ самъ сроднился съ Оссіяномъ и Вертеромъ (II. 190).

Однакоже есть нѣкто, отъ кого и Шатобріанъ происходитъ въ прямой линіи, кого можно признать ближайшимъ предкомъ, даже умственнымъ отцомъ автора «Рене́», хотя послѣдній отрекался отъ него и если о немъ упоминалъ, то только какъ о родственникѣ дальнемъ, или свойственникѣ. Этотъ «нѣкто»—Ж. Ж. Руссо̀. «У Руссо̀—пишетъ Шатобріанъ—сквозь прелесть слога пробивается нѣчто циничное, противное вкусу, обнаруживающее дурной тонъ (VI. 194)». Въ иномъ мѣстѣ: «19 іюня 1792 г. (по возвращеніи изъ Америки) я посѣтилъ долину Монморанси и Эрмитажъ Руссо̀; не потому чтобы я увлекался воспоминаніями о г-жи д'Эпинэ» и объ искусственномъ, искаженномъ обществѣ того времени. «Но мнѣ хотѣлось распроститься съ уединеннымъ мѣстопребываніемъ человѣка, противнаго мнѣ по нравственнымъ началамъ, но одареннаго талантомъ, коего прелесть вліяла на меня въ юности (II. 8)». Тотъ плебей, за котораго Шатобріану, «пришлось бы краснѣть, если бы они встрѣтились въ обществѣ (VI. 194)», разроссѧ среди XVIII столѣтія, какъ исполинское и раскидистое дерево, бросающее свою тѣнь еще и на половину XIX вѣка, потому что изъ его же сѣмянъ родился и такъ называемый «романтизмъ». Когда читаешь такія мысли: «имѣй сердце и вглядывайся въ сердце («Романтичность» Мицкевича)» или: «если чувствительное сердце находилось въ числѣ существъ, которыя Ты укрылъ въ ковчегѣ и исхитилъ у потопа, если то сердце — не чудовище, сотворенное случаемъ, но никогда не созрѣвающее, если въ порядкѣ, установленномъ Тобой чувствительность не значитъ безпорядокъ»..... («Дзяды» III часть)—то

здѣсь въ формѣ, напоминающей Байрона и его манеру, узнаешь сердце Жана-Жака Руссо̀. Впрочемъ и Густавъ, въ «Дзядахъ», спрашиваетъ у священника: «отецъ, читалъ ли ты жизнь Элоизы?» И нынѣ, когда во Франціи третья республика, которую мы назовемъ республикой Гамбетты, колыхаемая бурею, задѣваетъ порою о подводныя скалы, нельзя не вспомнить, что самыми опасными изъ нихъ могутъ быть неисчезнувшія еще преданія принципа якобинцевъ о возрожденіи людей къ состоянію свободы—посредствомъ насилій и принужденія. А каждое изъ такихъ преданій—не что иное, какъ одна изъ идей Руссо́, передѣланная въ статью политической программы.

Этотъ величавый, широколиственный дубъ слѣдуетъ разсмотрѣть поближе всякому, кто хочетъ познать связь девятнадцатаго вѣка съ XVIII-мъ или хотя бы только изучить основные элементы, вошедшіе въ поэзію Байрона и другихъ замѣчательнѣйшихъ поэтовъ начала вѣка текущаго. Политическая сторона творческой дѣятельности Руссо́ не входитъ въ область нашего очерка; но прежде, чѣмъ приступить къ Байрону, мы должны нѣсколько остановиться передъ Ж. Ж. Руссо́, къ которому восходитъ первый починъ въ возрожденіи европейскихъ литературъ послѣ сухаго, вполнѣ раціоналистическаго XVIII столѣтія.

II.

Превосходную характеристику двора Людовика XIV, а вмѣстѣ и монархической Франціи того времени, даетъ Тэнъ (Origines de la France contemporaine. Ancien Régime, 133). «Мужчины и женщины, все — люди отборные, свѣтскіе, украшенные всѣмъ изяществомъ, какое могли дать происхожденіе, воспитаніе, богатство, праздность и наконецъ привычка. Малѣйшая подробность въ одеждѣ, каждое движеніе головы, каждый звукъ голоса и оборотъ фразы, все это—мастерскія произведенія свѣтской

культуры, дистиллированный спиртъ всякаго изящества, какое только было въ состояніи произвести искусство общежитія. Городской міръ Парижа, какъ онъ ни былъ отшлифованъ, всетаки еще отдавалъ провинціею при сравненіи его съ дворомъ. Надо, говорятъ, употребить сто тысячъ розъ, чтобы добыть одну только унцію той розовой эссенціи, которая требуется для персидскаго шаха. Таковъ былъ и этотъ салонъ придворнаго свѣта: флакончикъ изъ хрусталя и золота, но въ немъ былъ экстрактъ изъ всего человѣческаго произрастанія. Для того, чтобы его наполнить, надо было сперва всю эту аристократію пересадить въ оранжереи и выхолостить, чтобы она уже не давала плодовъ, а вся шла только въ цвѣтъ. Затѣмъ, требовалось еще очищенный сокъ этого цвѣта перегнать сквозь королевскій перегонный кубъ, такъ чтобы все содержаніе сока сосредоточилось въ нѣсколькихъ капляхъ аромата. Конечно, такой продуктъ обходился чрезвычайно дорого, но лишь съ подобными затратами возможно приготовлять самые утонченные духи».

Словомъ, это была чудовищная перестановка всѣхъ цѣлей и средствъ жизни; результатомъ такого процесса должна была явиться смерть отъ истощенія, и дѣйствительно, только великая революція 1789 года спасла общество отъ смерти этого рода. Революціи той не предвидѣли и не предчувствовали сами тѣ, кто приготовлялъ ее, а именно—писатели, посвятившіе многіе десятки лѣтъ своей муравьиной работы философствованію объ утѣсненномъ человѣчествѣ. Никогда писатель не былъ такъ мало обезпеченъ отъ преслѣдованія, какъ въ то время, а между тѣмъ, никогда вліяніе печатнаго слова не дѣйствовало столь сильно, какъ именно тогда, на умы и событія. Первая фаланга разрушителей, съ «королемъ» Вольтеромъ во главѣ, предприняла разломать и сравнять съ землей понятія, составлявшія самыя основанія прежняго строя, а потому она и устремлялась только на идеи; она вѣровала, что зло возможно превратить въ благо,

при помощи одного разсужденія и уничтоженія предразсудковъ. Силы штурмовавшихъ раздѣлились какъ бы по мановенію искуснаго стратега. Вольтеръ обратилъ всѣ свои удары на одинъ, центральный пунктъ — на авторитетъ церкви, провозглашая извѣстный свой окликъ—«écrasez l'infâme». Онъ былъ убѣжденъ, что лишь бы только удалось сбросить путы съ мысли и дать ей раціональную точку опоры, лишь бы утвердить свободу вѣрованія и безвѣрія, то все остальное уже придетъ само собой, при благорасположеніи философовъ-королей и государственныхъ людей. Вліяніе такъ называемаго «просвѣщенія» захватывало общество хотя и широко, но мелко, скорѣе скользило только по поверхности. Заключались союзы съ однѣми силами для того, чтобы преодолѣть другія и ко многому приходилось относиться снисходительно. А между тѣмъ, подъ внѣшними признаками культуры и свѣтскихъ условій, оставался тотъ же прежній, нисколько не возродившійся человѣкъ, съ разлагавшимся, червоточивымъ нутромъ; и тѣмъ онъ былъ опаснѣе, что уже не носилъ узды, не признавалъ болѣе идеи долга, выведенной изъ катехизиса и основанной на его началахъ. «Я уразумѣлъ — говоритъ Руссо̀ («Признанія», кн. IX стр. 415) въ чемъ заключается нравственность г-жи д'Эпинэ, Дидеро̀ и энциклопедистовъ. Нравственность эта содержится вся въ одной статьѣ—что человѣкъ обязанъ слѣдовать лишь влеченіямъ своего сердца, то есть дѣлать все, что̀ ему нравится».

Этотъ мизантропъ, другъ уединенія, человѣкъ, котораго г-жа д'Эпинэ называла «mon ours», но котораго слѣдовало бы назвать Діогеномъ XVIII столѣтія, представилъ страшную характеристику историческаго и легкомысленнаго общества среди славной, но «рабской» націи. Вотъ какъ онъ опредѣляетъ человѣка въ тогдашнемъ обществѣ: «онъ начитанъ, подлъ, фальшивъ, исполненъ шарлатанства, много говоритъ, но ничего не скажетъ, весьма остроуменъ безъ всякаго таланта, богатъ словами, но въ идеяхъ безплоденъ; онъ полированъ, съ вѣчнымъ

комплиментомъ на языкѣ, ловокъ и обманчивъ, онъ полагаетъ весь свой долгъ въ томъ, чтобы росписаться у кого слѣдуетъ, всю нравственность — въ фокусничествѣ, а человѣческое достоинство понимаетъ лишь въ кривляньѣ и поклонахъ («Новая Элоиза». IV)».

Любитель нагой правды, Руссо̀ негодуетъ на всеобщее лганьё и торжествующую фальшь. «У каждаго есть тысяча выраженій, которыхъ не слѣдуетъ брать буквально, тысяча мнимыхъ предложеній, услугъ, дѣлаемыхъ только въ разсчетѣ, что ими никто не воспользуется: пожалуйста, разсчитывайте на меня, располагайте моимъ вліяніемъ, моимъ кошелькомъ. Если бы все это было правдой, то наступилъ бы настоящій имущественный коммунизмъ, раздѣлъ имуществъ, быть можетъ болѣе равномѣрный, чѣмъ былъ въ Спартѣ. Но если не обращаясь къ этой подозрительной готовности услужить, будешь искать лишь просвѣщенія и знанія, то вѣдь здѣсь ихъ любимый источникъ. Разговоръ плыветъ естественно, онъ не тяжелъ и не пустъ, онъ наученъ безъ педантства, веселъ безъ шума, округленъ, но безъ аффектаціи. Говорятъ всѣ, кто только имѣетъ что̀-нибудь сказать, но никто не углубляется въ вопросы, чтобы не наскучить, касаются вещей будто мимоходомъ и быстро отъ нихъ отдѣлываются. Въ выраженіяхъ—изящная точность, всякъ, высказавъ мнѣніе, мотивируетъ его въ нѣсколькихъ словахъ, никто не станетъ горячо оспаривать чужаго мнѣнія, ни упорно защищать свое. Пренія имѣютъ цѣлью лишь узнать что̀-нибудь новое, отъ спора люди воздерживаются; затѣмъ расходятся, пріятно проведя время и находясь въ хорошемъ расположеніи. Что-же, однако, можно вынести изъ такихъ бесѣдъ? Умѣнье защищать искусными аргументами ложь, выворачивать, при помощи философіи, всѣ основы нравственности, поблажать посредствомъ тонкихъ софизмовъ собственнымъ страстямъ и предразсудкамъ, придавать заблужденію нѣкій модный фасонъ.. Когда человѣкъ говоритъ, у него проявляется и нѣкоторое чувство, но это чувство при-

надлежитъ не ему лично, а его одеждѣ, то есть зависитъ отъ того—носить-ли онъ парикъ, эполеты или наперсный крестъ, и вотъ сообразно тому, онъ будетъ поочередно говорить въ пользу правительственной власти или въ пользу инквизиціи («Новая Элоиза», II. 378. 14)».—«Когда я вижу, какъ эти люди мѣняютъ убѣжденія, смотря по надобности, ползаютъ у министра, наслаждаются у недовольнаго, какъ они платятъ за обѣды остроуміемъ или лестью (I. 17), какъ человѣкъ залитый золотомъ жалуется на роскошь, финансистъ на подати, а прелатъ на безнравственность, какъ придворная дама толкуетъ о скромности, вельможа о добродѣтели, мошенникъ о религіи, и подобныя несообразности никого не поражаютъ,—то не принужденъ ли я предположить, что никто и не желаетъ ни слышать, ни говорить правду, ни въ самомъ дѣлѣ убѣдить тѣхъ людей, къ которымъ обращается, ни даже казаться передъ ними такимъ, какъ будто онъ самъ вѣритъ тому, что̀ говоритъ (I. 16)?» «На меня—сознается Руссо̀—находитъ какой-то туманъ, я самъ, выходя изъ дому, запираю подъ ключъ свои чувства, мало по малу начинаю разсуждать такъ же, какъ всѣ прочіе. А когда пытаюсь стряхнуть предразсудки и видѣть вещи такими, какъ онѣ есть въ дѣйствительности, то меня тотчасъ побѣждаютъ доводомъ, имѣющимъ за себя какъ будто нѣчто дѣльное, а именно, что только полу-философъ заботится о существѣ вещей, истинный мудрецъ обращаетъ вниманіе лишь на наружный ихъ видъ, долженъ брать предразсудки за принципы, приличіе за законъ, и что величайшая мудрость—въ томъ, чтобы жить какъ сумасшедшіе (I. 17)».

Самъ по себѣ, раціонализмъ не только не былъ въ состояніи уничтожить прежній порядокъ вещей, но не смогъ даже и подсѣчь древа религіозныхъ вѣрованій, а только лишь обдиралъ съ него верхнюю кору, обманывая самъ себя, будто справился съ религіею тѣмъ, что выставлялъ ее съ одной стороны предразсудкомъ, а съ другой фокусничествомъ. Съ теченіемъ времени, съ но-

вымъ поворотомъ въ умахъ, въ силу унаслѣдованныхъ вѣками впечатлѣній и усвоеннаго издавна привычнаго чувства, прежняя вѣра воцарилась бы снова, а съ нею вмѣстѣ возстановился бы и весь старый порядокъ, на ней основанный.

III.

Геніальный чудакъ, чьи слова мы только что приводили, шелъ во главѣ второй колонны разрушителей, предпринявъ дѣло еще болѣе трудное, а именно—преобразовать не пошатнувшіяся уже и слабѣвшія понятія, но нѣчто крѣпкое какъ гранитъ, а именно—старыя привычки, исконные обычаи.

Чтóже представлялъ собою въ сущности тотъ новый элементъ, который Ж. Ж. Руссó внесъ въ литературу XVIII столѣтія? Вещь совсѣмъ особенную, которая являлась какъ будто нѣчто неизвѣстное — чувствительное сердце, подлинную и горячую страстность. Посредствомъ именно ея, онъ сразу измѣнилъ всю современную психологію и какъ бы начинилъ порохомъ всѣ тѣ подкопы и мины, какіе уже были подведены подъ существующій порядокъ. Психологія та еще была далека отъ той опытной, которую мы знаемъ, которая выходитъ изъ данныхъ физіологическихъ. Для Руссó чувство было основаніемъ всей душевной жизни, ея альфой и омегой. Здѣсь мы позволимъ себѣ сдѣлать еще нѣсколько выписокъ изъ сочиненій этого мыслителя. «Быть—говоритъ онъ—это значитъ чувствовать, чувствительность идетъ впереди познанія, мы ощущаемъ прежде, чѣмъ составляемъ себѣ понятія. Чувства и идеи, это—двѣ тождественныя вещи, и различіе между ними лежитъ лишь въ томъ, какимъ образомъ мы ихъ сознаемъ. Когда мы заняты какимъ-нибудь внѣшнимъ предметомъ и о себѣ думаемъ при этомъ лишь по рефлексіи, то это будетъ идея; когда же насъ занимаетъ самое впечатлѣніе, произведенное на насъ

предметомъ, а о немъ думаемъ только по рефлексіи, то это и есть чувство («Эмиль», IV. 326)».

«Жизнь не что иное, какъ рядъ ощущеній, обозначающихъ собою ходъ (succession) существованія («Признанія», VII. 243)». — «Чувству не предшествуетъ ничто, кромѣ натуры, то есть темперамента и того характера, какой изъ него истекаетъ («Нов. Элоиза» V. 521)». Если чувство, на взглядъ Руссó, не можетъ быть разложено на составные элементы, то это означало бы, что чувство есть нѣчто первобытное и цѣльное, и Руссó, дѣйствительно, допускаетъ что чувство у человѣка—врожденное. «При мнѣ мамка ударила плаксиваго ребенка, который и замолчалъ; вотъ будетъ низкая душа, подумалъ я, но ошибся. Несчастный ребенокъ только задохнулся отъ злости, посинѣлъ, но потомъ началъ пронзительно кричать, выказывая всѣ признаки гнѣва и отчаянія. И вотъ, если бы я еще сомнѣвался въ томъ, что чувства справедливости и несправедливости прирождены человѣческому сердцу, то уже одинъ этотъ примѣръ убѣдилъ бы меня въ томъ («Эмиль» I. 43)».

Когда столь сложный, почти конечный продуктъ жизни, какъ справедливость, признанъ свойствомъ врожденнымъ, чѣмъ-то непосредственно очевиднымъ, а не требующимъ доводовъ, то тѣмъ уже открытъ путь для доказательства и самого бытія Божія — исключительно чувствомъ, посредствомъ ряда такихъ соображеній, которыя идутъ не изъ Декартова *cogito ergo sum*, но изъ принципа *éxister c'est sentir*, а заходятъ впослѣдствіи —до религіозныхъ восторговъ Юліи, до исповѣданія вѣры савойскаго викарія, до естественной религіи, почерпаемой въ чистомъ источникѣ совѣсти, въ сердцѣ, очищенномъ отъ предразсудковъ и не признающемъ ни внѣшняго авторитета, ни откровенія. Словомъ, это было полное ослѣпленіе теоріи. Руссó, стало быть, только вынималъ изъ теологической формы изгоняемую имъ въ дверь, но возвращающуюся въ окно—ту же традиціонную вѣру, хотя отрѣзанную отъ исторіи, очищенную отъ примѣсей

второстепенныхъ и оспариваемыхъ, но всетаки собранную въ нѣсколько догматическихъ пунктовъ, съ признаніемъ верховнаго Существа и безсмертія души, а впрочемъ основанную уже только на соображеніяхъ свойствъ этическаго и эстетическаго [1]). Вотъ этотъ-то инстинктъ сердца, повелѣвающій вѣровать въ Бога, и былъ тѣмъ непрочнымъ кораблемъ, въ которомъ хранилась традиціонная религія, подъ именемъ религіи естественной, и носилась по разлившимся водамъ философскаго раціонализма и атеизма въ концѣ прошлаго столѣтія. Когда воды потопа опали, то всѣ предводители новаго поворота—въ смыслѣ традиціонной вѣры—и вышли изъ этого ковчега, опираясь на Руссó и черпая въ его взлядахъ (начиная съ Шатобріана и нѣмецкихъ романтиковъ и оканчивая на Мицкевичѣ). Инстинктъ не былъ въ этомъ случаѣ обманчивъ, такъ какъ никакое вѣрованіе, хотя бы наименѣе естественное, не можетъ быть искоренено однимъ умствованіемъ, а продолжаетъ держаться тысячью корней, проникшихъ въ ту глубину души, которая недоступна никакой аргументаціи. Но самъ путь разсужденія былъ вполнѣ ошибоченъ и обманчивъ, такъ какъ указанъ онъ былъ безусловно—слѣпымъ проводникомъ. Чувствительность была демономъ Руссó, продѣлывала съ нимъ разныя штуки впродолженіи всей его жизни и была похожа на миѳологическаго Эроса, изображавшагося крылатымъ, но съ повязкой на глазахъ. Остановимся нѣсколько на свойствахъ этой, крайне оригинальной, но по природѣ своей болѣзненной организаціи.

---

[1]) «Если душа переживаетъ тѣло, то это уже свидѣтельствуетъ о Провидѣніи. Еслибы безсмертіе души удостовѣрялось только торжествомъ въ этомъ мірѣ злого и утѣсненіемъ добраго, то уже и одинъ этотъ фактъ не позволилъ бы мнѣ сомнѣваться. Столь разительный диссонансъ въ міровой гармоніи побуждалъ бы меня пріискать для него разрѣшеніе».

IV.

Сильнѣйшая и слишкомъ рано пробужденная впечатлительность, неудержимая чувственность, горячій и сладострастный, но не увлекающійся темпераментъ, очень медленное и никогда не приходящее въ пору мышленіе, наконецъ, слабость воли—вотъ черты, какимъ обрисовалъ себя самъ Жанъ-Жакъ въ своихъ «Признаніяхъ» (III. 98). Родившись въ мѣстности сельской, гористой, въ области, гдѣ снѣжныя вершины Альпъ отражаются въ свѣтло-голубыхъ водахъ Леманскаго озера, Руссо́, болѣе чѣмъ кто-либо въ XVIII в. былъ посвященъ въ тайну чувствованія красотъ природы. Онъ былъ счастливъ лишь въ уединеніи и въ непосредственномъ общеніи съ природою, которою упивался до экстаза. Безграничный этотъ натурализмъ и это индійское поклоненіе жизни природы, во всѣхъ, безъ всякаго исключенія, проявленіяхъ ея, окрашивались весьма сильнымъ у Руссо́ половымъ стремленіемъ. Его упоеніе природою имѣло характеръ эротическій. Руссо́ всегда былъ однако болѣе любострастенъ въ воображеніи, нежели въ поступкахъ [1]).

Когда онъ въ своемъ Эрмитажѣ, имѣя уже 44 года отъ роду, писалъ «Новую Элоизу», то сознается что его по цѣлымъ днямъ въ мысли постоянно окружалъ цѣлый сераль знакомыхъ гурій [2]). Среди подобнаго «упоенія безпредметной любовью», сблизился онъ съ m-me д'Удето́. Она повѣряла ему свою страсть къ Сенъ-Ламберу, а ему показалось, что передъ нимъ явилась живою та Юлія, о которой онъ мечталъ, и онъ воспламенился страстью.

---

[1]) «Я весьма мало обладалъ, но наслаждался много по своему, т. е. въ воображеніи («Призн.» I. 13)».

[2]) «Во мнѣ кровь загорается и дрожитъ какъ пламя; голова кружится, несмотря на сѣдѣющіе уже волосы (IX. 377)».

Острое впечатлѣніе послѣдней любви и послѣдняго поцѣлуя осталось въ немъ на всю жизнь [1]).

Слабые отголоски этой страсти отразились въ письмахъ четвертой части «Новой Элоизы». «Кто при чтеніи тѣхъ писемъ — говоритъ Руссó — не смягчится, чье сердце не будетъ тронуто и не растаетъ въ томъ волненіи, которое ихъ продиктовало, тотъ пусть закроетъ книгу, такъ какъ онъ неспособенъ быть судьею въ дѣлѣ чувства (388)». Авторъ могъ сказать и о самомъ себѣ, въ извѣстномъ смыслѣ, то, что написалъ въ одномъ изъ посланій Юліи (I. 92): «любовь—вотъ главное дѣло моей жизни, поглощающее всѣ остальныя» [2]). Есть разные роды любви. Пламенная и разнузданная чувственность нашла наиболѣе сильное для себя выраженіе въ изящномъ и аристократическомъ типѣ Донъ-Жуана. Влюбчивость Руссó сопровождалась особыми условіями: крайней застѣнчивостью, недостаткомъ предпріимчивости и затѣмъ, сильно развитымъ эстетическимъ чувствомъ, которое очищало и самыя похоти, пережигало все грязное и изъ амальгамы высшихъ и низшихъ инстинктовъ выдѣляло частицы чистаго золота. Въ интимныя отношенія съ женщиной онъ былъ посвященъ поздно, а именно на 20-мъ году [3]), искуству любви онъ учился у женщинъ, но имѣя уже 31 годъ и будучи секретаремъ французскаго посла въ Венеціи, Руссó услышалъ отъ куртизанки Джуліетты такой обидный отзывъ: *lascia le donne e studia la matematica* [4]). Въ любви Руссó былъ поэтомъ, съ чувствомъ этимъ у него всегда соединялись элементы нравственности. «Я всегда вѣрилъ—говоритъ онъ—что добро, это

---

[1]) «Одинъ этотъ пагубный поцѣлуй разжигалъ мнѣ кровь, голова моя путалась, дрожавшія колѣни едва меня поддерживали; весь мой механизмъ былъ въ непостижимымъ разстройствѣ; я былъ близокъ къ обмороку («Призн». IX 394)».

[2]) «Мы не можемъ жить долго, переставъ любить».

[3]) Г-жа Варенсъ; «въ первый разъ я былъ въ объятіяхъ женщины («Призн.» V. 174)».

[4]) Брось женщинъ и займись математикой.

красота въ дѣйствіи, что добро и красота свойственны хорошо устроенной натурѣ, что душа, чувствительная къ прелестямъ добродѣтели, въ равной степени способна чувствовать и всѣ иные роды красоты («Нов. Эл». I. 47)». Страсть облагороживается чрезъ возвышенное чувство [1]): любящіе перестаютъ быть одинъ для другаго обыкновенными людьми, чувствуютъ къ себѣ не похоть, но именно любовь. Не сердце идетъ за чувственностью, оно наобротъ управляетъ послѣднею, самый моментъ самозабвенія прикрываетъ чудесными покровами. Безнравственъ только развратъ съ его грубостью («Н. Эл». I. 120).

Какъ предъ истиннымъ, живымъ чувствомъ исчезаетъ чувство поддѣльное, то, что обыкновенно называется чувствомъ на разговорѣ свѣтскихъ людей, чувство облеченное въ общія мѣста морали и перегнанное сквозь аппаратъ тончайшей метафизики («Н. Эл». II. 223),—такъ точно съ появленіемъ «Новой Элоизы» (1761 г.), важнѣйшаго изъ произведеній Руссо̀, нанесенъ былъ ударъ приторной «галантности», которая показалась смѣшной и ничтожной, а вмѣсто нея вдругъ получилъ господство страстный, экзальтированный сентиментализмъ, правда нѣсколько декламаторскій, но тѣмъ не менѣе могучій, потрясавшій нервы, какъ нѣкій электрическій ударъ. Въ періодѣ крайней испорченности и среди общества, состоявшаго по наружности изъ людей совершенно эгоистичныхъ, которымъ каждый маленкій отзывъ или признакъ сильнаго впечатлѣнія казались примѣтами низкаго происхожденія и дурнаго воспитанія, среди холодныхъ развратниковъ и гастрономовъ, появился вдругъ пришлецъ, который сталъ нарушать условныя формы, попирать свѣтскія приличія, открыто прославлять такія понятія и свойства, которыя заботливо укрывались и тѣми, кто ихъ имѣлъ, какъ-то: святость брака, привязанность къ семьѣ и семейныя добродѣтели, и самое даже

[1]) «Для чувствительнаго сердца все превращается въ чувство («Н. Э». V. 544)».

цѣломудріе, столь трудное для людей здоровыхъ и страстныхъ, притомъ же—цѣломудріе не по заповѣди или закону, но просто по голосу высшей природы, по чувству достоинства, по страсти къ «добродѣтели», то есть по стремленію къ нравственной красотѣ. Намъ нѣкоторыя изъ сценъ въ «Новой Элоизѣ» могутъ казаться слишкомъ чувственными, но это была одна изъ наиболѣе нравственныхъ книгъ безнравственнаго XVIII вѣка; она начинала собой реакцію противъ испорченности, посредствомъ возвышенія наиболѣе охранительныхъ элементовъ жизни.

Можно еще сказать, что многое въ этомъ произведеніи неестественно, что на свѣтѣ не бываетъ людей столь совершенныхъ какъ Юлія, лордъ Бомстонъ и мужъ Юліи Вольмаръ, который, зная, что она до брака любила Сен-Прё и что любовь ихъ не угасла, беретъ однако Сен-Прё къ себѣ и поручаетъ ему воспитаніе своихъ дѣтей, въ увѣренности, что Юлія не нарушитъ супружескаго долга. Но тѣмъ болѣе великъ талантъ автора, если, выводя на сцену людей, несогласныхъ съ дѣйствительностью, онъ тѣмъ не менѣе заставляетъ насъ полюбить ихъ, какъ будто бы они были живыми и увлекаетъ насъ къ нравственному имъ подражанію. Искусство у Руссó въ самомъ дѣлѣ не реально, но затѣмъ только силой таланта автора и можно объяснить то очарованіе и то огромное вліяніе, какія онъ производилъ на современниковъ. Руссó въ своихъ «Признаніяхъ» самъ объясняетъ тайны своего творчества, обусловленныя его умственной организаціею, къ особенностямъ которой мы и должны присмотрѣться поближе.

V.

«Страсти у меня были живыя — говоритъ Руссó — а мышленіе дѣйствовало медленно, какъ будто бы умъ мой и сердце принадлежали двумъ разнымъ людямъ. Чувство, какъ молнія, пронизываетъ меня и ослѣпляетъ.

чувствую сперва и не вижу, мнѣ нужно время, чтобы нѣсколько остыть, прежде чѣмъ буду въ состояніи думать. Отсюда — необычайная трудность въ сочиненіи. Держа перо въ рукѣ, я не въ состояніи ничего придумать и мысли я раскапываю въ мозгу только во время уединенныхъ прогулокъ или въ постелѣ, въ безсонныя ночи. Случалось мнѣ иной періодъ переворачивать въ головѣ пять или шесть ночей, прежде чѣмъ онъ могъ быть написанъ» («Признанія». III. 98), Руссó не дѣлалъ себѣ никакихъ письменныхъ помѣтокъ, убѣдившись, что память его дѣйствуетъ лишь настолько, насколько онъ полагается на нее; какъ только онъ что-нибудь записалъ, то тотчасъ и забывалъ (VIII. 309). Память онъ имѣлъ превосходную, но мыслительный снарядъ дѣйствовалъ крайне вяло. «Я—хорошій наблюдатель— говоритъ онъ — но въ первую минуту не сознаю явственно, не проникаю въ смыслъ того, что при мнѣ говорится или дѣлается и дѣлаюсь уменъ только по воспоминанію. Сперва на меня дѣйствуетъ лишь внѣшняя форма. Только впослѣдствіи все упорядочивается, я припоминаю себѣ мѣсто, время, тонъ, взглядъ, жесты и обстановку. Вотъ тогда только изъ того, что людьми говорилось или дѣлалось, я дохожу до того, что они въ дѣйствительности думали и рѣдко ошибаюсь» («Призн.» 99) — «Когда я началъ читать (философовъ), то взялъ себѣ за правило усваивать ихъ идеи, не примѣшивая своихъ и не обсуждая. Такимъ образомъ, у меня составился цѣлый запасъ идей, вѣрныхъ или ошибочныхъ, но ясныхъ. По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ накопился капиталъ изъ такихъ пріобрѣтеній, достаточный для того, чтобы я уже могъ обходиться своимъ умомъ и мыслить безъ чужой помощи» («Пр.» VI. 210).

На Руссó нисколько не оправдалось правило, что каковъ человѣкъ съ колыбели, такимъ и останется на всю жизнь, что юность навсегда отчеканиваетъ типъ человѣка. Умственное созрѣваніе его шло крайне медленно. Та искра, которая однажды только въ юности

скверкнетъ—блеснула передъ нимъ въ 1749 году, когда ему было 37 лѣтъ и когда онъ предпринялъ писать на тему, заданную дижонскою академіей для конкурса: содѣйствовали-ли успѣхи въ наукахъ и искусствахъ улучшенію или порчѣ нравовъ [1]). За лучшее свое произведеніе — «Новую Элоизу», онъ принялся въ 1761 г., когда ему было уже 49 лѣтъ, и передъ тѣмъ имъ не было еще написано ничего, чтò заслуживало бы прочной славы. Трудно даже понять ту безпримѣрную медленность процесса мышленія, тѣмъ болѣе, что во всѣхъ произведеніяхъ Руссò ходъ мыслей прозраченъ, логиченъ, ясенъ, свободенъ отъ всякой запутанности, какъ впрочемъ у всѣхъ великихъ французскихъ писателей XVIII столѣтія.

Руссò вовсе не былъ философомъ, а только—несравненнымъ популяризаторомъ; его мышленіе не было ни философствованіемъ, т. е. выработкою сухихъ отвлеченностей, ни научнымъ изслѣдованіемъ, т. е. систематизированіемъ большаго запаса свѣдѣній. «Читать мало, но хорошо усвоивать, дѣлать малыя извлеченія изъ большихъ библіотекъ» — вотъ правила Руссò для ученья («Н. Э.» I. 45). Историческаго смысла онъ былъ совершенно лишенъ, какъ вообще всѣ люди XVIII в., которые выводили ходъ и законы человѣческаго развитія геометрическимъ пріемомъ, изъ произвольныхъ и ошибочныхъ предположеній, не заботясь о согласіи съ фактами и нерѣдко принимая слова за факты. Вотъ, напр. одинъ изъ взглядовъ Руссò на исторію («Н. Э.» I. 48): «есть страны, которыхъ исторію могутъ читать только дипломаты или глупцы. Есть народы, лишенные физіономіи, которые, стало быть, не нуждаются въ живописцахъ, и правленія, лишенныя характера, которымъ не нужны историки». Конечно, можно сказать, что у Руссò была философія — его деизмъ, и что политическимъ филосо-

[1]) «Эта минута рѣшила мою гибель. Вся остальная моя жизнь и мои несчастія были неизбѣжнымъ послѣдствіемъ этой минуты заблужденія».

фомъ онъ является въ «Общественномъ договорѣ». Но ни деизмъ Руссо́ не представлялъ собой ничего новаго, ни основанія «Общественнаго договора», заимствованныя частью у Гоббса, частью у Локка.

Мышленіе Руссо́ не было ни философскимъ, ни научнымъ, но—артистическимъ. Идеи въ его сочиненіи, это—образы, притомъ образы, не только выдающіеся рельефно, но и согрѣтые чувствомъ. Поэтому, ему и нужно было продолжительное время, чтобы взятую имъ блѣдную идею онъ могъ разогрѣть, преобразить въ плодъ своего воображенія, положить на нее его собственныя краски, словомъ, сдѣлать ее художественною и вылить въ соотвѣтствующей формѣ. «Идеи движутся у меня въ головѣ—говоритъ онъ—приходятъ въ броженіе, волнуютъ и воспламеняютъ меня, вызываютъ сердцебіеніе» («Призн. III. 98) — «мое сердце погружается съ необыкновенной силою въ представленіе себѣ предмета, который его привлекаетъ» (87)—«Въ дурноустроенной головѣ моей, вещи отражаются такими, каковы онѣ есть, но украшать я могу лишь тѣ, которыя самъ творю, то есть только то, что мною выдумано. Я повторялъ сто разъ, что былъ бы въ состояніи изобразить типъ свободы, если-бы меня засадили въ Бастилью» («Призн.» IV. 151). Съ предшествующимъ согласно и то, что Жанъ-Жакъ сдѣлался филантропомъ только тогда, когда перессорился почти со всѣми и бѣжалъ изъ Парижа въ Монморанси. «Когда я уже не видалъ людей, то пересталъ презирать ихъ, когда злые уже не были предо мной, я пересталъ ненавидѣть, а только оплакивалъ ихъ несчастіе, забывая о ихъ злости, («Пр.» IX. 308)». «Не будучи способенъ обнимать существа реальныя, я бросился въ среду химеръ. Не видя въ дѣйствительности ничего такого, что бы было достойно безграничнаго моего увлеченія (délire), я питалъ его въ мірѣ идеальномъ, к торый населилъ существами, бывшими мнѣ по-душѣ. Я позабылъ о человѣчествѣ и составилъ общество изъ созданій совершенныхъ, какихъ никогда не было. Мнѣ было

такъ привольно въ этомъ эмпиреѣ, что я проводилъ тамъ часы и дни безъ счета; не помня объ остальномъ, я отрывался отъ этого міра развѣ чтобы наскоро съѣсть чего нибудь и тотчасъ убѣгалъ снова въ мои рощи» («Призн». IX. 378).

Въ польской литературѣ есть произведеніе, которое чрезвычайно сильно запечатлѣно поэтическимъ духомъ Руссо̀, воспроизводитъ тотъ же типъ человѣка, живущаго чувствомъ и мечтою. Это—IV-я часть «Дзядовъ» Мицкевича, гдѣ являются самоубійца Густавъ и отшельникъ. Густавъ влюбленъ въ образы, явившіеся ему въ сновидѣніи, онъ не выноситъ скучнаго исхода дѣлъ земныхъ, пренебрегаетъ существами обыденными, ищетъ чего-то такого, что̀ вовсе не существовало подъ солнцемъ, а создавалось лишь изъ пѣны воображенія, воспринимая мимолетный образъ подъ дуновеніемъ горячей мечты. Различіе между Руссо̀ и Мицкевичемъ здѣсь—въ томъ, что состояніе души Густава самъ поэтъ представляетъ болѣзненнымъ, психопатическимъ, какъ будто у души его вывихнулись крылья и уже не могутъ нести ее внизъ, между тѣмъ, какъ Руссо̀, когда лишь мечталъ о нравственной красотѣ, то полагалъ, что тѣмъ самымъ достигалъ самого высокаго нравственнаго совершенства, что становился добродѣтельнымъ уже въ силу одного своего идеальнаго наслажденія идеею добродѣтели. «Чувства мои—говоритъ онъ—быстро настроились на тонъ моихъ мыслей; мелкія страсти были подавлены увлеченіемъ истиной, добродѣтелью, свободой. Все это воспламененіе длилось лѣтъ четыре или пять («Призн.» XIII. 309)». «Дотолѣ я былъ только добрымъ, съ тѣхъ же поръ сталъ добродѣтельнымъ или, по меньшей мѣрѣ, упоеннымъ добродѣтелью. Это упоеніе, начавшееся въ головѣ, перешло потомъ въ сердце; не было того великаго и прекраснаго въ чувствахъ человѣческихъ, къ чему я не былъ бы способенъ. Отсюда тотъ небесный огонь въ первыхъ моихъ сочиненіяхъ, котораго до 40 лѣтъ не было малѣйшей искры, такъ какъ до того вре-

мени онъ еще не былъ зазженъ. Я истинно такъ измѣнился, что меня нельзя было узнать. Пренебреженіе, внушенное мнѣ продолжительнымъ размышленіемъ о нравахъ, принципахъ и предразсудкахъ моего времени, дѣлало меня нечувствительнымъ къ насмѣшкамъ людей, и остроты ихъ я раздавливалъ своими приговорами, какъ бы давилъ пальцами насѣкомыхъ (IX. 369)». Нельзя однако не замѣтить, что подобныя перемѣны происходятъ лишь по наружности, и что дѣйствительные подвиги такимъ путемъ не совершаются, такъ какъ, при отсутствіи сильной воли, нѣтъ того сосуда, въ которомъ они бы могли возникнуть. И добродѣтель не можетъ существовать въ одномъ воображеніи, не проявляется однѣми краснорѣчивыми сентенціями.

Въ жизни человѣкъ этотъ отличался неумѣлостью, порою уступалъ движеніямъ низкимъ, за которыя его потомъ грызла совѣсть, поддавался нерѣдко всѣмъ побужденіямъ страсти, неразъ, можно сказать, валялся въ грязи. Поразительныя его признанія въ такихъ грѣхахъ, обнаженіе язвъ души напоказъ людямъ—представляли собой, быть можетъ, скорѣе цинизмъ и кичливость, нежели истинное смиреніе [1]). Единственными несомнѣнно хорошими качествами, какими Руссó отличался отъ начала до конца, были отвращеніе къ обману и щепетильная авторская независимость, доходившая до странности, до рѣшенія не извлекать изъ писательства никакихъ средствъ для жизни [2]) и до оскорбленія тѣхъ, которые искренно хотѣли оказать ему услугу. Но рядомъ съ этими качествами обнаруживались въ немъ нравственныя язвы, даже нравственныя преступленія, которыхъ нельзя было изгладить,

---

1) «Съ этой книгой въ рукѣ я предстану предъ всевышнимъ судьей. Скажу громко: вотъ что я дѣлалъ, что думалъ, чѣмъ былъ... пусть кто другой скажетъ если посмѣетъ: я былъ лучше этого человѣка («Призн.» I. 2)».

2) «Еслибы я сталъ писать, чтобы кормиться, то это погасило бы мой духъ и убило бы мой талантъ, родившійся единственно отъ возвышеннаго и гордаго образа мыслей».

которыя, по показанію самого Руссò, оставались не искупленными, такъ какъ являлись и послѣ того момента, когда онъ воспламенился любовью къ добродѣтели и будто бы сталъ добродѣтельнымъ, послѣ того, какъ произошло его мнимое преображеніе [1]), которое было столь неглубоко, такъ поверхностно, что по мнѣнію этого человѣка, стоило ему лишь покаяться открыто въ тѣхъ винахъ, чтобы очиститься отъ нихъ въ глазахъ людей и онъ удивлялся, что его же попрекаютъ тѣмъ, въ чемъ онъ самъ признался.

Психологія Руссò, выведенная имъ изъ наблюденій надъ собой, носила въ себѣ тѣже пробѣлы и недостатки, какими отличался онъ самъ. За основной принципъ она принимала главенство чувства надъ разумомъ, но вовсе не принимала въ разсчетъ воли и продукта воли—характера, въ смыслѣ какихъ-либо признанныхъ правилъ для дѣйствія. Такая психологія не предчувствовала того принципа, который выше всего поставили послѣдующія поколѣнія, явившіяся въ XIX столѣтіи, а именно, что и небо, и земля свидѣтельствуютъ о правдѣ словъ человѣческихъ, такъ — говоря словами польскаго поэта Гощинскаго — «какъ о сердцѣ — летъ высокій, какъ о мысли—подвигъ смѣлый, о пророка пѣсняхъ—время, какъ объ истинѣ—вся вѣчность». «Возьмемъ еще одно сравненіе изъ «Дзядовъ» Мицкевича. Его Конрадъ знаетъ, что чувство можетъ сжечь то, чего мысль не сломитъ, и вотъ, Конрадъ видитъ въ этомъ чувствѣ оружіе, но чувство свое онъ накопляетъ, сосредоточиваетъ, замыкаетъ его желѣзными обручами воли, чтобы, когда придетъ

---

[1]) «Обдумывая мой трактатъ о «Воспитаніи», я долженъ былъ сознать, что неисполнилъ обязанностей, отъ которыхъ ничто не могло меня разрѣшить. Мое раскаяніе было столь сильно, что почти вызвало у меня публичное признаніе моей вины въ началѣ «Эмиля». Послѣ того, какъ я самъ высказалъ это, удивительно, что люди рѣшились упрекать меня въ томъ же («Призн.» XII. 328)». «Третьяго моего ребенка я помѣстилъ въ воспитательный домъ, какъ и первыхъ двухъ, также и двухъ слѣдующихъ, такъ какъ дѣтей у меня было пятеро».

время, оно вспыхнуло какъ зарядъ и ударило въ цѣль. У Руссо̀, наоборотъ, нѣтъ ничего похожаго на желѣзную волю и динамитъ, представляемый чувствомъ, онъ держалъ въ красивой бумажной оберткѣ, какъ бы не опасаясь взрыва, но и не заботясь о цѣли, для какой онъ нуженъ.

А взрывъ, въ самомъ дѣлѣ, послѣдовалъ, и былъ тѣмъ болѣе силенъ и опустошителенъ, что послѣдствія эти не были преднамѣрены. Взрывъ этотъ разносилъ все кругомъ, сильнѣе всякой артиллеріи, производя такое же бѣдствіе, какое наносятъ разнузданныя стихіи природы. Столь разрушительное дѣйствіе вліянія Руссо̀ на умы объяснялось уже не какими либо особенностями въ процессѣ его творчества, но самымъ содержаніемъ его идеаловъ, тѣми соками, какіе его чувственная организація извлекала изъ своего времени и своего общества. Идеалы Руссо̀ потому пріобрѣли славу, успѣхъ, вліяніе, потому произвели послѣдствія, что въ нихъ отразились главныя стремленія того времени, получили выраженіе непреодолимыя его потребности. Выше мы указали на тѣ элементы въ произведеніяхъ Руссо̀, которые представлялись консервативными и реакціонными по отношенію къ философическому XVIII вѣку; теперь намъ остается указать у него же такіе элементы, которые вызывали движеніе впередъ и революцію.

VI.

Дѣла̀ во Франціи шли прямо къ страшному перевороту. Застой длился столько, что уже дѣло не могло обойдтись безъ общаго потрясенія. Преданіе стало ненавистно все цѣликомъ и съ нимъ хотѣли порвать всякую связь, люди пытались отрубить свое время отъ исторіи. Сливались въ одну колоссальную волну, которая должна была смести съ лица земли дворянско-католическую монархію Бурбоновъ, три великихъ движенія, которыя обыкновенно

происходили отдѣльно и дѣйствовали даже взаимно-враждебно. Здѣсь подавали себѣ руки: конституціонализмъ на англійскій образецъ, демократизмъ и соціялизмъ. А жизнь Руссо̀ была такова, что онъ могъ быть орудіемъ всѣхъ этихъ трехъ движеній. Служа отчасти конституціонализму («Общественный договоръ», 1751 г.), отчасти соціялизму («Разсужденіе о причинахъ неравенства между людьми», 1754 г.), Руссо́ однако, главнымъ образомъ, явился знаменосцемъ демократіи; для нея онъ послужилъ истиннымъ выраженіемъ и сосудомъ; онъ разпространялъ не только демократическія идеи, но самый инстинктъ и духъ демократизма, стремленіе къ демократическому равенству, страстный порывъ къ оборонѣ всего низшаго и слабаго, и вмѣстѣ—сплоченіе во едино съ другими, влеченіе къ массѣ, борьбу во имя ея противъ всякаго преимущества, даже противъ преобладанія ума и таланта [1]).

Плебей, почти сирота, съ дѣтства не имѣвшій чѣмъ жить, пролетарій, хватавшійся за всякія занятія, бывшій лакеемъ и бродягою, гражданинъ малой, экономной республики и протестантъ, хотя довольно равнодушный, такъ какъ въ 16 лѣтъ онъ принялъ котолицизмъ, чтобы получить работу, а въ 42 года снова сдѣлался протестантомъ изъ соображеній политическихъ [2])—вотъ чѣмъ былъ Руссо́, по своему состоянію и званію. Онъ извѣдалъ всякую нужду и униженіе, но нисколько не пріобрѣлъ охоты выбраться изъ среды людей темныхъ, неразвитыхъ, бѣдныхъ и усѣсться среди аристократовъ, философовъ и богачей. Онъ и романы свои кончилъ—Терезою

---

[1]) «Неразъ я потѣлъ, преслѣдуя бѣгомъ или камнями какого-нибудь пѣтуха, корову, собаку, словомъ животное, которое дѣлало зло другому животному, потому только что было сильнѣе послѣдняго. Когда читаю о жестокостяхъ тирана, о тонкихъ злодѣяніяхъ духовнаго лица, то охотно поѣхалъ бы, чтобы пырнуть ихъ кинжаломъ, хотя бы мнѣ грозили сто смертей» («Призн». I. 15).

[2]) «Желая бытъ женевскимъ гражданиномъ, я долженъ былъ возвратиться къ вѣроисповѣданію господствующему въ моей странѣ» («Призн.». VIII. 346).

Левассеръ, героинею, которая никакъ не могла запомнить сколько мѣсяцевъ въ году («Призн.» VII. 291). Принимая иногда даровой кусокъ хлѣба отъ бѣдныхъ, Руссó узналъ и такую ихъ черту («Призн.» IV. 144): «онъ далъ мнѣ понять, что скрывалъ свой хлѣбъ, чтобы избѣгнуть общественнаго сбора, пряталъ свое вино, чтобы не платить съ него налога, и что онъ бы совсѣмъ пропалъ, если бы перестали думать, что онъ умираетъ съ голоду. Таково было — прибавляетъ Руссó — сѣмя развившейся въ моемъ сердцѣ неугасимой ненависти къ притѣсненію бѣднаго люда и къ его притѣснителямъ». Къ этому присоединились: потребность дѣйствія, разжигательное вліяніе литературы XVIII ст., великія воспоминанія о временахъ древнихъ республикъ, переданные Плутархомъ отголоски дѣлъ возвышенной доблести и самопожертвованія—та закваска геройства и добродѣтели, которую, по отзыву Руссó, ему привили «отецъ, родина и—Плутархъ» («Призн.» VIII. 313). Древностью онъ восхищался до такой степени, что изгналъ бы деньги, какъ Ликургъ, искусства и театръ, какъ Платонъ, ибо «не для того сотворена земля, чтобы давать какой-нибудь горсти расточителей возможно-большія выгоды, но для того, чтобы прокармливать возможно большее число скромныхъ и умѣренныхъ людей («Нов. Эл.» IV. 404)». Въ концѣ концовъ, доброе сердце имѣетъ безконечно бóльшую цѣнность, чѣмъ самый проницательный умъ. Эта глубокая мысль получила огромное распространеніе; она же отражается у польскаго поэта, въ 3-й части «Дзядовъ» въ жалобѣ, съ которой Конрадъ обращается къ Богу: «Ты мыслямъ отдалъ пользованіе міромъ, а сердце держишь въ вѣчномъ покаяньи».

Изъ всей этой тлѣвшей массы мыслей, которыя бродили въ умѣ и сердце Руссó, выдѣлилась искра столь яркая, что онъ положительно ослѣпился ею и вотъ, онъ сталъ фанатическимъ глашатаемъ идеи, казавшейся ему новою: идеи возвращенія назадъ отъ цивилизаціи, возвращенія человѣка къ состоянію первобытному, на лоно

природы [1]). Изъ рукъ Творца выходитъ только благое, но это благое вырождается въ рукахъ человѣка, которыя все извращаютъ, искажаютъ, дѣлаютъ чудовищнымъ. «О, еслибы возможно было предоставить человѣка самому себѣ отъ самаго его рожденія; среди-же общества — предразсудки, авторитетъ, необходимость, примѣръ, учрежденія заглушатъ въ немъ природу и будетъ онъ какъ кустикъ на дорогѣ, растаптываемый ногами прохожихъ» («Эмиль» I. 5). Отсюда истекаетъ основное для человѣка правило: живи согласно съ природою (II. 61), а для всего человѣчества такое поученіе: воспитывайте людей въ согласіи съ природою, такими, какими ихъ сотворилъ Богъ, а не такими, какими ихъ дѣлаетъ общество. Правда, есть одно, значительное препятствіе, о которое можетъ разбиться все это разсужденіе, а именно: собственная семья, свой домъ, свой край, примѣры великихъ людей, великихъ самопожертвованій на пользу своего народа, хотя бы по тому же Плутарху, ускоренное біеніе сердца и подъемъ духа при произнесеніи однихъ именъ Рима, Аѳинъ, Ѳермопилъ, всосанная самимъ Руссо съ молокомъ матери привязанность къ учрежденіямъ города Женевы. Вотъ какъ онъ передаетъ въ «Признаніяхъ» подъ 1757 годомъ свое впечатлѣніе при осмотрѣ славнаго римскаго акведука Пон-дю-Гаръ, близь Нима: «я терялся среди этого колосса какъ мелкое насѣкомое, чувствовалъ нѣчто возвышавшее мой духъ и повторялъ про себя, вздыхая: зачѣмъ я не родился римляниномъ!»

Люди XVIII в. придавали меньшее значеніе положительнымъ фактамъ, чѣмъ мы нынѣ; разсуждали они прямолинейно, а если поперекъ линіи ихъ мысли становился фактъ, то они или просто перескакивали чрезъ этотъ фактъ, или разрѣзывали его бритвой. «Это было ужъ давно — говоритъ Руссо — это не имѣетъ ника-

---

[1]) «Все въ человѣческихъ учрежденіяхъ есть сумазбродство и самопротиворѣчіе» («Эмиль», II. 61).

кого отношенія къ людямъ, каковы они теперь («Эмиль» I. 9). Римскій гражданинъ—то не былъ Кай или Луцій, а только римлянинъ; самое отечество его было чѣмъ-то особеннымъ, а онъ—какъ бы вещью къ этому отечеству принадлежавшею. «Но мы должны имѣть въ виду человѣка отвлеченнаго, подлежащаго всѣмъ случайностямъ человѣческой жизни». Большая, но всетаки частная (отечественная) связь отчуждаетъ отъ связи общей (всечеловѣческой). Чѣмъ общественныя учрежденія совершеннѣе, тѣмъ болѣе они человѣка искажаютъ, сообщая ему существованіе относительное, вмѣсто безотносительнаго и перенося его *я*—въ данную связь общественную. Тотъ, кто врожденное чувство хочетъ довести до высшаго развитія — въ строѣ гражданскомъ, тотъ самъ не знаетъ что̀ ему желательно и не годится ни на что, не сдѣлается ни человѣкомъ, ни гражданиномъ, а будетъ только нѣчто такое, какъ вообще современные люди — французъ, англичанинъ, буржуа́, словомъ—ничтожество. Общественныя учрежденія уже не существуютъ и существовать не могутъ, потому что уже нѣтъ болѣе отечества и не можетъ быть гражданъ. Оба эти слова: отечество и гражданинъ должны быть выкинуты изъ словарей (I. 8—10). Надо сдѣлать выборъ между гражданиномъ или человѣкомъ, слѣдуетъ приготовлять личность съ дѣтства не къ какой-либо профессіи, но къ человѣческому состоянію (I. 11), въ условіяхъ полнаго равенства.

Но предположенное возвращеніе къ природѣ встрѣчалось и съ препятствіями свойства логическаго. Въ силу соображеній чисто-эстетическихъ, деистъ Руссо́ былъ убѣжденъ, что въ природномъ состояніи все было и есть совершенно, какъ оно вышло изъ рукъ Творца, что испорчено все только человѣкомъ, вслѣдствіе роковаго для него дара того же Творца, а именно — привитой его нравственному существу свободной воли, которая есть начало и источникъ нравственнаго зла («Нов. Эл.» V. 549). Отсюда — неутѣшительный выводъ, что для

человѣка свобода вредна, отсюда близко къ теологическому воззрѣнію, что человѣкъ, по крайней мѣрѣ послѣ изгнанія изъ рая—нравственно искаженъ и золъ и что добрымъ онъ можетъ дѣлаться лишь дѣйствіемъ благодати, которая или ему сообщается чрезъ церковь, по ученію католическому, или же изливается отъ Бога непосредственно и необъяснимымъ образомъ, на избранниковъ, согласно ученію кальвинистовъ.

Ни того, ни другого изъ этихъ воззрѣній не могъ раздѣлять Руссó, во-первыхъ, потому, что онъ былъ не богословъ, а только эстетикъ, во-вторыхъ и по той еще причинѣ, что подъ именемъ Бога онъ разумѣлъ и обожалъ собственно природу, какъ совершенство, что за исходную точку нравственности онъ принималъ наивысшую степень сочувствія, любви къ ближнему, словомъ то, чтó мы нынѣ называемъ чувствомъ альтруистическимъ въ первобытномъ состояніи, и наоборотъ — наивысшее развитіе эгоизма предполагалъ въ состояніи цивилизаціи. Руссó принужденъ былъ выпутаться искусственнымъ образомъ изъ этихъ логическихъ сѣтей, поставивъ такія положенія, что въ состояніи природы проявляется и наибольшая степень свободы, и безвредность такой свободы. Такой фокусъ умственной эквилибристики Руссó совершилъ съ легкимъ сердцемъ литератора XVIII вѣка, для котораго слово было равнозначуще съ фактомъ, такъ что при игрѣ словами, казалось, что предметами дѣйствія служатъ самыя вещи и понятія о вещахъ. «Величайшее благо — говоритъ нашъ философъ— есть свобода, а не господство, но воленъ только тотъ, кто для исполненія своей воли не имѣетъ нужды приставлять къ своимъ рукамъ чужія руки. Этотъ вольный человѣкъ хочетъ лишь того, чтó можетъ, а дѣлаетъ только то, чтó ему нравится» («Эмиль» II. 64). И такъ, сводъ власти разрушится, общественный механизмъ распадется среди наступающей анархіи, скристализованная, твердая масса общественнаго тѣла разсыплется на атомы, лишенные связи и взаимодѣйствія.

Подобная цѣль всего человѣческаго развитія, указанная Руссо́, совсѣмъ не соотвѣтствуетъ нашимъ нынѣшнимъ идеаламъ счастья и свободы. Наоборотъ, степень прогресса и усовершенствованія нынѣ измѣряются степенью возрастанія той зависимости, въ какой каждый находится отъ всѣхъ, условіемъ, чтобы каждая личность извлекала возможно болѣе средствъ изъ окружающей ее среды и, въ свою очередь, приносила наиболѣе услугъ другимъ частицамъ той же среды, однимъ словомъ— возможно бо́льшимъ количествомъ услугъ взаимныхъ. Въ предположеніи обратномъ, не могли бы быть достаточно обезпечиваемы и физическія потребности человѣка, неговоря уже объ удовлетвореніи потребностей умственныхъ. Для того, чтобы поддерживать то природное, непривлекательное состояніе, которое Руссо̀ выдавалъ за наилучшее, для того, чтобы послѣ разрушенія всей цивилизаціи, не допустить повторенія факта возникновенія цивилизаціи новой, какъ двѣ капли воды похожей на прежнюю, недостаточно было бы человѣчеству стряхнуть съ себя всѣ пріобрѣтенія цивилизаціи, учрежденія и такъ называемые предразсудки, но еще требовалось бы измѣнить и самую природу человѣка, нѣсколько обрубить ее и выстругать, словомъ подправить. Вотъ съ этого пункта и начинается для философа-реформатора совершенно новая работа—перевоспитаніе человѣчества, призваніе педагогическое.

VII.

Счастливое состояніе человѣка, оцѣнка имъ своей доли зависятъ, сверхъ немногихъ данныхъ (здоровье и довольство собою), главнымъ образомъ отъ того отношенія, въ какомъ находятся между собою его желанія и его сила. Уменьшить его желанія—все равно, что увеличить его силу (III. 169). Если устранимъ тотъ излишекъ желаній, который является выше размѣра силъ,

если уравновѣсимъ волю и мощь, то достигнемъ того, что у человѣка всѣ силы будутъ въ движеніи, но душа останется спокойной, и значитъ, человѣкъ окажется тогда благоустроеннымъ («Эмиль» II. 58). Желанія зависятъ отъ потребностей, а потребности, по мѣрѣ умственнаго развитія человѣка, разростаются до безконечности, которую трудно даже опредѣлить, а стало быть невозможно, казалось бы, и сдержать искусственно эти потребности. Но, по мнѣнію Руссо̀, выходитъ, наоборотъ, что такъ какъ дѣйствительный міръ имѣетъ границы, а воображеніе ихъ не имѣетъ, то мы, не будучи въ состояніи раздвинуть границы перваго, должны стѣснять второе («Э.» II. 59). Откажемся отъ чрезмѣрнаго знанія и ограничимся небольшимъ запасомъ такихъ свѣдѣній, которыя въ самомъ дѣлѣ пригодны для того, чтобы насъ сдѣлать болѣе счастливыми, станемъ учиться не всему, что̀ существуетъ, а только тому, что̀ полезно (II. 171). Подобное преобразованіе человѣка можетъ совершить государство посредствомъ воспитанія. Каждый человѣкъ является тѣмъ, чѣмъ его сдѣлало свойство существующаго въ его странѣ правленія, все въ основаніи зависитъ отъ системы политики («Призн.» IX. 357). Всякій изъ насъ состоитъ въ зависимости, прежде всего, отъ природы, то есть, отъ свойства своей личной натуры, затѣмъ — отъ вещей, то есть отъ законовъ той же природы, управляющихъ нашей средой, и, наконецъ, отъ другихъ людей, въ смыслѣ единичномъ и собирательномъ, то есть, отъ общества, нравовъ и учрежденій («Эмиль». I. 7; II. 65). Первые два вида нашей зависимости не имѣютъ ничего общаго съ нравственностью и не производятъ развращенія; только послѣдній видъ зависимости порождаетъ всѣ недостатки и служитъ источникомъ всякой испорченности. Единственнымъ средствомъ къ исправленію могло бы быть установленіе надъ всѣми умами такого безличнаго и отвлеченнаго устава, который былъ бы такъ же силенъ и непреодолимъ, какъ законы природы физической, вслѣдствіе чего, наша за-

висимость отъ людей превратилась бы въ одну зависимость отъ вещей.

Для осуществленія такого идеала, людей во всемъ государствѣ слѣдуетъ воспитывать согласно со взглядами философа и посредствомъ этого воспитанія, перечеканить ихъ наново, какъ то дѣлается съ монетой, подрѣзывая имъ крылья и развитіе ума, упрощая ихъ желанія, однимъ словомъ, механически принижая человѣческую душу до извѣстнаго, невысокаго уровня. Въ 1757 г. Руссо́, которому было уже 45 лѣтъ, началъ, въ промежуткѣ между своимъ трактатомъ для дижонской академіи и «Новою Элоизой», писать разсужденіе о «Матерьялизмѣ мудреца» или о «Нравственности по чувству». Разсужденія этого онъ не окончилъ, но крайне-любопытная основная его мысль послужила автору канвой для «Эмиля». Умственный складъ нашъ въ высшей степени зависимъ отъ первыхъ впечатлѣній извнѣ; климатъ, свѣтъ, краски, движеніе, спокойствіе, пища вліяютъ на нашъ организмъ, а чрезъ него на душу, на выработку чувствъ и понятій, стало быть и на наши дѣйствія. Отсюда слѣдуетъ, что и сообщеніе намъ соотвѣтствующихъ впечатлѣній могло бы быть заключено въ цѣлой системѣ внѣшнихъ пріемовъ, направленныхъ къ удержанію души въ такомъ состояніи, которое ее наиболѣе располагало бы къ добродѣтели. При помощи такихъ пріемовъ, можно производить въ душахъ чувства, которыя впослѣдствіи будутъ управлять людьми («Призн.» IX. 361).

Таково нездоровое, болотистое устье быстраго теченья философіи Руссо́. Къ несчастію, именно эта-то психологическая доктрина, этотъ психологическій матеріялизмъ, это понятіе о душѣ, какъ о мягкомъ воскѣ, который, въ рукахъ мудреца - политика, можетъ быть вылѣпливаемъ въ любую форму, пріобрѣла наибольшее вліяніе, сдѣлавшись сперва стѣнобитной машиной въ рукахъ революціонеровъ, а потомъ—главнымъ орудіемъ реакціи противъ революціонныхъ идей, наступившей въ XIX в. Какъ французскіе якобинцы, такъ и доктринеры позднѣй-

шихъ, правительственныхъ реакцій, согласно укладывали человѣка на желѣзное Прокрустово ложе своихъ собственныхъ мечтаній, не хотѣли допустить, чтобы онъ остался какимъ его сдѣлали природа и исторія, но намѣревались пересоздать его по-своему и притомъ—такъ, чтобы онъ позволилъ управлять собою безъ сопротивленія. Идеи Руссó, какъ справедливо замѣтилъ Джонъ Морли, въ цѣнномъ своемъ трудѣ о Жанѣ-Жакѣ (2-е изд. 1878 г.),—таковы, что или не производятъ на читателя никакого впечатлѣнія, или порождаютъ фанатиковъ, такъ какъ имѣютъ по наружности точность—почти математическую, которая ослѣпляетъ людей, неспособныхъ дѣлать различія между словами и дѣйствительностью. Идеи эти запали въ умы столь глубоко, что даже до настоящаго времени мы еще не можемъ разстаться съ вытекшими изъ нихъ послѣдствіями—съ якобинской традиціей въ политикѣ, съ усиліями, направленными къ обрѣзыванію, къ перекройкѣ человѣческаго ума для прививки ему нѣкоторыхъ убѣжденій, той или другой вѣры, хотя бы и не откровенной, а философской. На этомъ мы покончимъ съ Руссó, такъ какъ его «Общественный договоръ» не входитъ въ рамки нашей задачи. Замѣтимъ лишь, мимоходомъ, что «Contrat social»—вещь наименѣе оригинальная, представляющая собой лишь плохую передѣлку теорій Гоббса («Leviathan») и Локка («On civil governement»).

VIII.

Приходимъ къ выводу и общей характеристикѣ. Тѣмъ, что Тэнъ называетъ «преобладающимъ свойствомъ» (faculté maîtresse), было у Руссó господство чувства, которое ярко окрашивало всѣ продукты его мышленія, всѣ даже отвлеченныя сужденія этой головы, работавшей быстро, умѣло и логично. Вотъ, на этой-то его необузданной и невладѣющей собою чувствительности, ко-

торая однако не дѣйствовала на него такъ, чтобы мысли свои онъ переводилъ въ дѣйствіе, на этой чрезмѣрной чувствительности играли, какъ на эоловой арфѣ, всѣ исторіею выработанныя вожделѣнія, всѣ пламенныя потребности, порывы впередъ и стремленія той бурной эпохи, которая боролась какъ Титанъ съ давившимъ ее, вѣками нагроможденнымъ бременемъ.

Этотъ опьяненный чувствомъ пророкъ демократіи могъ разсуждать тѣмъ отважнѣе, что XVIII вѣкъ былъ еще бѣденъ дѣйствительно-научными методами и средствами, а литературная отдѣлка и ловкость въ діалектикѣ принимались за знаніе, вообще же господствовала дедукція прямо изъ головы, а не изслѣдованіе истины чрезъ наблюденіе фактовъ. Съ самоувѣренностью лунатиковъ, мыслители прохаживались по самымъ возвышеннымъ верхамъ, шагали чрезъ пропасти—простымъ переходомъ отъ одной ипотезы къ другой, не заботясь о критикѣ, объ обосновании выводовъ, довольствуясь символами и словами, вмѣсто вещей. Ж. Ж. Руссо́ и представляется величайшимъ изъ этихъ лунатиковъ XVIII столѣтія; онъ велъ людей за собою къ перекресткамъ дорогъ и къ пропастямъ, отъ которыхъ путниковъ предостерегли бы, въ вѣкѣ болѣе научно и критически образованномъ, уже противорѣчія въ понятіяхъ самого путеводителя. Ихъ предостерегло бы отъ слѣпаго увлеченія уже хотя бы одно то обстоятельство, что Руссо́, принявъ за точку отправленія—личное чувство, то есть нѣчто наиболѣе свободное и неподдающееся правиламъ, пройдя затѣмъ сквозь анархію мнимаго «природнаго состоянія», заканчивалъ свою теорію величайшимъ деспотизмомъ, какой только возможно было придумать, хотя деспотизмъ этотъ онъ и окрашивалъ предположеніемъ о волѣ большинства, о самодержавіи народной массы.

Руссо́ былъ воплощеніемъ демократіи, не только по своимъ инстинктамъ, идеямъ и чувствамъ, но по и поразительнымъ контрастамъ и непослѣдовательности въ понятіяхъ. Надо однако прибавить, что онъ воплощалъ въ

себѣ не идеальный образъ истинной демократіи, такой, который бы соотвѣтствовалъ ея основному принципу, но ту физіономію, какую демократія имѣла при своемъ исходѣ изъ средневѣковаго Египта, земли плѣненія, когда демократія не особенно думала о свободѣ, но очень много о приведеніи всего къ одному уровню, когда она уже сознавала свою силу, но еще сохраняла привычку подчиненія и готова была подчиниться всякому вождю, готова была дать ему осѣдлать себя и нести его на своей спинѣ. Вотъ эту-то демократію Руссо́ и представляетъ собой, выражая ея инстинкты и потребности, какъ въ томъ, чѣмъ онъ содѣйствовалъ революціи, такъ и въ томъ, что́ онъ подготовилъ для реакціи, а наконецъ и въ томъ еще, что онъ охранилъ религіозное вѣрованіе и не позволилъ современнымъ ему прогрессистамъ искоренить изъ сердца народа не только господствовавшую вѣру, но и самое чувство религіозное, которое они уже осудили и собирались упразднить. Въ ковчегѣ его «врожденной религіи», чувство это переплыло чрезъ волны новаго потопа и затѣмъ, въ XIX вѣкѣ, ступило вновь на сушь твердою ногой; однимъ словомъ,—что идеалы не сдѣлались полной добычею поверхностнаго философскаго нигилизма.

IX.

Заканчивая нашъ этюдъ о Руссо́, какъ объ одномъ изъ главнѣйшихъ писателей XVIII столѣтія, прибавимъ еще нѣсколько словъ, посвященныхъ уже не содержанію его произведеній, но ихъ внѣшней формѣ, особенностямъ и качествамъ его слога. «Писатель живетъ только своимъ слогомъ»—сказалъ знавшій толкъ въ этомъ дѣлѣ Шатобріанъ [1]). Въ отношеніи формы, Руссо́ принадле-

[1]) «Произведеніе, составленное наилучшимъ образомъ, исполненное совершенствъ будетъ мертворожденнымъ, если не имѣетъ стиля. Стиль пріобрѣсти нельзя, это — даръ свыше, это — талантъ» («Посмертн. Зап.» II. 177).

жалъ къ такъ называемой классической французской школѣ XVIII вѣка, въ которомъ писали болѣе прозою, чѣмъ стихами, писали много, занимались популяризированіемъ знанія. По литературному роду, къ которому относится главное произведеніе Руссо, «Новая Элоиза», онъ принадлежитъ къ категоріи тѣхъ романистовъ, у которыхъ самая фабула разсказа и ходъ приключеній занимаютъ мѣсто второстепенное, а главное содержаніе состоитъ въ изложеніи и оттушевкѣ чувствъ дѣйствующихъ лицъ. На этомъ полѣ Руссо̀ имѣлъ уже предшественника, конечно, уступавшаго ему много по таланту, а именно англійскаго романиста Ричардсона («Памела». 1740 г. «Кларисса Гарлоу» 1749 г.).

Въ этомъ родѣ—чувствительнаго романа безъ приключеній, безъ всякаго драматизма, состоящемъ изъ писемъ, страстно разбирающихъ разные соціальные вопросы или анализирующихъ одни только чувства дѣйствующихъ лицъ, сообразно съ перемѣнами въ ихъ положеніи, Руссо̀ явился новаторомъ не по отношенію къ формѣ, но именно по содержанію тѣхъ понятій и чувствъ, которыя онъ изложилъ съ такимъ жаромъ и такой мощью, что самое появленіе его произведенія въ свѣтъ обозначило собой начало новой эпохи. Новыя понятія, выраженныя въ литературной формѣ, въ горячихъ словахъ, непремѣнно разрушаютъ и старыя формы, замѣняютъ ихъ новыми, хотя не вдругъ и даже не скоро. Проходитъ иногда долгое время прежде, чѣмъ въ литературѣ, хотя уже и проникнутой новымъ духомъ, старыя формы отжившей школы уступятъ мѣсто новой школѣ, которая представляетъ собой разцвѣтъ растенія, давно уже покрывшагося листьями и почками. По отношенію ко времени, о которомъ здѣсь рѣчь, такой новый разцвѣтъ литературы произошелъ уже гораздо позднѣе, въ эпохѣ такъ называемаго романтизма. Но тотъ, кто хочетъ изслѣдоватъ новую школу не только въ окончательномъ моментѣ ея развитія, когда она уже господствовала безраздѣльно, но въ самомъ ея началѣ, тотъ долженъ изу-

чить именно ея почки. Въ такомъ смыслѣ можно говорить и о романтизмѣ у классиковъ, какъ Эмиль Дешанель («О романтизмѣ классиковъ». Парижъ, 1883 г.). И вотъ, съ этой точки зрѣнія, Руссо́ является, несомнѣнно, первымъ изъ романтиковъ, внесшимъ смятеніе въ подстриженные сады и размѣренныя на циркуль формы классицизма, внесшимъ туда элементъ субъективный, разрушительное броженіе, личную раздражительность, которая безпрестанно проявляется, то въ чувствительности, доходящей до слезъ, то въ патетическихъ порывахъ. Руссо́ внесъ въ тотъ міръ борьбу противъ условности, рѣшительное намѣреніе не быть «какъ всѣ» («Н. Э.» 226).

Руссо́ создалъ, во второй половинѣ XVIII столѣтія, идеальный типъ человѣка съ сердцемъ. Хотя позднѣйшія поколѣнія должны были настроеніе его назвать преувеличеннымъ сентиментализмомъ, а его самого—экзальтированнымъ энтузіастомъ, но не подлежитъ сомнѣнію, что имъ были выражены съ наибольшей рельефностью нравственное состояніе и темпераментъ его времени, и что на этомъ образцѣ воспитались всѣ великіе поэты послѣдующаго вѣка, всѣ главные представители романтизма. Изъ нихъ каждый прочувствовалъ «Новую Элоизу», испыталъ на себѣ возбужденный ею электрическій токъ, потрясшій всю его нервную систему, а нѣкоторые изъ нихъ и повторили вынесенныя изъ нея впечатлѣнія, видоизмѣнивъ ихъ, согласно съ собственнымъ темпераментомъ. Такимъ образомъ, Руссо́ стоитъ въ тѣсной связи съ самой исторіей романтизма и вліяніе этого писателя простирается далѣе 1820 года, доказательствомъ чему могутъ служить, между прочимъ, приведенныя уже мѣста̀ изъ «Дзядовъ» Мицкевича. Прослѣдимъ же непосредственное и заразительное дѣйствіе того духа, какимъ запечатлѣно главное произведеніе Руссо́—на исполинахъ мысли и искусства въ Европѣ, стоящихъ на рубежѣ XVIII и XIX столѣтій.

X.

Аккуратный, какъ часы, доцентъ философіи въ кенигсбергскомъ университетѣ, Иммануилъ Кантъ, однажды отказался отъ обычной послѣобѣденной прогулки. Причиной такого безпримѣрнаго случая неаккуратности было то обстоятельство, что Кантъ зачитался «Новой Элоизой» и не могъ отъ нея оторваться. «Эмиль» и «Общественный договоръ» оказали вліяніе на философію Канта, который втеченіи всей жизни былъ горячимъ поклонникомъ Руссô [1]), Въ философіи Канта, какъ въ фокусѣ оптическаго стекла, сходились всѣ разбросанные лучи XVIII вѣка, идея государства, построеннаго на чемъ-то въ родѣ общественнаго договора, вѣрованіе въ три нумены не могущіе быть доказанными: въ душу, міръ и Бога, категорическія, безусловныя велѣнія воли: ты обязанъ поступать такъ, а не иначе. Все это—элементы, довольно близкіе къ врожденной религіи Руссô, только понятые глубже, обоснованные и развитые при помощи такихъ методовъ умозаключенія, которыхъ Руссô и не предугадывалъ.

По общему мнѣнію всѣхъ критиковъ и историковъ литературы, въ прямой линіи отъ «Новой Элоизы» происходятъ «Страданія юнаго Вертера» Іог. Вольф. Гёте. Въ это, какъ и въ другія, значительнѣйшія свои произведенія, Гёте вставилъ отрывки изъ автобіографіи и личныхъ воспоминаній. Находясь на службѣ въ Ветцларѣ (1772), Гёте влюбился въ Шарлотту Буффъ, которая могла платить ему только дружбою, такъ какъ была невѣстой его пріятеля Кестнера. Не безъ чувства боли вырвался Гёте изъ Ветцлара, гдѣ пребываніе стало ему однако не по силамъ, вслѣдствіе неудовлетворенной любви и раздражавшаго его вида обрученныхъ. Въ концѣ того же 1772 года, въ Ветцларѣ застрѣлился товарищъ Гёте,

---

[1]) Windelband. Die Geschichte der neuren Philosophie (1880. 11, 26).

молодой Ерузалемъ, изъ пистолета, которымъ его ссудилъ Кестнеръ. Причинами этой смерти были униженія, какимъ молодой человѣкъ подвергся въ дипломатической карьерѣ и безнадежная любовь. Изъ этихъ двухъ образцовъ, т. е. изъ себя и Ерузалема, Гёте составилъ, въ 1774 году, когда уже совсѣмъ излѣчился отъ любви къ Лоттѣ—одно лицо, Вертера. Лотта Буффъ, возвышенная до идеала женской красоты, сдѣлалась Лоттою Вертера, а на долю Кестнера выпала несовсѣмъ благодарная роль мужа Лотты—Альбрехта. Конецъ романа взятъ цѣликомъ и буквально изъ описанія Кестнера о катастрофѣ съ Ерузалемомъ. Такова была довольно обыкновенная, неказистая, сѣрая канва, на которой геніальная рука Гёте расписала цѣлую трагедію, трогательную, полную слезъ, которая была переведена на всѣ языки и обошла весь свѣтъ.

Герой разсказа, Вертеръ, есть нѣсколько видоизмѣненное воспроизведеніе типа, изобрѣтеннаго Руссо̀. Сен-Прё, это—старшій братъ Вертера, а юнѣйшимъ братомъ послѣдняго является Густавъ Мицкевича, въ IV части «Дзядовъ». Отъ С.-Прё до Вертера, отношеніе между средой и дѣствующей въ ней личностью еще ухудшилось; несчастный мечтатель, созданный для возвышенныхъ порывовъ, ежеминутно бьется головой объ стѣну и является истымъ узникомъ тѣхъ тѣсныхъ рамокъ, въ какія онъ заключенъ нестерпимыми общественными условіями. «Что за монотонная вещь родъ людской—пишетъ Вертеръ. Большинство почти все свое время посвящаетъ на пріобрѣтеніе средствъ къ жизни, а тѣ крохи свободы, какія имъ еще остаются, такъ ихъ пугаютъ, что люди употребляютъ всѣ средства дабы отъ нихъ избавиться»... «Когда смотрю на препоны, въ которыхъ стѣснены дѣятельныя и созерцательныя силы человѣка, то убѣждаюсь, что силы эти поглощаются удовлетвореніемъ потребностей, неимѣющихъ иной цѣли, кромѣ продленія этого жалкаго существованія, а затѣмъ вижу, что по всѣмъ вопросамъ, какіе открыты для человѣческой пытливости, всякое

успокоеніе возможно только какъ отреченіе отъ мечты, что человѣкъ просто рисуетъ себѣ яркіе образы и свѣтлые виды на стѣнахъ, среди которыхъ онъ сидитъ въ заключеніи»... «Боже, сущій въ небѣсахъ! Тобою судьба людей такъ устроена, что человѣкъ бываетъ счастливъ лишь пока̀ не наберется разума или когда его уже потерялъ»...

Болѣзнь вѣка, Гёте, какъ и Руссо́, видятъ въ чрезмѣрномъ развитіи цивилизаціи и какъ единственное лѣкарство предлагаютъ возвращеніе къ природному состоянію: «Мы—образованные, скорѣе же—вовсе обезображенные [1])»... «Любовь, вѣрность, страсть живутъ въ сословіи людей, которыхъ мы называемъ необтесанными простяками»...—«Меня это утверждаетъ—говоритъ такъ же Вертеръ—въ рѣшеніи моемъ держаться только природы»... «Многое можно сказать въ пользу правилъ, почти столько же, какъ въ пользу утонченнаго общества. Человѣкъ, воспитанный въ правилахъ, не дѣлаетъ ничего злаго или пошлаго, но пусть говорятъ, что хотятъ, а всякое правило убиваетъ настоящее чувствованіе природы и ея выраженіе... О друзья мои! Отчего потокъ генія столь рѣдко устремляется, столь рѣдко возвышаетъ свой уровень и потрясаетъ душу, пораженную удивленіемъ? Оттого, что на берегахъ его поставили свои строенія разные господа̀, у которыхъ потокъ этотъ могъ бы попортить устроенные ими садики, грядки тюльпановъ и овощей; и вотъ они заблаговременно стараются отвратить эту опасность сооруженіемъ преградъ и каналовъ»... Вертеръ похожъ на птицу, которая трепещетъ и постоянно пытается взлетѣть, сидя въ желѣзной клѣткѣ.

У Гёте точно такая же, какъ у Руссо́, можетъ быть и прямо у него заимствованная чуткость и любовь къ природѣ живой, какъ въ великихъ, такъ и въ мель-

---

[1]) «Wir gebildeten—zu nichts Verbildeten».

чайшихъ ея созданіяхъ, столь же глубокое религіозное чувство: «Когда вокругъ меня долина дымится паромъ, а солнце стоитъ высоко, но лишь рѣдкіе лучи его проникаютъ въ темный лѣсъ..., когда въ сердцѣ моемъ находитъ откликъ жужжанье цѣлаго мірка, снующаго среди стеблей и безчисленное разнообразіе мушекъ и червячковъ; когда я чувствую присутствіе Всемогущаго, дыханіе Вселюбящаго, когда весь міръ кругомъ и небо все покоятся въ моихъ глазахъ, какъ образъ любимой женщины..,—тогда, о тогда мнѣ думается: еслибъ я былъ въ состояніи передать, выразить, что̀ съ такой теплотою живетъ во мнѣ, то было бы зеркаломъ моей души, какъ душа моя есть зеркало безпредѣльнаго Бога»...

Вертеръ это—человѣкъ, который потому только, что его тяготитъ міръ, а обыкновенные люди ему кажутся низменными, потому только, что онъ одержимъ новой, модной болѣзнью, отъ какой страдалъ еще Гамлетъ, но которая съ конца XVIII вѣка начинаетъ уже свирѣпствовать среди людей эпидемически и получаетъ названіе «міровой скорби (Weltschmerz) или меланхоліи», уже признаетъ за собой непонятое и не признанное величіе «судьба такихъ людей, какъ мы—быть непонятыми» [1]), самъ однако же пальца не пошевельнетъ, чтобы разломать рѣшетку въ своей клѣткѣ съ мужественной рѣшимостью и выдержанностью, и вырваться на волю или по меньшей мѣрѣ приготовить освобожденіе для будущихъ поколѣній и вѣковъ. Всѣ свои умственныя средства онъ обращаетъ лишь на то, чтобы критиковать существующее, чтобы упиваться чувствомъ своего несчастія и безсилія, чтобы мучить ими и себя, и другихъ. Въ извиненіе такого человѣка можно сказать лишь то, что за тою же рѣшеткой, въ то время, были замкнуты всѣ, всѣ ею тяготились, а между тѣмъ, на взглядъ даже наиболѣе проницательныхъ умовъ, преграды казались непоколебимыми. Такъ было передъ приближавшеюся уже революціей.

---

[1]) «Missverstanden zu werden ist das Schicksal von uns Einem».

Однако и послѣ революціи, которая цѣли своей не достигла, хотя и сокрушила прежнюю среду, превративъ ее въ груду обломковъ, не исчезъ типъ и не прекратились жалобы чувствительнаго человѣка, но съ той поры ихъ можно было относить уже не къ средѣ, а только къ личному болѣзненному, психопатическому состоянію, такого болѣе или менѣе рода, какъ состояніе Густава въ IV части «Дзядовъ». Гёте отлично понималъ условія болѣзненной раздражительности: «воображеніе наше—говоритъ онъ—по природѣ своей принужденное напрягаться и питаемое поэтическими образами, само создаетъ рядъ такихъ существъ, посреди которыхъ мы сами занимаемъ послѣднее мѣсто, такъ что все, живущее въ нашемъ представленіи, кажется намъ прекраснѣе и совершеннѣе насъ самихъ»... Но во времена Вертера самое стуканье лбомъ о непреодолимую стѣну считалось признакомъ высшаго ума, неизбѣжнымъ рокомъ, тяготѣвшимъ надъ головой идеальнаго героя той эпохи [1]).

Въ этой меланхолической душѣ, отъ юности уже предназначенной къ самоубійству, неожиданно блеснула волшебница—любовь. «Что для сердца—міръ безъ любви? Это—волшебный фонарь безъ свѣта. Вставь въ фонарь лампочку и внезапно появятся на бѣлой стѣнѣ яркіе образы, и хотя бы они были только проходящими призраками, всеже они составляли бы наше счастье»... Въ ходѣ самого развитія этой любви и въ развязкѣ, къ какой она приводитъ, выдается огромное различіе между Руссó и Гёте. Руссó — хотя и эстетикъ въ самомъ своемъ мышленіи, но въ творчествѣ своемъ является болѣе реформаторомъ, чѣмъ художникомъ, у него постоянно на умѣ извѣстные соціальные идеалы и утопіи,

---

[1]) «Когда мы, со всей нашей слабостью и трудностью дѣла, только какъ нибудь да пробиваемся дальше, то часто видимъ, что при всей нашей медлительности и нашемъ лавированіи, намъ всетаки удается зайти дальше, чѣмъ куда достигаютъ другіе на своихъ парусахъ и веслахъ»—пишетъ Вертеръ.

онъ вѣчно — дидактикъ и мечтатель. Излишкомъ резонерства Руссó испортилъ типъ своей Юліи, сдѣлалъ изъ нея философа въ юбкѣ. У него Сен-Прё ограничивается одними только разсужденіями о самоубійствѣ, которое онъ разбираетъ со всѣхъ сторонъ въ письмахъ своихъ къ лорду Бомстону, какъ общественный вопросъ; а въ концѣ задача разрѣшается практично—въ видѣ осуществленія нѣкоторой утопіи, въ такомъ устройствѣ отношеній, что понятіе о бракѣ поднято ступенью выше и сдѣлалось возможнымъ сожитіе трехъ лицъ, изъ коихъ любовникъ, покоряясь необходимости, довольствуется дружбою своей возлюбленной. Гёте принадлежалъ къ иной расѣ и иному обществу. Хотя и ему общественныя условія—въ тягость, но онъ наименѣе заботится о перестройкѣ общества и объ исправленіи гражданскихъ отношеній.

Въ XVII книгѣ «Поэзіи и Дѣйствительности [1])», есть нѣсколько словъ, которыя бросаютъ яркій свѣтъ на личность Гёте, какимъ онъ былъ отъ юности до преклоннаго возраста, во всю жизнь, а именно—равнодушнымъ къ политикѣ, покорнымъ Наполеону, нечувствительнымъ и впослѣдствіи къ тому патріотическому увлеченію, которое подняло германскій народъ противъ чужеземнаго притѣснителя. «Я и мой кружокъ—говоритъ Гёте—не интересовались газетами и новостями; мы были заняты только тѣмъ, чтобы познать человѣка, а о людяхъ мы не заботились вовсе». Вотъ почему и за разработку романической темы Гёте взялся какъ психологъ и какъ несравненно высшій чѣмъ Руссó художникъ, относившійся къ своей темѣ объективно, безъ всякой тенденціи, не подвергавшій своего героя суду, не высказавшійся ни за, ни противъ самоубійства. Гёте просто представилъ, съ полнымъ реализмомъ и во всемъ ужасѣ, кровавую драму, трагическій конецъ человѣка, налагающаго на себя руку по винѣ собственнаго своего настроенія

---

[1]) «Dichtung und Wahrheit».

и характера; человѣкъ этотъ замкнулся въ себѣ, а между тѣмъ не былъ для себя достаточенъ; онъ упалъ, никѣмъ не поддержанный и, падая, восклицалъ, изъ глубины своихъ тщетно напряженныхъ силъ: «Боже, Боже, за что ты меня оставилъ!»

XI.

Природа Гёте, сильная здоровьемъ, любившая жизнь и умѣвшая располагать жизнью, не могла остановиться навсегда на безнадежной и безконечной меланхоліи. Гёте создалъ Вертера, но самъ Вертеромъ не былъ или, точнѣе, былъ имъ только мысленно и лишь на одинъ моментъ. Въ запискахъ своихъ, Гёте разсказываетъ, что еще смолоду, живя въ Страсбургѣ и Франкфуртѣ, «онъ и его друзья мало сочувствовали духу и направленію господствовавшей въ то время французской литературы, съ богомъ—Вольтеромъ во главѣ; имъ она казалось старой и барской («bejahrt und vornehm.» XI). Свободомысліе, доходившее до матеріализма и атеизма, устрашало ихъ, какъ призракъ смерти; заниматься соціяльными утопіями они не имѣли охоты, такъ какъ старались прежде всего вникнуть въ безотносительную суть самого человѣка. Религіозное чувство Гёте не удовольствовалось паутинною основой естественной религіи, оно шло далѣе и удовлетворилось только послѣ ознакомленія его со Спинозой, успокоилось въ пристани пантеизма, въ поклоненіи богу—природѣ. Еще въ Веймарѣ (1776 — 1780 г.г.). Гёте сталъ равнодушенъ къ современнымъ ему литературнымъ направленіямъ, сдѣлался классикомъ, полюбилъ древность за ея мраморное спокойствіе и величіе, уединился отъ современниковъ, не заботясь о популярности. Вліяніе его и удивленіе къ нему установились уже гораздо позже, а именно когда вышелъ «Фаустъ», въ которомъ отразилась въ сокращеніи вся артистическая жизнь поэта и отозвалось даже отдаленное эхо мечтаній и бреда юности.

Отъ вліянія же Руссó Гёте освободился собственной силой, потому что переросъ это вліяніе, еще ранѣе того времени, когда разочарованіе, произведенное кровавою развязкой французской революціи, набросило сомнѣніе на мудрость ея пророковъ и вождей и на провозглашенныя ими начала.

Шиллеръ испыталъ на себѣ въ сильной степени вліяніе Руссó, о чемъ краснорѣчиво свидѣтельствуютъ стихи, относящіеся къ первой эпохѣ развитія поэта: «Была такая мрачная пора, когда всѣмъ мудрецамъ грозила смерть. Теперь свѣтлѣй, и гибнетъ лишь одинъ. Изъ рукъ софистовъ смерть пріялъ Сократъ; Руссó страдаетъ отъ руки христіянъ, зато, что въ ихъ средѣ искалъ людей». Все содержаніе «Разбойниковъ» Шиллера основано на возмущеніи противъ общества во имя природы, а самый слогъ представляетъ парафразу Руссó на крѣпкомъ и вульгарномъ жаргонѣ нѣмецкихъ буршей [1]). Но это были юношескія увлеченія, Шиллеръ возмужалъ, и сталъ спокойнѣе. Отъ автора напечатанной въ 1782 г. пьесы «Разбойники», съ девизомъ «in tirannos [2])», до автора «Донъ-Карлоса» (1787), мечтающаго объ осуществленіи прекрасныхъ идеаловъ гуманизма властью монархической—столь же большое разстояніе, какъ-то, какое отдѣляетъ автора «Донъ-Карлоса» отъ сочинителя «Пѣсни о колоколѣ»: «гдѣ силы дикія безсмысленно бушуютъ, не можетъ тамъ создаться образъ цѣльный... Но изъ всѣхъ ужасовъ ужаснѣй самъ человѣкъ, когда онъ сталъ шальной». Когда онъ писалъ «Пѣснь о колоколѣ», Шиллеръ уже ничего не ожидалъ отъ политики и при началѣ XIX вѣка думалъ, что «свобода

---

[1]) «Противенъ мнѣ этотъ чернильный вѣкъ, когда читаю у своего Плутарха о великихъ людяхъ. Тьфу, на это дряблое, скопческое столѣтіе. Всѣ они запираются противъ здравой природы пошлыми условностями и не смѣютъ выпить стакана вина, потому что его пришлось бы пить за здоровье».

[2]) «Противъ тирановъ».

лишь въ мечтахъ живетъ, прекрасное цвѣтетъ лишь въ пѣсни»; надежду человѣческаго прогресса онъ возлагалъ уже на дальній путь эстетическаго воспитанія. Но между тѣмъ, такое смиреніе предъ жалкой современностью, то исканіе спасенія—въ наукѣ, философіи и поэзіи, въ выработкѣ самой человѣческой личности, въ культурѣ, сдѣлались главной причиной нынѣшняго величія и преобладанія Германіи.

XII.

Не всякому народу дано отвлечься такимъ образомъ отъ вопросовъ практическихъ. Теоріи, выработанныя въ лабораторіи французскихъ философовъ, не выдержали огненной пробы опыта, упали въ лужу крови и грязи. Вызывавшійся ими первобытный человѣкъ выступилъ на сцену, но оказался звѣремъ. Поломанные кумиры, предразсудки сброшенные со своихъ основаній, похороненныя будто бы старыя понятія, вновь ожили, и среди развалинъ возобновилась борьба между учрежденіями двоякихъ порядковъ, исшедшими, одни изъ права божественнаго, другія—изъ общественнаго договора. Потерялось довѣріе къ разуму зодчихъ революціи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ человѣческому разуму вообще. Вопросъ былъ въ томъ, возстанетъ ли вновь старый, только подклеенный и подмалеванный хламъ, на всѣхъ прежнихъ своихъ пьедесталикахъ, прикроетъ ли крышка ветхаго гроба все общество, или же пусть ужь новое строеніе останется лучше безъ покрытія, неоконченное, недостроенное, какъ оно стояло, окруженное обломками, лишь бы не реставрировать его на старый ладъ. Вѣдь подведенъ уже былъ фундаментъ новый, новые кирпичи не годились для стараго фасада; короче, духъ человѣчества, пережившій XVIII вѣкъ, революцію и Наполеона, уже не давалъ заковать себя въ устарѣлые средневѣковые путы.

Оба направленія должны были проявиться и столк-

нуться и въ литературѣ. Каждое изъ нихъ было запечатлѣно тенденціозностью и проникнуто политикой, оба они выросли изъ самой сердцевины XVIII вѣка, извлекали въ свою пользу разносоставные соки, какими изобиловалъ тотъ вѣкъ, оба вышли изъ тѣхъ сѣмянъ, которыя были посѣяны наиболѣе вліятельнымъ, но исполненнымъ самыхъ странныхъ и взаимно-противорѣчивыхъ выводовъ писателемъ XVIII столѣтія—Ж. Ж. Руссó.

Одно изъ этихъ двухъ направленій представляетъ собою первый французскій романтикъ, втеченіи полувѣка стоявшій на возвышеніи, сперва дѣйствительно господствовавшій, а затѣмъ уже только предсѣдательствовавшій на французскомъ Парнассѣ. Это — Шатобріанъ. Онъ— большой руки живописецъ, преимущественно колористъ, посредственный философъ, обращенный безбожникъ, сладострастный и вмѣстѣ—аскетъ, творецъ школы серафической, занимавшійся реставраціею католицизма при помощи одной эстетики. Въ другомъ направленіи просіялъ какъ метеоръ, взвился высоко и разорвался какъ ракета блестящій поэтъ, вождь умовъ мятежныхъ, страстей разнузданныхъ и мрачныхъ, душъ запечатлѣнныхъ преступленіемъ, но и величіемъ, творецъ школы сатанической, считавшійся столь же почти страшнымъ, какъ самъ Люциферъ. Это—Байронъ. Человѣкъ этотъ, исполненный безпримѣрной гордыни, не преклонявшійся ни предъ кѣмъ и ни предъ чѣмъ, дышавшій презрѣніемъ, втеченіи не очень продолжительнаго времени самовластно господствовалъ надъ покоренными имъ сердцами, надъ ослѣпленнымъ имъ воображеніемъ тысячъ людей, разсѣянныхъ по всему европейскому міру. Онъ передѣлалъ ихъ на свой образецъ, такъ что они на него молились и слѣпо ему подражали, и хотя не совершилъ великаго дѣла, такъ какъ поэзія его была только отрицательная, разрушительная, но всетаки послужилъ какъ бы тормазомъ противъ надвигавшейся, съ бренчаньемъ и скрипомъ, старой колесницы реакціи. Ѣдкая, насмѣшливая его иронія раздалась какъ бы то пѣніе, которымъ будящій природу

пѣтухъ заставляетъ исчезнуть вышедшія изъ могилъ привидѣнія, духовъ той продолжительной ночи, какая наступила послѣ потрясеній французской революціи и ея преемника — Наполеона. Былъ такой моментъ, когда все сопротивленіе возвѣщенному возврату вспять, въ средніе вѣка, сосредоточивалось въ одной только этой, богатырской поэзіи, которая, несмотря на свою неглубокость и, повидимому, отрицательный только характеръ, вмѣщала однако въ себѣ болѣе плодотворныхъ сѣмянъ, чѣмъ сколько ихъ было во всемъ лагерѣ противниковъ. И въ самомъ дѣлѣ, она въ болѣе чистомъ видѣ сохранила преданія гуманизма, свободомысліе XVIII вѣка, инстинктъ человѣчества и горячую къ нему любовь.

Но прежде, чѣмъ перейдемъ къ оцѣнкѣ содержанія поэзіи Байрона и его вліянія на современниковъ, мы должны опредѣлить отношеніе между нимъ и ближайшимъ, наиболѣе мощнымъ изъ его предшественниковъ; самое вліяніе, какое пріобрѣлъ Байронъ уяснится лучше, когда мы сопоставимъ великаго британскаго поэта съ роднымъ братомъ его по духу, по этой сторонѣ Ламанша—съ Шатобріаномъ. Сходство между ними такъ ярко такъ поразительно, что хотя каждый пошелъ въ иномъ направленіи, но представляются они иногда какъ бы близнецами. Та нервная раздражительность человѣка чувствительнаго, которая у Вертера перешла въ горячку и кончилась самоубійствомъ, привилась однако, въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи, рѣшительно всѣмъ, сдѣлалась общею хроническою болѣзнью, такъ, что каждый юноша, по опредѣленію Словацкаго, «въ окнѣ души зеленыя нашелъ лишь стекла, мечтатель каждый молніей изъ сжатыхъ тучъ игралъ, пѣлъ вихрямъ адскій гимнъ, въ глазахъ дрожали слезы, а стиснутая рука держала пистолетъ». Тотъ же Словацкій спрашивалъ въ «Беніовскомъ»: «о меланхолія, откуда родомъ ты? не эпидемія-ли ты, и гдѣ причина, что даже шляхта деревенская, и та тобою нынче, кажется, заражена». Да, меланхолія, недовольство всѣмъ, пресыщеніе при первомъ вкушеніи

жизни и скука—такова была атмосфера цѣлаго полувѣка, горе нѣсколькихъ, слѣдовавшихъ одно за другимъ поколѣній.

Нѣкогда личность человѣческая порывалась передѣлать міръ и предавалась золотымъ утопіямъ, не признавая надъ собой ни закона, ни авторитета, ни обязанностей, устремляясь, единственно по голосу своихъ вожделѣній, къ мнимому раю, гдѣ предполагалось счастливое состояніе, какъ личное, такъ и общественное. Но башни и стѣны стараго порядка, какъ нѣкогда въ Іерихонѣ, разрушились при одномъ звукѣ трубъ, которыя возвѣщали революцію. И однакожъ никакого рая не оказалось позади взятыхъ штурмомъ окоповъ. Произошло разочарованіе, потерялось вѣрованіе въ какія-либо утопіи, у всѣхъ впалъ въ немилость принципъ человѣчности, да и самъ идеальный человѣкъ, бѣдное, неумѣлое и неправдивое существо, опротивѣлъ и упалъ въ мнѣніи человѣчества. Однимъ словомъ утрачены были всѣ идеалы, и въ душѣ стало пусто, мрачно. Человѣкъ уже не вѣдалъ, что надо дѣлать, куда идти, чувствовалъ себя придавленнымъ, преждевременно состарѣвшимся. Между тѣмъ, въ сердцѣ его были живы молодыя, неудовлетворенныя желанія, возбуждаемыя подвижнымъ, вѣчно дѣятельнымъ воображеніемъ. Руссó какъ бы предвидѣлъ это состояніе, когда совѣтовалъ сократить желанія по мѣркѣ силъ и обезпечить такимъ образомъ спокойствіе души въ благоустроенномъ человѣкѣ. Но совѣтомъ этимъ никто невоспользовался, не хватило силъ для разрѣшенія великихъ общественныхъ задачъ, напротивъ, въ людяхъ, которыхъ Руссó научилъ быть чувствительными, желанія росли превыше всякой мѣры, поднимали человѣка на воздухъ, какъ водородъ поднимаетъ аэростатъ; почва терялась подъ ногами, люди одновременно какъ бы выростали и вмѣстѣ окидывали взглядомъ презрѣнія низость своей доли, измѣряя свое величіе самымъ напряженіемъ желаній и силою страстей.

И Шатобріанъ, и Байронъ, оба подверглись эпидеми-

ческой болѣзни своего времени — скукѣ, мизантропіи, пресыщенію; оба любили путешествовать, восхищались горными высотами, глубиной морскою и таинственностью лѣсовъ. Природу они любили неменѣе, чѣмъ ее любилъ Руссо́, но нѣсколько иначе; любовались не столько стебельками травы и радужной росинкой, сколько колоссальными видами природы, притомъ освященными печатью историческихъ воспоминаній. Такіе виды и производимыя ими впечатлѣнія они мастерски умѣли передавать, загравировывали ихъ навсегда въ воображеніи читателей. Къ обоимъ отчасти приложимо то, что Сентъ-Бёвъ («Шатобріанъ» и пр. 1877 г. I. 129) замѣтилъ собственно о Шатобріанѣ, а именно, что захватывая природу въ сильномъ своемъ объятіи, умѣя царственно изображать ея величіе, они однако съ нею не сливаются, остаются собою — идеалистами и деистами, никогда не превращаясь въ пантеистовъ (какъ, напримѣръ, Гёте) и посреди поклоненія природѣ, сохраняютъ весьма рельефно свою личность. Оба они — аристократы до самаго мозга костей, ставятъ себя недосягаемо выше черни, презираютъ ее, относятся съ презрѣніемъ къ популярности. У обоихъ также — большой эгоизмъ въ глубинѣ души, но эгоизмъ этотъ у Шатобріана облагораживается крайне чувствительнымъ понятіемъ о чести, а у Байрона — глубокимъ сознаніемъ чужихъ страданій и рыцарской готовностью вступить въ борьбу со всякой несправедливостью.

Крайне-развитое сознаніе своего «я», свойственное темпераментамъ повелительнымъ, деспотическимъ, вообще ознаменовываетъ эпохи большихъ переворотовъ, великихъ историческихъ событій, во время которыхъ, подъ огнемъ народныхъ столкновеній и вулканическихъ взрывовъ, закаляются характеры необычайные, а великіе люди, съ быстротою молніи исполняющіе то, что подготовлено работою вѣковъ, являются какъ бы творцами и совершителями этихъ событій. Когда изъ водоворота революціи возстала, на рубежѣ вѣковъ, мраморная фигура

новѣйшаго Цезаря, то необыкновенный этотъ человѣкъ, истый кумиръ своихъ удивленныхъ современниковъ, несмотря на послѣдовавшее паденіе свое, долго еще господствовалъ надъ воображеніемъ потомковъ, и до такой степени въ немъ запечатлѣлся, что сама поэзія стала наполеоновскою. Она или создавала народную легенду о Цезарѣ, или занималась воспроизведеніемъ его типа, его деспотическаго характера, орлиной природы, уединявшаго его отъ людей величія и ни предъ чѣмъ не отступавшаго эгоизма. Шатобріанъ сперва является союзникомъ Бонапарта и своимъ «Геніемъ христіанства» подпираетъ, какъ контрфорсомъ непопулярный конкордатъ съ Римомъ, а впослѣдствіи дѣлается отъявленнымъ врагомъ Цезаря, причемъ, самой страстностью своихъ упрековъ, невольно выражаетъ свое удивленіе къ нему, и во всю жизнь ведетъ неравный, даже нѣсколько смѣшной бой съ давящимъ его, какъ кошмаръ, исполиномъ. Байронъ, наоборотъ — рѣшительный наполеонистъ, поклонникъ побѣжденнаго героя; онъ первый пытался слить воедино взаимно-противорѣчивые элементы — наполеоновской идеи и свободы народовъ, и за нимъ пошли многіе, вплоть до Мицкевича, относившагося съ мистическимъ почитаніемъ къ духу Наполеона, до Красинскаго — въ его предисловіи къ поэмѣ «Przedświt» и до Словацкаго, идеализировавшаго грозныхъ правителей въ своей поэмѣ «Król Duch».

Напомнимъ о томъ разговорѣ съ Мицкевичемъ, на Лидо, въ Венеціи, который передаетъ Одынецъ въ своихъ «Письмахъ съ дороги», и гдѣ Мицкевичъ указывалъ на близкое духовное сродство между Наполеономъ и Байрономъ [1]). И не одинъ Мицкевичъ думалъ такъ. По-

---

[1]) «Каждый имѣлъ свою миссію и соотвѣтствующую ей силу, а не исполнили они своего призванія потому, что сравнивая свою силу только съ силою людей, оба они заразились гордостью, которая въ нихъ убила любовь, то есть, главное средство для побѣды надъ зломъ. Наполеонъ, умный и холодный, не довѣрялъ уму другихъ людей, видѣлъ въ нихъ

эзія Байрона и его подражателей, современныхъ ему и позднѣйшихъ, сама была отчасти отраженіемъ въ поэтической области духа—того богатыря дѣйствія, а такое отраженіе являлось тѣмъ болѣе естественнымъ, что, въ прямую противоположность съ XVIII вѣкомъ, люди перестали поклоняться идеаламъ общественнымъ, а вмѣсто того, стали идеализировать единичную, исключительную личность, стоявшую высоко надъ толпою, такъ что они отъ самаго поэта стали требовать не столько мастерскихъ произведеній, сколько поэтической жизни, поэтическаго образа дѣйствій, захотѣли, чтобы поэтъ свою жизнь располагалъ какъ поэму, пріискивая себѣ соотвѣтствующія среду и впечатлѣнія. Но между тѣмъ, этотъ-то культъ павшаго повелителя и эта героическая поэзія тѣснымъ союзомъ своимъ поставили сильную преграду воздымавшимся все выше волнамъ реакціи. Впослѣдствіи ниспалъ уровень этихъ волнъ реакціи, силившейся возстановить вещи отжившія, измѣнилось затѣмъ и самое содержаніе поэзіи, осмѣяны были и аффектированная поэтичность, надутость, игра въ геройство; къ поэту стали примѣнять туже мѣрку, какъ и къ обыкновеннымъ смертнымъ, значеніе единичной личности умалилось до размѣровъ муравья, но зато въ общемъ сознаніи возросло въ великой степени — значеніе самаго муравейника.

Отважные полеты въ небеса, несоразмѣренные съ силою крыльевъ, потеряли свое господство надъ умами; оно перешло къ знанію, которое оказалось вооруженнымъ, невиданными дотолѣ, могущественными орудіями для изысканія истины. Лучемъ поэзіи можетъ освѣ-

---

только свои орудія, самъ хотѣлъ сдѣлать все за всѣхъ. Байронъ же, впечатлительный и страстный, свое презрѣніе ко злу распространилъ на людей вообще. Вслѣдствіе такого презрѣнія онъ усомнился въ возможности исправленія и, издѣваясь надъ самыми попытками къ нему, кончилъ осмѣяніемъ нравственнаго мнѣнія человѣчества, полагая, что осмѣиваетъ лишь притворство» (II. 174).

щаться каждая, хотя бы самая обыкновенная работа, лишь бы она относилась къ великому цѣлому, была частичкой великаго дѣла. Взгляды на призваніе поэта совершенно измѣнились. Прежде на него смотрѣли какъ на великаго человѣка, который случайно слагаетъ стихи. Впослѣдствіи же поэтъ сдѣлался обыкновеннымъ человѣкомъ, который достигъ значительной степени совершенства въ своемъ призваніи, и посредствомъ такого мастерства въ своемъ дѣлѣ, производитъ извѣстное вліяніе на общество. Вотъ тѣ единственныя, но прочныя ступени, по какимъ современный поэтъ восходитъ въ народный пантеонъ, наравнѣ со всѣми, которые пониманіемъ общаго блага и согласною съ нимъ дѣятельностью, заслужили себѣ вѣнки, сплетенные, всеравно — изъ лавровыхъ ли, или изъ дубовыхъ листьевъ. Еслибы мы хотѣли избрать того поэта, на умственномъ лицѣ котораго всего вѣрнѣе отразилось—употребляя выраженіе Словацкаго [1])—обличіе XIX вѣка, но не въ молодости только этого вѣка, а въ средней стадіи всего его теченія, то намъ пришлось бы остановиться не на Байронѣ, а скорѣе же—на старикѣ Гёте, съ его олимпійскимъ спокойствіемъ и всестороннимъ, глубокимъ знаніемъ.

Измѣнился современемъ также и взглядъ на человѣческое счастіе. Въ XVIII столѣтіи Руссó вѣрилъ, что счастіе находится въ первобытномъ состояніи человѣчества и счастіе это хотѣлъ онъ дать людямъ, механически изглаживая цивилизацію, обтесывая и подстругивая личность, умѣряя въ ней желанія до мѣры возможнаго, впередъ опредѣленной законодателемъ. Требовалось принудить человѣка, чтобы онъ сталъ счастливъ. Наоборотъ, при началѣ XIX в. всѣ истинные поэты предавались полной безнадежности; это были люди ни откуда не ждавшіе счастія и не цѣнившіе жизни ни въ грошъ, но между тѣмъ, выпивавшіе полную чашу ея разомъ, въ

---

[1]) Предисловіе къ поэмѣ «Ламбро».

одинъ пріемъ, не заботясь о дальнѣйшей своей, а тѣмъ болѣе чужой судьбѣ. Впослѣдствіи, установился уже совсѣмъ иной взглядъ. Счастіе, по новому опредѣленію, заключается не въ фактическомъ обладаніи и пользованіи, но скорѣе въ проникновеніи въ тайны вселенной, въ сочувствіи каждому горю и въ наслажденіи каждымъ общимъ пріобрѣтеніемъ, въ умственномъ обладаніи цѣлымъ міромъ, въ томъ свойствѣ, которое такъ прекрасно опредѣлилъ Шекспиръ въ Гамлетѣ (II. 2. «я могъ бы быть замкнутъ въ орѣховой скорлупѣ и между тѣмъ считать себя владыкою пространствъ неизмѣримыхъ»).

Въ предшествующемъ мы старались показать главныя, коренныя различія въ поэзіи трехъ эпохъ: во второй половинѣ XVIII вѣка, въ первой половинѣ XIX-го и въ современной. Но есть и нѣкоторыя общія черты въ поэзіи всѣхъ трехъ періодовъ, такъ какъ каждый періодъ выростаетъ изъ предшествующаго, является какъ бы надстройкою надъ нимъ и дополненіемъ къ нему. Посмотримъ же теперь, каковы были связи между поэзіею начала нашего столѣтія, несправедливо называемою байронизмомъ — такъ какъ Байронъ былъ не единственнымъ и не первымъ, а лишь наиболѣе выдающимся ея представителемъ—и поэзіею XVIII вѣка, въ особенности же—творчествомъ Руссо́. Мы начнемъ съ Шатобріана.

XIII.

У Шатобріана, сверхъ горячаго, чувственнаго темперамента, столь свойственнаго французской расѣ, есть еще двѣ такія черты, которыя связываютъ его съ Руссо́, а именно: убѣжденіе, что естественное состояніе—выше цивилизаціи и религіозность. Эти оба свойства совокуплялись у бретонскаго дворянина, путешественника, а вслѣдъ затѣмъ эмигранта, довольно оригинальнымъ образомъ. Шатобріанъ шелъ далѣе Руссо́ въ своемъ пристрастіи къ химерѣ «естественнаго состоянія»; онъ готовъ бѣжать

въ лѣсъ, къ дикимъ. На послѣднихъ страницахъ сочиненія его «Опытъ о революціяхъ» (1794 — 1797 гг.), мы находимъ слѣдующія выраженія: «станемъ людьми, то есть будемъ свободны, научимся пренебрегать предразсудками происхожденія и богатства, стоять выше вельможъ и царей, уважать бѣдность и добродѣтель. Будемъ во все вносить достоинство нашего собственнаго характера, но прежде всего, перестанемъ относиться страстно къ человѣческимъ законамъ, какого бы то ни было рода [1]). Простой, природный человѣкъ, скажу тебѣ, что только благодаря тебѣ, я горжусь званіемъ человѣка. Въ твоемъ сердцѣ нѣтъ зависимости, ты не знаешь, чтó значитъ пресмыкаться при дворѣ или ласкать народнаго тигра. Чтó для тебя наши искусства, наша роскошь, города наши? Ты, если пожелаешь зрѣлищъ, то пойдешь въ храмъ природы, въ дебри лѣсовъ» и т. д.

Шатобріанъ самъ ознакомился съ естественнымъ состояніемъ не изъ а-пріористическаго разсужденія, не изъ идиллій или сновидѣній, но чрезъ непосредственное соприкосновеніе, наблюдая краснокожихъ въ саваннахъ Америки. И несмотря на то, дикіе у него такъ ненатуральны, натянуты, идеализированы, прикрашены, что невольно припоминаются словá самого автора о поэтическомъ творчествѣ, внушенныя ему, конечно, и наблюденіемъ надъ собою: «мы почти никогда не схватываемъ сущности вещей, а только лишь подобія ихъ, невѣрно отражающіяся въ нашихъ собственныхъ желаніяхъ». Если автору, одаренному въ высокой степени наблюдательностью, такъ мало удалось проникнуть въ душу дикаго человѣка, что поэтъ совершенно не понималъ предмета, который осязательно находился передъ нимъ, то при-

---

[1]) «Едва я убѣжалъ изъ Бастильи и бросился въ демократію, какъ вдругъ нѣкій людоѣдъ ждетъ меня у гильотины. Республиканецъ, которому угрожаетъ вѣроятность быть ограбленнымъ и растерзаннымъ чернью, наслаждается своимъ счастіемъ; а подданный, рабъ восхваляетъ пиры и ласки своего владѣльца».

чиной тому могло быть лишь обстоятельство, что дѣйствительность для него заслонялась вынянченной XVIII вѣкомъ химерой о естественномъ состояніи. Химеру эту Шатобріанъ, какъ уже замѣчено, доводилъ еще одной ступенью выше, чѣмъ самъ Руссо̀, а именно до ненависти ко всякой формѣ правленія въ цивилизованномъ обществѣ, начиная отъ деспотизма и оканчивая красной демократіею, которая расчищаетъ почву для «народнаго тигра». Другимъ препятствіемъ къ точному пониманію дѣйствительности являлась въ Шатобріанѣ самая необузданность его темперамента, чудовищная раздутость сознанія своей личности, что впрочемъ, какъ мы уже замѣтили, представлялось общимъ и главнымъ свойствомъ всей поэзіи въ первой четверти XIX в., которая была преимущественно—субъективная. Весь интересъ у Шатобріана, какъ у другихъ тогдашнихъ поэтовъ, лежитъ въ самомъ писателѣ, въ Ренѐ, странномъ типѣ, который предвѣщаетъ собой Чайльдъ-Гарольда и хотя является гораздо раньше, но уже заключаетъ въ себѣ преувеличенный, доходящій почти до каррикатуры первообразъ всѣхъ позднѣйшихъ байроновскихъ героевъ.

Ренѐ не въ состояніи принизить свою жизнь до уровня общества. Въ сердцѣ у него огонь, котораго ничто не могло бы насытить, хотябы онъ пожралъ и все существующее. «Скучно жить—говоритъ Ренѐ—меня постоянно заѣдала скука и я равнодушенъ ко всему, что другихъ занимаетъ. Пастухомъ ли родился бы я, или королемъ, все равно не зналъ бы, что мнѣ дѣлать съ пастушескимъ по̀сохомъ или съ короной? Меня всетаки одинаково бы мучили: слава и геній, законъ и бездѣятельность, счастье и горе. Я добродѣтеленъ, но безъ удовольствія, а еслибы былъ преступникомъ, то не могъ бы чувствовать угрызеній совѣсти. Лучше всего мнѣ было бы не родиться или быть всѣми забытымъ» («Продолженіе Начезовъ», письмо къ Селютѣ). Человѣкъ этотъ, который ничѣмъ еще не ознаменовалъ себя, но желаетъ быть забытымъ, носитъ

на себѣ какую-то роковую печать [1]). Онъ чувствуетъ въ себѣ чрезмѣрную жизненную силу, ему казалось, что въ жилахъ у него течетъ горячая лава. «О Боже — восклицаетъ онъ—еслибъ ты далъ мнѣ такую женщину, какой я желаю!» — «Я сходилъ въ долины и подымался въ горы, призывая изъ глубины души ту Еву, идеальный предметъ будущей моей страсти». Но, носясь съ такимъ идеаломъ, Ренѐ собственно влюбленъ въ самого себя, онъ одного себя возвышаетъ и обожаетъ. Къ тому существу, которое онъ удостоилъ осчастливить на время своимъ пламенемъ, Ренѐ относится истинно по султански: «Всевышній, ты сотворилъ меня такимъ, каковъ я есть, Ты лишь одинъ и понять меня можешь. О зачѣмъ я не бросился въ пѣнистыя волны водопада! Тогда я возвратился бы на лоно природы со всей своею энергіей. Селюта! потерявъ меня, ты навсегда останешься вдовой, ибо ктоже могъ бы окружить тебя тѣмъ пламенемъ, какое я ношу въ себѣ, даже не любя. Степи эти тебѣ, согрѣтой моимъ огнемъ, казались жаркими, ты бы нашла ихъ ледяными при иномъ супругѣ. Ты уже не имѣла бы очарованій, упоенія, изступленія; всего этого я впередъ лишилъ тебя, давъ тебѣ все это, а вѣрнѣе—не давъ тебѣ ничего, такъ какъ въ сердцѣ моемъ была неизлѣчимая рана».

О Ренѐ съ полнымъ правомъ можно сказать то самое, что Сент-Бёвъ замѣтилъ о «Посмертныхъ Запискахъ»: что это—мастерское произведеніе, въ которомъ авторъ проявляется во всей наготѣ своего эгоизма. Все тутъ разсчитано чтобы его выказать въ лучшемъ свѣтѣ; но замѣчательно, что впечатлѣніе получается не-только непріятное, но и невыгодное, какъ для того, кто писалъ свой портретъ, такъ и для самого портрета. Автору, можетъ быть, эгоизмъ его и извѣстенъ, но тщеславія

---

[1]) «Ренѐ всѣхъ приводилъ въ смущеніе своимъ присутствіемъ и не могъ войти въ себя; онъ тяготѣлъ на той почвѣ, которую попиралъ нетерпѣливо и которая неохотно носила его на себѣ».

своего авторъ положительно не сознаетъ. Одно, что искупаетъ всѣ недостатки и искаженія, это—необыкновенно вѣрно выраженное, ненасытное вожделѣніе счастія высшаго, чѣмъ то, какое можетъ быть доставлено не только чувственными наслажденіями, но и всякими, какія только доступны въ условіяхъ земнаго быта, не исключая и восторженныхъ порывовъ къ чему-то неизвѣстному, какъ бы это послѣднее ни называлось—Богомъ ли, согласно съ религіею, первоначальной ли причиной, согласно съ метафизикой или просто непознаваемымъ, однако существующимъ, согласно съ опредѣленіемъ Герберта Спенсера. «Доброе, добродѣтельное, чувствительное, все проходитъ. Человѣкъ, ты—мимолетный сонъ, скорбная мечта, ты существуешь для несчастія и дѣлаешься чѣмъ-нибудь лишь благодаря томленію твоей души и вѣчной меланхоліи твоей мысли». Этими словами заканчивается повѣсть Шатобріана «Атала». «Ищу неизвѣстнаго блага, о которомъ мнѣ говоритъ инстинктъ. Но моя ли вина, что повсюду я натыкаюсь на предѣлъ, а все то, что гдѣ-нибудь прекращается, уже не имѣетъ для меня никакой цѣны». Такъ разсуждаетъ Ренѐ и прибавляетъ: «еслибы я еще, по безумію, вѣрилъ въ счастіе, то продолжалъ бы искать его въ привычкѣ». Естественнымъ убѣжищемъ для душъ, отыскивающихъ благо неизвѣстное, была во всѣ времена религіозность. И вотъ, на этой точкѣ Шатобріанъ встрѣчается со своимъ предшественникомъ Руссó. Но насколько впечатлительная чувствительность Руссò отличается отъ капризнаго и необузданнаго индивидуализма Шатобріана, настолько же различно и отношеніе каждаго изъ нихъ къ религіозности.

Сент-Бёвъ, въ своемъ интересномъ этюдѣ о Шатобріанѣ, замѣчаетъ, что жизнь этого писателя можно бы раздѣлить на двѣ части—до 1798 и послѣ 1798 года, когда невѣрующій дотолѣ—вдругъ увѣровалъ, подъ вліяніемъ письма, полученнаго имъ отъ сестры его г. Фарси, которая, описывая смерть своей матери, прибавила: «о еслибы вы знали сколькихъ слезъ стоили матушкѣ ваши

заблужденія!» Въ своемъ предисловіи къ «Генію христіанства» Шатобріанъ упоминаетъ, какъ по призыву этого замогильнаго голоса онъ внезапно сдѣлался христіаниномъ [1]) Въ этомъ обращеніи не слѣдуетъ, однакожъ, видѣть какую-либо рѣшительную и коренную перемѣну въ цѣломъ человѣкѣ. Шатобріанъ не разсуждалъ съ такой логичностью, какъ Руссо́, а будучи поэтомъ, человѣкомъ воображенія, онъ шелъ скорѣе за инстинктомъ сердца и увлекался картинами. Его «Опытъ о революціяхъ» служитъ прямымъ доказательствомъ, что втеченіи долгаго времени онъ раздѣлялъ вполнѣ исповѣданіе «савойскаго викарія». Но убѣдившись, что принципы такого вѣроученія, то есть врожденнаго деизма, содѣйствовали полному сокрушенію старой, предреволюціонной Франціи, Шатобріанъ поколебался въ прежнемъ взглядѣ и писалъ тогда: «еслибы я жилъ въ дни Жана-Жака, то посовѣтовалъ бы учителю, чтобы онъ эту вещь хранилъ въ тайнѣ. Въ системѣ таинственности, выработанной Пиѳагоромъ и жрецами Востока есть глубокая философія». Но особенно любопытны собственноручныя замѣтки Шатобріана на поляхъ экземпляра, который имѣлъ въ рукахъ Сентъ-Бёвъ. Тамъ написано напр.: «нельзя назвать предразсудкомъ то, что́ клонится къ уменьшенію нашихъ страданій; какой-нибудь неизвѣстный пенатъ, служащій къ утѣшенію несчастнаго, приноситъ болѣе пользы, чѣмъ книга философа, которая не осушитъ ни одной слезы». Всѣ, заключающіяся въ этихъ замѣткахъ выходки противъ религіи, дышащія матеріализмомъ и фатализмомъ, слѣдуетъ понимать какъ дань, принесенную духу того времени, въ которомъ преобладалъ именно атеизмъ, а вѣрующихъ, хотя бы деистовъ на подобіе Руссо́, было немного.

Замѣтки эти такъ же мало свидѣтельствуютъ о какой-либо радикальной перемѣнѣ въ мышленіи писавшаго ихъ,

---

[1]) «Меня не осѣнилъ какой-либо сверхъестественный свѣтъ, убѣжденіе мое вышло прямо изъ сердца: я заплакалъ и увѣровалъ».

какъ и тотъ, отмѣченный въ мемуарахъ женщины (г-жи де-Саманъ) фактъ, что 60-ти лѣтній Шатобріанъ, въ 1829 году, восхищался пѣснями Беранжè и въ особенности тою, которая называется «Богъ простяковъ» («Le Dieu des bonnes gens»). Дѣло въ томъ, что чистый деизмъ, иначе говоря — естественная религія, какую добывали протестанты изъ глубины единичной совѣсти, оказался понятнымъ и доступнымъ лишь для немногихъ людей, а подъ вліяніемъ хода событій, возстановлялась, вмѣсто него, религія прежняя, какъ выступаетъ вновь на стѣнѣ старая живопись, когда опала позднѣйшая штукатурка. Вотъ такой возвратъ, безъ разсужденія, къ вѣрѣ дѣтства и произошелъ въ Шатобріанѣ въ 1798 году, тѣмъ легче, что онъ заботился болѣе о формѣ, нежели о содержаніи, о внѣшней торжественности и красотѣ, а не о голой правдѣ и ея критеріѣ. Добавимъ еще объясненіе, основанное на самомъ темпераментѣ Шатобріана: капризная его личность не переносила легкаго трензеля, но отлично ходила на строгомъ мундштукѣ, совершенно такъ, какъ тотъ кровный конь, который, почти отъ рожденія уже расположенъ къ тренировкѣ и какъ бы созданъ подъ сѣдло. Здѣсь именно явился поразительный примѣръ такъ называемаго атавизма, то есть, дѣйствія свойствъ унаслѣдованныхъ, вѣками привившихся прежнимъ поколѣніямъ, которыя ихъ въ свою очередь постепенно еще развивали. То, что въ польской литературѣ, Винцентій Поль восхвалялъ, какъ свойство стараго дворянства, сказалось и въ бретонскомъ дворянинѣ: горячій и необузданный темпераментъ требуетъ обузданія внѣшнимъ, неподлежащимъ спору авторитетомъ. Обѣ эти черты связываются и взаимно дополняются, такимъ образомъ, у Шатобріана, какъ въ его этикѣ, такъ и въ самомъ родѣ его поэзіи—въ его идеалахъ любви половой.

Элементъ эротическій—какъ справедливо замѣчаетъ Брандесъ («Главныя стремленія европ. лит.» III. 7)—можетъ служить самымъ тонкимъ орудіемъ для измѣренія силы, свойства и температуры чувствительности, прису-

щей данному времени. Въ идеальномъ представленіи Шатобріана, на раскаленное половое влеченіе дѣйствуетъ, какъ прикосновеніе льда, неумолимый законъ церковный, а затѣмъ, страданіе неудовлетворенной страсти превращается въ то успокоеніе и нравственно-аскетическое наслажденіе, какое ощущалъ монахъ, бичевавшій свое грѣшное тѣло въ кельѣ передъ распятіемъ. «Религія—говоритъ Ренѐ—замѣщаетъ бурную любовь нѣкоей пламенной чистотою, умѣющей совмѣстить любовь и неприкосновенность любимой; религія превращаетъ страсть временную въ страсть вѣчную, чудеснымъ образомъ вноситъ свое спокойствіе и свою невинность въ душу, гдѣ еще тлѣютъ остатки страстнаго волненія; религія за это вознаграждаетъ своимъ наслажденіемъ сердце, которое ищетъ спокойствія, и жизнь, которая уже угасаетъ». Подобная любовь представляетъ своего рода фанатизмъ. Такъ, Атала отравляется, чтобы не нарушить церковнаго обѣта чистоты, а сестра Ренѐ хоронитъ себя заживо въ монастырь, чтобы преодолѣть въ себѣ кровосмѣсительную страсть къ брату. Наоборотъ, въ «Мученикахъ», Евдоръ дастъ себя соблазнить Велледѣ и адъ торжествуетъ, но оба любящіе представляются похожими на преступниковъ, которымъ объявленъ смертный приговоръ.

Прибавимъ, что самая та картинность, при помощи которой Шатобріанъ возвращаетъ людей, въ силу чувства эстетическаго, къ оставленной ими старой вѣрѣ, не отличается большимъ вкусомъ и нѣсколько смахиваетъ на изображенія въ рождественскомъ «вертепѣ». —«Тишина и небесное благоуханіе разлились надъ молящимися; казалось, какъ будто надъ ними распростерла крылья свои таинственная голубица, будто бы въ облакахъ кадилъ нисходили ангелы и вновь улетали въ небо съ дымомъ ѳиміама, съ вѣнками въ рукахъ («Ренѐ». Сцена постриженія Авреліи)». У Шатобріана, много картинъ въ этомъ родѣ: литургія въ «Аталѣ», мученичество Евдора, вообще въ «Мученикахъ» подобная обстановка выво-

дится и въ небѣ и въ аду. Дѣло было въ томъ, что міръ уже и самъ по себѣ возвращался къ оставленной передъ тѣмъ религіи; поэтъ, предугадавшій такой поворотъ, оказывалъ ему содѣйствіе, а при этомъ годились всякія картины, каково бы ни было ихъ достоинство, шли въ дѣло всякая мишура, проволока и цвѣтныя бумажки. Изъ уваженія къ цѣли, не разсматривали точки отправленія, по вниманію къ дѣйствію, не заботились о томъ, что подобными пріемами матеріализировалась, облекалась язычествомъ самая идея христіанства; наконецъ, довольствуясь благонамѣренностью надѣтой авторомъ маски, не хотѣли знать, что подъ нею укрываются черты вовсе на нее непохожія. Этого мало: все общество какъ бы согласилось соблюдать тайну, несмотря на то, что самъ авторъ безпрестанно выдавалъ ее, нисколько не смущаясь тѣмъ, что избранной имъ роли апостола христіанства въ XIX вѣкѣ мало соотвѣтствовали рѣзкія черты личной его, высшей и благородной, но мятежной и одичавшей природы, нѣсколько уже сухой, но во всякомъ случаѣ мало имѣвшей общаго съ тѣмъ, что называется христіанскимъ настроеніемъ души.

Какъ бы то ни было, но именно указанное взаимое противорѣчіе наружнаго и внутренняго, натуры автора, запальчивой, страстной, и принятой имъ роли возстановителя вѣры, произвело тотъ результатъ, что Шатобріану не удалось занять въ исторіи литературы XIX вѣка того перворазряднаго мѣста, на какое ему давалъ право огромный его литературный талантъ. Его бы можно сравнить съ птицей, которая взлетала такъ высоко, какъ орелъ, но гнѣзда себѣ не свила на недоступныхъ вершинахъ, а опустилась на землю и помѣстилась въ самомъ обыкновенномъ голубятникѣ. Демократія, которая уже пріобрѣтала господство, не могла удовлетворяться этимъ холоднымъ подражаніемъ Данту—безъ Дантовой силы вѣрованія, и послѣ выслушанія цѣлаго курса атеизма въ XVIII столѣтіи. Субъективная поэзія нашла себѣ болѣе выдающагося, болѣе блестящаго представителя—

въ Байронѣ. Прежде, чѣмъ приступить къ разбору его произведеній, намъ нужно только опредѣлить его отношеніе къ XVIII вѣку и, въ особенности—къ Руссó.

XIV.

Французская революція имѣла и за границею горячихъ приверженцевъ. Къ ихъ числу принадлежала госпожа Байронъ, рожденная Гордонъ, бѣдная вдова, жившая въ Эбердинѣ, въ Шотландіи, съ малолѣтнимъ сыномъ Джорджемъ, которому предстояло сдѣлаться лордомъ и стать великимъ поэтомъ. Покамѣстъ, его воспитывала мать, а сказать вѣрнѣе—баловала его. Госпожа Байронъ не принадлежала ни къ вигамъ, ни къ торіямъ, а исповѣдывала чисто-демократическія убѣжденія, въ Людовикѣ XVI видѣла тирана и питала надежду, что настанетъ часъ разсчета съ угнетателями и мести на нихъ (Джиффресонъ, «Истинный лордъ Байронъ», I, гл. 5). Съ сочувствіемъ къ народной массѣ г-жа Байронъ соединяла величайшее удивленіе къ Руссó, и какъ только Джорджъ подросъ, она начала находить въ немъ большое сходство съ славнымъ женевцомъ. Тщетно сынъ писалъ ей впослѣдствіи (письмо къ матери въ 1808 г. см. «Жизнь Байрона» Мура, гл. VIII): «нисколько не забочусь о томъ, чтобы быть похожимъ на столь знаменитаго безумца», напрасно вносилъ онъ въ 1808 г. въ свой дневникъ сравнительныя отмѣтки въ такомъ родѣ, что у него отличная память, а у Руссó была слабая, что онъ (Байронъ) пишетъ быстро, а Руссó писалъ съ затрудненіемъ, что онъ обладаетъ глазами, которыя видятъ далеко и отчетливо, между тѣмъ, какъ Руссó былъ близорукъ, что онъ самъ отлично плаваетъ, ѣздитъ верхомъ и фехтуетъ недурно, тогда какъ Руссó ничего этого не умѣлъ; далѣе, что въ то время, какъ Руссó подозрѣвалъ, будто весь міръ находится въ заговорѣ противъ него, весь мірокъ, окружавшій Байрона, наоборотъ, по-

дозрѣвалъ, что Байронъ ведетъ противъ этого мірка какіе-то ковы; что Руссó женился на своей хозяйкѣ, а Байронъ и съ женой не съумѣлъ вести хозяйства. Несмотря на всѣ такія возраженія со стороны Байрона, сходство постоянно приходило на умъ всѣмъ и г-жа Сталь высказала это Байрону въ 1813 году, въ 1818 же году, тоже сходство подробно описывалось въ «Edinburgh Review».

Впрочемъ, самъ Байронъ, въ третьей пѣсни «Чайльдъ-Гарольда», въ строфахъ 75—84, посвященныхъ памяти Руссó, высказываетъ глубокое впечатлѣніе, какое въ немъ произвела поэзія Руссó и ставитъ столь высоко историческое значеніе этой поэзіи, что является здѣсь передъ Руссó почти ученикомъ по отношеніи къ учителю. «Онъ былъ весь—огонь, этотъ апостолъ страданія, онъ страсть облекъ очарованіемъ и изъ мукъ своихъ черпалъ увлекательное краснорѣчіе. Руссó съумѣлъ сдѣлать безуміе прекраснымъ, на соблазнительныя дѣла и мысли онъ бросалъ покровъ чудеснаго блеска, его слова были ослѣпительны, какъ лучи солнца и вызывали горячія, обильныя слезы. Онъ сошелъ съ ума — кто знаетъ отчего? Не всегда можно розыскать причину. Но всеравно, болѣзнь ли, или нравственное страданіе свели его съ ума, хуже всего то, что самое безуміе его имѣло видъ разума. О, такъ было въ силу его вдохновенія, изъ коего, какъ изъ пещеры Пиѳіи, истекали слова вѣщія, объявшія міръ пламенемъ, слова, которыя продолжали горѣть пока отъ нихъ не пали государства».

Міръ однако не возродился отъ пламени тѣхъ словъ, подобно сказочному фениксу. Причину этого обстоятельства Байронъ видитъ не въ содержаніи ученій Руссó, но — въ недостаткахъ самой человѣческой природы. «Люди воздвигли ему страшный памятникъ, въ одну груду развалинъ они свалили и разбитыя въ щепки вѣковыя убѣжденія, и благо, и зло. А затѣмъ—на этомъ же фундаментѣ отстроились вновь и мигомъ наполнились и престолы, и тюрьмы. Ослѣпшіе среди рабства,

они не могли быть орлами, которые купаются въ лучахъ солнца. Придетъ однако часъ, не слѣдуетъ отчаяваться, уже близится и въ будущемъ грядетъ мощь воздаянія и мощь прощенья; въ одной изъ нихъ мы станемъ осторожнѣй». Таково философское воззрѣніе Байрона на французскую революцію; правда, оно не глубоко, но за то ставитъ вопросъ весьма ясно, въ такомъ, примѣрно, смыслѣ, что худо направленное, испорченное дѣло удастся въ будущемъ исправить, что все это движеніе вызвано пророкомъ Руссó, что этотъ «мучившій самого себя софистъ» былъ «ясновидящимъ безумцемъ», а могущество его заключалось въ очарованіи всѣхъ тѣмъ огнемъ, отъ котораго горѣлъ онъ самъ, «какъ дерево зажженное молніей», очарованіе же его происходило отъ страсти («онъ страсть облекъ очарованьемъ»).

И вотъ, все, за что Байронъ превозносилъ Руссó—современники видѣли въ самомъ Байронѣ. Статья Вильсона въ «Edinburgh Review», написанная въ 1808 году, была бы умѣстна и теперь, она заслуживаетъ чтобы ее упомянуть. «Когда мы говоримъ или думаемъ о Руссó или Байронѣ—говорится тамъ—то дѣлаемъ это, какъ бы забывая, что говоримъ и мыслимъ—о писателяхъ. Они представляются намъ, нѣсколько неопредѣленно, какъ люди съ необыкновеннымъ геніемъ, краснорѣчіемъ и силой, одаренные въ необычайной степени способностью чувствовать горе и счастіе. Намъ кажется, будто мы встрѣчали подобныя существа въ жизни, или были къ нимъ близки во снѣ. Каждое ихъ произведеніе даетъ живое понятіе о нихъ самихъ. Произведенія другихъ великихъ людей отдѣляются отъ ихъ личности и представляются намъ дѣлами ихъ рукъ; но во всемъ, что написали Руссó и Байронъ мы видимъ образы, картины, бюсты, снятые съ нихъ самихъ, при ихъ жизни, только убранные каждый разъ въ иную драпировку, выступающіе постоянно на новомъ фонѣ, но сохраняющіе все туже форму; ихъ чертъ и выраженія мы не можемъ смѣшивать съ подобіями кого-

либо изъ иныхъ сыновъ человѣческихъ». Эта статья Вильсона въ «Ed. R.» замѣчательна тѣмъ, что, не входя въ причины развитія и преобладанія въ то время поэзіи субъективной, уясняетъ однако особенность ея содержанія и характера, заключающуюся въ томъ, что писатель подноситъ намъ на литературномъ блюдѣ—не внѣшній міръ, какъ онъ отразился рефлексомъ въ умѣ автора, но — куски собственнаго своего сердца, свою живую и притомъ необыкновенную личность, то, что у насъ Мицкевичъ назвалъ «правдой чувствъ своихъ» [1]).

Слѣдуетъ однакоже замѣтить, что между Руссо́ и Байрономъ есть значительная разница въ степени развитія личнаго чувства: Руссо́ былъ впечатлителенъ и чувствителенъ, Байронъ—запальчивъ и страстенъ. Руссо́ болѣзненно ощущалъ соприкосновеніе со свѣтомъ, сжимался какъ растеніе, называемое «не тронь меня», прятался какъ черепаха подъ свой щитъ, избѣгалъ людей; Байронъ, наоборотъ, имѣлъ темпераментъ боксёра, атлета, и поэзія била изъ него именно послѣ столкновенія съ какой либо превратностью, какъ брызжутъ искры изъ кремня подъ ударами молота. Въ своемъ уединеніи, Руссо́ предавался сновидѣніямъ о золотой будущности для человѣчества, сочинялъ естественную религію и съ такимъ фанатизмомъ проникся самъ своими теоріями, что вѣру эту былъ готовъ насильно навязывать другимъ, вбивать ее въ нихъ. Байронъ же не имѣлъ никакихъ общественныхъ идеаловъ, а политическій его идеалъ былъ весьма одностороненъ; это былъ безусловный, ни съ чѣмъ не соображающійся либерализмъ, идеалъ свободы, смѣшанной съ своеволіемъ. Онъ былъ природный мятежникъ, какъ въ религіи, такъ и въ политикѣ. Возмущался онъ притомъ не разумомъ, но сердцемъ, и частые

---

[1]) «Шекспиръ, болѣе чѣмъ кто-либо, проникъ въ правду сердецъ и дѣлъ человѣческихъ. Байронъ, теперь, также вѣренъ правдѣ, но только— правдѣ чувствъ своихъ» («Письма съ дороги» Одыньца I. 139. Веймаръ. 1829 г.).

его бунты и злорѣчія не выходили за предѣлы нѣкоторыхъ положеній свойства богословскаго, такъ что Шелли, который былъ атеистъ, былъ по своему правъ, когда по прочтеніи «Каина» такъ отозвался о Байронѣ: «не многимъ лучше христіанина» (разумѣется съ точки зрѣнія атеистической). Сердце Байронъ имѣлъ воинственное, склонное къ борьбѣ, къ защитѣ всего, что слабо и угнетено. Почти вынужденный покинуть свою родину, этотъ странствующій рыцарь XIX вѣка ѣздитъ по всей Европѣ, повсюду бросая перчатку правленіямъ и вступая въ заговоры съ мятежниками всякаго рода. Оба они, впрочемъ, Байронъ и Руссó, сходятся въ томъ, что и тотъ и другой—безусловные космополиты и совершенно равнодушны къ движеніямъ національнымъ, отъ которыхъ, однако, со времени Наполеона начинаетъ все сильнѣе рябиться и колебаться поверхность европейскаго общества. Оба они также и гуманисты, только разныхъ направленій: Руссó хотѣлъ сплотить весь міръ винтами своей сомнительной и несовсѣмъ послѣдовательной доктрины, а Байронъ весь шаръ земной разбилъ бы на разлетающіеся атомы.

XV.

Съ впечатлительностью и сильно развитой чувствительностью обыкновенно соединяется оригинальность. Въ обществѣ мы всѣ покрыты одинаковымъ лакомъ, но даже изъ подъ гладкой поверхности этого лака, у людей особенно чувствительныхъ и страстныхъ, проглядываютъ шероховатость и рѣзкость, словомъ нѣкоторыя черты, свойственныя прошлымъ поколѣніямъ, болѣе дикимъ, менѣе отполированнымъ цивилизаціею; такимъ свойствомъ является и склонность къ дѣйствію безъ оглядки, по первому порыву. Допустимъ, что человѣкъ такого порядка, одаренъ большими способностями и, между прочимъ, сильно развитымъ эстетическимъ чув-

ствомъ, что сверхъ того, онъ имѣетъ прекрасные, благородные инстинкты свойства альтруистическаго, не можетъ перенести, чтобы на его глазахъ мучили животное, а тѣмъ болѣе существо человѣческое. Предположимъ, вдобавокъ, что человѣкъ этотъ имѣетъ сильныя страсти, притомъ не низкія, а наоборотъ, такія, въ которыхъ обнаруживается возвышенность сердца и ума: любовь, гордость, крайнее славолюбіе; что не всегда будучи въ состояніи совладать съ этими страстями, человѣкъ этотъ иногда погрѣшаетъ, совершаетъ что нибудь некрасивое, недоброе, даже жестокое, а потомъ и сокрушается по этому поводу и терзаетъ себя. Умъ такого человѣка не можетъ мыслить и разсуждать о какихъ-либо отношеніяхъ объективно, безъ примѣненія ихъ къ себѣ; напротивъ, всегда и во всемъ, у него на первомъ планѣ будетъ его личность, все же остальное онъ будетъ невольно подчинять ей и видѣть лишь въ томъ освѣщеніи и съ той окраской, какія ему подскажетъ личное его расположеніе.

Подобный человѣкъ, если онъ одаренъ творческимъ, поэтическимъ воображеніемъ, можетъ сдѣлаться великимъ поэтомъ, но въ поэзіи своей онъ будетъ воспроизводить собственно самого же себя и ничего болѣе; какъ бы онъ ни разнообразилъ свое творчество, рисуя себя попеременно — то прямо съ лица, то въ профиль, во весь-ли ростъ, или только по грудь, и хотя бы въ миніатюрѣ, но всетаки во всемъ выйдетъ у него его собственный портретъ. Такой художникъ будетъ создавать однимъ почеркомъ пера или взмахомъ кисти, чисто по вдохновенію, подъ вліяніемъ только впечатлѣнія, а не рефлексіи, и даже ради того, что чтобы онъ могъ творить, ему необходимо сперва испытать лично сильныя, потрясающія впечатлѣнія; значитъ, онъ долженъ искать такихъ условій, которыя даютъ возможность впечатлѣній этого рода. Положимъ, слишкомъ сильныя впечатлѣнія не бываютъ пріятны, но къ нимъ можно, однако, пристраститься. Будь у этого человѣка воображеніе мрач-

ное, и темпераментъ безпокойный, вызывающій, боевой,— онъ станетъ гоняться за приключеніями, лишь бы устроить себѣ жизнь поэтическую, и этой поэтичности своей жизни будетъ придавать гораздо больше цѣны, чѣмъ той поэзіи, которая выльется въ его произведеніяхъ.

Въ искусствѣ первостепенномъ и творческомъ, первымъ правиломъ является живописаніе — съ натуры, а не по книжкамъ или образцамъ; каждый великій поэтъ въ этомъ смыслѣ непремѣнно—реалистъ. Бываютъ поэты ясновидящіе, подобно Шекспиру, которые, въ силу непостижимаго дара прозрѣнія, изображаютъ объективно такія бури страстей, которыхъ сами они не испытали, или переломы, происходящіе въ характерахъ, разбиваемыхъ ударами рока среди трагическихъ столкновеній, хотя сами они, авторы, никогда не находились въ сходныхъ положеніяхъ, а лишь угадали, прозрѣли—ка̀къ все это должно было происходить въ дѣйствительности. Съ другой стороны представимъ себѣ поэта, который этимъ геніальнымъ свойствомъ не обладаетъ, но имѣетъ передъ собой живую «натуру» — въ себѣ самомъ, и пишетъ этюды съ этой натуры, этюды, конечно, ограниченные этой рамкой. Это—этюды надъ одной только личностью, надъ собственною душой; но и тогда, если онъ чувствовалъ сильно, если сохранилъ въ памяти всѣ разныя состоянія души, если раны ея остались передъ нимъ открыты, какъ будто никогда не заживали, такъ что кажутся свѣжими и поражаютъ своей реальностью, то вѣдь и такой поэтъ — реалистъ въ своемъ родѣ. Онъ производитъ вивисекцію, то есть нѣчто во всякомъ случаѣ любопытное, особенно если подлежащій опыту субъектъ представляется душой недюжинною, кипѣвшею могучими страстями. Поэзія эта будетъ характера преимущественно—лирическаго, однообразнаго, будетъ воспроизводить лишь тѣ тоны, которымъ соотвѣтствуютъ наличныя въ душѣ поэта струны, передастъ, напримѣръ, бѣшеную энергію и иронію или же — чувствительность

и меланхолію, въ крайне же рѣдкихъ случаяхъ—отразить чувства и того и другого порядка.

Сдѣлаемъ еще одинъ шагъ впередъ въ нашихъ предположеніяхъ. Въ душѣ, отличающейся необыкновенной раздражительностью, способной приходить въ возбужденное состояніе отъ такихъ причинъ, которыя на другихъ людей не оказываютъ равнаго дѣйствія, въ такой душѣ, говоримъ мы, почти по необходимости, является нѣкоторая утрировка въ самомъ сознаніи впечатлѣній. Будучи, въ самомъ дѣлѣ, гораздо болѣе впечатлительны и раздражительны, чѣмъ обыкновенные люди, организаціи этого рода вправѣ считать себя исключительными, а затѣмъ онѣ уже и не имѣютъ общей мѣрки, чтобы провѣрять свои впечатлѣнія разсудкомъ; онѣ, наоборотъ, склонны къ преувеличенію ихъ силы и своей исключительности, т.-е. имъ присуща черта отрицательная—расположеніе къ позировкѣ, къ представленію себя въ слишкомъ мрачныхъ краскахъ; онѣ любуются своими недостатками и охотно выдаютъ себя за натуры демоническія, имъ лестно прослыть преступными.

Положимъ, и обыкновенный человѣкъ можетъ испытать бурю страстей, совершить злодѣяніе и переносить угрызенія совѣсти. Но для обыкновенныхъ людей это—исключительный случай, созданный обстоятельствами, ставящими иногда человѣка въ драматическое положеніе, съ которымъ характеръ его не можетъ справиться и выходитъ изъ своей колеи; таковы психологическія данныя, которыя можно извлечь изъ наблюденія уголовныхъ процессовъ. Но субъективный поэтъ, въ родѣ Байрона, тѣмъ отличается отъ такихъ обыкновенныхъ людей, что для него драматическое положеніе представляется не исключительнымъ случаемъ, а напротивъ — положеніемъ обычнымъ, атмосферой, которою этотъ поэтъ старается себя окружать. Такой поэтъ долженъ идеализировать природу, «усиливать» случаи жизни, онъ беретъ тѣ или другія черты и особенно ихъ подчеркиваетъ, преувеличиваетъ, окрашиваетъ возможно ярче. Но такъ

какъ чрезмѣрно-страстное его отношеніе къ чертамъ природы или случаямъ жизни не соотвѣтствуетъ дѣйствительности, а такое несоотвѣтствіе между дѣйствіемъ и поводами могло бы, на обыкновенный взглядъ, казаться страннымъ, иногда, пожалуй, и комичнымъ, то отсюда является у поэта новая потребность — выставлять себя существомъ загадочнымъ. Онъ окружаетъ себя таинственностью, носитъ на челѣ печать отверженія, позволяетъ возникать легендѣ о кровавыхъ своихъ дѣлахъ, объ ужасныхъ мщеніяхъ — въ родѣ тѣхъ, какія тяготѣли надъ Ларой или Корсаромъ. Однимъ словомъ, ему приходится проводить чрезъ всю свою жизнь мистификацію, на которую, дѣйствительно, и ловились даже опытные люди, которой поддался и самъ Гёте. Гёте допускалъ, что была во Флоренціи нѣкая дама, которую Байронъ любилъ и которую умертвилъ мужъ, увѣдомленный о ея невѣрности, и что затѣмъ, въ ночь послѣ этого преступленія, самъ мужъ погибъ на улицѣ отъ неизвѣстной руки, а послѣдствіемъ всего этого будто бы и было, что Байрона преслѣдовалъ далѣе во всю жизнь цѣлый рой привидѣній [1]).

При субъективномъ характерѣ поэзіи Байрона, очевидно, что для пониманія ея совершенно необходимъ элементъ біографическій. Шекспира можно изучать, совершенно не зная его жизни, точно также и Шиллера, менѣе уже — Гёте. Но проникнуть смыслъ произведеній Байрона нельзя безъ изученія его жизни, очеркъ которой мы и обязаны теперь представить. Источниковъ и обработанныхъ матеріаловъ для этого есть много. Два лучшія сочиненія слѣдующія: «Лордъ Байронъ» — Карла Эльзе, 2-е изд. Берлинъ. 1881 г. и «Истинный лордъ Байронъ, новыя изслѣдованія о жизни поэта» [2]) Джиффрсона. 1882 г.

---

[1]) «Это сказочное приключеніе, вслѣдствіе безчисленныхъ намековъ въ его стихотвореніяхъ, становится вполнѣ вѣроятнымъ».

[2]) «The real lord Byron, new views of the poet's lifë». Jeaffreson.

XVI.

Въ своей характеристикѣ Байрона. Тэнъ («Истор. англ лит.» III, кн. 4 гл. 2) указываетъ въ особенности на его племенныя черты: нормандскую кровь, мрачную дикость, надменность, потребность борьбы, страсть къ разрушенію—свойства, одушевлявшія «морскихъ королей» и витязей скандинавскихъ. Дѣйствительно, не подлежитъ сомнѣнію, что родъ Байроновъ—норманскій, древній, хотя не выдававшійся. Основатели этого рода въ Англіи, рыцари Эрнейсъ и Ральфъ де-Бюренъ (Burun), прибыли съ Вильгельмомъ Завоевателемъ, получили лены, которыхъ пожалованіе занесено въ Doomsday book; одинъ изъ ихъ потомковъ, сэръ-Джонъ малый, по прозванію Длинная Борода (sir John the little with the Great Beard), получилъ отъ короля Генриха VIII, по отпаденіи Англіи отъ католической церкви, большое по-духовное имѣніе, принадлежавшее прежде богатому Ньюстедскому монастырю (де-Novo-Loco), а сверхъ того имѣлъ еще владѣніе Рочдэль. Байроны крѣпко держались Стюартовъ, въ ихъ борьбѣ съ парламентомъ; за заслуги въ этой борьбѣ, Джонъ Байронъ въ 1643 г. былъ возвышенъ въ санъ пэра, съ титуломъ барона Рочдэля. Но возвышаясь въ своемъ положеніи, домъ Байроновъ обѣднѣлъ. Ихъ родъ не отличался ни особыми умственными способностями, ни предпріимчивостью; они были только землевладѣльцы, сельскіе хозяева. Склонность къ исканію приключеній и крутость нрава, какъ кажется, перешли къ поэту, хотя и наслѣдственно, но не въ мужскомъ, а въ женскомъ колѣнѣ—отъ Бёрклеевъ, чистыхъ саксовъ, изъ дома которыхъ происходила жена Вилльяма, четвертаго лорда Байрона. У обоихъ его сыновей проявились совсѣмъ новыя, въ ихъ родѣ, черты характера: неровность, запальчивость, рѣзкость.

Старшій сынъ, Вилльямъ, по смерти отца — пятый лордъ Байронъ (1722—1798 г.г.), человѣкъ съ дурной

репутаціей и всѣми ненавидимый, убилъ своего двоюроднаго брата, Чауорта (1865 г.), въ поединкѣ на шпагахъ. Поединокъ этотъ происходилъ въ тавернѣ, при свѣчѣ, подъ пьяную руку и безъ свидѣтелей, оба противника были искусные фехтовальщики. Въ прошломъ вѣкѣ нерѣдки бывали подобные поединки. Байронъ былъ заключенъ въ зàмокъ Тоуэръ и судомъ пэровъ былъ признанъ виновнымъ въ непредумышленномъ убійствѣ (manslaughter), а отъ понесенія наказанія его освободило званіе пэра. Онъ былъ жестокимъ мужемъ и отцомъ, несноснымъ сосѣдомъ, чуждался людей и по смерти единственнаго сына остался бездѣтнымъ. Такъ какъ имѣнія должны были, такимъ образомъ, перейдти къ Джорджу Байрону, поэту, дальнему родственнику лорда Вилльяма, который не называлъ своего наслѣдника иначе, какъ «мальчикомъ въ Эбердинѣ», то Вилльямъ немилосердно разорялъ имѣніе, противозаконно продалъ Рочдэль, а въ Ньюстедѣ лучшіе лѣса.

Братъ этого самодура, дѣдъ поэта, адмиралъ Джонъ Байронъ пріобрѣлъ извѣстность, какъ морякъ, своими приключеніями и предпріимчивостью, былъ и писателемъ. Его описаніе кораблекрушенія на западномъ берегу Америки и возвращенія въ Европу чрезъ Магелланскій проливъ воспламенило дѣтское воображеніе внука, который, будучи мальчикомъ, мечталъ о далекихъ плаваніяхъ. Тетка адмирала, сестра его матери, Варвара Бёркли была замужемъ за Треваньономъ, въ Корнуэльзѣ, и имѣла дочь Софью; на этой племянницѣ адмиралъ женился, и такимъ образомъ, въ кровь ихъ потомства вошла примѣсь кельтской крови Треваньоновъ. Отъ адмирала пошли двѣ линіи: одна представлялась капитаномъ Джономъ и затѣмъ — сыномъ его, Джорджемъ Байрономъ, поэтомъ; другая, та, въ которую перешло званіе пэра, по смерти поэта, идетъ отъ Ансона Байрона, брата капитана, женатаго на дѣвицѣ Далласъ.

Отецъ поэта, капитанъ Джонъ, славился какъ повѣса, вѣтренникъ, франтъ и мотъ, а въ военныхъ кругахъ

былъ извѣстенъ подъ именемъ «шальнаго Джека» (mad Jack). Воспитывался онъ во Франціи, служилъ въ гвардіи, прельщалъ женщинъ красотою и веселымъ нравомъ, соблазнилъ маркизу Кэрмартенъ, дочь англійскаго посланника въ Гаагѣ, графа Гольдернесса, которая была старше своего возлюбленнаго, увезъ ее во Францію, развелъ съ мужемъ и женился на ней, а потомъ самымъ скандальнымъ образомъ спустилъ, во Франціи же, большое ея состояніе. Отъ этого брака родилась Августа Байронъ (1783 г.), въ замужествѣ г-жа Лей (Leigh), а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ (въ январѣ 1784 г.) послѣ рожденія ея умерла ея мать. Потерявъ жену, капитанъ Байронъ возвратился въ Англію и началъ искать другой богатой невѣсты, чтобы поправить свои разстроенныя дѣла. Человѣкъ легкомысленный и нуждавшійся въ деньгахъ, онъ не могъ долго выбирать и остановился на партіи не блестящей, которая однако же могла вывести его, на нѣкоторое время, изъ затруднительныхъ обстоятельствъ.

Приданое составляло всего 23 тысячи фунтовъ. Правда, родъ миссъ Катерины Гордонъ, изъ Гейта, въ Эбердинскомъ графствѣ, былъ знатный, такъ какъ происходилъ по женской линіи отъ королевскаго дома Стюартовъ (отъ Аннабеллы Стюартъ, дочери Якова II). Но это не мѣшало второй женѣ капитана Байрона быть женщиной безъ всякаго образованія и съ манерами рыночной торговки; никогда она не научилась писать безъ самыхъ грубыхъ ошибокъ. Сейчасъ послѣ свадьбы молодые отправились въ Парижъ, гдѣ капитанъ Джонъ, въ очень короткое время, прокутилъ и приданое второй жены, а затѣмъ, съ кое-какими остатками, супруги возвратились въ Лондонъ. Здѣсь-то, на Голльзстритѣ, улицѣ, идущей отъ Кэвендиш-Сквера, въ домѣ подъ № 24, родился 22 января 1788 года Джорджъ Гордонъ Байронъ, ребенокъ хромой отъ рожденія, по винѣ-ли матери, какъ утверждалъ впослѣдствіи онъ самъ—или по винѣ акушера, неизвѣстно. Для насъ остается загадкою и то,

въ чемъ собственно заключалась неправильность ноги или обѣихъ ногъ Байрона. Поэтъ, сколько могъ, скрывалъ этотъ недостатокъ; Трилоуни, который изъ любопытства дѣлалъ наблюденія надъ трупомъ Байрона, утверждаетъ, что искалѣчены были обѣ ступни, а преимущественно—правая, которая была нѣсколько короче лѣвой, и которую въ дѣтствѣ пытались исправить, втискивая ее въ колоду съ винтомъ, чѣмъ ее еще больше испортили; на обѣихъ ногахъ икры были слабы, и обѣ ступни были сильно атрофированы. Джиффрсонъ говоритъ, что недостатокъ въ обѣихъ ногахъ заключался въ сокращеніи ахиллесовыхъ связокъ (tendo Achillis) обѣихъ ступней, такъ что Байронъ не могъ ступать по землѣ всею подошвой и становиться на пятки, а долженъ былъ всею тяжестью опираться на однихъ пальцахъ; вслѣдствіе того, онъ не могъ сдѣлать подъ рядъ болѣе нѣсколькихъ сотъ шаговъ безъ усталости и не могъ сѣсть на-земь, такъ какъ не былъ бы въ состояніи подняться; когда же онъ боксировалъ или фехтовалъ, то сразу бѣшено нападалъ на противника, чтобы побѣдить его первымъ же ударомъ, такъ какъ при болѣе продолжительной борьбѣ, ему отказывалась служить правая нога, въ которой онъ чувствовалъ спазмы и боль.

Надъ семьею Байроновъ тяготѣла нужда, пришлось отправиться въ Шотландію, въ Эбердинъ, гдѣ, благодаря стараніямъ юристовъ, г-жа Байронъ получила хоть нѣкоторое обезпеченіе, въ видѣ неприкосновеннаго капитала въ 3 тысячи фунтовъ, приносившаго годоваго дохода 150 фунтовъ, которые и составляли, съ этого времени, всѣ средства къ жизни цѣлой семьи, состоявшей изъ мужа, жены и сына (дочь Августу взяла къ себѣ на воспитаніе бабка ея, богатая голландка, вдова графа Гольдернесса). Капитанъ Байронъ отнималъ у жены что только могъ, а она устроила ему адскую жизнь въ домѣ. Споры между супругами доходили до дракъ, и капитанъ, наконецъ, убѣжалъ въ свою любимую Францію, гдѣ

вскорѣ потомъ (1791 г.) и умеръ, имѣя всего 36 лѣтъ. Вдова горько его оплакивала по смерти; не взирая на то, что онъ довелъ ее до нужды, она наполняла домъ воплями отчаянія.

Госпожа Байронъ, мать поэта, была низкаго роста, толстая и запальчивая особа, апоплектическаго склада; сына она то едва не зацаловывала до смерти, то готова была его бить, швыряла въ него тарелкой или щипцами, какими бросаютъ уголь въ каминъ, а то ругала его «отродьемъ хромоногимъ (lame brat)». На словахъ настоящая демократка, госпожа Байронъ была въ тоже время глубоко убѣждена въ неизмѣримомъ превосходствѣ рода Гордоновъ надъ родомъ Байроновъ, а въ самомъ родѣ Гордоновъ—той, старшей линіи, отъ которой она сама происходила, надъ линіею Гордоновъ-Ситоновъ. Ни правильно писать, ни одѣваться со вкусомъ, ни вести себя прилично въ обществѣ, госпожа Байронъ не научилась никогда. Первыя религіозныя понятія были сообщены ребенку нянькой его, Марьей Грэй, которая была усердная кальвинистка. На пятомъ году мальчикъ началъ ходить въ школу, а на осьмомъ году перенесъ скарлатину и былъ потомъ посланъ, для возстановленія силъ, въ горы, на лѣченіе козьимъ молокомъ. Маленькій Джорджъ провелъ это время въ Баллотерѣ, надъ горнымъ потокомъ Ди, въ виду черной вершины Локна-гар'а.

Слѣды того глубокаго впечатлѣнія, какое произвели на мальчика Гейленды, т. е. гористыя мѣстности Шотландіи, остались на всю жизнь. Въ 18-й пѣснѣ «Дон-Жуана», поэтъ славитъ голубыя вершины и прозрачные потоки Ди-Дона, черные устои Бальгунскаго моста, шотландскіе пледы и ленты, и юношескіе сны и мечтанія, пронесшіеся въ своихъ воздушныхъ одеждахъ, какъ будто потомство призрака Банко. И въ гораздо позднѣйшихъ путешествіяхъ Байрона проявлялось въ немъ чувство, испытанное польскимъ поэтомъ Богданомъ Залѣскимъ, который на Капитоліѣ и среди римской Кампаньи, мечталъ объ Украйнѣ. Въ стихахъ, написанныхъ въ Генуѣ,

за годъ до смерти (Джиффрсонъ, 1107), чувство это вылилось такъ: «Я долго бродилъ среди краевъ чужихъ, обожалъ Альпы и любилъ Аппенины, почиталъ Парнассъ, смотрѣлъ на склоны юпитеровой Иды и на вѣнецъ крутаго Олимпа. Но мысль мою они держали въ неволѣ не воспоминаніемъ вѣковъ минувшихъ и не своей природой. Восторгъ ребенка сохранился въ юношѣ и въ моихъ глазахъ взиралъ на Трою, вмѣстѣ съ Идой — Локна-гаръ. Кельскія воспоминанія приплетались къ видамъ горъ Фригійскихъ и водопады Гейлендовъ сливались съ свѣтлымъ ручьемъ кастальскимъ. Прости мнѣ, тѣнь великая Гомера и ты, Фебъ, прости этотъ обманъ воображенія. Меня учили сѣверъ и природа поклоняться вашимъ возвышеннымъ видамъ, во имя видовъ иныхъ, которые полюбилъ я прежде».

Родственники г-жи Байронъ и свойственники ея со стороны мужа такъ мало обращали на нее вниманія, что она очень поздно, и то изъ случайнаго разговора, узнала о послѣдовавшей 19 мая 1798 года смерти стараго лорда Байрона (Вилльяма), по которомъ 10-лѣтній Джорджъ унаслѣдовалъ имѣнія и званіе пэра. Канцлерскій судъ поручилъ опеку надъ нимъ дальнему его родственнику, графу Карлейль. Когда мать съ сыномъ пріѣхали въ свои имѣнія, то это наслѣдство оказалось въ страшномъ разореніи. Рочдэльское имѣніе, незаконно проданное, надо было возвращать путемъ процесса; низкой ренты, платившейся арендаторомъ, не было достаточно даже на содержаніе мальчика въ одномъ изъ аристократическихъ закрытыхъ заведеній, каковы Итонъ или Гарроу. Помѣщичій домъ, передѣланный изъ аббатства, съ великолѣпной готической аркой, соединяющей оба флигеля, паркъ, въ которомъ находился дубъ, видавшій еще времена друидовъ, съ чистымъ озеромъ и фонтаномъ, — пришлось отдать внаймы постороннимъ людямъ, чтобы охранить все устройство отъ окончательнаго упадка. Джорджа помѣстили, покамѣстъ, въ приготовительную школу пастора Гленни, въ Дэльвичѣ. Но мать безпрестанно отрывала

отъ занятій мальчика, котораго ученье и такъ было запущено, а сверхъ того, постоянно ссорилась съ педагогомъ, такъ что о спорахъ своихъ они, наконецъ, представили на усмотрѣніе опекуна. Но лордъ Карлейль вскорѣ уклонился отъ роли посредника, не желая имѣть сношеній съ истерической и злой женщиной. Даже мальчики, товарищи Джорджа, говорили ему: «твоя мать сумасшедшая», на что онъ отвѣчалъ, смотря изъ подлобья: «самъ знаю».

Четыре года, проведенные въ училищѣ Гарроу (1801—1805), произвели на юношу большое вліяніе, такъ что въ университетъ, въ Кэмбриджѣ, онъ поступилъ съ довольно уже сложившимся характеромъ и даже съ задатками литературной отшлифовки. Этимъ онъ былъ отчасти обязанъ проницательности своего тутора въ училищѣ, д-ра Друри, который въ этомъ толстомъ и грубоватомъ мальчуганѣ, говорившемъ съ шотландскимъ акцентомъ, съумѣлъ разгадать необыкновенныя способности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и такія особенности характера, что его слѣдовало водить не на цѣпи, а на шелковомъ пояскѣ. Услышавъ объ этомъ, опекунъ очень удивился и недовѣрчиво процѣдилъ: «въ самомъ дѣлѣ?» — когда мистеръ Друри сообщилъ ему, что родственникъ его имѣетъ такія дарованія, которыя могутъ его возвысить даже и въ томъ положеніи, какое ему уже принадлежитъ въ обществѣ.

И такъ, мы довели Байрона до Тринити-колледжа въ Кэмбриджѣ, гдѣ онъ окончательно эмансипировался отъ власти матери, сталъ жить по-аристократически, нѣсколько кутить, а понемногу и стихотворствовать. Изъ этихъ раннихъ стихотвореній составился уже въ Кэмбриджѣ цѣлый томикъ: «Часы Праздности», въ которомъ вовсе еще не проглядывали ни природа, ни когти льва. Это былъ пучекъ школьныхъ воспоминаній, любовныхъ строфъ, во вкусѣ По́па, съ весьма немногочисленными порывами къ болѣе высокому полету. Теперь, изложивъ вкратцѣ голые историческіе факты, относящіеся къ личности поэта, указавъ на всѣ внѣшнія

условія и вліянія среды, присмотримся нѣсколько поближе, какое среди этихъ условій развивалось любопытное и своеобразное растеніе.

XVII.

Самъ Байронъ много разъ портретировалъ себя и обыкновенно темными красками. Во всякомъ случаѣ, тѣ свѣдѣнія, какія онъ даетъ о себѣ, представляютъ первостепенный источникъ для объясненія его душевнаго склада и характера. Въ стихотвореніи, обращенномъ къ Т. Гвиччоли, поэтъ говоритъ: «во мнѣ кровь южная течетъ; уже-ль иначе оставилъ бы я край родной и покорился-бъ,—прежнія забывъ мученья—любви, ужели полюбилъ бы я васъ»? Байронъ, въ самомъ дѣлѣ, считалъ себя истиннымъ южаниномъ, былъ дѣйствительнымъ поклонникомъ солнца: «въ солнечный день я болѣе религіозенъ»; не можемъ не вспомнить при этомъ о Красинскомъ, который видѣлъ въ зимѣ какъ будто богоотступничество природы. Южаниномъ Байрона надо признать не только потому, что его вѣчно влекло къ теплому воздуху и темной лазури неба Греціи или Азіи, а среди тумановъ, при огонькѣ каменнаго угля, отказывались у него дѣйствовать и арфа, и сердце, и голосъ (Т. Муръ. 136, годъ 1811). Онъ былъ южанинъ по самому темпераменту, легко воспламенявшемуся и склонному къ насилію, неровному, заглушавшему въ первую минуту голосъ разсудка, такъ что ему приходилось впослѣдствіи жалѣть о случившемся. «Я родился — писалъ онъ—съ серебряной ложкой во рту, какъ говорится у насъ, такъ какъ ни въ чемъ не нахожу вкуса, развѣ только въ кайенскомъ перцѣ. Не могу и представить себѣ такого существованія, которое бы мнѣ не надоѣло» (Муръ, 208).—«Я запальчивъ, но не золъ—писалъ онъ къ женѣ — только въ первую минуту, когда меня затронутъ, я злюсь» (1828 г. Муръ, 582) — «Не понимаю

уступчивой чувствительности; мною овладѣваетъ страшное бѣшенство—на 48 часовъ»—«Однажды въ Англіи, 5 лѣтъ тому (около 1816 г.), я почувствовалъ столь неутолимую жажду, что въ теченіи ночи выпилъ 15 бутылокъ соды, отбивая шейки бутылокъ, такое во мнѣ было нетерпѣніе. Теперь же на меня напали какое-то отяжелѣніе и потеря охоты ко всему, пробуждаюсь со злостью, должно быть кончу тѣмъ, что замру сверху, какъ Свифтъ»[1]) (Муръ. 485). — «Мнѣ предъявили къ уплатѣ счетъ изъ Венеціи, который я считалъ уплоченнымъ уже нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ. Я пришелъ въ такой пароксизмъ бѣшенства, что со мной сдѣлался обморокъ; между тѣмъ, счетъ былъ всего на 25 фунтовъ» (Равенна 1821. Муръ. 479). — «Во мнѣ всегда были: такая âme, которая мучила сама себя и тѣхъ, кто имѣлъ съ ней соприкосновеніе, затѣмъ, такой ésprit violent, который въ концѣ концовъ, лишалъ меня всякаго ésprit» (М. 485). — «Люблю энергію вообще, даже животную энергію всякаго рода и энергія мнѣ необходима, какъ умственная, такъ и физическая». Когда ему было 20 лѣтъ, Байронъ такъ писалъ о себѣ, къ пріятелю своему Гарнессу (М. 24): «На будущій годъ, я выйду въ свѣтъ, и пущусь въ своей сумасбродной карьерѣ, вмѣстѣ съ другими; ты не знаешь моего неудержимаго, мятежнаго настроенія, которое вовлекло меня въ разнузданность всякаго рода». Черезъ три года послѣ того, будучи уже совершеннолѣтнимъ и находясь въ трауре по матери, Байронъ, который успѣлъ посѣтить Востокъ и приготовлялъ къ печати первыя пѣсни «Чайльдъ-Гарольда», писалъ Годжсону: «Смѣйся надо мною — я становлюсь нервенъ, но въ самомъ дѣлѣ, бѣдственно, смѣшно, по-дамски нервенъ. Климатъ вашъ убиваетъ меня, дни мои пусты, ночи безъ сна, гостей имѣю рѣдко, а когда они приходятъ, то я убѣгаю. У меня недостаетъ метода, чтобы справляться съ мыслями и это

[1]) Намекъ на сумасшествіе.

меня мучаетъ. Можетъ быть, это кончится сумасшествіемъ, но Дэвисъ говоритъ, что это скорѣе — дурость; ничѣмъ не могу излѣчиться отъ спряженія проклятаго глагола *ennuyer*» (Ньюстедъ. 13 Октября 1811 г. Муръ. 141).

Къ самоубійству Байронъ, однако, никогда не имѣлъ влеченія. «Мнѣ лѣнь — писалъ онъ — прострѣлить себѣ голову, да это огорчило бы Августу (сестру) и еще кое-кого и осчастливило бы Джорджа (двоюроднаго брата—наслѣдника), впрочемъ и для меня было бы недурно, но не хочу этого искушенія» (М. 213). Но мысль о сумасшествіи преслѣдовала его постоянно, такъ какъ мозгъ его вѣчно находился въ работѣ и въ кипѣніи, и въ этомъ состояніи представлялся самому поэту въ видѣ кружащагося огненнаго моря («Чайльдъ-Гарольдъ» III. a 7): «утишься мысль моя, я думалъ слишкомъ долго, и слишкомъ мрачно; въ кипѣньи и въ усильяхъ мой мозгъ сталъ моремъ огненнымъ, — которое кружитъ воображенье».

Всякое сильное сопротивленіе вызывало въ этой пылкой натурѣ или изступленіе, или еще худшее, затаенное бѣшенство, котораго опасалась даже мать Джорджа, видя какъ ребенокъ блѣднѣлъ и стискивалъ зубы; каждое же желаніе или влеченіе превращались въ неудержимую и совершенно поглощавшую его страсть. Уже въ раннемъ дѣтствѣ, онъ «пожиралъ» книги: «я читалъ когда ѣлъ, лежалъ въ постелѣ, словомъ когда никто бы не сталъ читать, и такъ было съ пяти лѣтъ» (М. 20).— «Всѣ дружбы мои въ школѣ были страстями (я всегда былъ горячъ)».—«До сихъ поръ не могу слышать безъ біенія сердца имени Клера (лордъ Клеръ, товарищъ Байрона въ Гарроу'скомъ училищѣ). Увлеченіе мое (любовь къ миссъ М. Паркеръ) произвело на меня обычное дѣйствіе: я не могъ ни ѣсть, ни спать, и хотя имѣлъ поводъ думать, что и она меня любитъ, я жилъ только мыслью о времени, какое пройдетъ до новаго свиданія, перерывы же между нашими свиданіями продолжались

обыкновенно часовъ 12». Байронъ ничего не чувствовалъ слабо, а все, что чувствовалъ особенно сильно, хотя бы оно соединялось съ наслажденіемъ или удовольствіемъ, переходило для него въ страданіе и кончалось припадкомъ. Въ 1814 году, игра Кина въ роли сэр-Гайльса Оверрича, вызвала у Байрона конвульсіи (М. 252). Въ 1819 г., другой сходный припадокъ случился съ поэтомъ въ Болоньѣ, на представленіи «Мирры» — трагедіи Альфіери: «Это была не дамская истерика, а потокъ невольныхъ слезъ и дрожь, отъ которой я весь трясся; въ такое состояніе меня рѣдко приводитъ фикція» (М. 404).

Эту столь необычайно впечатлительную душу, въ которой каждое ощущеніе было слишкомъ сильно и потому дѣлалось болѣзненнымъ, отъ страданія спасало одно только средство — поэтическое творчество, какъ бы облегченіе себя посредствомъ родовъ. «Всѣ мои конвульсіи оканчиваются стихами», говоритъ Байронъ (1813 г. М. 197). Совершенно такъ, какъ у всякаго истиннаго поэта, напр. у Гёте или Мицкевича, страданіе исчезало, отлившись въ поэтическомъ произведеніи. «Со мной это случается—пишетъ Байронъ (1821 г. Равенна. М. 492)—находитъ по временамъ пароксизмъ изступленія, отъ котораго я лишился бы разсудка, еслибы не писалъ, чтобы занять свой умъ. Не понимаю, какъ можно любить регулярное, безпрерывное сочинительство. Для меня оно—родъ пытки, сквозь которую я долженъ пройдти, а вовсе не удовольствія. Творчество я считаю большимъ трудомъ». Въ томъ, что писателей ставятъ выше, чѣмъ людей дѣйствія, Байронъ видитъ «признакъ изнѣженности и вырожденія. Дѣла̀, дѣла̀, твержу я, а не писаніе, въ особенности — не писаніе стиховъ»... — «Единственнымъ и искреннимъ побужденіемъ писать, у меня является необходимость отвлекать себя отъ себя же: что за проклятое дѣло эгоистическое самочувствіе» — «Печатаніе написаннаго представляетъ продолженіе той же заботы, чтобы какъ нибудь занять свой умъ, который

иначе уходилъ бы въ самосозерцаніе» (М. 206 — 208) —«Писалъ я отъ полноты сердца, подъ вліяніемъ порыва или страсти, но не для сладкихъ голосковъ (этихъ дамъ)». Самый процессъ творчества былъ для Байрона кипѣніемъ, и пока это кипѣніе продолжалось, на корректурахъ прибавлялись строфы, даже цѣлыя страницы, но передѣлки неудавались никогда (объ этомъ свидѣтельствуютъ письма о вымученномъ такимъ образомъ 3-мъ актѣ «Манфреда»)—«Я уже говорилъ—пишетъ авторъ— что ничего не могу поправить. Со мной — какъ съ тигромъ: если не схвачу съ перваго скока, то возвращаюсь въ свое логовище; но зато, когда схвачу, то сокрушаю».

Поэтическое творчество всегда состоитъ изъ двухъ элементовъ: идеализаціи или игры фантазіи и реальнаго основанія. Байронъ отлично сознавалъ процессъ идеализаціи впечатлѣній: «первыя впечатлѣнія мои сильны, но перемѣшаны; память дѣлаетъ между ними выборъ и нѣкоторый порядокъ, будто перспективу въ ландшафтѣ, она же оттѣняетъ ихъ, хотя они уже и дѣлаются менѣе отчетливы. Должно быть, есть еще иныя внѣшнія чувства, сверхъ тѣхъ, какими обладаемъ мы, смертные, такъ какъ велико то, чтó надо обнять, и изъ этого нѣчто всегда утрачивается, при чемъ мы сознаемъ, что намъ слѣдовало бы обладать болѣе возвышеннымъ и шире охватывающимъ пониманіемъ (Римъ 1817 г. М. 355)». И однакоже, Байронъ считалъ себя преимущественно реалистомъ въ поэзіи и былъ въ этомъ отношеніи антиподомъ Руссó. «Ни о чемъ не могу писать—замѣчаетъ онъ—безъ личнаго наблюденія и основанія (фактическаго)... Ненавижу вещи, представляющія одинъ лишь вымыселъ. Въ наиболѣе эѳирномъ произведеніи должно, всетаки, быть фактическое основаніе, а чистый вымыселъ—это талантъ лгуна» (М. 348). Отсюда истекали та заботливая откровенность и любовь къ правдѣ, какія онъ вносилъ въ свои произведенія: «не могу и не хочу укрывать моихъ мыслей и сомнѣній, чтобы, во что бы ни стало, угодить господствующему

мнѣнію (М. 208)». У такого реалистическаго процесса творчества находилась въ распоряженіи удивительная, феноменальная память, притомъ — память сердца, которая съ необыкновенной цѣльностью и въ полной свѣжести хранила не одни голые факты, но и чувства, вызванныя впечатлѣніями. Мы приведемъ сейчасъ примѣры этого свойства Байрона—перечувствовать вновь и передавать во всей ихъ свѣжести чувства, испытанныя давно.

Необычайная впечатлительность поэта должна была, конечно, проявиться и въ отношеніяхъ его къ женщинамъ. Уже на 9-мъ году отъ роду онъ влюбился въ маленькую дѣвочку, Марію Дэффъ, и любовь эта была сильная, хотя, разумѣется, дѣтская, чуждая половаго инстинкта. Чрезъ нѣсколько лѣтъ, въ 1800 г., еще передъ поступленіемъ въ училище Гарроу, Байронъ во второй разъ влюбился въ кузину свою Маргариту Паркеръ, очень красивую дѣвушку съ черными глазами, длинными рѣсницами, съ греческимъ профилемъ и необыкновенно нѣжной, прозрачной кожей; миссъ Паркеръ, по словамъ поэта, была похожа на воздушное существо, созданное изъ радужныхъ лучей. Она умерла; ей были посвящены первые стихи Байрона, она, въ знакъ взаимности, дала ему свой локонъ, который Байронъ носилъ на груди втеченіи всей своей жизни. Затѣмъ, третья его любовь, разумѣется, уже болѣе глубокая, относится къ 16-ти лѣтнему возрасту поэта, когда онъ учился въ Гарроу (1803 г). Предметомъ ея была богатая родственница, жившая въ сосѣдствѣ, въ Эннсли, Марія Чауортъ, внучка того Чауорта, котораго убилъ дядя поэта, «злой лордъ Байронъ», предшественникъ поэта въ пэрствѣ. Она была двумя годами старше Джорджа, отличалась вызывающей веселостью и забавлялась разгоравшимся въ юношѣ чувствомъ. Но случилось, что Джорджъ услышалъ ея откровенный о немъ отзывъ въ разговорѣ съ подругой: «неужели ты думаешь, что я въ самомъ дѣлѣ занята этимъ хромымъ мальчишкою?»

Эти слова подѣйствовали на него какъ раскаленное желѣзо. Онъ сгоралъ отъ стыда, что былъ поставленъ въ смѣшное положеніе, что ему могли приписать корыстные виды—поправить свое положеніе бѣднаго лорда при помощи состоянія богатой наслѣдницы, а наконецъ и отъ того еще, что онъ профанировалъ воспоминаніе о Маргаритѣ Паркеръ, похваставшись ея локономъ передъ миссъ Чауортъ, чтобы сдѣлать себя болѣе интереснымъ, какъ будто бы это были волосы живой женщины. Не будучи въ состояніи перенести всего этого, Байронъ уѣхалъ въ Ньюстедъ, не простясь ни съ кѣмъ, а послѣ каникулъ, старался найдти утѣшеніе въ страстной дружбѣ съ товарищами, которыхъ обожалъ, какъ пансіонерка. Въ послѣдующія каникулы онъ находился опять въ Эннсли; рана еще не зажила, но поэтъ старался скрывать ее подъ ледянымъ равнодушіемъ. Украдкой, онъ написалъ карандашомъ на одной изъ книжекъ миссъ Чауортъ стихи, не свои (леди Туитъ), но изображавшіе состояніе его души: «воспоминаніе, о не томи меня... напрасно все—надежда, сожалѣнье, ищу лишь одного—забыть». Затѣмъ между ними произошла сцена, болѣе или менѣе похожая на ту, какая описана въ превосходномъ стихотвореніи «Сонъ».

Осѣдланная лошадь землю била...
Мой юноша съ лицомъ печально блѣднымъ
Взадъ и впередъ ходилъ; по временамъ
Садился онъ и схватывалъ перо
И вдругъ писалъ загадочное что-то.
Потомъ опять лицо онъ закрывалъ
Обѣими руками, и все тѣло
Какъ въ судорогахъ дрожало... Вдругъ опять
Онъ вскакивалъ, руками и зубами
Свое письмо на части рвалъ: но слезъ
Не проливалъ. Но вотъ онъ сталъ спокойнѣй...
Нежданно дверь молельни отворилась.
Вошла она—предметъ его любви,
Съ спокойною и милою улыбкой,
Хоть хорошо извѣстно было ей,
Что къ ней пылалъ онъ горькою любовью,

Что тѣнь ея, какъ мрачный столбъ, ложилась
На душу всю несчастнаго: страданье
И скорбь несчастнаго—все видѣла она...
Но нѣтъ, не все! Онъ всталъ и руку милой
Пожалъ, какъ другъ,—и на лицѣ его
Я въ этотъ мигъ увидѣлъ начертанье
Какихъ-то думъ, невыразимыхъ думъ.
Но вскорѣ все изгладилося. Руку
Онъ выпустилъ и медленно пошелъ
Изъ комнаты. Казалось, что разлуки
Тутъ не было: такъ весело они,
Спокойно такъ другъ другу улыбались.
И вышелъ онъ въ высокія ворота,
Сѣлъ на коня и поскакалъ впередъ—
И сѣраго стариннаго порога
Ужь никогда не видѣлъ съ той поры.

(Переводъ П. Вейнберга).

Прощаясь съ Мэри, Байронъ сказалъ ей: «когда увидимся опять, вы будете уже не миссъ, а миссизъ». —«Надѣюсь»—отвѣчала она. И дѣйствительно, въ слѣдующемъ же, 1805 году, миссъ Чауортъ вышла за счастливаго соперника Байрона — Мёстерса, молодца по сложенію и славнаго стрѣлка. Но мужъ такъ худо обходился съ нею, что она сошла съ ума и умерла въ 1832 г., т. е. черезъ 8 лѣтъ послѣ Байрона. Уже и третья эта любовь начинала проходить, когда однажды, мать Байрона, читая полученное письмо, сказала ему: «а знаешь-ли, твоя когда-то возлюбленная Мэри Дэффъ вышла за богатаго купца Кокбёрна». Извѣстіе это поразило поэта какъ молнія; онъ поблѣднѣлъ и съ нимъ едва не произошелъ судорожный припадокъ, такъ что мать перепугалась. Байронъ самъ не умѣлъ объяснить себѣ этого впечатлѣнія. «Въ то время (т. е. то, къ которому относилась первая его любовь), я не имѣлъ понятія о половыхъ влеченіяхъ, впослѣдствіи имѣлъ, можетъ быть, пятьдесятъ иныхъ привязанностей, а между тѣмъ, помню самыя незначительныя наши слова̀, ласки, черты ея, мою безсонницу» (М. 9). Стало быть, память о М. Дэффъ ожила въ поэтѣ съ такой силою, что на минуту взяла

верхъ надъ образомъ миссъ Паркеръ и образомъ М. Чауортъ.

Поэма «Сонъ», на которую мы уже ссылались, представляетъ другой, удивительный примѣръ воспроизведенія въ воспоминаніи самыхъ отдаленныхъ впечатлѣній. Она написана въ 1816 году, при обстоятельствахъ, которыя придаютъ ей особенное значеніе, въ ней есть, какъ воспоминаніе о М. Чауортъ, такъ и стрѣла, направленная противъ леди Байронъ, жены поэта, такъ что поэма отмѣчена особымъ намѣреніемъ. Въ началѣ того года, Байронъ разошелся съ женой, разстался окончательно съ Англіею, поселился въ Швейцаріи, и въ іюлѣ 1816 г., въ Женевѣ, находясь въ состояніи крайняго раздраженія, быть можетъ вслѣдствіе отказа жены на старанія госпожи Сталь о примиреніи супруговъ,—захотѣлъ бросить леди Байронъ въ лицо увѣреніе, что онъ никогда ея не любилъ, такъ какъ постоянно носилъ въ сердцѣ другую, прежнюю любовь:

Вотъ онъ стоитъ предъ алтаремъ съ невѣстой...
Обѣтъ проговорилъ спокойно, но не слышалъ
Самъ словъ своихъ, все шло кругомъ въ глазахъ;
Передъ собой онъ ничего не видѣлъ
И ничего не понималъ. Въ умѣ
Воскресли вновь старинный домъ, ворота
И комнаты знакомыя, и мѣсто,
И день, и часъ, и солнца свѣтъ, и тѣнь
И ахъ! она, судьба его всей жизни!

Въ этой части поэмы сказывается именно намѣренность; но самая любовь его къ Мэри Чауортъ, которая была его «духомъ, голосомъ и зрѣніемъ», въ которую онъ «влилъ всю свою жизнь, какъ источники изливаются въ океанъ и теряются въ немъ», и вся обстановка сценъ, одушевленныхъ той любовью—«зеленый холмикъ тотъ, что въ сторону склонился, какъ будто мысъ, стоитъ среди луговъ, деревъ кружкòмъ увѣнчанъ какъ короной» — всѣ эти впечатлѣнія проявляются съ такой полнотой и

свѣжестью, какъ будто были записаны тогда же, въ 1804 году, а не черезъ 12 лѣтъ.

Мы вполнѣ раздѣляемъ мнѣніе Джиффрсона (I, 155), что три главныя силы—память, чувствительность и воображеніе—давали поэту возможность извлекать изъ пріятныхъ впечатлѣній прошлаго бо̀льшую сумму удовольствія, чѣмъ какую ему принесла, въ свое время, дѣйствительность, и заставляли его чувствовать еще сильнѣе — въ воспоминаніи—тѣ печали, какимъ онъ подвергался; рефлексія чувства еще усиливала въ немъ впечатлѣнія, данныя опытомъ. Это именно были главныя силы, дѣйствовавшія на организмъ поэта, и хотя въ движеніе онѣ приводились обыкновенно вліяніемъ какихъ-либо обстоятельствъ, но иногда ихъ пускала въ ходъ и личная его воля. Справедливо также замѣчаніе Вашингтона Эрвинга, который, разсматривая, какъ много Байронъ могъ извлекать изъ своей памяти, сравнилъ его съ земледѣльцемъ, работающимъ на плодоносномъ чернозёмѣ. Понятно однако, что, возобновляя такимъ образомъ прошлое, а въ немъ всѣ радости и страданія, во всей ихъ силѣ, Байронъ долженъ былъ стараться, чтобы онѣ были поэтичны, связывалъ ихъ при помощи эпизодовъ вымышленныхъ.

XVIII.

Пылкій темпераментъ часто соединяется съ добротою сердца. У Байрона сердце было не только доброе, но можно сказать—золотое, готовое къ сочувствію, чрезвычайно сострадательное. «На берегу Лепантскаго залива, близь Востицы (1810 г.) я подстрѣлилъ орленка, который черезъ нѣсколько дней потомъ околѣлъ — говоритъ поэтъ—Никогда съ тѣхъ поръ я не убивалъ и не буду убивать молодой птицы» (М. 100). Въ дѣтствѣ, онъ всегда защищалъ младшихъ и слабѣйшихъ товарищей отъ преслѣдованія болѣе сильныхъ; о прислугѣ своей онъ всегда заботился, какъ истый лордъ; лите-

раторамъ и вообще нуждающимся онъ много помогалъ, даже въ такія времена, когда самъ имѣлъ не много средствъ и былъ въ долгахъ. Въ 1821 г., когда Байронъ собирался выѣхать изъ Равенны, городскіе бѣдные подали кардиналу-легату просьбу, чтобы онъ уговорилъ ихъ благодѣтеля остаться въ Равеннѣ.

Пылкость темперамента, соединенная съ мягкосердечіемъ, не давала сложиться выдержанному характеру. Байронъ сознавалъ это и винилъ себя (3 пѣснь Ч. Гарольда, VII), признаваясь, что, не научившись смолоду господствовать надъ сердцемъ, онъ отравилъ тѣмъ теченіе своей жизни. Образованіе характера тѣмъ труднѣе, чѣмъ горячѣе темпераментъ человѣка. Для умственнаго организма Байрона была бы нужна разсудительная заботливость о немъ съ самаго дѣтства, требовалась сильная рука, которая направляла бы его, держа мальчика, какъ это впослѣдствіи дѣлалъ Друри, на шелковомъ шнуркѣ, не давая ему воли, но и не раздражая его. Случилось же наоборотъ: мать его была дурно воспитанная и смѣшная женщина, которой онъ стыдился передъ чужими и надъ которой онъ насмѣхался, убѣгая, когда она кидала въ него чѣмъ попало — тарелкой или палкой, всеравно. Отъ матери онъ рѣшительно освободился, находясь уже въ Кэмбриджѣ, чему предшествовала бурная сцена въ Соутвеллѣ. Дѣло дошло до драки, причемъ сперва сынъ, а потомъ и мать прибѣгали къ аптекарю, предостерегая, чтобы онъ не выдавалъ матери или сыну яда. Очень можетъ быть, что однимъ изъ побужденій къ путешествію за границу было желаніе быть какъ можно дальше отъ матери. Онъ помѣстилъ ее въ Ньюстедѣ, но даже не простился съ ней. Возвратясь въ Лондонъ, онъ не спѣшилъ къ ней, какъ вдругъ пришло извѣстіе, что она умерла отъ апоплектическаго удара, разсердившись на кого-то изъ прислуги. Тогда въ умѣ Байрона произошелъ поворотъ, и на короткое время онъ искренно жалѣлъ о своей потерѣ; провелъ въ слезахъ ночь, неотходя отъ ея тѣла, а служанкѣ, которая старалась его

утѣшить, онъ сказалъ: «у меня, миссизъ Бэй, одна только и была подруга въ жизни, и вотъ ея уже не стало». Однако, онъ не шелъ за гробомъ при похоронахъ, взглянулъ только отъ воротъ аббатства на печальную процессію, и потомъ, позвавъ своего слугу Рештона, велѣлъ ему боксировать съ собою; послѣ нѣсколькихъ сильныхъ схватокъ, онъ какъ-будто усталъ, бросилъ рукавицу въ уголъ и заперся въ своей комнатѣ (М. 128).

При столь неблагопріятныхъ условіяхъ воспитанія въ семьѣ, у Байрона образовался характеръ неровный, непостоянный, капризный, болѣе свойственный женщинѣ, чѣмъ мужчинѣ. «*Nil fuit unquam sic impar sibi* [1])» написалъ о немъ Медвинъ, который наблюдалъ надъ нимъ въ Италіи (Эльзе 326). «Не было двухъ дней, втеченіи которыхъ онъ оставался бы на себя похожъ»—пишетъ леди Блессингтонъ. «Каждая любимая женщина управляетъ имъ, только леди Байронъ не съумѣла»—говорилъ камердинеръ поэта, Флетчеръ. «Равнодушіе — писалъ о себѣ Байронъ (М. 285)—дѣлаетъ меня нерѣшительнымъ и по наружности капризнымъ. Ничто не запечатлѣвается во мнѣ такъ, чтобы удержать меня. Не то, чтобы я ощущалъ отвращеніе, а просто побужденія дѣйствуютъ на меня слабо, такъ что меня можетъ остановить мелкое препятствіе и вотъ, я не переступлю чрезъ соломинку. Но это не робость, такъ какъ не мало я на своемъ вѣку сдѣлалъ вещей дѣйствительно нахальныхъ». Въ жизни его можно было бы найдти много примѣровъ нерѣшительности; укажемъ здѣсь на одинъ, довольно характерный.

Байронъ хотѣлъ прервать свою связь съ г-жею Гвиччоли, рѣшилъ возвратиться въ Англію и написалъ пріятелямъ о скоромъ своемъ пріѣздѣ туда. Но вдругъ, онъ получилъ извѣстіе изъ Равенны, что Гвиччоли серьезно заболѣла. Между тѣмъ все уже было приготовлено къ отъѣзду, вещи находились въ гондолѣ, самъ Байронъ

---

[1]) «Никогда никто не бывалъ такъ непохожъ на себя».

былъ уже въ шляпѣ, перчаткахъ и съ тросточкой въ рукѣ. Но вотъ, онъ медлитъ, выискиваетъ предлогъ и объявляетъ, что если пробьетъ часъ передъ окончаніемъ сборовъ (а все уже было готово), то онъ въ этотъ день не поѣдетъ. Часъ пробилъ, поэтъ остался и, чрезъ нѣсколько дней, выѣхалъ, но не въ Англію, а — въ Равенну. Такія колебанія являлись у него именно въ тѣхъ случаяхъ, когда слѣдовало обдумать что-нибудь хладнокровно, старательно, и помужски принять положительное рѣшеніе. Зато, у него, какъ у всѣхъ людей нервныхъ, а чаще всего у женщинъ, принятіе рѣшенія являлось чрезвычайно быстро, даже стремительно, когда онъ былъ чѣмъ-нибудь возбужденъ, затронутъ, когда задѣта была его гордость, а въ особенности его тщеславіе. Изъ этой необходимости особыхъ возбужденій, для того чтобы совершился процессъ развитія идей, и истекала та его эгоистичность, на которую такъ часто указывали и въ которой онъ самъ признавался. Это былъ эгоизмъ особаго рода: щедрый, великодушный, готовый на самыя большія пожертвованія, и имуществомъ и самимъ собою, Байронъ не могъ однако ни для кого отказаться отъ минутнаго желанія, пожертвовать хотя бы мелкой своей прихотью. Его чрезвычайное самолюбіе представлялось такой чертой, которая болѣе свойственна женскому умственному складу; въ самолюбіи его было много тщеславія, дэндизма, кокетничанья, желанія прельщать, привлекать къ себѣ, окружать себя поклонниками. Человѣкъ этотъ, хотѣвшій прежде всего быть свѣтскимъ, хваставшійся, что заботится болѣе о приличіи своего костюма, чѣмъ о своей поэзіи, выказывалъ тѣмъ не менѣе вкусы выходца изъ низшихъ сферъ, имѣлъ слабость къ яркости и пестротѣ, къ ношенію мундировъ.

Въ одномъ изъ своихъ произведеній, въ трагедіи «Сарданапалъ», написанной въ 1821 г., въ Равеннѣ, Байронъ изобразилъ себя преимущественно со стороны мягкости своей натуры и отсутствія всякаго закала въ

характерѣ. Надъ этой пьесой, посвященной «величайшему» изъ жившихъ въ то время поэтовъ — Гёте — «его литературнымъ вассаломъ», стóитъ нѣсколько остановиться. Канва для нея взята совершенно произвольная, лишенная всякаго мѣстнаго и историческаго колорита, и на такомъ фонѣ выписана одна, господствующая надъ всѣмъ (какъ обыкновенно у Байрона) фигура — молодого человѣка, котораго губитъ не деспотическій, а наоборотъ добрый и человѣчный нравъ; избався онъ отъ такого расположенія, начни онъ править съ жестокостью, проливать кровь, и онъ былъ бы спасенъ, сталъ бы даже могуществен̣ъ, какъ Нимвродъ или Семирамида, былъ бы еще при жизни причтенъ къ сонму боговъ. «Родясь въ избѣ—онъ могъ бы государство себѣ добыть; рожденный для вѣнца — онъ по себѣ оставилъ только имя... Его бы слѣдовало заставить предводительствовать войскомъ, а не гаремомъ». Сарданапалъ не годится въ цари, потому что настроеніе его такое: «Мнѣ ненавистны всѣ страданія—въ другихъ-ли ихъ вселяю, терплю-ли самъ, вѣдь всѣ мы отъ раба послѣдняго до перваго монарха, достаточно страдаемъ для того, чтобъ бѣдствія земнаго гнетъ природный не умножать, но роковой удѣлъ, намъ посланный судьбою, стараться только услугами другъ-другу облегчать.... Клянусь звѣздами неба, открытыми халдеянамъ—клянусь, безумные рабы вполнѣ достойны, чтобъ въ собственныхъ желаніяхъ они нашли себѣ проклятье и чтобъ къ славѣ я ихъ повелъ». Рабы, которые на его счетъ разжирѣли и обогатились, которыхъ онъ поставилъ такъ, что каждый изъ нихъ живетъ царемъ у себя въ домѣ, злоумышляютъ на его жизнь (актъ IV). Сарданапалъ объ этомъ знаетъ, но не раскаевается: жизнь его слагается изъ любви. «Если меня ненавидятъ, то вѣдь потому, что я ихъ не ненавижу, если возстаютъ противъ меня, то вѣдь за то, что я не притѣсняю ихъ». Неустрашимый, но по своему, Сарданапалъ выступаетъ на битву съ мятежниками — съ от-

крытой головой, не желая надѣть шлема: «истый Кавказъ! на головѣ гора»...

Никакія требованія политики или церемоніала, никакія традиціи не могутъ его заставить отказаться хотя бы отъ одной минуты удовольствія, наслажденія. «Пиръ отмѣнить? Да ни за что на свѣтѣ, на зло всѣмъ мятежникамъ, пусть себѣ бунтуютъ. Не поблѣднѣю я, минутой раньше я не встану отъ стола, не отниму чашу отъ устъ, въ вѣнкѣ ни одного цвѣточка не убавлю, ни одного не потеряю наслажденья». Изъ всѣхъ открытій самымъ великимъ ему представляется изобрѣтеніе Вакха— безсмертный виноградный сокъ. Сарданапалъ самъ осуждаетъ себя передъ женой: «я полный рабъ случайности и собственныхъ влеченій» (IV), и поддаваясь страсти, самъ опредѣляетъ безуміе страсти какъ не мужское дѣло (III). Онъ погибаетъ потому, что онъ—фантазеръ, который, царствуя, поступаетъ вопреки условіямъ, поддерживающимъ власть и вопреки правиламъ самаго разсудка. По его же словамъ, онъ останется «загадкой, которой подражать едва ли кто захочетъ, хотя ея легко и не осудитъ; послужитъ же она къ тому, чтобы никто такъ понапрасну не губилъ себя» (V). Послѣднія слова, произносимыя Сарданапаломъ, когда онъ устремляется на пылающій костеръ, заключаютъ въ себѣ квинтэссенцію и самой субъективной поэзіи, которой выраженіемъ былъ байронизмъ: «Ассирія, прощай, счастливой будь, земля моя родная. Прискорбнѣй мнѣ съ отчизною разстаться, чѣмъ съ короной! Прощай, я ничего себѣ не требую, даже могилы».

Для дополненія личной характеристики Байрона, намъ остается коснуться еще одного обстоятельства, которое теперь представляется пустымъ, а между тѣмъ, несомнѣнно повліяло на тонъ его поэзіи, усилило ея мрачность, и даже, какъ вообще полагаютъ, послужило главнымъ поводомъ къ тому, что онъ сдѣлался рѣшительнымъ пессимистомъ и мизантропомъ.

XIX.

Обстоятельство это—физическій недостатокъ Байрона, его хромота. Бывали люди, которые, несмотря на какой-либо физическій недостатокъ, сохраняли веселость духа. Таковъ былъ напр. Вальтеръ Скоттъ. Правда, хромота Вальтера Скотта не мѣшала ему ходить шибко и много и не составляла особеннаго контраста съ его фигурою, такъ какъ онъ не принадлежалъ къ числу красавцевъ. Впрочемъ, можетъ быть, и В. Скоттъ переносилъ бы свой недостатокъ менѣе терпѣливо, еслибы хромота препятствовала ему напр. спастись скорыми шагами отъ дождя или отъ передразниванья уличныхъ мальчишекъ, или еще, еслибы голова его, бюстъ и руки были идеально-красивы, годились бы для статуи Аполлона, а ноги бы напоминали о Вулканѣ. Непріятное состояніе хромаго, осужденнаго на неподвижность, для Байрона усиливалось еще тѣмъ, что онъ былъ полнокровенъ, какъ мать, и до 20-ти лѣтняго возраста былъ толстъ, такъ что ему неизбѣжно угрожали тучность, отяжелѣніе и всѣ послѣдствія подобной комплексіи. Всѣ извѣстія о Байронѣ въ юномъ возрастѣ изображаютъ его мѣшковатымъ толстякомъ, нисколько не отличавшимся красотою. Некрасивая гусеница превратилась въ прекрасную бабочку — въ Кэмбриджѣ, не безъ особыхъ усилій. Чтобы похудѣть, онъ занимался самой насильственной гимнастикой, верховой ѣздой, боксированіемъ, плаваніемъ, но кромѣ того, систематически морилъ себя голодомъ, начиная именно съ 20-го года жизни. Онъ прибѣгалъ еще, для той же цѣли, къ теплымъ ваннамъ и сильнодѣйствующимъ внутреннимъ средствамъ. Когда онъ избавился отъ жира, черты его стали нѣжнѣе, кожа пріобрѣла замѣчательную прозрачность, густые, курчавые, темнорусые волосы сдѣлались мягкими какъ шелкъ. Темноголубые глаза его ежеминутно мѣняли свое выраженіе, то въ нихъ отражалось спокойствіе какой-то глубины неизмѣримой, то сверкалъ огонь, а голосъ онъ имѣлъ чудной, непередаваемой красоты,

музыкальности въ высшей степени привлекательной. Но очаровательная эта наружность была пріобрѣтена посредствомъ такого насилія надъ апетитомъ и такого разстройства здоровья, что въ результатѣ, Байронъ сократилъ свою жизнь, быть можетъ, на цѣлую половину, а нервная раздражительность сдѣлалась нормальнымъ его состояніемъ.

Джиффрсонъ приписываетъ этой убійственной діэтѣ даже усиленіе таланта Байрона, который, самъ увлекшись этимъ талантомъ, окончательно усвоилъ себѣ свои особыя гигіеническія правила, почти совсѣмъ отказался отъ мяса, рѣдко ѣлъ даже рыбу, и питался такими вещами, какъ напр. бисквиты съ содовой водой и картофель съ уксусомъ (М. 145), избѣгалъ напитковъ, содержащихъ алькоголь и даже бордосскаго вина (claret), но зато часто употреблялъ опій, а въ особенности—много соли. «Доза соли—говоритъ онъ—опьяняла меня на минуту, какъ шампанское» (М. 145). Чтобы одолѣть голодъ, онъ жевалъ табакъ, къ опію же и къ коньяку онъ обращался собственно въ минуты сильныхъ потрясеній и нравственныхъ страданій (М. 214).

Преувеличенное развитіе нервной системы осуществлялось насчетъ образованія мускуловъ и жира; Байронъ испортилъ себѣ печень, а желудокъ его, ослабленный голоданіемъ и безпрестаннымъ раздраженіемъ, сталъ наконецъ отказываться отъ пріема пищи. Ко всему этому надо еще прибавить привычку работать только по ночамъ. «Я, даже въ обществѣ любимой женщины не могу оставаться долго, не стосковавшись по моей лампѣ, моей переполненной и перемѣшанной библіотекѣ» (М. 235). Не подлежитъ сомнѣнію, что физическій недостатокъ долженъ былъ сильно отзываться на настроеніи существа столь впечатлительнаго и самолюбиваго; долженъ былъ располагать Байрона къ такому взгляду на самого себя, что онъ — человѣкъ обиженный природою, долженъ былъ внушать ему злость и нареканіе на эту несправедливость, которая не допускала обжалованія и

отмѣны. Очень вѣроятно, что и это обстоятельство, при сознаніи большаго дарованія, повело молодаго Байрона къ стремленію стать великимъ человѣкомъ, пріобрѣсти славу.

Положеніе мальчика, конечно, измѣнилось въ разныхъ отношеніяхъ съ 1798 года, когда онъ сдѣлался лордомъ; на него стали смотрѣть иначе чѣмъ прежде, особенно въ кружкахъ мелкой gentry, сосѣдней съ Ньюстедомъ и Соутвеллемъ, среди которой онъ обращался до поступленія въ университетъ. Хромота должна была уже менѣе тяготить его впослѣдствіи, когда, послѣ выхода въ свѣтъ первыхъ пѣсенъ «Чайльдъ-Гарольда», Байронъ, по собственному выраженію, въ одну ночь сталъ славенъ, когда онъ сдѣлался львомъ салоновъ, когда его носили на рукахъ, когда на балахъ, къ нему были устремлены всѣ взоры, вокругъ него толпились хорошенькія женщины (байрономанки), ловя каждый его взглядъ и каждое слово. Впрочемъ, и съ дѣтства недостатокъ въ сложеніи не давалъ еще права Байрону быть недовольнымъ своей судьбой и своимъ положеніемъ, и, дѣйствительно, не препятствовалъ ему быть исполненнымъ аристократическаго честолюбія, стремиться высоко. Были, конечно, и другія еще причины, кромѣ тѣлеснаго недостатка, вызывавшія въ немъ мизантропическое настроеніе. Презрѣніе къ людямъ сформулировалось имъ уже въ 20-ти лѣтнемъ возрастѣ, въ эпитафіи, вырѣзанной на памятникѣ, подъ которымъ онъ торжественно похоронилъ въ Ньюстедѣ, въ 1808 г. свою собаку, Ботсвена, изъ породы водолазовъ: «Красивъ былъ безъ тщеславія, силенъ безъ нахальства, отваженъ безъ жестокости, всѣ добродѣтели имѣлъ онъ человѣка, а слабостей его не зналъ. Еслибы такую эпитафію посвятить и человѣку, то она показалась бы неприличной лестью». Въ другой, написанной Байрономъ эпитафіи находятся выраженія еще болѣе сильныя и болѣе оскорбительныя для человѣческаго рода: «О человѣкъ, бѣдный арендаторъ минутной жизни, опозоренный рабствомъ или испорченный властью, тотъ кто близко тебя знаетъ,

съ омерзеніемъ отвращается отъ тебя, грязный слѣпокъ оживленнаго праха».

Три года спустя, 11 октября 1811 года, отъѣзжавшій изъ Ньюстеда въ первое свое заграничное путешествіе юноша, не имѣя еще ни достаточнаго знанія жизни, ни славы, отвѣчалъ на совѣтъ пріятеля—отгонять отъ себя заботы—стихами, въ которыхъ уже рисуется героемъ и хвастается какими-то тайнами. «Когда-нибудь услышишь, можетъ быть, о нѣкомъ человѣкѣ, чьи злодѣянья, мрачныя вѣка напомнятъ, кто чуждъ вліянію любви и милосердія, не ждетъ ни славы, ни похвалъ людскихъ, но въ честолюбіи и гордости своей, не содрагается предъ преступленьемъ и въ лѣтопись страшнѣйшихъ анархистовъ внесъ имя новое... Тогда его узнаешь и разгадавъ послѣдствія, ты взвѣсишь, не забывши, чтб было первой ихъ причиной»... Причины весьма неясны, но первою, конечно, надо признать — досаду на миссъ Чауортъ. Ясно, что такое возстаніе на весь родъ людской и показываніе ему кулака безбородымъ подросткомъ, только что сошедшимъ со школьной скамейки, лишено достаточныхъ поводовъ. Но въ то время, это было чѣмъ-то всеобщимъ, повторялось на всѣхъ, отъ ребятъ до старцевъ. Такъ и славнѣйшій изъ русскихъ байронистовъ, молодой Лермонтовъ, писалъ въ 1840 году (I. 192, изд. 1882 г.): «И жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ, такая пустая и глупая шутка».

Остается только признать, что мизантропія совпадала съ духомъ вѣка, покрывая нѣсколько поколѣній какимъ-то умственнымъ трауромъ и создавая особую атмосферу, состоявшую въ близкомъ сродствѣ съ сатирою и человѣкобоязнью Руссб.

Жанъ-Жакъ ненавидѣлъ созданныя цивилизаціею учрежденія и презиралъ цивилизованнаго человѣка, превозносилъ до небесъ природное состояніе; но стараясь возвратить къ нему человѣчество, хотѣлъ однако передѣлать людей на свой образецъ и ограничить ихъ сво-

боду. Пессимизмъ Байрона относится уже не къ учрежденіямъ, но къ самому человѣчеству; обыкновенный, средній человѣкъ для него — существо низкое и достойное презрѣнія. Онъ признаетъ даже, что Наполеонъ былъ правъ въ своемъ деспотизмѣ (извлеченіе изъ записной книжки 1814 г.): «неудивительно, что тотъ, кто знаетъ людей, не можетъ не почувствовать къ нимъ отвращенія, не можетъ ихъ не презирать...» Отсюда является такое пессимистическое и оригинальное оправданіе республики: «чѣмъ болѣе равенства, тѣмъ зло распредѣлено безпристрастнѣе, тѣмъ оно становится легче, такъ какъ распредѣлено между многими; въ этомъ удобство республики» (М. 227). Изъ такихъ пессимистическихъ положеній—даже для умовъ избранныхъ, стоящихъ выше общаго уровня и не стѣсняющихся одними существующими правилами — могутъ логически истекать только заключенія свойства общеотрицательнаго. У Байрона, однако, въ силу страннаго и неожиданнаго оборота, заключеніе выходитъ съ совершенно-инымъ смысломъ, а именно ведетъ къ дѣятельной борьбѣ со зломъ, къ борьбѣ за освобожденіе, къ принесенію себя въ жертву великимъ, отдаленнымъ цѣлямъ, даже безъ надежды одержать побѣду. «Впередъ!—писалъ поэтъ, въ Италіи, въ своемъ дневникѣ подъ цифрой 1821 года (М. 476): —теперь время дѣйствовать. Что значитъ мое «я», если хоть малая искра чего-либо цѣннаго, сохранившагося доселѣ изъ прошедшаго, можетъ быть передана будущности еще не погасшею. Дѣло не въ одномъ человѣкѣ и не въ милліонѣ людей, но въ самомъ духѣ свободы, который должно распространять. Каждая изъ ударяющихъ о берегъ волнъ разбивается, однако такимъ-то образомъ океанъ расширяетъ свои владѣнія, такъ онъ уничтожилъ армаду, подтачиваетъ скалы и, если принять теорію нептунистовъ, то не только поглощалъ, но и создавалъ цѣлые міры». Эта очевидная непослѣдовательность въ соединеніи горькаго пессимизма съ геройской наклонностью къ борьбѣ съ существующимъ на свѣтѣ зломъ,

представляла собою—только въ бóльшемъ размѣрѣ и въ примѣненіи къ цѣлому человѣчеству — то, чтò мы нерѣдко встрѣчаемъ въ жизни, а именно, что подъ ненавистью можетъ скрываться горячая любовь къ возненавидѣнному предмету. Пушкинъ, который ранѣе Лермонтова представлялъ въ Россіи байроновское направленіе, нашелъ особое выраженіе, чтобы обозначить такое умственное состояніе—сердитой вражды къ чему-либо сочувственному и нареканій на него, вслѣдствіе разочарованія любви; выраженіе это—«озлобленный умъ», то есть такой, который издѣвается и хулитъ отъ избытка любви, и только потому, что представляетъ себѣ возможность лучшей дѣйствительности.

Такая внутренняя разорванность на недовѣріе и вмѣстѣ привязанность, составляющая содержаніе и основную привлекательную черту поэзіи Байрона, отражается еще яснѣе въ его религіозности. Мицкевичъ, который, въ извѣстной порѣ жизни былъ сильно проникнутъ Байрономъ и стало быть хорошо зналъ духъ его поэзіи, считалъ его глубоко-вѣрующимъ и религіознымъ человѣкомъ («Письма» Одыньца, Разговоры на Лидо въ 1829 г.). Между тѣмъ, общее осужденіе, съ какимъ отнеслось къ Байрону англійское общество, было вызвано именно его безвѣріемъ, его вольтерьянствомъ; согласно съ этимъ взглядомъ, и Пушкинъ въ байроновскомъ періодѣ своего развитія, во время пребыванія въ Одессѣ, признавалъ и себя, и своего учителя совершенными атеистами. Не можетъ быть сомнѣнія, что Байроновская поэзія не имѣла бы успѣха, если бы не вторила возрожденію въ обществѣ религіознаго чувства послѣ французской революціи. Замѣтимъ, что самъ Байронъ отрицалъ приписываемый ему атеизмъ (М. 246) и считалъ себя, по своему, хорошимъ христіаниномъ, выражалъ даже свою склонность къ религіи осязательной (tangible), т. е. чувственной (письмо къ Муру, по поводу «Каина», 555). Согласно съ этимъ, онъ неоднократно выказывалъ, особенно во время пребыванія въ Италіи, нѣкоторую наклонность къ католи-

цизму, не доходившую однако до признанія какого-либо установленнаго, скрѣпленнаго авторитетомъ символа вѣры, «Я вовсе—не ханжа невѣрія—говорилъ онъ—и зато, что мнѣ приходили сомнѣнія относительно безсмертія души, не думаю чтобы меня можно было упрекать въ отрицаніи бытія Божія. Только малость обитаемаго нами мірка побуждала меня вообразить себѣ, что притязанія наши на безсмертіе, быть можетъ, преувеличены» (М. письмо 1813 г. 187).

Изъ такихъ условій истекалъ скептицизмъ, колебавшійся на остріѣ того вопроса, котораго основательнымъ изслѣдованіемъ и разрѣшеніемъ Байронъ вовсе не задавался. «Удивляюсь — пишетъ онъ — какъ можно было сотворить подобный міръ. Для какой же цѣли сотворены напр. короли, дэнди, и члены университетскихъ коллегій, и женщины извѣстныхъ лѣтъ, да и разные люди всякаго возраста, хотя бы я самъ? Есть ли что̀ либо за предѣлами нашего міра—кто это знаетъ? Тотъ, кто не скажетъ. А кто говоритъ, что есть? Тотъ, кто не знаетъ» (М. 228). Этотъ капризный скептицизмъ представлялъ только одну игру, а не убѣжденіе. Въ помѣщенныхъ у Мура (228) позднѣйшихъ извлеченіяхъ изъ бумагъ Байрона находятся нѣкоторые, не совсѣмъ однако удачные опыты поэта доказать безсмертіе души, такимъ соображеніемъ, что душа наша остается постоянно дѣятельною, даже при бездѣйствіи тѣла и во время сна, стало быть возможна отдѣльная ея дѣятельность. Но Байронъ не пришелъ ни къ положительному, ни къ отрицательному отвѣту на такіе вопросы, потому что онъ не разсуждалъ, а только руководился инстинктомъ сердца. Въ 1814 г. онъ писалъ Мёррею (Муръ 218) о Джиффордѣ: «можетъ быть, онъ и правъ въ политикѣ, но у меня политика—чувство, и я не могу превозмочь своей природы». Тоже самое можно примѣнить и къ воззрѣніямъ поэта на вопросы религіозные. Его религія исходила единственно изъ чувства и притомъ чувства, дѣйствовавшаго на основаніи впечатлѣній, пріобрѣтенныхъ

въ дѣтствѣ и соотвѣтствовавшихъ врожденной наклонности.

Эти первыя впечатлѣнія вынесены были изъ строгаго кальвинизма, съ его предвзятымъ убѣжденіемъ въ неисправимости человѣчества, съ его ученіемъ о предназначеніи однихъ людей къ спасенію, другихъ къ вѣчному осужденію и съ его особенной привязанностью къ Ветхому Завѣту (1821 г. обращеніе Байрона къ д-ру Кеннеди. М. 600). «Мнѣ очень рано—говоритъ Байронъ—опротивѣла шотландская кальвинская школа, въ которой меня приколачивали къ церкви, въ первые десять лѣтъ моей жизни». Затѣмъ, онъ, конечно, долженъ былъ испытать на себѣ вліяніе духа вѣка, который велъ къ одновременному упраздненію и духовенства, и церкви, и самой религіи. Рѣзкихъ выходокъ, въ которыхъ цѣликомъ отражается антирелигіозный XVIII вѣкъ, встрѣчается у Байрона множество. «Подлое духовенство — писалъ онъ въ 1822 году (М. 550)—причинило религіи болѣе вреда, чѣмъ всѣ безбожники, забывшіе катехизисъ». Самыя сильныя мѣста въ «Молитвѣ Природы» посвящены духовенству: «Пусть ханжи потрясаютъ зазженнымъ факеломъ, пусть суевѣріе восхваляетъ костёръ, пусть попы, для поддержанія своей мрачной власти, дурачатъ сказками таинственныхъ обрядовъ»... Изъ соединенія основъ христіанскаго катехизиса съ толкованіями кальвинизма произошло своеобразное растеніе: глубокая, но не церковная религіозность, анти-обрядовая, анти-вѣроисповѣдная, вѣротерпимость столь-же сознательная и возвышенная, какъ у Лессинга. Эта анти-вѣроисповѣдная религіозность и сдѣлалась однимъ изъ главныхъ догматовъ того либерализма, котораго Байронъ являлся знаменосцемъ для всей Европы. Въ записной книжкѣ, веденной въ Кэмбриджѣ въ 1807 году, находимъ слѣдующія слова (М. 47): «ненавижу религіозныя книги; люблю Бога, но безъ богохульственныхъ сектантскихъ понятій и безъ 39 статей». — «Не знаю, кто для меня ненавистнѣе (1822 г. М. 554): нахальный ханжа, всегда готовый

къ осужденію, или дерзкій, все отрицающій безбожникъ. Furiosa res est in tenebris impetus» (M. 652 [1]). — «Напрасно бы мнѣ велѣли вѣровать, а не разсуждать; это—всеравно, что приказывать человѣку не бодстровать, а спать. Еще хуже—угроза муками; не могу освободиться отъ мысли, что устрашеніе адомъ порождаетъ столько же дьявольскихъ характеровъ, сколько всякіе уголовные кодексы производятъ преступниковъ». Въ «Часахъ праздности» помѣщена прелестная, уже упомянутая «Молитва Природы», написанная въ 1807 году. Она сильно отмѣчена той особенной религіозностью, которой свойства были опредѣлены въ предшествующемъ, но стихотвореніе это основано еще, почти вполнѣ, на догматахъ кальвинизма. Отъ этихъ религіозныхъ воззрѣній, высказанныхъ 19-ти лѣтнимъ юношей, значительно уже удаляется та религіозность, какая выражается въ «Чайльдъ-Гарольдѣ», а еще болѣе—та, которая проглядываетъ въ «Каинѣ» или «Донъ-Жуанѣ». Но различіе здѣсь собственно—въ оттѣнкахъ, почва же одна и таже. Байронъ не былъ никогда тѣмъ, что французы называютъ *esprit fort*. Въ его умѣ постоянно боролись между собою два непримиримыхъ принципа: кальвинистское — «*вѣрую въ развращенность человѣческой природы вообще, а моей собственной въ особенности*» и высказанное самимъ Байрономъ (M. 665), вполнѣ Жан-Жаковское—«*человѣкъ страстенъ по тѣлесной своей природѣ но у него есть врожденная въ первоначальномъ источникѣ разума, хотя и скрытая склонность любить добро*». Между этими, взаимно-противоположными воззрѣніями постоянно колебалось то великое, благородное и отважное сердце поэта, которое само было выше ихъ. Мрачный догматъ, который внушался ему въ юные годы, угрожалъ, какъ Дамокловъ мечь, висѣвшій надъ умомъ, заботившемся о своемъ спасеніи. Благородное сердце возмущалось противъ этого

---

[1]) «Ужасная вещь—стремительность во мракѣ».

узкаго догмата съ его безчеловѣчными послѣдствіями, отрицало адъ и муки. Но послѣ каждаго такого мятежнаго взрыва, проявлялось у поэта опасеніе — не ошибается ли онъ, угадалъ ли онъ истину? Среди этихъ сомнѣній и колебаній прошла вся его жизнь.

XX.

Представимъ теперь вкратцѣ начало поэтической дѣятельности Байрона. Молодой лордъ былъ, относительно говоря, весьма не богатъ, такъ что, уже по полученіи званія пэра, король назначилъ его матери ежегодное пособіе въ 300 фунтовъ изъ собственныхъ доходовъ. Ньюстедъ пришлось отдать въ аренду. Среди знати не оказалось такихъ родственниковъ, которые пожелали бы заявить о своемъ родствѣ съ Байрономъ. Извѣстно, что когда по достиженіи совершеннолѣтія ему предстояло занять свое мѣсто въ палатѣ лордовъ, то опекунъ его, графъ Карлейль устранился отъ услуги ввести его въ палату и Байронъ не нашелъ въ числѣ пэровъ ни одного, котораго бы онъ могъ просить объ оказаніи ему этого одолженія, такъ что, вопреки обычаю, онъ долженъ былъ войти въ залъ засѣданій одинъ. Но тѣмъ надменнѣе онъ сталъ держать себя; послѣ принесенія присяги, лордъ-канцлеръ, предсѣдательствующій въ палатѣ (Эльдонъ), подалъ ему, по обычаю, свою руку, но Байронъ едва коснулся ея пальцами и затѣмъ объяснялъ это такъ: «если-бы я пожалъ ему руку, онъ бы счелъ меня приверженцомъ своей партіи (виговъ), а я не хотѣлъ, чтобы меня причисляли ни къ той, ни къ другой партіи». Между тѣмъ, Байронъ, всетаки, былъ вигомъ, какъ по родовой традиціи и по вліянію матери, такъ и подъ дѣйствіемъ той среды, въ которой онъ жилъ до своего вступленія въ Кэмбриджъ. Тогдашніе его знакомые были изъ самаго скромнаго дворянства, и обращеніе въ ихъ средѣ, а также въ средѣ простыхъ людей, принесло

ему ту пользу, что сблизило его съ народомъ. Политическимъ героемъ Байрона былъ Фоксъ: молодой лордъ мечталъ о политической и парламентской дѣятельности, о лаврахъ славнаго оратора. Въ политикѣ Байронъ былъ крайнимъ радикаломъ, убѣжденія его, по отношенію къ тому времени, были самыя передовыя. Выше всѣхъ людей онъ ставилъ Вашингтона («Чайльдъ-Гарольдъ» IV. 96), питалъ удивленіе къ Кромвеллю (тамъ-же, IV. 85), этому «безсмертному мятежнику и мудрѣйшему изъ узурпаторовъ». Но вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ еще въ Гарроу дрался съ товарищами, защищая отъ нихъ бюстъ Наполеона, любимаго своего героя, который они хотѣли разбить». Въ Кэмбриджѣ Байронъ жилъ на большую ногу: держалъ псарню, лошадей, прирученнаго медвѣдя, надѣлалъ долговъ на 10.000 фунтовъ втеченіи двухъ лѣтъ, занимался стрѣльбой въ цѣль изъ пистолета, игралъ въ азартныя игры на немалыя суммы, и писалъ стихи, которые печаталъ—для друзей («Ранніе часы», январь 1807 г.), а затѣмъ издалъ ихъ въ свѣтъ въ мартѣ 1807 г. подъ заглавіемъ: «Часы Праздности».

Спустя 9 мѣсяцевъ, въ мартѣ 1808 г. появилась въ издававшейся въ то время Джеффреемъ «Edinburgh Review» статья безъ подписи, которая немилосердно и несправедливо отдѣлывала новаго стихотворца, какъ недоучившагося мальчика—барича. Критика эта, по всей вѣроятности, исходила не отъ Джеффрея и не отъ лорда Брума (которому ее приписалъ Байронъ), но отъ сонма старшинъ университетскихъ, отъ нѣсколькихъ тюторовъ Кэмбриджскихъ коллегій, которымъ не понравились сатирическія выходки автора стихотвореній—противъ метода преподаванія, экзаменовъ и разныхъ университскихъ обычаевъ. Байрона критика эта задѣла до глубины души и она то пробудила въ молодомъ лирикѣ—сатирическаго поэта, снабженнаго львиными когтями. Бѣшенство свое онъ скрывалъ, не сообщилъ никому, какъ оскорбила его упомянутая статья, но рѣшился хорошенько за нее отплатить; перемѣнилъ образъ жизни, съ Кэмбриджемъ пре-

кратилъ почти всѣ сношенія, чувствуя, что большинство воспитателей и даже товарищей стояли на сторонѣ замаскированныхъ его противниковъ. Онъ пріѣхалъ въ Кэмбриджъ только для полученія академической степени и писалъ Гарнессу: «alma mater была мнѣ injusta noverca[1]), этотъ старый Бедламъ [2]) предоставилъ мнѣ академическую степень, потому что не могъ отказать въ ней; тебѣ извѣстно, какіе фарсы долженъ разыгрывать *nobilis* Кантабъ (М. 79)».

По наружности, жизнь онъ велъ разгульную и развратную, особенно если принимать буквально, строфы 2 и 7 пѣсни «Чайльдъ-Гарольда», гдѣ фигурируютъ паѳійскія дѣвы и кутила: «предавшись грязнымъ грѣхамъ и шумнымъ пирушкамъ, онъ не искалъ товарищей иныхъ профессій, какъ только женщины подозрительной репутаціи и льстецы, благо-и не благородные». Окончательно освободившись отъ власти матери, Байронъ жилъ въ Лондонѣ или въ Соутвеллѣ, посѣщалъ съ товарищами танцовальные вечера и театры, подружился съ первымъ фехтовальщикомъ въ Лондонѣ Джэксономъ, и возилъ съ собою въ Брайтонъ хорошенькую дѣвушку, переодѣтую мальчикомъ, которую онъ и представлялъ своимъ знакомымъ за своего кузена Гордона. Поселившись у себя въ имѣніи, въ Ньюстедѣ, незадолго до наступленія своего совершеннолѣтія, Байронъ велъ себя здѣсь очень эксцентрично: у воротъ держалъ на цѣпи медвѣдя и волка, въ залѣ забавлялся съ гостями стрѣльбой изъ пистолетовъ. Вставали у него очень поздно, при концѣ обѣда бордò подавалось не въ круговомъ кубкѣ, по обычаю того времени, но въ отполированномъ и оправленномъ въ серебро человѣческомъ черепѣ. Иногда хозяинъ съ гостями одѣвались монахами, при чемъ хозяинъ представлялъ собою игумена, веселыя пирушки длились до поздней ночи. Во всѣхъ этихъ чудачествахъ было, впрочемъ, болѣе

---

[1]) злою мачихой.

[2]) домъ умалишенныхъ.

эксцентричности, чѣмъ разврата, паѳійскими дѣвами были просто-напросто двѣ-три горничныя съ кухаркой, мнимыми льстецами—Матьюзъ, Дэвисъ, Геджсонъ и Гобгоузъ, хорошіе и почтенные кэмбриджскіе товарищи, нѣсколько соутвелльскихъ знакомыхъ и преподобныхъ пасторовъ изъ сосѣдства. Пиры были не особенно часты, такъ какъ пировать было не на что: хлѣбъ, вино, уголь—все было въ кредитъ. Подговаривая другихъ ѣсть и пить, Байронъ самъ энергично продолжалъ то лѣченіе себя голодомъ, которое имъ было предпринято въ 1807 г., чаще чѣмъ когда-либо уединялся, запирался въ кабинетъ и приготовлялъ отмёстку своимъ критикамъ. Это была извѣстная сатира «Англійскіе барды и шотландскіе обозрѣватели», на сочиненіе которой онъ посвятилъ весь 1808 годъ.

Въ январѣ 1809 г. состоялось въ Ньюстедѣ торжество во вкусѣ феодальномъ, въ честь совершеннолѣтія молодого владѣльца; изжаренъ былъ цѣльный быкъ, устроены танцы для фермеровъ и слугъ, выпито изрядное количество виски и элю,—на бóльшее великолѣпіе не хватало средствъ. Послѣ этого пиршества, Байронъ отправился въ Лондонъ, чтобы занять свое мѣсто въ верхней палатѣ и напечатать свою рукопись. Обиженный лордомъ Карлейлемъ, который не захотѣлъ быть его ассистентомъ при вступленіи въ палату, Байронъ и для него вставилъ рѣзкую выходку въ своей сатирѣ. Черезъ нѣсколько дней по совершеніи церемоніи, происходившей 15 марта 1809 г., сатира вышла въ свѣтъ и имѣла успѣхъ, который вознаградилъ автора съ лихвою за перенесенное имъ униженіе, такъ какъ смѣхъ былъ теперь на сторонѣ Байрона. Произведеніе это имѣло однако только временное значеніе, а теперь не представляетъ цѣнности. Отъ сатирическаго бича поэта досталось всѣмъ, кто фигурировалъ въ то время на англійскомъ Парнассѣ и пользовался расположеніемъ шотландскихъ рецензентовъ. Но большинство тѣхъ писателей нынѣ забыты, а нѣкоторые, хотя и памятны, но только по имени, а не по своимъ

произведеніямъ, какъ напр. Вордсуёртъ и Кольриджъ, такъ называемые «озёрники» или «лакисты» [1]) .Относительно формы, сатирикъ является ученикомъ По́па, такъ какъ форма изящна, вполнѣ классична; онъ отказывалъ въ признаніи тогдашнимъ новымъ поэтамъ, а восхвалялъ старыхъ—По́па, Дрейдена, Отвэя—украшенныхъ пудреными париками мастеровъ старой школы. Передъ большей частью тѣхъ, кого онъ въ то время отдѣлалъ, Байронъ впослѣдствіи извинился и подружился съ ними (В. Скоттъ, Муръ, лордъ Голлендъ т. е. Фоксъ, лордъ Мельборнъ и мн. др.). Боецъ былъ очень молодъ и неопытенъ, а кровь въ немъ билась горячо, и вотъ этотъ боецъ, пустивъ свой мечъ кругомъ, по одному изъ пріемовъ фехтовальнаго искусства, задѣлъ имъ множество людей, причемъ доказалъ, что умѣетъ попадать и обладаетъ достаточнымъ запасомъ злости.

По совершеніи задуманной давно экзекуціи, ничто уже не удерживало Байрона отъ путешествія на востокъ, которое также было давнишней его мечтою. Это путешествіе заняло два года съ тремя недѣлями (съ іюня 1809 по іюль 1811 г.). Совершилъ онъ эту поѣздку на деньги, занятыя за высокіе проценты у ростовщиковъ, въ надеждѣ на успѣшный исходъ начатаго имъ процесса о вознагражденіи за незаконно проданный прежнимъ владѣльцемъ Рочдэль. Лиссабонъ, Севиллья, Кадисъ, Мальта, берегъ Албаніи, Миссолунги, Аѳины, Смирна и Константинополь—таковы были главные этапы путешествія, при которомъ онъ познакомился съ природой почти еще дикой, испыталъ много сильныхъ впечатлѣній, ночевалъ то въ дворцахъ, то въ хлѣвахъ или подъ открытымъ небомъ, бесѣдовалъ то съ пашей, то съ пастухомъ (М. 24), обогатилъ свое воображеніе всѣмъ блескомъ горячего южнаго колорита и вмѣстѣ щеголялъ, иногда среди людей полудикихъ (напр. у телепенскаго Али-паши въ Албаніи) въ пэрскомъ,

[1]) lake—озеро

шитомъ золотомъ, красномъ мундирѣ и повсемѣстно требовалъ отданія себѣ, какъ пэру Англіи, чуть-ли не царскихъ почестей. Отъ продолженія путешествія въ края болѣе отдаленные его удержалъ недостатокъ средствъ, и Байронъ неохотно возвратился въ Лондонъ въ іюлѣ 1809 г., зная впередъ, что первый, кого онъ встрѣтитъ, будетъ—стряпчій, второй—кредиторъ, а что за ними, его окружитъ цѣлая орда поставщиковъ угля, фермеровъ, судебныхъ приставовъ (М. 115).

Въ началѣ августа того же года Байронъ лишился матери и ближайшаго своего кэмбриджскаго пріятеля С. Матьюза, о которомъ онъ отзывается такъ: «всѣ люди, какихъ я знавалъ, передъ нимъ — пигмеи; на всемъ, что имъ сдѣлано или сказано, лежитъ печать безсмертія» (М. 135 — 137). Поэтъ сильно упалъ духомъ, чувствовалъ себя лишеннымъ руководства и пріязни, мучился мыслью, которая преслѣдовала его и позднѣе (Муръ 401), что все любимое имъ гибнетъ, что онъ всѣмъ приноситъ несчастье, что не можетъ сохранить при себѣ даже собаку, которая къ нему привязалась. Къ этому времени относится завѣщаніе (М. 131), въ которомъ онъ проситъ, чтобы его похоронили рядомъ съ его собакой Ботсвеномъ и безъ всякаго церковнаго обряда. Но это мрачное настроеніе было непродолжительно. Въ началѣ 1812 года (29 февраля и 2 марта) ему улыбнулось счастіе: онъ встрѣтился съ двойнымъ успѣхомъ — въ парламентѣ и въ литературномъ мірѣ. Послѣдній успѣхъ, явившійся черезъ два дня послѣ перваго, имѣлъ, разумѣется, еще несравненно бо́льшее значеніе. Парламентскимъ успѣхомъ была первая произнесенная имъ въ палатѣ лордовъ рѣчь, изъ которой вывели предположеніе (лордъ Голлендъ и Шериданъ), что онъ будетъ великимъ ораторомъ. Пренія происходили по вопросу о мѣрахъ къ усмиренію волненія лишенныхъ работы фабричныхъ, предпринявшихъ массовой разгромъ мастерскихъ въ промышленныхъ графствахъ Англіи. Какъ истинный вигъ, Байронъ горячо защищалъ ту,

«такъ называемую чернь, которая насъ кормитъ, защищаетъ и даетъ намъ возможность относиться съ пренебреженіемъ къ остальному міру, но которая и сама станетъ пренебрегать вами, если вы не будете о ней заботиться». Онъ показывалъ, въ качествѣ очевидца, что въ Англіи рабочимъ хуже, чѣмъ въ Турціи и въ Португаліи. Въ рѣчи его было много декламаціи: сопоставлялись Драконъ и лордъ Джефрисъ, судья съ 12-ю присяжными мясниками, фигурировали висѣлицы и драгонады, были насмѣшки надъ методою лѣченья посредствомъ полицейской отварной воды и военныхъ ланцетовъ. Этотъ легкій успѣхъ, можно сказать, убилъ въ Байронѣ оратора; онъ говорилъ потомъ еще два раза въ палатѣ, но его уже слушали менѣе внимательно, онъ охладѣлъ къ парламентской дѣятельности и совершенно отдался поэзіи. Другимъ успѣхомъ Байронъ былъ обязанъ двумъ первымъ пѣснямъ «Чайльдъ-Гарольда», послѣ изданія которыхъ записалъ въ своемъ дневникѣ: «I awoke one morning and found myself famous [1])». Надъ этимъ произведеніемъ, которое уже обѣщало такъ много, мы нѣсколько остановимся.

XXI.

Мы разсмотримъ здѣсь только первыя двѣ пѣсни изъ поэмы «Паломничество Чайльдъ-Гарольда», такъ какъ двѣ послѣднія относятся уже къ иному періоду. Двѣ первыя и представляли собой только обѣщаніе, не болѣе. Самое возникновеніе ихъ было случайное. Въ свое пребываніе на югѣ, Байронъ, бывшій тогда классикомъ, занимался продолженіемъ своей сатиры на лордовъ и рецензентовъ, въ острыхъ стихахъ, по формѣ напоминавшихъ Пóпа, а сверхъ того—парафразою Гораціева письма о «поэтическомъ искусствѣ (Ad Pisones de arte poëtica)»—

---

[1]) «Однажды, утромъ я проснулся и увидалъ, что сталъ славенъ».

«Hints of Horace». Но рядомъ съ этимъ лишеннымъ цѣны, классическимъ балластомъ, у поэта было начатое въ Албаніи собраніе путевыхъ впечатлѣній, въ строфахъ на манеръ Спенсера («Fairy Queen», въ XVI стол.). Когда родственникъ Байрона Далласъ, которому поэтъ, гнушавшійся въ то время продажей своего авторскаго труда, отдавалъ весь свой гонораръ, просмотрѣлъ эти строфы, то призналъ ихъ имѣющими большую цѣнность. При дальнѣйшей ихъ обработкѣ, Байронъ выкинулъ разныя мѣста характера сатирическаго, съ оттѣнкомъ комизма, въ силу которыхъ первоначальное очертаніе этого произведенія, по характеру своему, приближалось къ «Беппо» и «Донъ-Жуану». Переработка эта сообщила «Чайльдъ-Гарольду» болѣе цѣльности въ духѣ возвышеннаго лиризма. Несмотря на такія передѣлки, пѣснямъ этимъ недостаетъ склейки, внутренней связи, и скитанія Чайльдъ-Гарольда не составляютъ собственно поэмы. Перо автора набрасываетъ на быстро смѣняющихся листкахъ бумаги—эскизы природы, бытовыхъ сценъ и полученныхъ впечатлѣній. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по этимъ листкамъ съ одного на другой передвигается послѣдовательно фигура въ черномъ одѣяніи пилигрима, сопровождаемая оруженосцемъ, въ роли котораго является Флетчеръ, и пажемъ, то есть слугой-подросткомъ Рештономъ. Фигура эта—молчаливая; странникъ не вдается въ разговоры, онъ только извлекаетъ порою меланхолическіе звуки изъ своей лютни. Нѣтъ ничего общаго между канвой пѣсенъ, похожей на панораму, и этимъ героемъ въ траурѣ, котораго намъ авторъ хочетъ выдать за лицо вымышленное. Это—молодой мотъ, знатнаго рода, съ горькой усмѣшкою на устахъ, пускающійся въ путь—не ко святой землѣ и обѣтованному граду, а такъ, куда глаза глядятъ, изъ края въ край, гонимый какъ Ахасверъ, но только—скукою, которая никогда его не оставляетъ, что̀ бы онъ ни видѣлъ, кого бы ни встрѣтилъ, тоскою, которая отравляетъ ему радость молодыхъ лѣтъ, той ржавчиной жизни, какую создаетъ демонъ мысли (строфы къ Инесѣ, въ 1 пѣсни «Ч. Гар.»). Его

паломническая одежда авторомъ выдумана; это—простое домино, да и маска не пристала плотно къ лицу; Чайльдъ-Бюрёнъ (Child Burun—такъ первоначально долженъ былъ называться пилигримъ) напрасно назвался Чайльдъ-Гарольдомъ, въ немъ всякъ узналъ самого пѣвца; онъ слишкомъ знакомъ, да впрочемъ, вотъ онъ уже упомянулъ и о матери, и о сестрѣ, объ умершихъ друзьяхъ и умершей своей возлюбленной (Мэри Паркеръ.—П. 96). Пѣвецъ этотъ, хотя нѣсколько и позируетъ, сравнивая себя съ отверженнымъ Каиномъ («какъ Каина печать, на немъ клеймо чернѣетъ пресыщенья» «Ч. Г.» 183), тѣмъ неменѣе дѣйствительно страдаетъ тѣмъ, на что жалуется, а потому и читателя заставляетъ страдать съ нимъ. И всетаки—онъ такъ еще молодъ, горечь не успѣла еще проникнуть насквозь его природу, а лишь отмѣтила его пятнышкомъ отчаянія. Испытанныя разочарованія еще не превратили его въ циника, въ немъ осталось еще столько энтузіазма, онъ такъ быстро воспламеняется поочередно—идеями боя и славы, свободы, рыцарства, безсмертной красотой мраморныхъ боговъ древней Эллады, его повергаютъ въ восторгъ самыя имена Олимпа и Додоны, Дельфъ, Саламины и Мараѳона...

Впрочемъ, такая стремительная восторженность, внезапно вырывающаяся изъ тумана меланхоліи, являлась въ то время (но тогда только) теченіемъ преобладавшимъ въ общей совокупности національныхъ чувствъ и стремленій всего англійскаго общества. Но были еще и нѣкоторыя второстепенныя причины огромнаго успѣха первыхъ же пѣсенъ Байроновской поэмы. Поэтъ прославлялъ борьбу испанцевъ и португальцевъ противъ французскаго господства, но вѣдь вмѣстѣ съ первыми сражались со славой англійскія вспомогательныя войска. Народу, наиболѣе пристрастному къ приключеніямъ и къ географическимъ открытіямъ, поэтъ описывалъ, какъ съ опасностью жизни, онъ знакомился съ албанскими разбойниками и пировалъ съ ними при кострѣ, почти совсѣмъ такъ, какъ во времена Гомера. Англійскій народъ весьма

религіозенъ и притомъ религіозность свою носитъ напоказъ; поэтъ употреблялъ такія апострофы, какъ напр.: «O Christ!» (I. 15); онъ вѣруетъ въ Провидѣніе, предъ которымъ человѣкъ колѣнопреклоняется (I. 55) и мечтаетъ соединиться съ душами умершихъ друзей своихъ (II. 9). Но, и независимо отъ такихъ второстепенныхъ условій, въ первыхъ пѣсняхъ «Чайльдъ-Гарольда» было то, чтó главнымъ образомъ рѣшаетъ о судьбѣ поэтическаго произведенія: была красота, было чарующее мастерство риѳмы. Внезапно появился лирическій поэтъ, не имѣвшій себѣ подобнаго въ Англіи, и произвелъ такое впечатлѣніе, что В. Скоттъ по выходѣ поэмы Байрона совсѣмъ отказался отъ стиховъ. Проявился лирическій поэтъ, которому не было равнаго въ то время и въ остальной Европѣ, быть можетъ, величайшій во всемъ XIX вѣкѣ, поэтъ изъ категоріи могучихъ колористовъ, любящихъ теплыя, яркія краски, блескъ золота, роскошь драгоцѣнныхъ камней и тканей. Трудно вообразить себѣ бóльшій контрастъ, чѣмъ тотъ, какой представился—въ Байронѣ, по сравненію его съ Вордсуёртомъ и первыми «лакистами». Но и это свойство еще увеличивало впечатлѣніе произведенное Байрономъ, такъ какъ большинство увлекается яркостью и роскошью.

Поэма имѣла огромный, безпримѣрный успѣхъ и поставила на первый планъ, передъ глазами всѣхъ, самую личность автора, котораго подхватила мода, котораго признала своимъ кумиромъ золотая молодежь. Увлеченіе личностью было тѣмъ сильнѣе, что ему соотвѣтствовала самая наружность поэта. Небольшая, красиво моделированная голова, надъ стройной, всегда открытой шеей, бѣлые зубы, чувственная, кораловая окраска губъ, необыкновенная нѣжность кожи, мелодическій голосъ—вотъ тѣ физическія черты, которыхъ обаяніе еще возвышалось остроуміемъ и прихотливой фантазіею, полной неожиданныхъ оборотовъ. Короче—онъ очаровывалъ. Удивлялись ему во всемъ, даже и въ томъ, что этотъ загадочный, прошедшій различнѣйшія приключенія человѣкъ заботится

о своемъ туалетѣ чисто по женски, ѣстъ какъ канарейка, а порою смѣется и дурачится, какъ ребенокъ, вырвавшійся изъ школы. Знатныя дамы старались приблизить его къ себѣ, ставили къ себѣ его сразу въ отношенія фамильярныя, довѣряли ему свои секреты. Всѣ съ нимъ носились и его ласкали, а вмѣстѣ со всѣми и самъ регентъ (впослѣдствіи король Георгъ IV). Отъ Байрона зависѣло напудриться, надѣть бѣлые шелковые чулки, и со шпагой при бедрѣ, присутствовать въ Карльтонъ-Гоузѣ при вставаніи (выходѣ) регента, въ толпѣ придворныхъ. Онъ однакожъ, спохватился въ пору, что тамъ ему было не мѣсто.

Послѣ баловъ, пользуясь остатками ночей, поэтъ уединялся и писалъ съ лихорадочностью. Слава пристращаетъ къ себѣ какъ вино. Раздѣляя себя между безплодными свѣтскими удовольствіями и часами творческой лихорадки, Байронъ, съ конца 1812 года до развода съ женой и отъѣзда изъ Англіи, такъ и сыпалъ поэтическими разсказами, которые мы перечислимъ въ хронологическомъ порядкѣ ихъ изданія: «Гяуръ» (май 1812 г.), «Абидосская Невѣста» (декабрь 1813 г.), «Корсаръ» (январь 1814 г.), «Лара» (іюль 1814 г.), «Паризина» и «Осада Коринѳа» (январь 1816 г.). Если къ нимъ прибавимъ «Мазепу», написаннаго въ Равеннѣ, осенью 1818 г. «Островъ»—въ Генуѣ, въ 1823 году, то будемъ имѣть предъ собою цѣлый рядъ меньшихъ прозведеній поэта, составляющихъ совсѣмъ особый родъ, закругленныхъ и какъ бы эпическихъ, но уснащенныхъ многочисленными лирическими отступленіями. Этотъ родъ произведеній не былъ уже новъ для Англіи; и ранѣе имѣлись превосходные его образцы: достаточно указать на Вальтеръ-Скотта.

Всѣ эти малыя поэмы или разсказы являются какъ бы продолженіемъ «Чайльдъ-Гарольда», но съ дальнѣйшимъ развитіемъ и высшимъ показателемъ, какъ качествъ, такъ и недостатковъ перваго. Каждое произведеніе выливалось у Байрона цѣликомъ; но затѣмъ, въ

корректурѣ, онъ додѣлывалъ и дополнялъ написанное; такъ, напр. изъ 400 стиховъ въ первоначальномъ текстѣ «Гяура» написалъ ихъ 1400. «Корсара» онъ написалъ въ 10 ночей, а «Абидосскую Невѣсту»—въ 4. Во всемъ этомъ есть чистые алмазы и жемчужины, но, какъ замѣчаетъ Тэнъ, немало тамъ и — стеклянныхъ бусъ. Морскіе разбойники у Байрона столь же далеки отъ правды, какъ индійцы у Шатобріана. Встрѣчаются и заимствованія. Такъ въ «Чайльдъ-Гарольдѣ» (I, 6) есть подражаніе словамъ Гамлета, въ сценѣ съ могильщиками: «Дворецъ здѣсь мысли былъ, былъ храмъ души; взгляни теперь въ безглазое отверстіе» и проч. Начало «Абидосской Невѣсты» представляетъ прямое подражаніе пѣснѣ Миньоны «Kennst du das Land, wo die Citronen blüh'n»:

«Ты знаешь-ли, скажи, тотъ край далекій,
Гдѣ славы лавръ и мертвый кипарисъ,
Живой стоятъ эмблемой передъ нами
Дней нынѣшнихъ и минувшихъ вѣковъ».

У Байрона есть излишество аллегорій, онъ приводитъ или группируетъ, на классическій манеръ, цѣлые ряды олицетвореній разныхъ состояній души и чувствъ, какъ напр. Вѣра, Любовь, Отчаяніе, Дружба. Встрѣчаются у него и затверженные, чисто-реторическіе обороты, какъ напр.: «чей конь стучитъ копытомъ по скалистому пути»... или: «встань, подлый рабъ, встань на минуту, и скажи — не Ѳермопилы-ли, это ущелье («Гяуръ»). Женскія фигуры у него тщедушны, блѣдны, слишкомъ ангелоподобны, нереальны, точно гравюры изъ моднаго кипсэка. Въ каждомъ разсказѣ есть романическая завязка съ трагическимъ окончаніемъ, и герой съ чертами Чайльдъ-Гарольда, но нѣсколько огрубѣвшими, подмалеванными черной краской, съ печатью меланхоліи и презрѣнія ко всему человѣчеству, съ душой, на днѣ которой многія злодѣянія оставили мутный осадокъ. «Душа, чреватая тяжестью своихъ преступленій подобно скорпіону въ огнѣ, который жаломъ ядовитымъ убиваетъ

самъ себя» («Гяуръ»).—«Мудрецъ въ словахъ онъ, но въ дѣлахъ безумецъ, зато, что добрымъ быть хотѣлъ, онъ цѣлью сталъ насмѣшекъ иль презрѣнія. И самъ, вмѣсто того, чтобы презирать низкую толпу, онъ добродѣтель проклялъ, какъ источиикъ своихъ страданій... Сердце его порвало связь съ человѣчествомъ, и цѣлью избралъ онъ себѣ — за вины нѣсколькихъ людей мстить всѣмъ»... «Холодный, дикій и гордый онъ не искалъ любви и не боялся ненависти» («Корсаръ»). Такой же примѣръ представляетъ Лара, владѣтель феодальнаго зàмка, гордый, но милостивый. Этотъ надменный властитель готовъ предводительствовать крѣпостной черни, взбунтовашейся противъ своихъ господъ, но склоняютъ его къ этому не жалость и не честолюбіе, а особенныя свойства его характера. «Слишкомъ высокій духомъ, чтобы подчиняться обыкновенному разсчету, онъ могъ иногда жертвовать своимъ интересомъ для кого-нибудь другого, но вовсе не изъ чувства состраданія или долга, а только по особой извращенности мышленія, которое побуждало его совершать то, чего не можетъ сдѣлать никто или чтó доступно лишь немногимъ. Это же самое побужденіе могло, при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ толкнуть его даже на преступленіе... То было изступленіе не ума, а сердца» (*His madness was not of the head, but heart*»).

Этотъ графъ Лара еще болѣе неодолимъ душою, чѣмъ «Непреклонный Князь» Кальдерона. Когда уже онъ побѣжденъ, смертельно раненъ и окруженъ непріятелями, кто-то изъ нихъ, по чувству милосердія, подноситъ къ его устамъ крестъ и чётки; но Лара язвительно засмѣялся и умеръ такъ, пренебрегая святыней, какъ будто не вѣровалъ въ возможность для себя безсмертія, обѣщаннаго лишь тѣмъ, кто твердо вѣруетъ въ Христа («Лара» II. 19). Этотъ героизмъ злой или доброй воли презираетъ страданіе; въ поэзіи этой—постоянной темой служитъ взятіе человѣка на пытку, мученіе его физическое и нравственное, превосходящее мѣру силъ чело-

вѣческихъ, леденящее кровь своимъ ужасомъ. «Молитвъ не надо мнѣ» — говоритъ Гяуръ монаху — «не вѣрю въ ихъ дѣйствіе. Отчаяніе сильнѣе твоихъ молитвъ. Спасенія я не достоинъ и не жду его; не рая я хочу, а лишь покоя».

Царство поэзіи велико какъ самъ міръ, а въ мірѣ есть душа человѣческая, и всѣ человѣческія чувства, неисключая самыхъ непріятныхъ: ужасъ, отвращеніе, боль разныхъ степеней — до агоніи въ мученіяхъ. И есть такіе люди, такіе народы, которыхъ эти ужасы какъ то особенно влекутъ къ себѣ, которымъ искусство безъ этихъ горькихъ пряностей кажется невкуснымъ. Что англичане положительно принадлежатъ къ числу такихъ народовъ, это доказывается появленіемъ у нихъ великихъ мастеровъ въ изображеніи ужаснаго — Шекспира и Байрона. За образецъ человѣческаго страданія, доведеннаго до наивысшаго предѣла всегда будетъ служить «Шилльонскій узникъ» (1816 г. іюль. Женева). Только одаренный самымъ мрачнымъ воображеніемъ поэтъ могъ, почти одновременно съ «Узникомъ», написать такую вещь какъ «Мракъ» — въ которой изображается, что̀ произойдетъ когда погаснетъ солнце. Послѣдніе, уцѣлѣвшіе два жителя большаго города, встрѣчаются у алтаря, добываютъ нѣсколько искръ изъ дотлѣвающаго пепла, бросаютъ взглядъ другъ на друга и— умираютъ: «ужасомъ своего вида они взаимно нанесли себѣ смерть; въ лицо другъ друга не узнали, но на челѣ обоихъ голодъ начерталъ — враги».

Здѣсь мы заключимъ обзоръ творчества Байрона въ его первомъ періодѣ, который оканчивается 1816 годомъ. Въ эту пору поэтъ уже достигъ верха славы въ своемъ отечествѣ. Въ тоже время совершилась великая перемѣна въ Европѣ—паденіе Наполеона. «Мой храмъ (пагѐда) Наполеонъ—писалъ Байронъ въ апрѣлѣ 1814 г.— рухнулъ до основанія. Въ сравненіи съ нимъ, я—червячекъ, но поставилъ бы жизнь свою на карту. А впрочемъ, быть можетъ, корона и не стѣитъ, чтобы

изъ за нея умирать. О, если-бъ воскресли Ювеналъ или Джонстонъ. *Expende quot libras in duce summo invenies»*. Однако, несмотря на свое недовольство актомъ отреченія, Байронъ сталъ еще болѣе горячимъ приверженцомъ Наполеона, такъ какъ сохраняя свое удивленіе къ генію и могучей волѣ, онъ уже освободился отъ того чувства возмущенія, какое ему внушалъ Наполеоновскій деспотизмъ. Съ минуты паденія послѣдняго, поэтъ уже рѣшительно сталъ на сторону льва, противъ тѣхъ, кого онъ сравнивалъ съ шакалами. Въ жизни самого Байрона также произошли важныя перемѣны: онъ женился, а потомъ разошелся съ женой, что̀ сопровождалось скандаломъ, который вдругъ лишилъ его всей популярности и принудилъ бѣжать изъ Англіи. Обстоятельства этого семейнаго дѣла любопытны и стоютъ изученія, по тому вліянію, какое они оказали на самый талантъ поэта. Вступивъ въ борьбу съ общественнымъ мнѣніемъ своей страны, Байронъ выросъ духомъ, великое дарованіе его пріобрѣло еще болѣе силы и создало мастерскія произведенія, превышающія прежнія, тѣ именно произведенія, которыя въ совокупности его творчества (*son oeuvre*, какъ говорятъ французы) составляютъ вѣнецъ всего дѣла.

XXII

Разсмотримъ обстоятельства или, такъ сказать, акты судебнаго дѣла о разводѣ Байрона съ женой и степень основательности того приговора, какой произнесло надъ мужемъ современное ему общественное мнѣніе въ Англіи. Байронъ не только легко влюблялся, но и жаждалъ общества женщинъ. «Не нравится мнѣ человѣкъ [1])—писалъ онъ въ 1814 г., пародируя Гамлета

---

[1]) Слово man означаетъ какъ человѣка вообще, такъ и въ частности—мужчину.

(Муръ. 229)—а нравится женщина, и притомъ—только одна, въ каждое данное время. Для меня есть нѣчто смягчающее въ присутствіи женщины, даже когда я не влюбленъ и объяснить себѣ этого я не могу, такъ какъ я вовсе не высокаго понятія о ихъ полѣ [1])». Когда онъ думалъ о женитьбѣ, то колебался, зная свой крутой нравъ, сознавалъ, что былъ-бы ревнивъ и нетерпѣливъ, а потому, приходилъ къ такому заключенію: «нѣтъ, не женюсь, останусь одинокъ, хотя и хорошо бы было для меня еслибы мнѣ можно было по временамъ позѣвать съ кѣмъ«нибудь. (Муръ. 217)». Въ дневникѣ того времени, у него записано: «жена была бы для меня спасеніемъ (Муръ 225)». Лондонское великосвѣтское общество, въ котораго омутѣ поэтъ вращался, было въ высшей степени испорченное, распущенное, безнравственное. Знатныя барыни льнули къ поэту, нѣкоторыя почти бросались ему на шею, а болѣе смѣлыя кокетничали съ нимъ взапуски, одна передъ другой, стараясь привлечь его и сдѣлать своимъ рабомъ.

Такою цѣлью задалась одна изъ самыхъ эксцентричныхъ женщинъ своего времени, госпожа Каролина Лэмбъ, жена Вилльяма Лэмба, впослѣдствіи лорда Мельборна, имѣвшая уже трое дѣтей и тремя годами старше Байрона. Эта интересная чудачка, съ бѣлыми какъ ленъ волосами и черными глазами, позволяла себѣ говорить съ наивнѣйшимъ безстыдствомъ самыя невозможныя въ устахъ женщины вещи и компрометировать себя. При представленіи ей Байрона въ обществѣ, она только смѣрила его взглядомъ и отвернулась, а потомъ такъ опредѣлила поэта: «*mad, bad and dangerous to know* [2])». Однакоже она привлекла его въ число своихъ обожателей и стала мучать своими капризами и ревностью, разными сценами, открытымъ заявленіемъ своей надъ нимъ власти,

---

[1]) The sex въ общемъ значеніи—«полъ», въ частномъ—«женщины»

[2]) «Безуменъ, золъ и знать его опасно».

наконецъ, такимъ приставаньемъ къ нему, что проникала къ нему въ квартиру, переодѣтая мужчиной. Мать госпожи Лэмбъ, леди Бессборо, чтобы прекратить скандалъ, рѣшила увезти дочь въ Ирландію, а та предложила Байрону, чтобы онъ ее увёзъ. Поэтъ очутился въ затруднительномъ положеніи, и даже не по своей винѣ, такъ какъ не любилъ своей дамы и не притворялся любящимъ, а между тѣмъ, былъ вовлеченъ въ эту любовную исторію. Имѣя дѣло съ такой женщиной, которая не разъ угрожала самоубійствомъ, Байронъ написалъ ей письмо проникнутое чувствомъ и вполнѣ дружеское, въ которомъ, съ деликатностью стараясь пощадить самолюбіе женщины, напоминалъ ей однако объ обязанностяхъ по отношенію къ ея матери и мужу и необходимость хорошенько подумать, прежде чѣмъ сдѣлать рѣшительный шагъ. Въ подписи на этомъ письмѣ, поставленное имъ сперва передъ своимъ именемъ слово «преданный» *(devoted)*, Байронъ зачеркнулъ и замѣнилъ словомъ «привязанный» *(attached)*, что̀ уже можетъ служить какъ бы термометрическимъ показаніемъ степени чувства. Въ припискѣ же, высказывая просьбу, чтобы пишущаго не заподозрѣли въ побужденіяхъ эгоистическихъ, Байронъ употребилъ выраженія болѣе чувствительныя, но имѣвшія собственно цѣлью — смягчить отказъ и дать нѣкоторое удовлетвореніе самолюбію женщины. «Я—вашъ и останусь вашимъ, по своей волѣ и безусловно, я готовъ васъ слушаться, уважать, любить васъ и уѣхать съ вами когда, куда и какъ вы сами захотите и изволите назначить» (Джиффрсонъ II. 36). Сердечныя отношенія не могли держаться долго въ видѣ одной переписки. Письма становились постепенно все холоднѣе, наконецъ, дѣло дошло до открытаго разрыва — со стороны Байрона, въ письмѣ, которое г-жа Лэмбъ получила въ Дублинѣ. «Я уже васъ не люблю и, будучи принуждаемъ къ признанію, признаю̀сь, что принадлежу другой; позвольте мнѣ остаться для васъ другомъ и въ доводъ дружбы, примите мой совѣтъ: исправьтесь отъ смѣшнаго тщеславія,

пробуйте ваши капризы на другихъ, а меня оставьте въ покоѣ». Отвѣтъ на это письмо не скоро дошелъ до Байрона. Уже послѣ развода съ женой и выѣзда изъ Англіи, а именно, проживая въ Швейцаріи, Байронъ получилъ написанный со злобой, но глупый романъ «Гленарвонъ», въ которомъ поэтъ изображался какъ чудовище, какъ демонъ, какъ существо безъ вѣры и сердца.

Обратимся теперь къ той особѣ, къ которой Байронъ, какъ онъ писалъ г-жѣ Лэмбъ, искренно привязался. Въ фамиліи Мельборновъ было нѣсколько тетокъ и другихъ родственницъ, которымъ не давала покоя мысль о томъ, что поведеніе г-жи Лэмбъ компрометировало честь ихъ дома. Старшая леди Мельборнъ озаботилась пріисканіемъ подходящей особы, которую бы можно было сосватать поэту и тѣмъ прекратить скандалъ, какимъ представлялся его романъ съ г-жею Лэмбъ. Подходящая особа нашлась въ средѣ того же дома: это была дѣвица Анна-Изабелла (въ сокращеніи—Аннабелла) Мильбэнкъ, единственная дочь сэра Ральфа Мильбэнка, роднаго брата леди Мельборнъ. Партія эта не представлялась въ то время богатою. Сэръ Ральфъ могъ дать за дочерью не болѣе 10 тысячъ фунтовъ. Правда, мать дѣвушки могла получить наслѣдство отъ богатаго дяди, лорда Уэнтворта, но въ 1814 году никто не предвидѣлъ, что этотъ дядя долженъ былъ умереть на слѣдующій же годъ, и что наслѣдство такъ скоро достанется леди Мильбэнкъ, отъ которой, по ея смерти, оно перешло и къ ея дочери. Что касалось самого Байрона, то онъ думалъ устроить свои имущественныя дѣла слѣдующимъ образомъ: имѣніе Ньюстэдъ онъ запродалъ въ суммѣ 140 т. фунтовъ, въ счетъ которыхъ получилъ 25 т. фунтовъ задатку; по уплатѣ долговъ, у него остались бы: капиталъ, приносившій около 5 т. фунтовъ ежегоднаго дохода, и другое имѣніе — Рочдэль. Продажа Ньюстэда, однако, не состоялась; покупщикъ отказался отъ задатка, а задатокъ этотъ Байронъ издержалъ въ короткое время, но зато получилъ возможность жить въ

то время на большую ногу, сообразно съ своимъ положеніемъ въ обществѣ.

Дѣвица Мильбэнкъ была еще очень молода (ей было четырьмя годами менѣе, чѣмъ Байрону), роста небольшаго, характера простаго, держала себя естественно, была немного пуританка, имѣла понятія и о математикѣ, и о метафизикѣ и о древнихъ языкахъ, писала стихи, много читала, имѣла даже нѣкоторый оттѣнокъ «ученой» дамы, и сверхъ того была «добра, любезна и безъ всякихъ претензій».—«У другой—писалъ Байронъ въ то время—закружилась бы голова отъ половины ея знанія и отъ десятой части ея хорошихъ качествъ». Въ позднѣйшее время Байронъ издѣвался надъ женскими претензіями по части учености («Беппо». 78. «Донъ-Жуанъ» I. 12): «Любимой ея наукой была математика, изъ добродѣтелей, она предпочитала великодушіе; остроуміемъ она обладала чисто аттическимъ, а слогъ ея разговора былъ мистически туманенъ». Но въ 1814 году, Байронъ смотрѣлъ на миссъ Мильбэнкъ иными глазами, и ему нравилась въ ней именно та простота, соединенная съ серьёзностью, которыми она рѣзко выдѣлялась изъ среды свѣтскихъ дамъ.

Онъ нисколько не думалъ о томъ, что миссъ Мильбэнкъ питала надежду современемъ обратить его на церковный (англиканскій) путь спасенія. Доселѣ не многіе знаютъ, что у леди Байронъ былъ серьёзный, аналитическій умъ и что она не только восхищалась поэзіею своего мужа, но и относилась къ ней критически, проникая ея содержаніе вѣрно и глубоко, какъ бы вскрывая ее анатомическимъ ножемъ (Письмо ея въ 1818 г. къ леди Барнардъ): «Жизненнымъ элементомъ въ его воображеніи является эготизмъ, такъ что ему трудно обрабатывать предметъ, не отождествляя его съ своимъ характеромъ и своимъ интересомъ, но помощью вымышленныхъ дополненій, онъ свои собственныя поэтическія признанія возвелъ въ систему, доступную лишь весьма немногимъ, а постоянное его стремленіе поразить чита-

теля побудило его выставлять самого себя какъ предметъ удивительный и возбуждающій любопытство, хотя бы цѣною нѣкоторыхъ темныхъ и неопредѣленныхъ подозрѣній».

Лордъ Байронъ просилъ руки миссъ Мильбэнкъ и получилъ отказъ, но выраженный съ такой деликатностью и любезностью, что между нимъ и ею завязались дружескія отношенія, «безъ малѣйшей искры любви, какъ съ одной, такъ и съ другой стороны» (Муръ. 209). Въ мартѣ 1814 г. онъ пишетъ въ дневникѣ: «влюблюсь въ нее опять, если не буду нá-сторожѣ». Въ сентябрѣ того-же года, Байронъ повторилъ свое предложеніе и на этотъ разъ получилъ согласіе. Впослѣдствіи, обвиняя свою жену, онъ выдумывалъ, будто никогда ея не любилъ, но переписка краснорѣчиво свидѣтельствуетъ, что чувство съ обѣихъ сторонъ было сильное; въ то время Байронъ искренно находилъ, что «мать (будущихъ) Гракховъ имѣетъ лишь тотъ недостатокъ, что слишкомъ совершенна въ сравненіи съ нимъ», и признавалъ даже ошибочнымъ первоначальное свое впечатлѣніе, будто бы она—существо холодное. «Мы удивительно какъ идемъ другъ къ другу». Отходя отъ алтаря, она сказала Гобгоузу: «если я не буду счастлива, то сама буду въ томъ виновата» (Джиффрсонъ. II. 57, 60). Бракъ состоялся 2 января 1815 г., въ имѣніи родителей невѣсты, Сихемѣ. Отсюда молодые поѣхали въ Сиксъ-Майль-Боттомъ, чтобы посѣтить полковника Лей, и жену его, сестру Байрона, Августу (она была старше брата), отношенія между которой и поэтомъ доселѣ были отрывочны и рѣдки. Жена Байрона сошлась съ его сестрой и всѣ они зажили дружно, въ сердечной интимности. Придумались ласкательныя прозвища, какими они себя взаимно называли: Байрона прозвали duck, жену его—pippin, сестру—goose [1]).

Любовь супруговъ вышла побѣдоносно даже изъ труд-

---

[1]) «Уточка», «зернышко» и «гусыня».

наго опыта финансовыхъ передрягъ, послѣ того, какъ прожиты были и приданое и наличныя средства, какими располагалъ самъ Байронъ, а въ квартиру ихъ въ Лондонѣ, на Пикадилли, стали являться кредиторы, потомъ судебные пристава, которые нѣсколько разъ описывали ихъ имущество. Супруги ожидали, что родители выведутъ ихъ изъ бѣды, тѣмъ болѣе, что дядя умеръ, мать жены Байрона получила титулъ леди Ноэль, съ 7 тысячами фунтовъ дохода, такъ что поэту съ его женой предложено было поселиться въ Сихемѣ, т. е. въ имѣніи родителей молодой леди Байронъ. Несогласія между супругами начались только въ сентябрѣ 1815 года и безъ какого-либо опредѣленнаго повода, кромѣ одного несходства характеровъ. Женщинѣ, выросшей въ условіяхъ правильно устроенной жизни трудно было примириться съ эксцентричными и порядочно-цыганскими привычками поэта, который ночь обращалъ въ день, себя морилъ голодомъ, жуя мастику или табакъ, чтобы обмануть желудокъ, употреблялъ опій, никогда не садился къ столу — обѣдать и завтракать, вѣчно мечталъ, какъ бы убѣжать изъ Англіи куда-нибудь подальше, на Востокъ и впадалъ въ бѣшенство, когда ему мѣшали во время находившихъ на него пароксизмовъ работы. Грустно было положеніе женщины, ожидавшей родовъ, въ то время какъ къ мужу являлись судебные пристава, а онъ самъ упражнялся въ стрѣльбѣ изъ пистолета въ ея комнатѣ и разъ, въ припадкѣ гнѣва, хватилъ свои часы объ полъ. Леди Байронъ почти была убѣждена, что у мужа ея есть зачатокъ душевной болѣзни, и подъ вліяніемъ этой мысли, она по разрѣшеніи отъ бремени, 10 октября 1815 года, уѣхала, съ новорожденной дочкой Адой, къ своимъ родителямъ, въ Кёркби-Маллори, въ началѣ января.

Заботы о мнимо душевно-больномъ мужѣ, она поручила раздѣлявшему ея мнѣніе родственнику Джорджу Энсону—Байрону и ближайшей повѣренной своихъ опасеній, сестрѣ поэта, Августѣ Лей, которую она упросила

остаться съ этой цѣлью въ Лондонѣ. Лондонскіе врачи, къ которымъ обратились за совѣтомъ, отвѣтили, что Байронъ психически совершенно здоровъ, а разстроена у него только печень. До тѣхъ поръ, пока леди Байронъ считала мужа душевно-больнымъ, письма ея къ нему были исполнены чувства и въ нихъ повторялась просьба, чтобы онъ пріѣхалъ въ Кёркби-Маллори. Но когда дѣло объяснилось иначе и опасенія болѣзни разсѣялись, то настроеніе жены по отношенію къ мужу измѣнилось къ худшему. О больномъ она обязана была заботиться, но здоровому она ни въ чемъ не хотѣла уступить и тотчасъ стала помышлять о разводѣ. Коса нашла на камень; въ женщинѣ этой проявился узкій умъ, видѣвшій только чужую вину и осуждавшій безусловно все, чтó не подходило къ признаваемымъ ею правиламъ; высказались и сухость, злопамятство сердца, упрямство, поддерживаемое убѣжденіемъ, что она ясно видитъ, чтó угодно и чтó неугодно Богу.

Выше упомянуто было, мимоходомъ, объ отзывѣ Байронова камердинера Флетчера, что каждая женщина могла дѣлать съ его господиномъ, что хотѣла; но нельзя однако не признать, что жить съ Байрономъ было трудно. Любимая женщина, дѣйствительно, могла бы сохранить надъ нимъ господство, но только подъ условіемъ, чтобы она щадила того демона, который въ немъ иногда проявлялся, была крайне снисходительной, склонной прощать и даже смотрѣть сквозь пальцы на мимолетные грѣшки, въ которые его вовлекала неукротимость темперамента. Въ такомъ случаѣ, и онъ могъ десятокъ разъ возвратиться къ ней подъ очарованіемъ воспоминаній, могъ соперничать съ ней въ великодушіи. Но совсѣмъ не такова была натура жены поэта. Въ ней онъ нашелъ никакъ не существо склонное къ всепрощенію, а скорѣе—юриста въ юбкѣ, который вносилъ въ спальню тяжбу о межѣ взаимныхъ правъ и обязанностей, требуя прежде всего, чтобы мужъ-отвѣтчикъ признавалъ себя виновнымъ, смирялся духомъ, обѣщалъ вступить на

правый путь, просилъ прощенія, однимъ словомъ—всего того, къ чему Байронъ во всю свою жизнь былъ наименѣе склоненъ.

Послѣ врачей, обратились къ адвокатамъ. Тѣ сперва нашли, что не было достаточныхъ причинъ для развода; затѣмъ однако, когда леди Байронъ, нарочно съ этой цѣлью прибывшая въ Лондонъ, сообщила имъ нѣкоторыя новыя данныя, державшіяся въ тайнѣ отъ родителей и не обнаруженныя до настоящаго времени, адвокаты обѣихъ сторонъ, т. е. жены и мужа, согласно признали, что имѣются достаточные поводы къ разлученію супруговъ. Это обстоятельство, въ связи съ содержаніемъ написаннаго позднѣе «Манфреда» и обнародованными по смерти леди Байронъ, въ 1869 г., американской писательницею, миссизъ Бичеръ-Стоу, признаніями, сдѣланными ей въ 1856 году самою леди Байронъ, привело къ догадкѣ, будто дѣйствительной причиной развода была кровосмѣсительная связь Байрона, еще до брака, съ сестрой его, Августой Лей. Можно утвердительно сказать, что обвиненіе это было клеветой, а со стороны миссизъ Бичеръ-Стоу — сплетней. Августа Лей была некрасива и 5-ю годами старше брата, была уже матерью семейства, когда поэтъ возвратился съ Востока, наконецъ и видѣлись они рѣдко. Послѣ того, какъ братъ женился, г-жа Лей была единственной подругой, къ которой леди Байронъ относилась съ безусловнымъ довѣріемъ, сестра постоянно держала сторону своей подруги противъ брата и до самой смерти поэта думала о томъ, какъ бы ихъ примирить. Сохранились («Quarterly Review» 1869 г.) 7 писемъ леди Байронъ къ г-жѣ Лей, написанныхъ уже по разлученіи супруговъ, но исполненныхъ самаго дружескаго чувства, а такія письма были бы невозможны со стороны леди Байронъ, въ ея двоякомъ качествѣ оскорбленной жены и возмущенной пуританки, въ томъ случаѣ, еслибы она вѣрила въ кровосмѣшеніе мужа. Отношенія между обѣими женщинами оставались весьма хорошія до самой смерти

поэта; затѣмъ отношенія эти испортились, но лишь послѣ смерти г-жи Лей, леди Байронъ стала дѣлать свои признанія, которыми такъ тяжко оскорбляла память умершей.

Тайна, сообщенная юристамъ, какова бы она не была, сохранена была ими столь безусловно, что самъ Байронъ никогда не узналъ ея; разъясниться она можетъ, какъ позволительно предполагать, только изъ записокъ Гобгоуза, доселѣ необнародованныхъ и хранящихся подъ печатью въ Британскомъ музеѣ до наступленія опредѣленнаго срока. Джиффрсонъ, съ своей стороны, высказываетъ довольно правдоподобную догадку, что сообщенный юристамъ секретъ заключалъ въ себѣ не противоестественный порокъ, но для жены, тѣмъ неменѣе, непріятное обстоятельство. Байронъ былъ вліятельнымъ членомъ комитета, управлявшаго Друриленскимъ театромъ, и вотъ къ его покровительству обратилась, для поступленія на сцену, хорошенькая, очень смуглая брюнетка съ неправильными чертами лица, напоминавшими итальянскій или цыганскій типъ. То была Джэнъ Клермонтъ, падчерица литератора—бѣдняка Годвина. Леди Байронъ въ то время уѣхала, а быть можетъ заявила уже и о намѣреніи своемъ разводиться. На сцену миссъ Клермонтъ не поступила, но влюбилась въ Байрона и не заботилась, чтó о ней скажетъ свѣтъ. Въ ея объятіяхъ поэтъ искалъ утѣшенія въ своей ссорѣ съ женою. Леди Байронъ могла узнать объ этой связи отъ прежней своей гувернантки, которая пересматривала переписку Байрона и которую онъ впослѣдствіи заклеймилъ въ сатирѣ «Эскизъ» (мартъ 1816 г.). Съ дѣломъ о разводѣ Байронъ однакожь медлилъ и только 22 апрѣля 1816 г. подписалъ актъ по тому предмету; черезъ три дня послѣ того, онъ навсегда уѣхалъ изъ Англіи, почти вынужденный къ отъѣзду обстоятельствами.

Между тѣмъ, самый этотъ отъѣздъ его, давно рѣшенный, еще усилилъ въ англійскомъ обществѣ раздраженіе противъ поэта и раздраженіе это было столь

чрезвычайно, почти безпримѣрно, что положительно не соотвѣтствовало вызвавшимъ его поводамъ, особенно съ той, общепринятой въ томъ же обществѣ точки зрѣнія, что жизнь частная не должна быть предметомъ общественнаго вниманія. Дѣйствительность, однако, порою противорѣчитъ этому правилу. «Каждыя лѣтъ 6 или 7 — замѣчаетъ Маколей — добродѣтель наша вдругъ возмущается противъ попиранія основъ религіи и приличія, при чемъ всегда какой-либо несчастливецъ, котораго вина вовсе не превосходитъ винъ сотенъ другихъ лицъ, перенесенныхъ обществомъ терпѣливо, обращается въ искупительную жертву». Въ настоящее время можно прослѣдить, какимъ образомъ подготовлялся этотъ взрывъ общественнаго мнѣнія противъ поэта, взрывъ, который понятенъ, хотя онъ и явился неожиданно. Дѣло было въ томъ, что поэтъ самую славу свою пріобрѣлъ слишкомъ внезапно, слишкомъ многихъ затронулъ какъ сатирикъ, и къ тому же имѣлъ слишкомъ большой успѣхъ какъ свѣтскій человѣкъ, какъ дэнди. Байронъ смертельно оскорбилъ регента своими эпиграммами («Строки къ плачущей дамѣ», т. е. къ дочери регента Шарлотѣ) и устройствомъ обѣда въ тюрьмѣ въ честь памфлетиста Лей-Хёнта, осужденнаго за пасквиль на регента. Противъ Байрона былъ весь дворъ, но и самихъ виговъ онъ вооружилъ своимъ анти-патріотическимъ поклоненіемъ Вашингтону, Наполеону и Кромвеллю, а еще болѣе своими выходками противъ церковныхъ обрядностей и духовенства и сомнѣніемъ относительно церковныхъ представленій о Богѣ, вслѣдствіе чего заслужилъ даже названіе англійскаго Вольтера (въ современной сатирѣ, названной «Анти-Байронъ»). Въ высшемъ обществѣ была въ модѣ крайняя распущенность, но и тамъ — лишь подъ условіемъ, чтобы никто не носился съ ней открыто. Въ среднихъ же классахъ господствовала не только строгость наружнаго поведенія, но и заботливость о полной «правильности» въ самомъ образѣ мыслей; тамъ нетерпѣли вольнодумства и должны были почувствовать отвращеніе къ

человѣку, который смѣялся надъ освященными предметами, дурно обходился съ женой, вводилъ къ себѣ въ домъ «блудницу», отличался въ средѣ модныхъ повѣсъ, велъ знакомства за кулисами и еще притворялся, будто у него тяжкое бремя на совѣсти, и еще косвенно признавался своими стихами въ какихъ-то ужасныхъ преступленіяхъ.

Въ Друриленскомъ театрѣ была освистана и прогнана криками со сцены одна артистка (миссъ Мардинъ), которую несправедливо заподозрили въ связи съ Байрономъ. Онъ самъ могъ подвергнуться на улицѣ какимъ-нибудь нападеніямъ черни. Но и въ гостинныхъ его стали принимать холодно. На вечерѣ, который леди Джёрси имѣла мужество устроить на прощанье съ уѣзжавшимъ поэтомъ, всякъ сторонился его, и тотъ, кто рѣшался къ нему подойдти и обмѣняться нѣсколькими словами, считалъ себя совершающимъ великодушное дѣло. Немногіе, оставшіеся у поэта друзья сами совѣтовали ему уѣхать изъ Англіи. И дѣйствительно, Байронъ, 25 апрѣля 1816 г., отплылъ изъ Дувра въ Остенде, а возвратился на родину уже только трупъ его, который и похороненъ былъ не въ Уэстминстерскомъ аббатствѣ, а въ сельской церкви въ Хёкналь-Торквуордѣ, въ Ноттингэмскомъ графствѣ. Прежде, чѣмъ обратиться къ исторіи этого продолжительнаго, а именно восьмилѣтняго (1816—1824 г.) скитанія на чужбинѣ, втеченіи котораго геній Байрона, въ борьбѣ его съ препятствіями и страданіемъ, вполнѣ созрѣлъ и развилъ всю мощь своихъ крыльевъ, докончимъ разсказъ о его отношеніяхъ семейныхъ и сердечныхъ, словомъ о его отношеніяхъ къ женщинамъ, такъ какъ связи эти имѣли въ его жизни большое значеніе.

XXIII.

Въ дѣлѣ развода Байронъ сперва поступилъ съ достоинствомъ и благородствомъ—всю вину онъ принялъ на себя. «Никакого противъ нея обвиненія—писалъ онъ

Муру 8 марта 1816 г. (М. 294)—я не имѣлъ и не могъ имѣть. Если на кого можетъ пасть упрекъ, то на меня, и если нельзя его загладить, то надо его переносить». Но это, хорошее настроеніе постепенно замѣнилось инымъ. Человѣкъ страстный, не владѣвшій собой, возмущенный твердымъ и холоднымъ сопротивленіемъ, поэтъ не сдержалъ даннаго себѣ обѣщанія и внесъ въ свои стихи сперва огорченіе, а потомъ и мщеніе. Супружескую свою ссору онъ перенесъ на публичную арену и судъ общественный, повелъ съ женой адвокатскую тяжбу—въ поэзіи, вступилъ въ борьбу несочувственную уже по тому соображенію, что противная сторона не владѣла его оружіемъ. Первое нападеніе было сдѣлано въ стихахъ, вышедшихъ въ началѣ апрѣля 1816 г. (т. е. еще до отъѣзда), подъ заглавіемъ «Эскизъ», представлявшихъ сатиру за личное оскорбленіе и «Прощай»—обращеніе къ женѣ, въ которомъ было такъ много трогательнаго чувства, что г-жѣ Сталь приписывали такой отзывъ (Эльзе. 195): «я бы желала быть на мѣстѣ госпожи Байронъ». Въ самомъ дѣлѣ, поэтъ здѣсь плакалъ надъ своимъ несчастьемъ, а женѣ предвѣщалъ, что она не будетъ въ состояніи позабыть его; но при этомъ онъ уже пустилъ слегка отравленную и вѣрную стрѣлу, назвавъ эту женщину—«непрощающею (unforgiving)». Насколько горьки были въ моментъ отъѣзда его сѣтованія на жену, настолько чисты и задушевны его признанія сестрѣ. Уѣзжая, Байронъ еще не терялъ надежды, что современемъ возвратится и примирится съ женой. Доказательствомъ тому могутъ служить предпринятыя г-жею Сталь изъ Женевы попытки къ примиренію супруговъ. Но обстоятельства примиренію неблагопріятствовали; предложенія эти были отвергнуты и даже сочтены зановое оскорбленіе.

Въ то самое время, когда Байронъ, не спѣша, направлялся къ Женевѣ, черезъ Бельгію, гдѣ осмотрѣлъ поле битвы при Ватерло, выѣхала, изъ Лондона, съ намѣреніемъ встрѣтиться съ поэтомъ, компанія, состоявшая изъ мужчины и двухъ женщинъ и, прибывъ ранѣе его въ

Женеву, остановилась въ отелѣ Сешеронъ, гдѣ долженъ былъ поселиться Байронъ. Принадлежавшій къ этому обществу мужчина еще не былъ знакомъ съ Байрономъ. Это былъ молодой, высокоталантливый поэтъ, скорѣе пантеистъ, чѣмъ атеистъ, филантропъ, человѣкъ необыкновенной доброты (на гробницѣ его въ Римѣ сдѣлана надпись: *cor cordium*)—Пэрси Бейшъ Шелли (1792 1822 гг.). Съ Шелли находились подруга его Марія Годвинъ и падчерица ея отца Дженъ Клермонтъ. Шелли, какъ и Байронъ, былъ отвергнутъ англійскимъ обществомъ, но онъ самъ провозгласилъ открыто этотъ разрывъ, явно выступалъ въ качествѣ атеиста, былъ весьма смѣлымъ, но непрактичнымъ политическимъ агитаторомъ и возбудилъ противъ себя въ такой степени ненависть и отвращеніе въ Англіи, въ качествѣ опаснаго новатора, что по жалобѣ отца первой его жены, Генріетты Вестбрукъ, лордъ-канцлеръ Эльдонъ лишилъ его власти надъ дѣтьми и сдѣлалъ распоряженіе объ отдачѣ ихъ на воспитаніе нѣкоему духовному лицу, согласно съ волею ихъ дѣда Вестбрука.

Цѣль поѣздки Шелли и М. Годвинъ въ Женеву было та, чтобы доставить Дженъ Клермонтъ случай повидаться съ Байрономъ, котораго она продолжала любить. Шелли познакомился съ Байрономъ и ему понравился, и вотъ, все это общество изъ четырехъ лицъ отправлялось на прогулки по Женевскому озеру, съ «Новой Элоизой» въ рукахъ. Когда Байронъ, уже подозрѣваемый въ безбожіи, сошелся съ такимъ отъявленнымъ, въ протестантскомъ мнѣніи, атеистомъ, какъ Шелли, къ тому же попиравшимъ божественное и гражданское учрежденіе брака, то женевскіе кальвинисты и толпа туристовъ-англичанъ, которыхъ вездѣ много, стали выслѣживать каждый шагъ двухъ нравственныхъ чудовищъ, а набожныя англичанки (напр. миссисъ Гервей) падали въ обморокъ въ гостиной г-жи Сталь при видѣ Байрона, котораго онѣ принимали чуть ли не за «его сатанинское величество» въ собственной особѣ.

Байронъ, въ силу того своего свойства, которое его друзья называли «лицемѣріемъ на-выворотъ», находилъ злобное удовольствіе въ томъ, чтобы поддерживать самыя мрачныя о себѣ представленія. Когда оба пріятеля съ своими дамами показывались изъ дому, отправляясь на прогулки въ горы или на озеро, то на эту компанію наведены были бинокли и зрительныя трубы набожныхъ протестантовъ, такъ что друзья принуждены были уѣзжать подальше отъ этихъ любителей шпіонства. Легко себѣ представить, какого рода молва объ обоихъ поэтахъ распространялась изъ Швейцаріи по Англіи. Одинъ изъ туристовъ, поэтъ также, принадлежавшій къ школѣ «озёрниковъ», Р. Соути, по возвращеніи своемъ въ Англію, по словамъ Байрона (Джиффрсонъ II. 173), разсказывалъ публично, что Байронъ и Шелли съ двумя мнимо-родными сестрами (между тѣмъ М. Годвинъ и Дж. Клермонтъ вовсе сестрами не были) основали кровосмѣсительную общину *(league of incest)*, т. е. что жили въ одновременной плотской связи каждый съ обѣими сестрами. Надежда Дженъ Клермонтъ не сбылась; привязанность, какую имѣлъ къ ней Байронъ въ Англіи, когда дѣвушка ему отдалась, была лишь мимолетною, а вступить въ постоянную съ нею связь, въ какой жилъ Шелли съ М. Годвинъ, Байронъ и не помышлялъ. Передъ выѣздомъ всего этого маленькаго кружка изъ Женевы, Дженъ призналась Байрону, что она беременна, не приняла его предложенія отослать ребенка на воспитаніе къ госпожѣ Лей, но взяла съ него слово, что если сама отдастъ ему свое дитя, то Байронъ будетъ воспитывать его при себѣ.

Напрасно онъ однако полагалъ, что присутствіе въ Женевѣ Дженъ Клермонтъ, въ обществѣ Шелли и М. Годвинъ, могло остаться неизвѣстнымъ леди Байронъ и ея роднѣ; грязныя сплетни дошли до жены поэта и примирительныя предложенія, сдѣланныя женѣ отъ его имени, били отвергнуты ею съ полнѣшей холодностью. Тогда оскорбленный и униженный поэтъ далъ волю своей

природной страстности и забывая болѣе и болѣе о справедливости, мстилъ женѣ. Такъ, онъ написалъ «Сонъ» (1816 г.), и полное упрековъ стихотвореніе на тему: «При слухѣ о болѣзни леди Байронъ», сочиненное въ сентябрѣ 1816 г., но изданное послѣ его смерти), въ которомъ есть такое мѣсто: «на томъ, что́ было и чего вовсе не было воздвигла ты памятникъ, связавъ его виною какъ цементомъ, о ты, Клитемнестра твоего господина» (Джиффрсонъ II. 186). Идя постепенно все далѣе, Байронъ, послѣ своего пребыванія въ Венеціи, гдѣ онъ предался самому пошлому разврату и сдѣлался циникомъ, унизился наконецъ до гадости по отношенію къ женѣ (строфы 10—33 «Донъ-Жуана». 1818), представилъ ее въ карикатурномъ видѣ — въ лицѣ доньи Инесъ, матери Донъ-Жуана, ригористки и педантки. Леди Байронъ писала мужу непосредственно только одинъ разъ когда, подаривъ Муру и отдавъ въ руки свои «Записки», которыя Муръ и продалъ немедленно книгопродавцу Муррею за 2000 гиней, Байронъ обратился къ женѣ съ предложеніемъ просмотрѣть эти записки и исправить въ нихъ то, что́ оказалось бы ошибочнымъ. Леди Байронъ не приняла этого предложенія (20 марта 1820 г.). Извѣстія о ней и о дочери своей Адѣ онъ получалъ отъ сестры. Однако, съ теченіемъ времени, чувство обиды ослабѣло въ сердцѣ жены поэта, чему служитъ доказательствомъ локонъ волосъ дочери, присланный ему въ Пизу и силуэтъ, полученный имъ въ Миссолунги.

До конца жизни, въ тайникѣ души Байрона жила и даже возростала надежда, что когда-нибудь онъ примирится и соединится съ женой. Въ связи съ этой надеждой было совершено дополнительное соглашеніе Мура съ Мурреемъ, по которому «Записки» поэта, предназначенныя къ обнародованію только послѣ его смерти, могли быть взяты авторомъ обратно, съ возвращеніемъ издателю 2 тысячъ гиней. Байронъ, дѣйствительно, пожелалъ выкупить свои записки, но экспедиція въ Грецію пог-

лотила всѣ его денежныя средства. Когда же — въ маѣ 1824 г. — въ Лондонѣ получено было извѣстіе о его смерти, то другъ его и душеприказчикъ Гобгоузъ, имѣя въ виду исключительно—личное содержаніе записокъ, предложилъ мысль объ уничтоженіи ихъ. Его мнѣніе было поддержано Августой Лей, которая при этомъ, конечно, руководилась заботливостью какъ о памяти своего брата, такъ объ интересахъ леди Байронъ и дочери поэта Ады. Соединенныя ихъ усилія одержали верхъ надъ сопротивленіемъ книгопродавца Муррея, котораго интересъ являлся прямо противоположнымъ предложенію. «Записки» были сожжены въ гостиной Муррея, въ присутствіи друзей поэта, при чемъ Муррей выказалъ несомнѣнное безкорыстіе, хотя и получилъ обратно свои 2 тысячи гиней. Такой суммы не могли дать ни Гобгоузъ, ни Муръ, самъ вѣчно нуждавшійся, а заплочена она была, по всей вѣроятности, г-жей Лей и леди Байронъ, которая въ это время владѣла уже большимъ состоянімъ, унаслѣдованнымъ отъ матери (1822 г,), а также имѣла пэрство по личному своему праву, какъ леди Ноэль.

А впрочемъ, леди Байронъ испытала на себѣ месть мужа, но уже послѣ его смерти. Непреклонная эта женщина, которая не хотѣла сдѣлать ни одного шага къ нему навстрѣчу, не пожелала дать ему знакъ рукой, по которому онъ бы несомнѣнно вернулся, дождалась, что мнѣніе всего свѣта относительно ихъ супружескихъ отношеній измѣнилось. Мужъ, котораго нѣкогда осудилъ за нее общій голосъ, теперь сдѣлался героемъ, Европа была исполнена великой его славы; на жену же его общество теперь стало смотрѣть съ осужденіемъ, какъ на бездушное существо, вовсе не соотвѣтствовавшее великому покойнику. Чѣмъ выше росла слава умершаго поэта, тѣмъ чувствительнѣе становилось для вдовы его ея униженіе, тѣмъ болѣе она завидовала тѣмъ, кого онъ любилъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, сама она становилась злѣе и нравственно хуже. Характеръ этой женщины въ иныхъ обстоятельствахъ могъ бы показаться образцовымъ, но

при томъ положеніи, въ какое она была поставлена, онъ оказался недостойнымъ вдовы Байрона. Изъ за мелочей, изъ жалкихъ побужденій, она въ 1829 г. по поводу одного денежнаго вопроса, истекавшаго изъ завѣщанія поэта, поссорилась съ той, которая была ея ангеломъ-хранителемъ въ горѣ, ея вѣрной союзницей, искренней подругой и посредницей между нею и мужемъ. Эта ссора произошла почти одновременно съ очень непріятнымъ для леди Байронъ фактомъ, а именно — съ выпускомъ въ свѣтъ изданныхъ въ 1830 г. Муромъ «Жизни Байрона, его писемъ и дневниковъ».

Оказалось, что для вдовы Байрона, собственно и не стоило жечь его «Записокъ», такъ какъ все, что̀ въ нихъ могло быть для нея непріятнаго — вошло въ его біографію. Насколько здѣсь унижена была жена, настолько же сестра поставлена была высоко. Напечатаны были притомъ же неизданныя дотолѣ вещи, какъ напр. «Посланіе къ Августѣ», которыхъ сестра прежде не оглашала изъ деликатности, чтобы не сдѣлать невѣсткѣ непріятности, такъ въ нихъ много было чувства и недосказаннаго сердечнаго горя. Леди Байронъ возненавидѣла Августу и, озлобленная своимъ неисправимо-несчастнымъ положеніемъ, утратила способность здраво судить о людяхъ. Постоянно вчитываясь въ произведенія своего мужа, она сама повѣрила тѣмъ «мрачнымъ подозрѣніямъ», которыми мужъ ея, какъ ей было извѣстно, окружалъ себя (письмо ея къ леди Барнардъ), стала выдавать за дѣйствительность, все, что̀ поэтъ когда-либо наклепалъ на себя, все, что̀ про него распустили досужіе языки, а наконецъ то, до чего сама она додумалась въ своемъ постоянномъ, желчномъ настроеніи. Изъ женевскихъ сплетенъ о «кровосмѣшеніи», выдуманныхъ про связь поэтовъ съ двумя сестрами на берегахъ Лемана, выросло чудовищное и лишенное всякаго фактическаго подтвержденія обвиненіе Байрона въ кровосмѣсительной связи съ собственной его сестрой, будто бы еще до его знакомства съ леди Байронъ. Обвиненіе

это было пущено уже послѣ смерти г-жи Лей (она умерла въ 1851 г.), въ признаніи подъ секретомъ г-жѣ Бичеръ-Стоу, которая и протрубила о немъ всему міру, по смерти леди Байронъ, (скончавшейся 16 мая 1860 г). выдавая эту клевету за разъясненіе загробной тайны. Конецъ своей жизни вдова поэта провела въ набожныхъ упражненіяхъ и благотворительности. Дочь свою она воспитала въ полномъ незнаніи объ отцѣ и его произведеніяхъ; Ада вышла замужъ за виконта Окхема и оставила потомство, которое, по нѣкоторымъ извѣстіямъ, пренебрегаетъ памятью о своемъ предкѣ по матери (Эльзе 324).

У Байрона была еще одна дочь—незаконное дитя отъ Дженъ Клермонтъ, родившееся въ Англіи 20 января 1817 г., и названное матерью—Аллегра. Дженъ прислала ребенка Байрону въ Венецію, въ половинѣ 1818 года, въ напрасной надеждѣ, что даръ этотъ воскреситъ его привязанность къ ней и прежнюю связь. Но Байронъ велъ въ Венеціи жизнь грубо развратную и надежда Дженъ не оправдалась. Дѣвочка росла при немъ, пріучаясь къ капризамъ и вообще пріобрѣтая дурныя привычки. По совѣту г-жи Гви́ччоли, которая опасалась дѣвицы Клермонтъ, дѣвочка была отдана въ католическую школу въ Банья-Кавалло, что́ вызвало негодованіе Дженъ Клермонтъ, которая потребовала возвращенія ребенка себѣ, упрекая Байрона въ измѣнѣ данному ей обѣщанію. Байронъ, однако, не возвратилъ дѣвочки и оставилъ ее въ той же школѣ, гдѣ въ 1822 г. она умерла. Для дополненія разсказа объ отношеніяхъ поэта къ женщинамъ, оставалось бы упомянуть здѣсь же о его гаремѣ въ Венеціи и затѣмъ о нравственномъ его исправленіи въ періодѣ господства надъ нимъ графини Гви́ччоли. Мы отложимъ однако этотъ предметъ, какъ находящійся въ тѣсной связи со всѣми условіями жизни поэта въ Венеціи и Равеннѣ, и возвратимся теперь къ самому творчеству Байрона, почерпнувшему новую силу въ его нравственныхъ страданіяхъ и жизненной борьбѣ; въ творчествѣ

этомъ обнаружились необычайныя, можно сказать, почти сверхъ человѣческія мужество и упругость гордой души его.

XXIV

Начнемъ съ матеріальныхъ условій литературной дѣятельности Байрона въ этомъ періодѣ. Выдержавъ немалую борьбу съ самимъ собою, поэтъ сдѣлалъ наконецъ то самое, что̀ осмѣялъ нѣкогда у В. Скотта, въ юношеской своей сатирѣ, а именно—сталъ писать для денежнаго заработка, сталъ продавать свои произведенія въ свою пользу, а не такъ, какъ дѣлалъ прежде—для помощи нуждавшимся знакомымъ или литераторамъ вообще. Издатели, между тѣмъ, уже привыкли платить за его стихи высокій гонораръ, который онъ доселѣ раздавалъ другимъ; за каждый стихъ послѣднихъ пѣсенъ «Чайльдъ-Гарольда» платили отъ 25 до 28 шиллинговъ. По выѣздѣ изъ Англіи, Байронъ втеченіи пяти лѣтъ 1816—1821, получалъ отъ своего издателя Муррея, въ средней цифрѣ, по 2500 фунтовъ ежегодно, что̀, при тогдашнемъ курсѣ золота и при дешевизнѣ жизни въ Италіи, было достаточно для покрытія всѣхъ издержекъ, тѣмъ болѣе, что поэтъ узналъ счетъ деньгамъ и начиналъ даже скупиться. «Прежде я писалъ—эти слова его относятся къ 1818 году—отъ полноты мысли и для славы (не какъ цѣли, но какъ средства вліянія на умы), теперь же пишу по привычкѣ и изъ жадности. Во мнѣ осталась прежняя легкость, и даже потребность творчества, чтобы избѣгнуть праздности, но я сталъ гораздо уже равнодушнѣе къ тому, что́ отсюда проистечетъ потомъ, когда непосредственная моя цѣль достигнута» (Муръ, 387).

Въ 1818 году, Байронъ продалъ свое имѣніе Ньюстедъ, вслѣдствіе чего наличныя его средства усилились. Затѣмъ, въ 1822 г., когда умерла мать его жены и

къ послѣдней перешли все состояніе Уэнтвортовъ, съ 7.000 фунтовъ доходу и титулъ лордовъ Ноэль, Байронъ и самъ принялъ эту фамилію (Джорджъ Гордонъ-Ноэль-Байронъ), а также сталъ пользоваться половиной дохода съ наслѣдованнаго его женою состоянія. Такое обиліе средствъ и сдѣлало впослѣдствіи возможной его экспедицію въ Грецію. Подъ вліяніемъ свойственнаго ему лицемѣрія «на-выворотъ», т. е. представленія себя въ дурномъ свѣтѣ, Байронъ вступалъ въ споры съ издателями, торговался насчетъ условій и игралъ роль корыстолюбца, эксплуатирующаго своихъ издателей (Муръ 549. «Высказываю твердое мое убѣжденіе, что деньги—добродѣтель» [1]).

Въ этой мнимой жадности было много притворства. Не писать Бойронъ не могъ, такъ какъ въ такомъ случаѣ, мозгъ его просто не выдержалъ бы напора необузданныхъ чувствъ и мыслей. Изъ кипѣвшаго воображенія поэта вылилась прежде всего драматическая поэма «Манфредъ», начатая въ Швейцаріи, лѣтомъ 1816 года, а оконченная въ мартѣ 1817 г. — произведеніе «странное, метафизическое и необъяснимое» (Муръ. 340); самъ не знаю—писалъ Байронъ издателю—хорошо оно, или дурно» (Муръ. 342); это—«драма безумная, трагедія изъ Бедлема» (Муръ 345) лучшая изъ всѣхъ моихъ плохо родившихся, пусть говорятъ что̀ хотятъ» (Муръ. 361). «Одни говорятъ, что я взялъ Манфреда изъ «Фауста» Марлоу, другіе, что—изъ Гётева «Фауста» же. Чортъ побери всѣхъ Фаустовъ, нѣмецкихъ и англійскихъ—ничего я изъ нихъ не бралъ». Иначе однакожъ судитъ Гёте (XII.559 изд. Курца): «Байронъ взялъ моего «Фауста» и гипохондрически извлекъ изъ него самую странную пищу, оригинально обработалъ отвѣчавшіе его цѣлямъ мотивы, такъ что ни одинъ изъ нихъ не остался тѣмъ, что̀ былъ прежде, и вотъ почему нельзя достаточно удивляться его духу». Спрашивается, кто тутъ правъ—и

[1]) I pronounce my firm belief that Cash is Virtue.

вопросъ этотъ тѣмъ труднѣе разрѣшить, что Байронъ говоритъ еще слѣдующее: «что касается «Фауста» Марлоу, то я не слыхалъ даже о существованіи его; но лѣтомъ (въ Швейцаріи) Льюисъ переводилъ при мнѣ устно нѣсколько сценъ изъ «Фауста» Гёте.» Изъ тѣхъ сценъ Байронъ только и узналъ объ исторіи этого волшебника. Подлинный зародышъ «Манфреда» находится въ дневникѣ, написанномъ для сестры, о посѣщеніи горъ Венгеральпъ, Шейдекъ, Юнгфрау и Шрекгорнъ. «Вся сценерія Манфреда—писалъ Байронъ—находится у меня передъ глазами, какъ будто я былъ тамъ вчера, и я могъ бы указать каждый шагъ, каждый потокъ» (Муръ. 368).

Чтобы ближе присмотрѣться къ дѣлу, устранимъ сперва всѣ посторонніе элементы, всѣ вставки и даже наружную форму произведенія. Уже Гете замѣтилъ, что Манфреда преслѣдуютъ два женскихъ призрака: духъ сестры его, Астарты, и затѣмъ—другой, фигурирующій только какъ «голосъ», провозглашающій заклинаніе въ концѣ первой сцены. Этотъ отрывокъ, написанный въ Швейцаріи, передъ «Манфредомъ» и «дьявольски-жестокій», какъ его называетъ Джиффрсонъ (П. 184), обращенъ къ женѣ поэта и представляетъ ея призракъ, преслѣдующій его какъ привидѣніе, не дающій ему покоя днемъ и ночью. «Бываютъ тѣни не исчезающія, бываютъ мысли, которыхъ отогнать невозможно... Хотя ты не увидишь меня проходящею, но ощутишь меня собственными глазами, подобною тому что̀, хотя и остается невидимымъ, но есть, и должно быть возлѣ тебя; и когда внезапно почувствуешь дрожь и оглянешься—то ты удивишься, что я не лежу за тобой, какъ твоя же тѣнь на полу; а ту силу, которую будешь сознавать, ты принужденъ будешь скрывать»... Устранимъ изъ нашей мысли и превосходную апострофу къ солнцу (актъ III сцена I), которая напоминаетъ арійскіе гимны въ «Ригъ-Ведѣ», а также устранимъ воспоминаніе о ночи, проведенной въ Колизеѣ (актъ III сц. IV), а затѣмъ и

всю альпійскую сценировку, которая придаетъ поэмѣ особенную прелесть и изображена съ правдивостью, памятной только для тѣхъ, кто самъ сгибался надъ пропастью, самъ видѣлъ лавины, каскады, красный поцѣлуй заходящаго солнца на вѣнцахъ снѣжныхъ горъ и бурю, бурю, застывшую въ ледяномъ образѣ—какъ ее представляютъ наибольшіе изъ швейцарскихъ глетчеровъ.

Разгонимъ, наконецъ, и всю эту, ненужную намъ теперь, стаю духовъ, альпійскихъ фей, Аримана, Немезиду, и многоразличныхъ судебъ (*destinies*), пустыхъ и бездушныхъ аллегорій. Элементъ фантастическій не давался въ руки поэта столь субъективнаго, столь переполненнаго самимъ собою; этотъ элементъ бываетъ послушенъ только поэтамъ, которые своей проницательностью, воображеніемъ и любовью, такъ сказать, всасывались въ великую жизнь природы или расплавлялись бытіемъ своимъ въ бытіи міровомъ; такъ дѣлали Шекспиръ и Гете. Если устранимъ все упомянутое выше, всѣ приставки и дополненія, и дойдемъ до самаго остова произведенія, то найдемъ въ немъ вовсе не драму, а лишь постоянный монологъ, безъ драматической завязки и безъ дѣйствія. Въ первомъ актѣ, герой, тщетно ищущій забвенія прошлаго, хочетъ броситься въ пропасть, но отъ самоубійства его спасаетъ альпійскій стрѣлокъ. Во второмъ актѣ, герой, дойдя до огненнаго престола Аримана, узнаетъ отъ духовъ, что завтра же умретъ. И наконецъ, въ третьемъ дѣйствіи, герой умираетъ, отстраняя религіозную помощь, которую ему предлагаетъ игуменъ, словами: «о старецъ! умирать вовсе не такъ трудно»—что̀ какъ двѣ капли воды похоже на «Лару».

Да Манфредъ и есть все тоже лицо, которое въ молодости носило имя Чайльдъ-Гарольда, а въ возмужаломъ возрастѣ называлось Корсаромъ а Ларой; требовалось очень мало перемѣнъ, чтобы изъ нихъ создать Манфреда. Въ прежнее время, лице это было объектомъ разсказа, теперь оно само ведетъ разсказъ, лично производитъ анатомическое вскрытіе болящей и гордой души

своей, которая удучается «присутствіемъ мысли неотступной, непреодолимой» (I. 1). Душа эта доходитъ до крайности и въ добрѣ и въ злѣ, она сама несчастна и страданіемъ своимъ приноситъ несчастье другимъ (II. 2.: *«extreme in both, fatal and fated in thy sufferings»*). Она не нуждается въ другихъ, остается одинокой: «терпѣніе! о это слово создано для упряжныхъ животныхъ, а не для хищныхъ звѣрей» (II. 1). «Не хочу жить въ стадѣ, хотя бы вождемъ стаи волковъ; левъ всегда одинокъ и я такимъ останусь» (III. 1). Манфредъ однако управляетъ собой и самое бѣдствіе свое ставитъ въ зависимость отъ своей воли (II. 4). «Какимъ я могъ быть и каковъ я есть — останется между небомъ и мной; никого изъ смертныхъ я не возьму въ посредники» (III. 1). Все это — типическія черты Лары и Корсара; къ тѣмъ же чертамъ относится и Каинова печать преступленія, прибавленная въ художественныхъ видахъ, такъ какъ, благодаря ей, отчаянное состояніе души становится понятнѣе для толпы, а кромѣ того, этотъ оттѣнокъ преступности истекъ и изъ столь свойственнаго Байрону разгадыванія чувствъ преступника. Однажды возвращаясь въ Англію съ Востока, Байронъ сказалъ пріятелямъ своимъ на палубѣ корабля, играя въ рукахъ небольшимъ ятаганомъ: «хотѣлось бы мнѣ знать, что человѣкъ чувствуетъ по совершеніи убійства» (Муръ, 110). Убійство и ренегатство были уже употреблены въ дѣло въ «Ларѣ», поэтому въ «Манфредѣ» пришлось совокупить убійство съ кровосмѣшеніемъ, тѣмъ болѣе, что кровосмѣсительная любовь составляла одинъ изъ любимыхъ мотивовъ въ литературѣ начала XIX вѣка (она является у Шатобріана, Меримé; см. Брандеса: «Главныя теченія лит. XIX в.» т. IV—литература французскихъ эмигрантовъ. 4), да наконецъ, тому же способствовала и сплетня о «кровосмѣсительной связи», Байрона и Шелли съ сестрами, которая изъ Швейцаріи проникла въ Англію, а оттуда дошла и до свѣдѣнія Байрона.

Но, указавъ на сходство между Манфредомъ и его

предшественниками, обратимся теперь къ различіямъ. Познакомившись съ Шелли, Байронъ заразился пантеизмомъ отъ блестящаго, похожаго на сонное видѣніе воображенія своего пріятеля, и это вліяніе отразилось въ 72 и 75 строфахъ III пѣсни «Чайльдъ-Гарольда»: «Въ себѣ самомъ я не живу, но той природы, что́ вокругъ живетъ, я лишь частица... Тѣ горы, облака̀, и бездны водяныя—развѣ не часть они души моей, какъ я—звено́ ихъ...» Изъ новаго взгляда возникала въ немъ потребность нѣсколько глубже вдуматься въ психологію и опереться на какихъ-либо метафизическихъ основахъ. «Не думаю—писалъ Байронъ—что настоящее мое призваніе литература. Мнѣ бы хотѣлось создать нѣчто въ родѣ космогоніи или картины сотворенія міра, что́ дало бы матерьялъ для работы философамъ всѣхъ вѣковъ» «Муръ, 341). Точно такъ, услыхавъ нѣчто о Фаустѣ и восхитясь нѣкоторыми сценами, Байронъ и Манфреда своего сдѣлалъ ученымъ чародѣемъ, который повелѣваетъ духамъ и съ самимъ Ариманомъ бесѣдуетъ какъ равный съ равнымъ. Но впрочемъ, дѣло все и окончилось этими позаимствованіями: голова Байрона не была устроена на философскій ладъ, онъ не умѣлъ, и никогда не научился изслѣдовать что̀ собственно находится подъ внѣшностью, позади символа, догмата и олицетворенія. Его философія никогда не возвысилась до разсужденій, выходящихъ за узкія рамки Моисеевой «Книги Бытія». Даже когда онъ изъ знанія своего извлекалъ «наиболѣе запрещенныя заключенія (II. 2), то собственно приготовлялъ матерьялъ только для будущихъ Каиновыхъ ропота и богохуленія, и упрековъ Творцу за то, что самое бытіе есть несчастіе; но далѣе онъ не шелъ. Когда Байронъ парафразируетъ знаменитое двустишіе Мефистофеля» (1684 и 1685 стихи, ч. I. «Фауста», изд. Лёпера):

«Grau, theurer Trennd, ist jede Theorie,
Und grün des Lebens gold'ner Baum [1])».

---

[1]) Сѣра̀, другъ мой, теорія всегда, а зелено лишь жизни древо золотое».

то дѣлаетъ онъ это слѣдующимъ образомъ: «знаніе наше есть скорбь, кто больше знаетъ, тотъ сильнѣй скорбитъ надъ роковою правдой, что древо знанія не есть древо жизни» (I. 1). Байронъ здѣсь не проникъ до глубины мысли о томъ, въ чемъ для человѣка представляется горечь его знанія: въ недостаткѣ увѣренности, въ сомнѣніи, въ томъ, что чего ни коснется пытливый умъ, все распадается, оказывается призракомъ, изъ котораго дѣйствительность улетучивается, такъ что ее ухватить невозможно, а въ рукахъ остается лишь пустота; что, наконецъ, когда мысль углубляется въ самоё себя и подвергаетъ своему анализу микрокосмъ души, то и тамъ теряетъ подъ собой почву, сознаетъ вскорѣ, что и этотъ мірокъ раздвояется, раскалывяется на утвержденіе и оспариваніе—въ результатѣ чего передъ мыслителемъ и возстаетъ, протягивая ему свой роковой договоръ, олицетворенное въ обзорѣ Мефистофеля—полное отрицаніе.

Въ «Манфредѣ», вопросъ о знаніи является лишь второстепеннымъ и случайнымъ. Манфредъ уже искусился въ тайнахъ чернокнижія прежде, чѣмъ совершилъ преступленіе, а стало быть не вопросъ о знаніи, но память о преступленіи мучитъ его, и притомъ тѣмъ ужаснѣе, что надъ нимъ тяготѣетъ «проклятье то, что нѣтъ въ немъ страха ни предъ чѣмъ (I. 1); прошлаго ничто не изгладитъ, а до будущаго ему самому дѣла нѣтъ, если нельзя вернуть прошлаго (I. 2)». Знаніе это ограничено именно только душевнымъ міромъ, но и въ этомъ мелкомъ мірѣ раздвоенія нѣтъ, а есть одна только увѣренность—страданія, притомъ—такого, что «еслибъ муки тѣ приснились другому человѣку, то этотъ сонъ его убилъ бы (II. 1)». Съ полнымъ сознаніемъ душа эта страстно желаетъ смерти, желаетъ жаждой неутомимою (II. 1) и лишь съ этой минуты чувствуетъ облегченіе, странное успокоеніе и какъ бы новую способность чувствовать, когда узнаетъ, что до смерти остается всего часъ времени (III. 1). Манфредова душа тверда какъ камень, она нисколько не раздваивается, не имѣетъ дѣла ни съ какимъ

Мефистофелемъ отрицанія и никакого договора не заключаетъ. Когда онъ видитъ въ свой смертный часъ духа, который своимъ взоромъ сулитъ ему вѣчность осужденія, то Манфредъ восклицаетъ: «Прочь! Тебѣ бросаю вызовъ! Исчезни ты въ свой адъ! Нѣтъ тебѣ власти надо мной, я чувствую—не завладѣешь мной, я это сознаю». Душа эта не свободна отъ предразсудковъ, она допускаетъ адъ, и однакоже, въ своемъ мятежномъ изступленіи, она открываетъ нѣчто совершенно новое, достигаетъ уразумѣнія и обоснованія нравственности—небогословской, независящей отъ вѣры, той именно нравственности, которая составляетъ краеугольный камень этики намъ современной. «То, что̀ я сдѣлалъ—совершилось. Я самъ въ себѣ ношу мученіе, къ которому ты не прибавишь ничего. Безсмертный духъ расплачивается самъ за добрые и злые помыслы свои. Ему врожденное сознаніе не заимствуетъ красокъ отъ волнующихся вокругъ внѣшнихъ вещей, но углубляется въ страданіе или наслажденіе, истекающее изъ сознанія собственной его пустыни (III. 4).»

Этотъ герой, которому достаточно одного себя, имѣетъ лишь то общее съ Фаустомъ, что—смертенъ, какъ и тотъ; но всетаки онъ—полубогъ, болѣе близкій къ Прометею Эсхила, родившемуся въ тѣ туманно-отдаленные вѣка̀, когда боги спускались на землю и ходили среди людей, потому что человѣкъ въ ту эпоху давалъ свое обличіе и природѣ, и ея силамъ, и божеству: «Я въ дѣтствѣ страстно любилъ Эсхилова Прометея — писалъ Байронъ (Муръ. 368) — мы читали его по три раза въ годъ въ Гарроу. Прометея, собственно, въ моемъ планѣ не было, но въ головѣ у меня онъ былъ всегда». И такъ, хотя «Манфредъ», въ цѣломъ, представляетъ нѣчто неудавшееся, но въ немъ много привлекательнаго, уже по той причинѣ, что онъ — зеркало состоянія души Байрона въ извѣстномъ періодѣ жизни: «Я былъ полусумасшедшимъ все время, когда писалъ эту вещь; я блуждалъ среди метафизики, горъ, озеръ, съ непогасшей любовью, съ мыслями, которыхъ нельзя выразить, и съ кошмаромъ собственныхъ виновныхъ дѣлъ моихъ».

XXV.

Горькая чаша этихъ виновныхъ дѣлъ, уже почти полная, перелилась въ Венеціи черезъ край (1817 и 1818 гг.). Это самые худшіе, но и самые горькіе годы, какіе переживалъ поэтъ. Раненый въ сердце, оскорбленный въ своей супружеской связи, онъ сверхъ того, разошелся съ своимъ народомъ до такой степени, что въ 1817 году писалъ (Муръ. 345): «ненавижу свой народъ, а народъ—меня (*«Jabhor the nation and the nation me»*)». Отвергнутый своимъ обществомъ и принявшій на себя, изъ чувства обиды и по тщеславію, характеръ космополита, среди общества итальянскаго, совершенно ему чуждаго и стоявшаго умственно—ниже той сферы, къ какой онъ привыкъ съ дѣтства,—Байронъ бросился въ самый омутъ чувственнаго кутежа, которымъ всегда славилась, даже и подъ властью австрійцевъ, свергнутая съ своего престола царица Адріатики. Поэтъ не разбиралъ: сперва онъ связался съ женой торговца Маріянной Сегати, и сталъ жить съ нею въ Венеціи, въ виллѣ надъ Брентой въ Ла-Мира; потомъ сошелся съ простой крестьянкой изъ окрестности Бренты Маргаритой Коньи, которая перебралась къ нему почти насильно, смѣшила его своими глупостями, ругала его «can della Madonna», когда онъ называлъ ее «коровой», но изъ ревности хваталась за ножъ, такъ что ее должны были силой унести изъ дворца Мочениго, причемъ она упиралась и хотѣла броситься въ каналъ (Муръ. 383). Но это еще не были худшіе экземпляры того гарема или, вѣрнѣе, звѣринца, изъ-за котораго дворецъ Мочениго на Большомъ каналѣ пріобрѣлъ дурную репутацію даже въ такомъ развратномъ городѣ, какимъ была Венеція. Байронъ забавлялся этими, слишкомъ обыкновенными звѣрьками, но неразъ, наскучивъ ими, убѣгалъ и остатокъ ночи проводилъ въ гондолѣ.

Онъ бросилъ свою воздержность въ пищѣ, сталъ

употреблять крѣпкіе спиртные напитки, сильно измѣнился по наружности, огрубѣлъ, отпустилъ бороду, отяжелѣлъ, а кожа его приняла блѣдно-желтый отливъ — признакъ страданія печени. Однако, желудокъ, давно отвыкшій отъ обильнаго питанія, возсталъ противъ такого образа жизни и въ 1819 году Байронъ впалъ въ болѣзнь, которая его снова истощила и покрыла красивые его волосы преждевременной сѣдиною. Выздоравливая, онъ писалъ Муррею 6 апрѣля 1819 г. (М. 392): «мнѣ уже лучше, и въ здоровьи, и нравственно». Между тѣмъ, это физическое самоистощеніе оставалось почти безъ вліянія на поэтическое творчество, а лишь сдерживало его, и то — только въ припадкахъ болѣзни. Въ это именно время оканчивались поэтомъ двѣ послѣднія пѣсни «Чайльдъ-Гарольда» и обдумывались венеціянскія драмы, написанныя затѣмъ въ Равеннѣ и наконецъ, созрѣвала мысль о сатирическомъ эпосѣ, котораго первымъ опытомъ былъ «Беппо», а вѣнцомъ долженъ быть явиться «Донъ-Жуанъ».

И такъ, возвратимся къ «Чайльдъ-Гарольду», о которомъ самъ авторъ, въ томъ же письмѣ къ Муррею говоритъ: «божественныхъ поэмъ у васъ уже много, неужели же ничего не стóитъ поэма *человѣческая*, въ которой нѣтъ ни частички вашей обвѣтшавшей механики». Въ послѣднихъ пѣсняхъ, пилигримъ совсѣмъ исчезаетъ; онъ уже — не фигурка, служащая къ оживленію ландшафта, ни даже тѣнь этой фигурки, онъ тутъ уже просто одно только имя. Вмѣсто него выступаетъ и выручаетъ его самъ разсказчикъ впечатлѣній собранныхъ по большимъ всемірнымъ путямъ, которыми раньше его прошли сотни тысячъ путниковъ. Отъ классическаго Ватерлоо—по Рейну, черезъ Швейцарію—въ Италію, изъ Венеціи, черезъ Флоренцію, въ Римъ—вотъ эти дороги. Разсказъ лишенъ дѣйствія и похожъ на цѣпь выкованную изъ разнородныхъ, случайно ухватившихся, одно за другое, звеньевъ, изъ картинъ природы, историческихъ воспоминаній, отзывовъ о произведеніяхъ искусства и

изъ идей политическихъ. Нуженъ былъ громадный талантъ, чтобы такой разсказъ вышелъ не утомительнымъ, чтобы въ читателѣ возбудить хоть сколько-нибудь интереса къ перебираемымъ постепенно бусамъ этихъ чётокъ. И дѣйствительно интересъ возбуждается и поддерживается только субъективностью разсказчика, его поэтическимъ темпераментомъ, хватающимъ за сердце очарованіемъ тѣхъ возвышенныхъ чувствъ, какія отзываются въ поэтѣ на полученныя имъ впечатлѣнія, и наконецъ — лирическимъ элементомъ, весьма обильнымъ во всей поэмѣ. Въ душевномъ настроеніи поэта преобладаетъ печаль, но болѣе, чѣмъ прежде, спокойная и болѣе глубокая; она подкрѣпилась и оправдалась жизненнымъ опытомъ, она ведетъ пѣвца прочь отъ людей, въ уединеніе, гдѣ хочетъ сосредоточиться въ себѣ и о себѣ подумать. Вотъ нѣсколько мыслей въ такомъ направленіи: «Цвѣтъ мудрости лежитъ въ ея собственныхъ твореніяхъ или въ твоихъ объятіяхъ всерождающая природа (III. 46). — «Высокія горы для меня, воодушевлены чувствомъ, но городà меня утомляютъ своимъ шумомъ пошлымъ (III. 72); — гдѣ снуетъ столько людей, я не могу сообразить той красоты, къ которой стремлюсь (III. 68)—Душа моя природѣ мысль свою ввѣряетъ, не въ галлереяхъ, посвященныхъ искусствамъ, но въ открытомъ полѣ (IV. 61) — «Не даромъ персы древніе лишь на вершинахъ горъ богамъ престолы воздвигали; приди ты и сравни́ колонны греческія, готическія постройки — съ землей и воздухомъ, съ природы царствомъ свѣтлымъ; молитвъ своихъ не замыкай въ пространствѣ тѣсномъ (III. 91)».

Характернымъ признакомъ бо̀льшей зрѣлости является здѣсь свобода и даже прямой отказъ отъ той странной и ни на чемъ не основанной мизантропіи, съ которою Байронъ первоначально выступилъ въ свѣтъ, не дойдя еще до совершеннолѣтія, какъ въ смыслѣ гражданскомъ, такъ и въ смыслѣ поэтическомъ. «Тотъ еще не презираетъ людей, кто бѣжитъ отъ нихъ, и ненависти нѣтъ, когда умъ человѣка углубляется въ

свой источникъ... чтобы потомъ вылиться изъ него кипяткомъ (III. 69)». Въ IV пѣсни «Чайльдъ-Гарольда» содержится знаменитый, великолѣпный гимнъ океану, и въ пѣснѣ этой, дѣйствительно, наиболѣе рельефно проявляется сходство его природы съ природой океана (еще въ 1814 г. онъ писалъ Муру: «я возобновилъ знакомство со старымъ моимъ другомъ—океаномъ». Муръ 25): «людей не люблю я менѣе, но больше люблю природу, ибо когда сообщаюсь съ ней, то во мнѣ исчезаетъ мысль—чѣмъ я могу быть, чѣмъ буду и я стремлюсь смѣшаться со вселенной и чувствовать... то, чего не могу выразить, но не могу и скрыть (IV. 178)». Великая его любовь къ природѣ, взятой отдѣльно отъ человѣка, равняется восторгамъ Руссó, но причину страданій и горя онъ видитъ не въ заблужденіяхъ цивилизаціи, а въ самомъ источникѣ ума, гдѣ образуется тотъ кипятокъ, который потомъ выливается отравленной иногда струей. «Жизнь наша, это — фальшь въ природѣ, дисгармонія въ мірѣ, строгій приговоръ съ неизгладимымъ клеймомъ грѣховности, исполинскій убійственный анчаръ—дерево смерти, котораго корень—земля, а листва въ небѣ, откуда и спускаются росою всѣ бѣды: болѣзни, смерть и рабство (IV. 126)». Изъ этой индійской философіи жизни, истекаетъ у Байрона, однако, не Нирвана, впослѣдствіи подогрѣтая Шопенгауэромъ и Гартманномъ, но стремленіе къ исцѣленію души свойственнымъ ей самой средствами—свободою человѣческой мысли, вѣрою въ торжество правды и разума (IV. 127). «Станемъ, однако, съ достоинствомъ разсматривать свою судьбу; тотъ подлымъ образомъ отрекается отъ своего разума, кто не хочетъ пользоваться свободно своимъ правомъ мыслить. Таково единое, послѣднее убѣжище человѣка, и нынѣ оно стало моею пристанью. Хотя священный этотъ даръ въ насъ, отъ самой колыбели, скованъ, искалѣченъ, стиснутъ, содержится во мракѣ, для того, чтобы какъ нибудь внезапно ума нашего не охватила свѣтлая истина, однако время и знаніе возвратятъ слѣпымъ зрѣ-

ніе». За то, что онъ распространялъ такую вѣру, поэтъ надѣется, что еслибы имя его и было исключено изъ того храма, въ коемъ народы чтутъ умершихъ (IV. 10), однако онъ всетаки имѣетъ право на безсмертіе. «Я жилъ, однакоже и жилъ не понапрасну... за мной осталось нѣчто, какъ воспоминаніе о звукѣ лиры онѣмѣвшей, чтó какъ эхо, въ душѣ тихонько отзовется и въ сердцахъ окаменѣлыхъ любви пробудитъ угрызеніе (IV. 137)».

Поэтъ отдаетъ себѣ отчетъ въ великомъ вліяніи искусства на человѣка, въ большемъ, ведущемъ къ счастью значеніи геніальныхъ произведеній мысли. «Творенія генія вылѣплены не изъ глины, по существу они безсмертны, свѣтлые лучи изъ нихъ въ грудь нашу льются... (IV. 5). Искусство имѣетъ назначеніемъ... «создавать и въ жизни создаваемыхъ имъ образовъ расширять нашу собственную жизнь: воображенія мысль мы воплощаемъ, пріобрѣтая тѣмъ, что сохранится жизнь наша, которую мы отлили въ нашихъ созданіяхъ (III. 6)». У Байрона было врожденное художественное чувство, но знатокомъ онъ вовсе не былъ, ставилъ Канову наравнѣ съ художниками древности (IV. 55). Онъ не почтилъ ни одной строкой Микеля-Анджело, котораго геній былъ ему близокъ, такъ какъ оба они были въ высокой степени субъективны; Байронъ не любилъ готическаго стиля, не зналъ толка въ живописи, такъ что питалъ отвращеніе къ Рубенсу и относился съ пренебреженіемъ къ Мурилльо и Веласкесу. До какой степени отсталымъ онъ былъ въ литературныхъ своихъ вкусахъ, въ своемъ классицизмѣ, объ этомъ мы еще упомянемъ ниже. Здѣсь же поставимъ еще замѣчаніе, что вникая въ вопросъ о религіи или, сказать вѣрнѣе — запуская въ нее буравъ анализа, Байронъ лишь вызывалъ сомнѣніе, но даже и не пытался склеить какой-нибудь догматъ, послѣ такого или иного разрѣшенія сомнѣнія, совсѣмъ такъ, какъ и въ искусствѣ онъ только будилъ любовь къ прекрасному, нисколько не вникая, въ чемъ заключается су-

щество его, не указывая на образцы или типы прекраснаго — до такой степени произведеніямъ его, даже наиболѣе сильно дѣйствующимъ, присущъ недостатокъ сосредоточенія, единства и пластичности. Точно такъ, и въ политикѣ, которой онъ касался безпрестанно, проявлялось у него лишь стремленіе къ какой-то отвлеченной, неопредѣленной свободѣ, страстная влюбленность въ понятіе, внутренно пустое, лишенное всякаго содержанія и сознанія о томъ, что свободѣ предстоитъ осуществляться не въ воздухѣ, но въ отношеніяхъ между людьми, отношеніяхъ, регулируемыхъ такими условіями, которыя каждое общество выработываетъ себѣ пóтомъ и кровью въ ежедневномъ направленномъ къ тому трудѣ, и что условія эти, въ каждое, данное время, бываютъ настолько хорошія, насколько того достойно самое общество, ни болѣе, ни менѣе.

Этотъ органическій недостатокъ въ поэзіи Байрона тѣмъ болѣе заслуживаетъ вниманія, что «Чайльдъ-Гарольдъ» являлся выраженіемъ извѣстнаго политическаго направленія и какъ бы программою радикальнаго либерализма, каковъ онъ былъ въ послѣдніе годы первой четверти XIX вѣка. Въ этомъ отношеніи Байронъ вполнѣ былъ сыномъ своего вѣка, такъ какъ не отдѣлялъ государства отъ общества и безусловно вѣрилъ, что великое общественное зло и великая бѣда происходятъ отъ дурнаго управленія. Въ 1813 году онъ писалъ: «I have simplified my politics into an utter detestation of all existing governments» [1]). Мятежнымъ своимъ отношеніемъ къ существовавшему положенію дѣлъ Байронъ значительно повліялъ на самый ходъ событій: онъ поддержалъ возстаніе грековъ и несомнѣнно принадлежитъ къ числу воскресителей народности итальянской — этой Ніобы, среди угасшихъ народовъ, которой судьба дала на по-

---

[1]) «Я упростилъ свою политику въ полную ненависть ко всѣмъ существующимъ правительствамъ».

гибель роковой даръ красоты (IV. 42). [1]). Онъ являлся какъ бы Тиртеемъ въ тогдашней Европѣ, призывая къ дѣйствію въ эпоху страшнаго истощенія силъ и общей усталости, но въ тоже время онъ пріучалъ европейское общество къ невѣрнымъ, отчасти, сужденіямъ, къ усматриванію геройства въ каждомъ покушеніи противъ власти, къ безплоднымъ революціоннымъ попыткамъ, и содѣйствовалъ дискредитированію самаго либерализма въ политикѣ.

XXVI.

Послѣ разбора «Манфреда», который представлялъ собой переходъ отъ лирики къ драмѣ, умѣстно будетъ обратиться непосредственно къ обзору главныхъ драматическихъ произведеній Байрона, написанныхъ въ Равеннѣ. («Марино Фаліеро» 1820 г., «Сарданапалъ», «Двое Фоскари» и «Каинъ» 1821 г.). Это была новая фаза развитія Байронова творчества, тѣмъ болѣе любопытная, что здѣсь ему пришлось бороться съ такимъ родомъ искусства, къ которому онъ по природѣ, казалось, не былъ способенъ. Прежде всего, въ области драматической ему, шедшему уже среди полнаго разцвѣта романтизма, долженъ былъ мѣшать классическій его вкусъ, его странное на первый взглядъ удивленіе къ Попу, которое можно бы было даже принять просто за аффектацію, если бы мы не имѣли собственныхъ его признаній о томъ, какъ онъ смотрѣлъ на этого поэта, признаній довольно забавныхъ и нелѣпыхъ— до такой степени въ нихъ мало критики и вѣрности

---

[1]) Извѣстно, что въ этихъ словахъ Байронъ заимствуетъ мысль изъ первыхъ стиховъ извѣстнаго сонета Филикаи «Италія»:

«Italia, Italia, tu cui feo la sorte
Dono infelice di bellezza, ond'hai
Dote funesta d'infiniti guai
Che in fronte scritti per gran doglia porte»..

взгляда. Вотъ, что̀ онъ писалъ Муррею въ 1817 г. изъ Венеціи: «перечитывалъ я поэмы свои, Мура и иныхъ, сравнилъ ихъ съ произведеніями По́па, и во истину былъ пораженъ и огорченъ, вслѣдствіе неописуемаго превосходства послѣднихъ во всемъ, что относится до вкуса, гармоніи, эффектности, а даже *воображенія, страсти и изобрѣтательности*. Какая разница между этимъ малымъ человѣчкомъ временъ королевы Анны и нами, принадлежащими къ Нижней имперіи (Муръ. 367)» [1]) «Всегда—пишетъ онъ въ иномъ мѣстѣ—признавалъ я По́па величайшимъ изъ англійскихъ поэтовъ; остальные—варвары. Его поэзія, это—греческій храмъ, стоящій между готическимъ соборомъ и мечетью. Называйте Шекспира и Мильтона пирамидами, пусть такъ: но я предпочитаю храмъ Тезея или Партенонъ — горамъ изъ жженаго кирпича«.

Сравненіе тутъ во всякомъ случаѣ, невѣрное: По́пъ— не болѣе, чѣмъ деревянная бесѣдка во вкусѣ греческаго храма, такая, какихъ бывало множество въ подстриженныхъ садахъ прошлаго столѣтія. Правда только та, что у По́па былъ вкусъ, была извѣстная техника, выработка ловкой, красивой формы—рядомъ съ большою бѣдностью содержанія. На этой техникѣ, самъ Байронъ въ молодости отшлифовалъ свой стихъ, усвоилъ ее себѣ, но отличался тѣмъ отъ напудренныхъ тѣхъ, старосвѣтскихъ мастеровъ, что они въ своихъ рѣзныхъ стаканахъ, вмѣсто вина, предлагали едва окрашенную розовую воду, а у него въ классическій хрустальный бокалъ лился клокочущій кипятокъ изъ укрытаго въ душѣ источника, лилась кровь въ настоящей своей теплотѣ. Въ томъ и заключалось мастерство Байрона, что это свое, кипучее содержаніе онъ умѣлъ вливать въ узкіе сосуды классической техники, сжималъ мысль, а форму умѣлъ растягивать какъ перчатку. Онъ любилъ симметрію, разсуждалъ, ораторствовалъ, гравировалъ

---

[1]) Lower Empire, Bas Empire—имперія византійская.

остріемъ ножа, канализировалъ чувство и заставлялъ его стекать самымъ узкимъ русломъ. Справедливо замѣчаетъ Трейтшке («Истор. и политич. соч.» 1865 г.— «Лордъ Байронъ и радикализмъ»), что «классическому своему воспитанію въ дѣлѣ поэзіи Байронъ обязанъ трезвой силой и правдой благороднаго выраженія, которое такъ могущественно дѣйствуетъ самыми простыми средствами». Другой писатель, французъ Филонъ въ своей «Исторіи англ. литер.» (1883 г. стр. 526) говоритъ такъ: «Байронъ схватываетъ какое-нибудь положеніе (une attitude). моментъ ужаса или восторга и отчеканиваетъ его впечатлѣніе въ своемъ сильномъ и гибкомъ стихѣ. Впечатлѣніе это дѣйствительно и пронзаетъ насъ внезапно, а далѣе уже ничего нѣтъ».

Истощивъ, постояннымъ повтореніемъ единаго своего мрачно-необузданнаго типа, формы лирическія и эпическія, а быть можетъ, желая, кромѣ того, спастись куда-нибудь отъ устремившейся за нимъ толпы послѣдователей, Байронъ бросился въ область драмы. Здѣсь передъ нимъ стоялъ какъ великанъ поперёкъ дороги—Шекспиръ, котораго уже вся романтическая школа успѣла вознести и провозгласить праотцемъ новѣйшаго драматизма. Шекспира Байронъ зналъ отлично, безпрестанно приводилъ его въ своихъ письмахъ, но съ нимъ уже подѣлать ничего не могъ, а потому почти что обошелъ его, подъ такимъ предлогомъ, что «зеленъ виноградъ». — «Признаю—писалъ онъ (Муръ, 517)—что Шекспиръ—необычайнѣйшій изъ всѣхъ писателей, но считаю его худшимъ изъ образцовъ». И вотъ, путеводителемъ своимъ въ драматической области онъ избралъ умершаго въ 1803 году Виктора Альфіери, горячаго, великаго патріота и вслѣдствіе того — революціонернаго ритора, который доказывалъ политическія тезы, посредствомъ маннекеновъ. Эти куклы Альфіери обувалъ въ котурны, а облекалъ онъ лишь одеждами греческихъ статуй, то есть оставлялъ почти нагими—и къ этимъ кукламъ приклеивалъ великія историческія имена. Съ Альфіери сближали Байрона и

страсть къ отвлеченной, безусловной свободѣ, и классическая рутина. Подъ вліяніемъ Альфіери сложилось въ Байронѣ и пристрастіе къ куцой теоріи классической драматургіи, какая и высказана имъ въ предисловіи къ «Сарданапалу»: «всякое произведеніе, которое отступаетъ отъ трехъ единствъ можетъ быть поэзіей, но не будетъ драмой; таковъ былъ законъ, господствовавшій во всемірной литературѣ и онъ же доселѣ господствуетъ въ наиболѣе цивилизированныхъ ея частяхъ. Но *nous avons changé tout cela* [1]) и теперь собираемъ плоды такой перемѣны. Что касается меня, то я предпочитаю болѣе правильный видъ хотя бы слабаго строенія—отрицанію всякихъ рѣшительныхъ правилъ. Если мнѣ неудалось, то вина въ томъ — архитектора, а не самого искусства».

Успѣшности драматическихъ произведеній Байрона мѣшали не только упорство его въ формѣ классической, но еще и сама природа его творчества. Драма требуетъ дѣйствія, которое истекаетъ изъ столкновенія психологически — вѣрныхъ характеровъ, къ тому же видоизмѣняющихся подъ вліяніемъ своего взаимодѣйствія. Здѣсь недостаточна наличность страстности или драматическаго положенія; надо еще, чтобы мы сами увлеклись судьбами лица, которое борется и, проходя чрезъ рядъ все болѣе и болѣе затрогивающихъ насъ положеній, само или возвышается духомъ или, наоборотъ, нравственно падаетъ. Между тѣмъ, у Байрона, и въ драмѣ, дѣйствующее лицо собственно говоря одно, все тотъ же— онъ самъ; страсть не разыгрывается вслѣдствіе происходящаго на сценѣ, но является заготовленною впередъ и остается неизмѣнною; наконецъ, отдѣльныя событія въ дѣйствіи не вытекаютъ одно изъ другаго въ силу логической необходимости. Такъ, весь «Марино Фаліеро»

---

[1]) Самозванный врачъ у Мольера, помѣстивъ сердце направо а печень налѣво, отвѣчаетъ на возраженія, что иначе было по старой системѣ, но «мы все это измѣнили».

погрѣшаетъ противъ психологической правды. Дожъ, оскорбленный своевольнымъ патриціемъ и стремящійся къ самовластію, а рядомъ съ нимъ—плебей Бертуччіо, получившій пощечины отъ другаго патриція, соединяются въ заговорѣ, который долженъ дать Венеціи свободу. Заговоръ истекшій изъ такихъ мутныхъ, личныхъ побужденій заявляется въ своей программѣ, какъ исправленное изданіе такъ называемыхъ «принциповъ 1789 года»: «Возобновимъ времена правды и справедливости, отливъ въ единой, прекрасной республикѣ не безразсудное равенство, но равные для всѣхъ законы, поставленные въ такомъ согласованіи какъ колонны храма, взаимно подпирающіяся, такъ что никакая часть не могла-бы быть вынута безъ нарушенія общаго строя (III. 2)». Заговорщики ораторствуютъ, какъ герои Плутарха или члены Конвента. Дожъ сознаетъ, что онъ попалъ не въ свою стихію, когда требуютъ, чтобы онъ согласился на поголовное истребленіе всѣхъ патриціевъ онъ чувствуетъ себя какъ бы въ аду, видитъ что лишился собственной воли (III. 1). Но заговоръ открывается, и Марино Фаліеро готовясь сложить голову на колодѣ палача, сравниваетъ себя, безъ всякаго права, съ Агисомъ Спартанскимъ и призываетъ месть неба на «геэнну водъ», на «Содомъ моря» и змѣиное его племя.

Хотя въ «Фаліеро» есть дѣйствіе, но нѣтъ выдержанности въ характерахъ. Зато въ «Фоскари» драматическій талантъ Байрона сдѣлалъ уже значительный успѣхъ: здѣсь есть тонкая обрисовка характеровъ; съ мастерствомъ скульптора отдѣлана голова стараго Фоскари, напоминающая собой голову Христа, трогательная своимъ выраженіемъ мученической покорности. Это доказываетъ, что Байронъ могъ переступать и за предѣлы своего дарованія, помощью особаго усилія. Но за то въ этой пьесѣ дѣйствіе отсутствуетъ и мы видимъ лишь страданія двухъ, подвергаемыхъ мученію и смерти невинныхъ людей. Рамка, въ которую вставлены событія въ обѣихъ трагедіяхъ—Венеція, но не настоящая, исто-

рическая, а условная, мелодраматическая Венеція — съ государственной инквизиціею, сбиррами и совѣтомъ Десяти. Допустимъ, что Байронъ былъ, въ этомъ случаѣ, подъ вліяніемъ свойственныхъ XVIII вѣку предъубѣжденій противъ всякаго господства аристократіи. Удивительно однакоже, какъ его не остановила логическая невѣроятность, что столь дьявольскому строю старшій Фоскари жертвуетъ собой до такой степени, что соглашается участвовать въ судѣ надъ собственнымъ своимъ сыномъ, а Фоскари сынъ возвращается изъ изгнанія на неизбѣжную пытку — лишь бы увидѣть снова любимые имъ каналы царицы Адріатическаго моря.

«Каинъ» (названный «мистеріею») занимаетъ среди произведеній Байрона, особое и выдающееся мѣсто, какъ на то указываетъ самъ авторъ. «Каинъ» — чудесенъ, страшенъ — говоритъ Байронъ — его нельзя забыть. Думается мнѣ, что онъ западетъ міру глубоко въ сердце, и что хотя многіе содрогнутся отъ его богохуленій, но всѣ падутъ ницъ передъ его величіемъ». Изъ новѣйшихъ историковъ литературы, Р. Готшалькъ (Новый Плутархъ. IV; лордъ Байронъ. 1876 г.) и Брандесъ («Нов. теченія» и т. д. IV) ставятъ «Каина» чрезвычайно высоко и сравниваютъ проломъ, сдѣланный этимъ произведеніемъ въ англиканскомъ богословіи съ послѣдствіями сочиненія Д. Штраусса — «Жизнь Іисуса». Вальтеръ Скоттъ, которому «Каинъ» былъ посвященъ, отзывался о немъ съ удивленіемъ, а богословы съ крайнимъ раздраженіемъ. Извѣстенъ фактъ, что лордъ-канцлеръ Эльдонъ отказалъ издателю Муррею въ принятіи его иска о самовольной перепечаткѣ этого произведенія, на томъ основаніи, что англійскіе законы, будучи христіанскими, не могутъ давать покровительство сочиненію, направленному противъ св. писанія. Намъ однако всѣ эти права «Каина» на первостепенное значеніе кажутся недостаточными.

То волненіе, какое выходъ его въ свѣтъ, въ 1821 году, произвелъ въ Англіи составляетъ нынѣ уже только

историческій фактъ, въ литературномъ смыслѣ неважный. Важно развѣ для исторіи литературы англійской, но не европейской, то обстоятельство, что «Каинъ» явился какъ продолженіе національнаго эпоса — «Потеряннаго рая» Мильтона. Что касается далѣе, сенсаціи въ кружкѣ клерикаловъ, то она можетъ быть лишена значенія для общаго состава интеллигенціи, можетъ не сказаться ни на площади, на улицѣ. Совсѣмъ иную силу, распространенность и популярность могъ получить «Каинъ», еслибы авторъ его, вовлеченный поэтомъ Шелли въ метафизику, находился въ другомъ отношеніи къ религіи. Между тѣмъ, Байронъ брался за философскіе вопросы, не выходя самъ на вольный воздухъ, и продолжая биться головой о тѣсную стѣну буквально понимаемаго богословскаго догмата. Въ этомъ смыслѣ удивителенъ самый хронологическій фактъ, что «Каинъ» появился послѣ «Фауста», потому что авторъ относится къ разсказу первыхъ главъ «Книги бытія» не какъ зрѣлый мыслитель, знающій что имѣетъ дѣло съ иносказаніемъ, но какъ ребенокъ, который принимаетъ факты на-вѣру, но забрасываетъ учителя стѣснительными вопросами, въ родѣ тѣхъ, что недобрый Боженька, неужели же онъ изгналъ изъ рая изъ-за яблока, и потому-ли, что самое яблоко было дурно, или потому, что неразрѣшено было ѣсть его?

Намъ уже невозможно снизойдти на уровень столь первоначально — наивнаго вѣрованія, и вотъ почему, тѣ сомнѣнія, какія выказываетъ Каинъ для насъ какъ бы чужды, такъ что войдти въ смыслъ ихъ мы можемъ развѣ особымъ усиліемъ мышленія. За то, надо признать, что «Каинъ» имѣетъ большое значеніе для изученія самыхъ взглядовъ Байрона въ спекулятивной области; съ этой точки зрѣнія, это произведеніе заслуживаетъ удивленія, такъ какъ оно представляетъ — и въ философскомъ, и въ художественномъ отношеніи—огромный шагъ впередъ, по сравненію съ «Манфредомъ», съ котораго собственно началась у Байрона метафизика. Онъ гово-

ритъ, что писалъ «Каина» въ своемъ весело-метафизическомъ стилѣ (in my gay metaphysical style (Мур. 528)», въ «веселомъ», то есть — въ болѣе спокойномъ духѣ, уже безъ прежнихъ вулканическихъ взрывовъ и безъ искуственной слишкомъ мрачной тушевки своего героя.

«Каинъ», это—нормальный, способный, мыслящій и чистый человѣкъ, прибавимъ, это — олицетвореніе человѣчества. Каинъ не могъ покорно бить челомъ божеству, наравнѣ съ дальнѣйшимъ потомствомъ Адама, по той причинѣ, что не имѣлъ о чемъ просить и за что благодарить; на вопросъ же—а развѣ не живешь ты?—онъ отвѣчалъ—не долженъ ли я умереть? Смущало его и то, что познаніе есть благо, и жизнь есть благо, а взятые вмѣстѣ, они составляютъ зло. Почему онъ, сынъ, долженъ отвѣтствовать за грѣхъ отца? И изъ того, что Богъ—всемогущъ слѣдуетъ ли—спрашивалъ онъ—что Богъ всеблагъ? Во время этого душевнаго его мученья передъ нимъ является мрачный херувимъ, исполненный однако очаровательной силы, Люциферъ, князь тьмы, то есть — логика мысли, втягивающая человѣка въ свою неизмѣримую бездну. На вопросъ—кто онъ? — Люциферъ отвѣчаетъ: «я тотъ, кто быть твоимъ творцомъ хотѣлъ и создалъ бы тебя инымъ». Онъ отрицаетъ приписываемое ему искушеніе людей: «Змій былъ зміемъ, былъ прахомъ онъ, подобно тѣмъ, кого онъ искушалъ. Ужель ты думаешь, что я приму обличіе твореній смертныхъ, которыми гнушаюсь—и могъ ли тѣсныхъ огородовъ рая вамъ позавидовать, кто самъ, чрезъ всѣ проносится пространства міра?» Люциферъ не требуетъ, чтобы Каинъ предъ нимъ преклонился. На отказъ, въ словахъ Каина: «не преклонюсь ни предъ тобой, ни передъ нимъ», онъ поясняетъ: «не поклоняешься ему, ты, значитъ, мой поклонникъ». Онъ не требуетъ никакого вознагражденія, хотя бы даже увѣрованія въ себя, но уноситъ Каина въ эѳирное пространство, въ сферу солнцъ, и за предѣлы солнцъ, а затѣмъ—въ глубь Гада, гдѣ мелькаютъ и призраки чудо-

вищъ, населявшихъ міръ въ первоначальномъ періодѣ. Ничего не требуя и ничѣмъ не искушая, Люциферъ усиливаетъ въ Каинѣ сознаніе его убожества—самымъ обнаруженіемъ ему образовъ громадности и убѣжденіемъ, что знаніе есть только раскрытіе ничтожества всей смертной природы.

Въ Каинѣ видѣнъ очень большой шагъ впередъ въ основномъ взлядѣ на душу, сравнительно съ возрѣніями всѣхъ прежнихъ героевъ Байрона, даже Манфреда. Дѣло въ томъ, что то страданіе, тотъ по словамъ Люцифера, переполненный адъ, зародышъ котораго носитъ въ себѣ Каинъ, происходитъ не отъ эгоизма и не отъ угрызеній совѣсти за совершенное преступленіе, но отъ побужденій вполнѣ альтруистическихъ, истекаетъ изъ любви. «О духъ — восклицаетъ Каинъ — пусть я умру теперь, чтобы не умножать существъ, призванныхъ къ страданію и смерти, ибо это значило бы распространять смерть, мнѣ кажется, это было бы расширять царство смерти». На вопросъ Люцифера: «а любишь ты себя». Каинъ отвѣчаетъ: «Ты рекъ; но болѣе люблю я ту, которая своей любовью жизнь помогаетъ мнѣ переносить». Возбужденный и глубоко раздраженный своимъ посѣщеніемъ надвоздушнаго міра, Каинъ однако приступаетъ къ обрядовому жертвоприношенію, еще не имѣя по отношенію къ Авелю ни зависти ни какого либо злаго чувства. Вотъ содержаніе молитвы Каина при жертвоприношеніи: «Я есмь таковъ, какимъ тобою созданъ; того, что́ только на колѣняхъ испрошено быть можетъ—не прошу. Если я золъ—убей меня, а если я добръ—убей иль пощади, какъ хочешь. Вѣдь, мнится мнѣ, добро и зло, въ самихъ себѣ значенія не имѣютъ и суть лишь въ твоей волѣ»... Небесный огонь зажигаетъ кровавую жертву на алтарѣ Авеля, а вихрь разбрасываетъ земные плоды принесенные Каиномъ. Тогда послѣдній, возмутясь противъ Создателя, хочетъ разрушить алтарь своего брата, но Авель защищаетъ свой алтарь и говоритъ: «люблю я Бога больше, чѣмъ тебя». Услышавъ это, изступленный Каинъ,

не зная самъ, что дѣлаетъ, наноситъ брату головнею ударъ по головѣ и убиваетъ его. Послѣдствія этой катастрофы развиваются печально и естественно, съ необыкновенной, нагой простотою, безъ какихъ-либо прикрасъ или внѣшнихъ средствъ эффектности: слѣдуютъ проклятіе Каина родителями, положеніе на него клейма отверженія рукою ангела и выходъ изгнанника съ семьею на скитаніе. Въ цѣломъ, произведеніе это вызываетъ два сильныя впечатлѣнія: одно, свойственное вообще трагедіи — сожалѣніе надъ судьбой братоубійцы; другое философское—поразительное чувство горя всякой жизни.

XXVII.

Намъ осталось теперь упомянуть о двухъ предметахъ, изъ которыхъ одинъ имѣетъ значеніе біографическое, другой—великое, литературное. Мы должны упомянуть о послѣдней возлюбленной Байрона, той, съ которой связь его была наиболѣе продолжительная, именно графинѣ Терезѣ Гвиччоли, рожденной Гамба, а затѣмъ, мы лишь слегка коснемся величайшаго, наиболѣе геніальнаго и нынѣ всѣмъ наиболѣе памятнаго изъ произведеній Байрона—«Донъ-Жуана», отъ полной оцѣнки котораго мы, по разнымъ причинамъ, должны теперь отказаться.

Тереза Гамба была бѣдная дворянка, родившаяся въ окрестностяхъ Равенны въ 1803 г. и 16-ти лѣтъ выданная или вѣрнѣе, проданная замужъ за 60-ти лѣтняго вдовца, графа Гвиччоли. (Guiccioli) Съ Байрономъ она познакомилась въ Венеціи, въ апрѣлѣ 1819 г., въ домѣ графини Теотоки-Альбрицци, подружилась съ нимъ, и еще передъ отъѣздомъ графа и графини въ Равенну, между нею и Байрономъ завязались сердечныя отношенія. По отзыву Мура, за которымъ пошли и другіе біографы, вплоть до Джиффрсона, графиня Тереза была предметомъ единственной, истинной любви Байрона (если не считать миссъ Чауортъ), была его ангеломъ храните-

лемъ, вывела его на лучшій путь, послѣ тѣхъ оргій, среди которыхъ онъ жилъ въ Венеціи. Но представляется болѣе правдоподобнымъ мнѣніе Джиффрсона. Знакомство началось уже послѣ болѣзненнаго кризиса, происшедшаго съ Байрономъ, началось оно въ то время, когда онъ сталъ себя чувствовать лучше и физически, и нравственно. Г-жа Гвиччоли не была музой, которая вдохновляла бы Байрона; по англійски она не знала, поэзіи его цѣнить не могла, а просто полюбила славнаго и красиваго поэта и полюбила его съ такой преданностью, что онъ уже оказался не въ состояніи порвать ту тонкую нить, которая держала его крѣпко; и быть можетъ, воспрепятствовала ему возвратиться въ Англію, гдѣ было для него настоящее мѣсто, возвратиться къ женѣ, къ вліятельному положенію на родинѣ, гдѣ мнѣніе о поэтѣ, окруженномъ громкой, европейской славой, начинало уже значительно измѣняться.

Г-жа Гвиччоли не была ни необыкновенно умная, ни очень свѣтская женщина, она не была даже красива: маленькая, полная, она привлекала только свѣжестью молодости, круглостью формъ и чудной косою цвѣта возможно—близко подводившаго къ золотому. Байрону льстило то, что она засматривались на него какъ на солнечное свѣтило. Когда она ѣхала изъ Венеціи въ Равенну, потомъ и изъ Равенны, приходили отъ нея полныя чувства письма о тяжкой болѣзни, обморокахъ, едва не о чахоткѣ, при чемъ только пріѣздъ Байрона могъ, какъ слѣдовало изъ тѣхъ писемъ, спасти его возлюбленную. Байронъ собрался въ путь, не безъ колебаній и нѣсколько разъ останавливался, но наконецъ-таки доѣхалъ до прежней столицы Цезарей, при чемъ достаточнымъ для поэта предлогомъ служило самое посѣщеніе могилы Данта. Въ Равеннѣ, графъ самъ розыскалъ его въ отелѣ и привезъ къ своей, мнимо умиравшей женѣ, и такъ какъ этотъ визитъ подѣйствовалъ хорошо на ея здоровье, то, по просьбѣ мужа, Байронъ уже видѣлся съ ней съ той поры ежедневно. Отношенія между ними были особен-

ныя, даже забавныя. Графиня играла роль больной съ большимъ искусствомъ; мужъ докучалъ своему пріятелю, возя его въ коляскѣ шестерней, и разсыпаясь въ учтивостяхъ. Осенью 1819 г. Байронъ вмѣстѣ съ супругами жилъ въ Болоньѣ. При краткихъ разъѣздахъ графа и графини по ихъ многочисленнымъ помѣстьямъ, Байронъ сиживалъ по цѣлымъ часамъ одинъ въ городскомъ будуарѣ графини и вотъ, въ одинъ изъ такихъ часовъ, онъ на послѣдней страницѣ «Коринны» г-жи Сталь написалъ письмо Терезѣ—по англійски, довольно странное и обнаруживавшее неувѣренность, какую-то особенную нерѣшительностъ и даже желаніе возвратиться въ Англію... «Вы не поймете этихъ англійскихъ словъ, и другіе не поймутъ, и потому нарочно я царапаю ихъ не по-итальянски. Но вы узнàете руку того, кто васъ *любилъ* страстно и угадаете, что надъ вашей книжкой я и могъ думать только о любви... Судьба моя соединена съ вашею, а вы—17-ти лѣтняя женщина. Желалъ бы чтобы я былъ тутъ съ цѣлымъ моимъ сердцемъ или чтобы никогда васъ не встрѣтилъ замужнею. Но слишкомъ поздно; люблю васъ, вы меня любите или, по меньшей мѣрѣ, *говорите*, что любите, и *дѣлаете*, какъ будто любите, что̀, во всякомъ случаѣ, великое утѣшеніе. Но я — болѣе, чѣмъ люблю, и не могу перестать любить. Думайте обо мнѣ порою, когда насъ раздѣлятъ *Альпы и океанъ;* но они насъ и не раздѣлятъ, если ты *не захочешь. Байронъ* (Джиффрсонъ. II. 266)».

Тереза возвратилась въ Болонью, а мужъ ея уѣхалъ, по дѣламъ, въ Равенну. Этимъ случаемъ Байронъ воспользовался, увезъ молодую женщину въ Венецію для консультаціи съ докторами, а затѣмъ помѣстилъ ее у себя, въ тѣхъ самыхъ комнатахъ, которыя еще такъ недавно украшались присутствіемъ Маріянны Сегати. Тогда даже столь снисходительное общество, какъ итальянское, нашло поведеніе ихъ ужь слишкомъ безцеремоннымъ. Между тѣмъ, графъ Гви́ччоли, человѣкъ очень богатый, гораздо болѣе богатый, чѣмъ Байронъ, попро-

силъ жену письмомъ, чтобы она достала ему у лорда Байрона взаймы тысячу фунтовъ стерлинговъ. Друзья (Алекс. Скоттъ и Муръ) уговаривали Байрона, чтобы онъ такимъ образомъ откупился, но Байронъ былъ какъ разъ въ одномъ изъ пароксизмовъ скупости и отвѣчалъ отказомъ. Затѣмъ, мужъ убѣдился, что жена пребываетъ слишкомъ долго внѣ супружескаго дома, прiѣхалъ въ Венецiю, вступилъ во владѣнiе женой, безъ всякаго сопротивленiя ея любовника, взялъ даже съ нихъ слово, что они не будутъ переписываться и уѣхалъ съ Терезою въ Равенну, въ то время, какъ Байронъ серьезно сталъ собираться къ возвращенiю въ Англiю. Но вдругъ изъ Равенны пришли вѣсти, что г-жа Гвиччоли подверглась возврату своей болѣзни, только въ болѣе страшномъ и еще болѣе смертельномъ видѣ. Тутъ уже не только мужъ, но и отецъ больной и вся ея семья стали умолять поэта, чтобы онъ умилосердился надъ умирающей и вошелъ въ домъ Гвиччоли, въ качествѣ признаннаго *cicisbeo*. Мы описали уже въ срединѣ нашего разсказа, сцену, въ которой проявилось нерѣшительное настроенiе Байрона въ моментъ выѣзда его изъ Венецiи. Въ концѣ концовъ, Равенна одержала вверхъ; тамъ онъ встрѣтилъ радушный прiемъ и помѣщенiе въ самомъ дворцѣ Гвиччоли, за приличную квартирную плату (въ концѣ декабря 1819 г.).

Сначала всѣ домашнiя отношенiя были превосходны, но Байронъ подружился съ Гамбами, а черезъ нихъ сблизился съ партiею патрiотовъ и бросился въ сѣть заговора, имѣвшаго цѣлью освобожденiе Италiи отъ власти австрiйцевъ, сдѣлался даже однимъ изъ вождей карбонаровъ, чѣмъ крайне компрометировалъ графа Гвиччоли передъ папскимъ правительствомъ, котораго Равенна со всей Романьей была владѣнiемъ (легатства). Опасаясь за самого себя, Гвиччоли сталъ мучить жену за ея любовника, а тотъ совѣтовалъ ей покорность и терпѣнiе. Тереза не послушалась его и подала въ судъ искъ о разлученiи, на которое мужъ не соглашался,

не желая платить женѣ денегъ на содержаніе. Духовная власть рѣшила дѣло (15 іюля 1820 г.) въ пользу жены, присудила ей и разлученіе отъ стола и ложа, и деньги на содержаніе, но подъ условіемъ, чтобы она жила при отцѣ или же пошла въ монастырь. Г-жа Гвиччолли и поселилась у отца, въ деревнѣ, куда Байронъ и ѣздилъ къ ней раза по два въ мѣсяцъ. Въ дневникѣ его, подъ 1820 г., есть замѣтка, ярко обрисовывающая его эгоизмъ, въ отношеніи къ той женщинѣ, которая пожертвовала ему своимъ богатствомъ, положеніемъ въ свѣтѣ и репутаціею: «графиня Т. Г. рожденная Г.—вопреки всему, что я говорилъ и дѣлалъ, чтобы этому воспрепятствовать, разлучается съ мужемъ». (Джиффрсонъ III. 34).

Теперь у поэта было болѣе времени для литературной работы; развлеченіемъ ему служили частыя прогулки верхомъ по дорогамъ пересѣкавшимъ чудесный сосновый лѣсъ подъ Равенною (pinetta), причемъ онъ бралъ съ собой пистолеты, такъ какъ его предупредили, чтобы онъ остерегался какого-нибудь *bravo*, подосланнаго графомъ Гвиччоли. Но кромѣ стиховъ, Байронъ въ это время былъ еще занятъ дѣятельнымъ участіемъ въ движеніи, приготовлявшемъ вооруженное возстаніе на весну 1821 г. Жить же онъ продолжалъ въ дворцѣ Гвиччоли, гдѣ завелъ себѣ цѣлый арсеналъ. Но планъ возстанія не удался; начались арестованія. Папское правительство поступило довольно мягко и осторожно: изъ семейства Гамба отецъ и одинъ изъ братьевъ подверглись только изгнанію изъ папской области. Другіе сообщники были также арестованы или изгнаны, за Байрономъ былъ учрежденъ бдительный надзоръ, такъ что ему болѣе нѣчего было дѣлать въ Равеннѣ. Онъ соединился съ Гамбами и Терезой въ Пизѣ, а потомъ поселился вмѣстѣ съ ними въ предмѣстьѣ Ливорно, гдѣ нашелъ и пріятное для себя общество англичанъ, среди которыхъ былъ и Шелли. Тутъ Байронъ отъ нѣчего дѣлать вдался въ исторію, которая принесла ему много непріятностей. Дѣло со-

стояло въ основаніи, на его деньги (Байронъ, со смерти леди Ноэль, получалъ до 6 тысячъ фунтовъ ежегоднаго дохода), еженедѣльной газеты въ Лондонѣ, характера дерзко-сатирическаго, разсчитанной на то, чтобы надѣлать шуму. Требовалось найти редактора. Шелли самъ отказался отъ этой роли, но пріискалъ для нея—Лей-Хёнта, того самого, котораго Байронъ посѣщалъ въ тюрьмѣ, гдѣ тотъ сидѣлъ за пасквиль на регента. Этотъ, весьма посредственный и голодный литераторъ, воображавшій о себѣ, однако, очень много, помнилъ, какъ Байронъ, бывало, бросалъ золото горстями, и поспѣшилъ въ Ливорно, по приглашенію поэта, но пріѣхалъ не одинъ, а съ женой и шестью ребятами, и сѣлъ Байрону на шею, въ полной увѣренности, что нашелъ себѣ обезпеченное содержаніе.

Пока Шелли былъ живъ, предпріятіе это, кое-какъ устраивалось и первый нумеръ изданія «Liberal» уже появился въ свѣтъ. Но въ 1822 г. Шелли утонулъ среди бури на морѣ, вблизи Спецціи, и найденный трупъ его былъ торжественно сожженъ Байрономъ на берегу моря, по обычаю древнихъ. Послѣ этого происшествія, Байронъ не только охладѣлъ къ предпринятому изданію, но и сталъ относиться къ Хёнту съ нетерпѣніемъ и грубостью, желая отъ него отдѣлаться. Къ этимъ непріятнымъ отношеніямъ присоединилось еще столкновеніе съ правительствомъ Тосканы. Слуги Байрона вели себя своевольно, да и самъ онъ имѣлъ нѣсколько приключеній съ офицерами и полиціей. Ему и Гамбамъ предписано было выѣхать изъ Тосканы и всѣ они вмѣстѣ перебрались въ Геную, гдѣ Байронъ впервые открыто сталъ жить вмѣстѣ съ Терезой. Здѣсь-то въ умѣ его созрѣла мысль о предпріятіи, которое и было послѣднимъ въ его жизни. Обративъ все свое состояніе въ деньги, Байронъ, какъ свои средства, такъ и самаго себя принесъ въ жертву дѣлу освобожденія Греціи: 15 іюля 1823 г. онъ сѣлъ въ генуэзскомъ портѣ на корабль «Геркулесъ», шедшій въ Грецію, а 19 апрѣля слѣдующаго, 1824 года

его уже не было на свѣтѣ. Онъ умеръ въ Миссолунги отъ горячки и кровопусканій, произведенныхъ неучами-лекарями. Смерть его была для Европы крупнымъ и громкимъ событіемъ, самая же экспедиція его въ Грецію относится скорѣе къ области исторіи политической, чѣмъ къ исторіи литературы.

Но и въ область послѣдней входитъ, во всякомъ случаѣ, разрѣшеніе важнаго психологическаго вопроса: что̀ побудило поэта принять участіе въ борьбѣ грековъ за независимость, что̀ приготовило ему такой величавый, геройскій, навѣки памятный конецъ? Надо признать правду—побужденія эти вовсе не соотвѣтствовали славѣ его кончины, такъ они были личны и эгоистичны. Однимъ изъ главныхъ было желаніе его отдѣлаться отъ г-жи Гвиччоли. Послѣ его смерти, графиня возвратилась къ мужу, пережила его, затѣмъ еще разъ вышла замужъ — за маркиза де-Буасси (въ 1831 г.) и никогда не переставала разсказывать о своемъ возлюбленномъ, украшая себя отблескомъ его славы. Но всѣ свидѣтели послѣднихъ дней пребыванія Байрона въ Италіи показываютъ, что онъ обходился съ нею рѣзко и что она, покрайней мѣрѣ когда онъ бывалъ въ дурномъ настроеніи, не имѣла уже на него никакого вліянія. Тѣ письма, какія ей посылалъ Байронъ съ Іоническихъ острововъ дышали ледяной холодностью (Муръ. 601). Ясно, что чувство къ ней въ немъ погасло и вотъ онъ прибѣгъ для того, чтобы отъ нея отдѣлаться, къ тому простому предлогу, что нельзя подвергать женщину опасностямъ военнаго времени, особенно въ такомъ дикомъ краѣ. Другимъ побужденіемъ къ отъѣзду въ Грецію было то, что послѣ неудачи заговора карбонаровъ, Байрону опротивѣла Италія. Уже сидя на кораблѣ, онъ признался одному знакомому, Трилоуни: «греки возвратились къ варварству, я самъ не знаю зачѣмъ ѣду; но Италія меня давитъ». Это отвращеніе, почувствованное имъ къ Италіи вызывалось разными обстоятельствами: воспоминаніемъ о томъ, какъ онъ жилъ въ Венеціи, и смертью Аллегры, и смертью

Шелли, и докучливыми препирательствами съ Лей-Хёнтомъ, который потомъ его «отдѣлалъ», въ книжкѣ изданной послѣ смерти Байрона. Къ этимъ побужденіямъ слѣдуетъ прибавить его страстную жажду славы, которую онъ хотѣлъ безпрерывно поддерживать чѣмъ-нибудь новымъ въ постоянномъ, хотя напрасномъ опасеніи, что слава его (даже литературная) уже начинаетъ гаснуть, и наконецъ,—вообще огромное его честолюбіе, прихоть принятія на себя политической роли, быть можетъ желаніе предводительствовать вооруженнымъ, хотя и полудикимъ народомъ, организовать его, а пожалуй даже сдѣлаться королемъ освобожденной Греціи.

А впрочемъ, есть нѣкоторые указанія и на то, что Байронъ предчувствовалъ близость своего конца и имѣлъ достойное художника желаніе окружить этотъ конецъ блескомъ, придать ему поэтичность. Прощаясь съ леди Блессингтонъ въ Генуѣ, 1 іюня, онъ почти-истерически расплакался, высказывая убѣжденіе, что изъ Греціи ему уже не возвратиться. Таже мысль о концѣ сказалась и въ послѣднихъ двухъ строфахъ знаменитаго стихотворенія, которое онъ написалъ на 36-ти лѣтнюю годовщину своего рожденія. Здѣсь виденъ человѣкъ, уже пережившій себя, умъ, который лишился своихъ идеаловъ и думаетъ уже, гдѣ-бы приличнѣе раздѣлаться съ истертой жизнью: «Жалѣешь юности... Къ чему же жить? Смотри—вотъ край, гдѣ умереть со славой можно. Бросся на поле битвы здѣсь—и духъ освободи. Могила воина, которую находитъ не всякъ, кто ищетъ, для тебя—не лучшій ли конецъ? Ты мѣсто выбери... и тамъ—ложись на отдыхъ».

XXVIII.

Но есть еще и иной, великій литературный памятникъ, въ которомъ отразилось, какъ въ зеркалѣ истасканное и искаженное уже жизнью лицо Байрона въ послѣдніе его годы, памятникъ достойный удивленія,

такъ какъ изъ него видно, что авторъ испортился и по собственному его выраженію заржавѣлъ (*blighted*) душою и въ характерѣ, что онъ уже менѣе заслуживалъ уваженія—какъ человѣкъ—и вмѣстѣ съ тѣмъ, что какъ художникъ онъ возвысился въ ту пору до наибо́льшаго совершенства. Онъ превзошелъ самаго себя и создалъ величайшее свое произведеніе, необыкновенно-своеобразное и почти несравненное. Памятникъ этотъ, конечно, у всѣхъ въ мысли, это—«Донъ-Жуанъ».

Въ «Донъ-Жуанѣ» поэтъ кончилъ тѣмъ, съ чего началъ—сатирою. Самъ и отчасти по своей винѣ, будучи выброшенъ изъ своей среды, сбитъ съ дороги, Байронъ въ послѣднемъ своемъ произведеніи бросаетъ перчатку въ лицо всему обществу и, такъ сказать, боксируетъ со всякими установленными въ обществѣ нравственными правилами, со всѣмъ, что́ принято свято соблюдать и уважать, срываетъ со всего маску и открываетъ, что подъ ней нѣтъ ничего, кромѣ горя, подлости и обмана. Это громадный обвинительный актъ противъ самой природы людей, въ какихъ бы они не жили странахъ и климатахъ. Гёте сказалъ, что «Донъ-Жуанъ» есть «самое безнравственное произведеніе поэзіи (das Unsittlichste was jemals die Dichtkunst vorgebracht)», но онъ же билъ челомъ передъ мастерствомъ этого произведенія. «Донъ-Жуанъ»—говоритъ онъ еще—произведеніе безпредѣльно-геніяльное, въ которомъ ненависть къ людямъ доведена до крайней жестокости, а вмѣстѣ съ тѣмъ и любовь къ человѣчеству доходитъ до глубины сладостнаго сочувствія. И вотъ, мы съ пріятностью принимаемъ то, что̀ авторъ осмѣливается подавать намъ, безъ всякаго стѣсненія и даже съ нахальствомъ».

Такое явленіе, какъ «Донъ-Жуанъ» не можетъ быть охарактеризовано въ нѣсколькихъ строкахъ. Нельзя не предвидѣть возраженія, что въ этомъ очеркѣ мы не представили Байрона въ его цѣлости, такъ какъ исключили «Донъ-Жуана». На это мы и можемъ представить объясненіе только личнаго свойства: не хватило времени

на полное исполненіе бывшей въ мысли программы... Современемъ, намъ, быть можетъ, удастся закончить предпринятое—въ связи съ указаніемъ вліянія, какое байронизмъ произвелъ на востокѣ Европы, и тѣхъ колосьевъ, какіе изъ руки этого сѣятеля взошли на литературныхъ нивахъ русской и польской: въ польской — въ произведеніяхъ Мальческаго, Мицкевича, Словацкаго, въ литературѣ русской—въ произведеніяхъ Пушкина и Лермонтова.

Полагаемъ, что послѣ обзора жизни его и сочиненій, Байронъ не оказывается ни тѣмъ демономъ, какимъ его представляла консервативная часть интеллигенціи во второй половинѣ XIX вѣка, ни, съ другой стороны, тѣмъ безупречнымъ героемъ, какимъ его признавали увлеченные имъ романтики, которые, подражая ему, пробовали байронизировать не только въ поэзіи, но и въ жизни. Самъ Байронъ предвидѣлъ, что должно было случиться съ его подражателями, и не ошибся (1818 г. Муръ. 372): «слѣдующее поколѣніе, писалъ онъ, будетъ ломать себѣ шеи, падая съ нашего пегаса, но мы удержимся въ сѣдлѣ, ибо мы выѣздили этого бездѣльника и сидимъ крѣпко. Подняться на него легко, но чертовски трудно управлять имъ; ближайшимъ преемникамъ придется начинать съ манежа, чтобы научиться ѣздить на большомъ конѣ». Замѣтимъ въ заключеніе, что отъ тогдашнихъ людей и отъ самого того времени ничего уже не осталось, слѣдовательно теперь никому и въ голову не придетъ взлѣзать на великаго коня.

Мицкевичъ

въ раннемъ періодѣ его жизни (до 1830 г.) какъ байронистъ.

Мицкевичъ

въ раннемъ періодѣ его жизни (до 1830 г.) какъ байронистъ.

I.

«Измѣнчивы времена и мы мѣняемся въ нихъ»—эти слова римскаго поэта вспоминаются невольно, когда приходится нынѣ бесѣдовать съ русскою публикою о первокласномъ польскомъ поэтѣ, съ которымъ очень хорошо была она знакома въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, но о которомъ сложилось преобладающее нынѣ въ большинствѣ сужденій о немъ весьма неправильное понятіе, что онъ былъ отъявленный врагъ Россіи и русскаго народа. Это предубѣжденіе плодъ послѣдняго времени. Съ дѣдами настоящаго современнаго поколѣнія Мицкевичъ дружился и братался, они принимали его въ Петербургѣ и Москвѣ хлѣбомъ и солью, наслаждались его стихами, переводили ихъ, подражали. Нѣкоторые струи его поэзіи влились въ русло русской литературы. Русскіе люди не чуждались Мицкевича и относились къ нему съ любовью и уваженіемъ, даже и послѣ того какъ политическія событія раздѣлили обѣ національности неизмѣримою и бездонною, по понятіямъ того времени, пропастью. Теперь настроеніе до того измѣнилось, что ставится невольно

вопросъ: можетъ-ли общество вдругъ и безъ достаточной причины отрѣшиться отъ лучшихъ своихъ качествъ и воспоминаній? Какимъ образомъ пропала и куда дѣвалась прославляемая нѣкогда русскими же людьми ихъ отзывчивость на все гуманное, эта общечеловѣчность и способность перевоплощаться въ духъ другихъ народовъ, которую провозглашалъ среди рукоплесканій Достоевскій на Пушкинскомъ празднествѣ въ 1880 году? Можетъ ли быть чтобъ само это чувство было поверхностное и напускное, между тѣмъ какъ именно вслѣдствіе усматриваемыхъ въ ней качествъ общечеловѣчности русская литература празднуетъ нынѣ свое первое великое торжество въ русскомъ романѣ, обходящемъ нынѣ всѣ литературы западной Европы?—Идя по прежнему пути общество русское достигло успѣховъ, которыми можетъ гордиться. Слѣдуя противоположному, выдѣляя русскую литературу изъ рамокъ всемірно-европейской, противодѣйствуя попыткамъ сравнивать русскихъ геніевъ съ инонародными общество несомнѣнно понизило бы свой умственный уровень и раззнакомилось бы въ концѣ концовъ съ Дантомъ и Гёте, съ Руссо и Шекспиромъ. Не подлежитъ сомнѣнію что современный видъ Европы печаленъ, что преобладающія чувства международныя въ въ концѣ XIX в., въ рѣзкой противоположности съ концомъ XVIII, вражда и антагонизмъ, но отъ насъ образованныхъ людей до извѣстной степени зависитъ, чтобы ни дѣлалось въ низовьяхъ жизни практической, чтобы проповѣдь мира, взаимнаго пониманія другъ друга и общеніе продолжались на высотахъ, въ областяхъ литературы, науки и искусства, чтобы въ этихъ областяхъ продолжалась жизнь по старинѣ. Пушкинскій переводъ введенія къ Валленроду кончается слѣдующими стихами относящимися къ Нѣману, который сталъ для враждующихъ племенъ порогомъ вѣчности... «лишь хмѣль литовскихъ береговъ Нѣмецкой тополью плѣненный Черезъ рѣку межъ тростниковъ Переправлялся дерзновенный, Бреговъ противныхъ достигалъ И друга нѣжно обни-

малъ».—На этихъ словахъ обрывался переводъ у Пушкина, но въ переводѣ П. П. Семенова имѣются еще стихи: «Что золотая цѣпь сочувственной природы Связала, разорвутъ враждой своей народы, Народы разорвутъ, но любящихъ сердца Вновь сочетаетъ пѣснь народнаго пѣвца»... Присовокупимъ: не одна только пѣснь пѣвца; каждый изъ насъ можетъ изображать собою вѣтки хмѣля перескакивающаго съ одного берега на другой.

Когда Мицкевичъ писалъ Валленрода, онъ несомнѣнно сознавалъ въ себѣ способность служить связью соединяющею обѣ литературы, онъ и былъ съ этой стороны привѣтствуемъ русскими поклонниками его могучаго дарованія. Это дарованіе было многостороннее и совмѣщало въ себѣ феноменальнымъ образомъ рѣдко согласуемыя противоположности. Если возьмемъ за основаніе школьное дѣленіе поэзіи на роды и виды, онъ былъ и первоклассный эпикъ и мощный лирикъ, обладающій титаническою силою, притомъ, что всего замѣчательнѣе, онъ бывалъ и тѣмъ и другимъ попеременно, такъ что оба настроенія чередовались въ немъ въ различные періоды жизни и дѣятельности. Порою бывалъ онъ *божественно объективнымъ* пѣвцомъ природы и людей, причемъ его *я* почти безслѣдно пропадало въ изображаемомъ предметѣ, становилось неуловимымъ, какъ по понятіямъ религіознымъ неуловимъ Богъ вездѣсущій въ природѣ, но не зримый воочію нигдѣ. Я употребилъ слово: «почти», потому что до полной гомеровской и шекспировской объективности, составляющей верхъ классическаго, а можетъ быть и всякаго искусства, Мицкевичъ не дошелъ, во всякомъ случаѣ онъ обладалъ этимъ качествомъ въ весьма высокой степени. Но еще чаще являлся Мицкевичъ изстрадавшимся, недовольнымъ и бунтующимъ противъ существующаго порядка мятежникомъ, относящимся къ существующему не съ жалкою ироніею пессимиста Байрона и не съ охлажденнымъ вслѣдствіе сомнѣнія и озлобленнымъ умомъ Пушкина, но съ чувствомъ слѣпаго Самсона, поставленнаго въ храмѣ Газскомъ: «Потрясти

какъ Самсонъ столпъ храма у враговъ Разрушить зданіе и пасть подъ этимъ прахомъ» (К. Валленродъ). Эпическая сторона дарованія Мицкевича проявилась въ полномъ блескѣ только въ лебединой его пѣснѣ, въ «Панѣ Тадеушѣ», заканчивающемъ въ 1834 г. оборотъ его поэпическаго творчества. Это произведеніе не было по достоинству оцѣнено современниками, только теперь оно признается самымъ крупнымъ и самымъ красивымъ листомъ въ вѣнкѣ его поэтической славы.—Не подлежитъ сомнѣнію, что нельзя изучить Мицкевича не познавъ обѣихъ стихій его дарованія, но несомнѣнно также, что по темпераменту не могло быть большаго сходства между настоящимъ эпикомъ, какимъ былъ Мицкевичъ и неизлечимо субъективнымъ, одностороннимъ поэтомъ, какимъ былъ Байронъ, который и въ своихъ поэтическихъ разсказахъ, только по внѣшней формѣ подходящихъ подъ эпосъ и въ своихъ драмахъ воспроизводилъ только самаго себя. Даже въ наибольшемъ своемъ произведеніи эпическомъ—«Донъ Жуанѣ», идя по стопамъ игривыхъ италіанцевъ Пульчи, Аріоста, Байронъ не настоящій эпикъ, онъ ставитъ только куколки на проволокахъ, приводитъ ихъ въ движеніе, потѣшаетъ ими и самъ сатирически хохочетъ. Притомъ замѣчу что главное эпическое произведеніе Мицкевича «Панъ Тадеушъ» написано въ то время, когда порвались живыя связи, соединявшія Мицкевича съ лучшими дѣятелями русской литературы, на которыя онъ повліялъ преимущественно не этимъ эпосомъ, а своими сонетами, своими Фарисомъ и Валленродомъ. Онъ пришелся по сердцу самому Пушкину какъ байронистъ и какъ романтикъ. Эти соображенія достаточны для объясненія почему изучая Мицкевича преимущественно какъ байрониста и притомъ только въ первомъ періодѣ его творческой дѣятельности (до 1830 г.) слегка лишь коснусь его произведеній, не скажу: чисто эпическихъ (напр. Гражина), а правильнѣе сказать: объективныхъ и безличныхъ и продолжительнѣе остановлюсь на тѣхъ произведеніяхъ, на кото-

рыхъ по сознанію всѣхъ и даже самаго Мицкевича лежитъ байроновская печать. Предупреждаю что я не намѣренъ дать жизнеописаніе Мицкевича, но не могу не указать на главные моменты его развитія въ ихъ взаимнодѣйствіи.

II.

Маленькій уголокъ въ Нѣманскомъ рѣчномъ бассейнѣ Новогрудокъ, гдѣ родился Мицкевичъ на Рождество 1798 г. и Вильно, гдѣ онъ получилъ съ 1815 по 1819 высшее университетское образованіе имѣютъ двойную историческую подкладку. Одно прошлое этого края языческое до 1386 года теряется въ доисторической дали. Оно не славянское, но несомнѣнно арійское. Нынѣ и этотъ пластъ зашевелился. Начавшееся возрожденіе литературное эстовъ и латышей сообщилось литвинамъ. Но въ эпоху Мицкевича полякъ и литвинъ значили одно и тоже, спаянные запоздавшимъ до конца XIV вѣка крещеніемъ Литвы, люблинскою уніею 1569 г. и общею съ поляками побѣдою 1410 г. подъ Грюнвальдомъ надъ тевтонскимъ орденомъ. Другое прошлое польское продолжалось для Мицкевича въ настоящемъ, потому что старая Польша поступила во власть Россіи какая была, съ особымъ устройствомъ семьи, гражданскими правовыми отношеніями и самоуправленіемъ. За Бугомъ на Вислѣ создано по идеѣ Александра I такъ называемое конгресовое королевство съ конституціею и гражданскимъ кодексомъ французскимъ, а по другой сторонѣ Буга и вплоть до Кіева продолжалъ свое существованіе мало измѣненный прежній ладъ и языкъ, конечно безъ сеймованія, но съ блистательными разсадниками польскаго просвѣщенія—Виленскимъ университетомъ и Кременецкимъ лицеемъ. Такова была среда въ которой Мицкевичъ выросъ, среда мелкошляхетская, но разрыхленная просвѣтительными усиліями послѣдняго польскаго короля, демократическими реформами послѣд-

нихъ дней Польши, вліяніемъ философскихъ идей XVIII вѣка. Во главѣ университетскаго преподаванія стояли европейски образованные люди, раціоналисты, какъ Янъ Снядецкій или скептики равнодушные къ религіознымъ вопросамъ. Они вообще были строгіе классики, честные граждане, сторонники метода точнаго изслѣдованія въ наукѣ и умѣреннаго прогресса въ практикѣ.—Студенты жили корпоративно кружками, страстно любили литературу и хранили чистоту нравовъ, подобно нѣмецкимъ буршамъ обыкновенно чуждающимся женщинъ пока они студенты. Насталъ однако моментъ когда въ этихъ спокойныхъ умахъ проявилось сильное броженіе. Ферментомъ былъ романтизмъ, занесенный въ Вильно съ запада, онъ возродилъ литературу, сталъ живою національною силою и толкнулъ національность на новые весьма рисковные пути. Замѣчательно что этотъ романтизмъ былъ привитъ раньше къ русской, нежели къ польской литературѣ, что *Ленора* Бюргера (1771 г.) перенаряженная еще въ 1808 г. Жуковскимъ въ «Людмилу» пріохотила виленскихъ студентовъ писать первыя ихъ баллады. Только въ 1820 г. Мицкевичъ воспроизвелъ по своему туже Ленору Бюргера (Ucieczka). Романтизмъ былъ кризисомъ обошедшимъ и оздоровившимъ всѣ литературы европейскія, но преобразовательное его вліяніе было весьма разновременное и разностепенное. Наиболѣе запоздалъ онъ своимъ появленіемъ во Франціи, которая отстала въ этомъ отношеніи даже отъ славянскаго востока, такъ какъ онъ торжествовалъ свои крупныя побѣды только при первомъ представленіи Hernani 1839 г. при изданіи Notre Dame de Paris 1831. Лучшія произведенія Мюссе появились только отъ 1834 до 1839 годовъ. У славянскихъ народовъ романтизмъ былъ отчасти отраженіемъ англійскаго и велъ свое начало въ особенности отъ Вальтеръ Скота въ котораго поэмахъ (The lay of the last Minstrel 1805; The lady of the lake 1810) и въ романахъ (Wawerley 1814; Old Mortality 1817) воскресала воспроизведенная любящею рукою живопис-

ная средневѣковая старина, но еще въ большей степени и по прямой линіи происходилъ онъ отъ нѣмецкаго, съ тою однако разницею во времени, что нѣмецкій романтизмъ кончалъ свою эволюцію, когда польскій только начиналъ свой оборотъ. Весьма интересно сопоставленіе въ этомъ отношеніи Мицкевича съ распущеннымъ, но талантливымъ чертенкомъ, который считалъ себя въ Германіи послѣднимъ романтикомъ и такъ зло трунилъ надъ волшебнымъ синимъ цвѣткомъ романтизма (die blaue Blume): я разумѣю Гейне. Оба они почти ровесники. Мицкевичъ родился 24 Декабря 1798 а Гейне 18 Декабря 1799. Оба прославились съ перваго же раза; обоихъ произведенія появились почти одновременно въ печати (1 томъ поэзій М. 1822, 2-ой въ 1823—Gedichte Гейне изд. 1822 или собственно въ концѣ 1821 въ Берлинѣ; Tragödien mit einem lyrischen Intermezzo въ 1823). Оба почти одновременно очутились выходцами въ Парижѣ: Гейне съ лѣта 1831, Мицкевичъ съ лѣта 1832 г.—Трудно себѣ представить болѣе полный контрастъ; ни въ чемъ они не прикасались ни физически ни умственно, ни въ чемъ не могли симпатизировать другъ съ другомъ. Нѣмецкій романтизмъ подъ конецъ своего оборота былъ либо реакціонный, лицемѣрный, кидающійся въ католицизмъ и въ средніе вѣка, либо чудачилъ и кощунствовалъ. Нѣмецкій романтизмъ вліялъ въ началѣ двадцатыхъ годовъ на зарождающійся польскій не своимъ сомнительнымъ концомъ, но блистательнымъ началомъ, могучими потугами *der Drang und Sturmperiode*, тою вспыльчивостью и страстностью, которою отличались люди XVIII вѣка, ученики Руссо. Теченіе романтизма приносило на своихъ волнахъ много предметовъ, которые не были съ нимъ связаны органически, классическія произведенія успокоившагося послѣ Drang und Sturm нѣмецкаго ренессанса, созданія Гёте и Шиллера; Байрона, который собственно не былъ романтикомъ, а вполнѣ принадлежалъ по духу XVIII вѣку, наконецъ Шекспира. Романтизмъ замѣчателенъ прежде всего какъ коренное

измѣненіе формы произведеній, упраздненіе всего условнаго, изгнаніе изъ литературы, по выраженію Пушкина, «чопорности и жеманства», называніе вещей по имени а не иносказательно, употребленіе простаго а не высокаго слога. Его несомнѣнная заслуга, бо́льшая степень реализма въ искуствѣ, больше истины и непосредственности. Но романтизмъ былъ движеніемъ несравненно больше глубокимъ и богатымъ послѣдствіями. Происходила въ этой формѣ творчества ликвидація всего просвѣтительнаго вѣка, литературы псевдо-классической, теоріи общественнаго договора, сухой логики раціонализма разрѣшающей по дедуктивному методу всѣ задачи жизни и бытія. Совершая поворотъ къ таинственному, къ инстинкту, къ порывамъ сердца, которое «вѣрнѣе глаза и стеклышка мудреца», романтическое движеніе получило въ Вильнѣ еще особую національную окраску. Воспоминанія свѣжаго и не забытаго прошлаго сочетались въ неопредѣленной поэтической дали съ мечтами и надеждами будущаго и съ сознаніемъ непрекратившагося національнаго бытія, основанными между прочимъ и на возстановленіи имени Польши въ одной изъ ея бывшихъ частицъ по волѣ Александра I и по вѣнскимъ трактатамъ. Обрисовавъ этими немногими штрихами обстановку начинающагося дѣйствія, приступаю къ изображенію самаго дѣйствующаго лица.

III.

Адамъ Мицкевичъ учился филологіи въ виленскомъ университетѣ (1815—1819), потомъ опредѣленъ учителемъ словесности и исторіи въ ковенское уѣздное училище. Душа у него была нѣжная, добрая, привязывающаяся къ людямъ, любящая и горячо всѣми товарищами любимая. Онъ былъ весьма отзывчивъ на впечатлѣнія извнѣ, но это чувство требовало времени, чтобы раскачаться, послѣ чего оно вибрировало размахомъ богатырской эмоціи или мощной страсти. Преобладающее душевное настроеніе было веселое и жизнерадостное, но

въ кризисахъ душевной борьбы и нравственныхъ страданій сердце его способно было печалиться до отчаянія, до безумія. Господствующею чертою и отличительнымъ признакомъ этого темперамента была бодрая мужественность, самосознающаяся сила. Мицкевичъ во всю свою жизнь остался такимъ, какимъ онъ себя изобразилъ едва достигнувъ совершеннолѣтія (1821) въ стихотвореніи «Пловецъ»: «И вмѣстѣ со мною вы будьте въ огнѣ.—Всѣхъ молній: прочувствованъ иначе будетъ—Огонь этотъ вами. Пусть Богъ меня судитъ—Судья долженъ быть не со мной, а во мнѣ.—Пути наши разны: пойдете вы къ дому,—Я-жъ дальше на встрѣчу и вѣтру и грому».—При всемъ своемъ художественномъ реализмѣ, при необычайной пластичности своего живописанія Мицкевичъ, вслѣдствіе преобладанія въ немъ этой активной и мужественной чувствительности, не умѣлъ изображать въ поэзіи стихіи, которую Гёте называлъ *das ewig Weibliche*. Женщины въ его произведеніяхъ являлись вообще созданіями блѣдными и какъ бы недописанными. Мицкевичъ былъ весьма любознателенъ, имѣлъ громадную по своему времени начитанность, умъ быстрый, но только синтетическій, прохаживающійся по верхамъ предметовъ, сообразительность дающую ему возможность дѣятельно участвовать въ бесѣдахъ и преніяхъ философскихъ, политическихъ, общественныхъ, причемъ воображеніе внушало ему предсказанія, которыя неразъ оправдывались. Въ 1830 г. въ Неаполѣ онъ предсказывалъ возвращеніе на французскій престолъ Наполеонидовъ; онъ предсказывалъ также вліяніе на видоизмѣненіе жизни общественной желѣзныхъ дорогъ и изобрѣтеніе телефоновъ. Сверхъ того какъ поэтъ въ своей спеціальной области онъ былъ необычайно геніаленъ. Поэтическое творчество не есть созиданіе всего что угодно изъ ничего. Оно есть способность гармоническаго сочетанія образовъ и эмоцій внезапно и безъ посредства рефлексіи, по одному только вдохновенію, которое есть, было и будетъ одною изъ самыхъ непроницаемыхъ тайнъ человѣческой природы. Не

всякому поэту дана такая *непосредственность* вдохновенія, этотъ огонь принесенный съ неба уворовавшимъ его у завистливыхъ боговъ Прометеемъ. Огонь этотъ весьма цѣненъ. Малѣйшая искорка его, при содѣйствіи подливающаго къ нему масла ума и раздувающей его умѣлымъ образомъ въ пламень воли, способна создать великія и безсмертныя произведенія. Можемъ какъ на примѣръ указать на Шиллера, котораго всѣ драмы тѣмъ а не инымъ способомъ смастерены; онъ оставался полнымъ владыкою своего таланта и располагалъ имъ какъ рабочею силою. Но можетъ быть и обратное отношеніе воли и вдохновенія, когда оно не брызжетъ искрами а возгорается сразу большимъ пламенемъ, когда одержимый вдохновеніемъ поэтъ мчится Богъ вѣстъ куда на дикомъ конѣ, къ которому онъ прикрѣпленъ какъ байроновскій Мазепа, когда онъ приходитъ въ экстазъ, бываетъ внѣ себя, не помнитъ себя, когда извѣстный образъ соотвѣтствующій въ жизни души тому, что мы называемъ клѣточкой живаго организма, растетъ въ сознаніи, заполоняетъ его, заставляетъ забыть что онъ иллюзія, становится видѣніемъ, галлюцинаціею. Роковою для Мицкевича чертою въ его творчествѣ поэтическомъ было это предрасположеніе къ экстазу, въ которомъ содержались зачатки его позднѣйшаго мистицизма. Въ раннее время его молодости быстрота овладѣвающаго поэтомъ вдохновенія обнаруживалась въ томъ, что онъ былъ импровизаторомъ, что въ товарищескомъ кружку онъ сочинялъ стихи подъ звуки музыки на какую нибудь мелодію простонародной пѣсни или на излюбленный имъ менуэтъ изъ Донъ-Жуана. Въ Петербургѣ онъ сочинялъ на заданныя темы эпическіе разсказы или драматическія сцены (24 декабря 1828 г. сцены изъ ненаписанной потомъ и пропавшей вслѣдствіе того драмы Самуилъ Зборовскій); тоже повторялось въ Берлинѣ и въ Парижѣ. Въ такія минуты лицо поэта было блѣдное, глаза горѣли устремленные неподвижно въ одну сторону. Добавимъ для полноты картины что поэтъ имѣлъ привлека-

тельную наружность, легкій румянецъ на щекахъ, черные какъ смоль волосы, голосъ звучный и необыкновенно пріятный. При крайней простотѣ и скромности въ обращеніи и безъ байроновскаго позированія и самоувѣренности, Мицкевичъ вовсе о томъ не стараясь, становился уважаемымъ и любимымъ человѣкомъ. Что касается до его отношенія къ польскому обществу, то съ той минуты, какъ его подняли на своихъ плечахъ на щитъ юные поборники зарождающагося въ Вильнѣ романтизма, онъ сталъ всѣми признанымъ первымъ поэтомъ своего народа и сохранилъ за собою до конца жизни это главенство, такъ что когда онъ умеръ, то Красинскій выразилъ вполнѣ точнымъ образомъ чувства всего польскаго общества въ слѣдующихъ словахъ, относящихся къ Мицкевичу: «онъ былъ для моего поколѣнія молоко и медъ, желчь и кровь; мы отъ него всѣ происходимъ. Онъ насъ поднялъ на высокой волнѣ вдохновенія и бросилъ въ свѣтъ». Каждый великій писатель знаетъ міръ не такимъ какимъ есть этотъ міръ, но лишь такимъ, какимъ онъ міръ этотъ въ умѣ себѣ сочинилъ. Мопассанъ говоритъ (предисловіе къ *Pierre et Jean*): chacun de nous se fait une illusion du monde suivant sa nature. Les grands artistes sont ceux qui imposent à l'humanité leur illusion particulière». Иными словами великій художникъ есть настройщикъ умовъ и чувствъ современныхъ людей по своему камертону, онъ навязываетъ другимъ свои образы и иллюзіи и опредѣляетъ или судьбы своего народа иногда болѣе рѣшительно, нежели то дѣлаютъ законодатель или правительство. Намъ необходимо теперь прослѣдить за Мицкевичемъ съ этой точки зрѣнія въ разныя эпохи, подраздѣливъ его творчество на періоды. Мало найдется писателей, которые бы больше Мицкевича измѣнялись въ послѣдовательномъ своемъ развитіи въ теченіи не очень продолжительной жизни (57 лѣтъ), въ которой на поэтическое творчество приходится со включеніемъ раннихъ опытовъ не болѣе 14 лѣтъ (1820—1834).

IV.

Молодые романисты начинали вездѣ съ подражанія классикамъ. Такъ дѣйствовали Пушкинъ, Лермонтовъ. Этой судьбы не избѣгъ Мицкевичъ, писалъ гекзаметрами или 13 стопными силлабическими стихами, прославлялъ Феба, харитъ и ставилъ себѣ за образецъ одного изъ напудренныхъ объѣдалъ и паразитовъ XVIII в., шамбеляна Короля Понятовскаго-Трэмбецкаго, стихотворца отличавшагося мастерскимъ слогомъ и пластичностью формъ—качествами, которыя у него позаимствовалъ Мицкевичъ. Даже и въ послѣдствіи осталось у Мицкевича расположеніе къ роду поэзіи описательному, къ дидактическому, а нѣкоторые слабые впрочемъ слѣды классическаго стиля замѣтны даже въ такихъ образцовыхъ созданіяхъ романтической эпохи, какъ Валленродъ (Вилія въ ковенской милой долинѣ межъ тюлипановъ (?) бѣжитъ по равнинѣ..... Какъ войны наши въ бояхъ безмятежны.—Въ любви какъ пастухъ съ пастушкою нѣжны). Чему учился Мицкевичъ въ Вильнѣ отъ профессоровъ то могло только укрѣпить его въ классической ортодоксіи, но онъ обязанъ весьма многимъ въ своемъ развитіи студенчеству, виленскому *филаретству*, этому своего рода *тугендбунду*, который былъ тогда въ полномъ своемъ цвѣту. Студенчество въ хорошія эпохи способно внушить даже людямъ на видъ сухимъ и довольно черствымъ альтруистическія чувства, возродить человѣка нравственно, возростить въ немъ гражданственность, патріотизмъ, саможертвованіе, любовь полнѣйшей умственной свободы и безкорыстное обожаніе добра. Душою филаретскаго союза былъ Ѳома Занъ. Мицкевичъ сплотился съ кружкомъ столь тѣсно, что продолжалъ свое съ нимъ общеніе даже и послѣ выхода изъ университета, когда онъ поселился въ Ковнѣ. Манкируя по службѣ, онъ дѣлалъ частыя поѣздки въ Вильно къ друзьямъ читать имъ сработанное въ своемъ

ковенскомъ уединеніи. Каждый его пріѣздъ былъ для филаретовъ праздникомъ и торжествомъ. Плодами такого общенія были *филаретскія* пѣсни Мицкевича, ходившія по рукамъ за долго до ихъ напечатанія и извѣстная его «Ода на молодость» (1822), боевая пѣсня молодаго поколѣнія, характерно опредѣлившая моментъ, среду и могучую личность самаго ея сочинителя. Она такое же изліяніе чувства товарищеской дружбы, какъ и «лицейская годовщина» 1825 г. Пушкина или «An die Freude» Шиллера 1785 г. Кто незнаетъ Пушкинскихъ стиховъ: «Друзья мои, прекрасенъ нашъ союзъ, Онъ какъ душа нераздѣлимъ и вѣченъ, Неколебимъ, свободенъ и безпеченъ, Сростался онъ подъ сѣнью дружныхъ музъ»..... Изстрадавшійся въ изгнаніи, «какъ сирота бездомный» поэтъ ищетъ отрады и очищенія отъ скверни житейской въ воспоминаніяхъ идеальнаго, школьнаго братства, когда еще служили товарищи музамъ, когда «духъ пѣсенъ въ насъ горѣлъ И дивное волненіе мы познали». Пушкинъ тоскуетъ вспоминая друзей, но дружба не всегда приводитъ въ печальное настроеніе. Она способна внушать и радость и веселіе. Такія жизнерадостныя чувства одушевляли Шиллера, когда страшно нуждающійся и безпріютный онъ выплакался на груди своего друга Кернера въ Лейпцигѣ, успокоившаго его и оказавшаго ему и матеріальную поддержку. Отъ Бога царящаго за звѣзднымъ шатромъ расходится непрерывный союзъ по всему свѣту добрыхъ людей сочувствующихъ и радующихся всякому добру. Къ нему принадлежитъ всякій *Wem der grosse Wurf gelungen Eines Freundes Freund zu seyn*. Этотъ союзъ любви и всепрощенія (*Seid unschlungen Millionen, Diesen Kuss der ganzen Welt.... Groll und Rache sey vergessen—Unserm Todfeind sey verziehn*), служащій также и союзомъ дружбы основанъ не на одномъ служеніи музамъ, какъ у Пушкина; онъ имѣетъ гораздо болѣе прочныя и глубочайшія основы: онъ есть собственно культъ добродѣтели. (*Festen Muth im schwerem Leiden, Hülfe wo die Unschuld weint, Ewigkeit*

geschwornen Eiden, Wahrheit gegen Freund und Feind, Männerstolz vor Koenigsthronen).... Сплотимся же покрѣпче, взываетъ поэтъ и присягнемъ на вѣрность обѣту *bei diesem goldnen Wein*: такова эта пѣсня о которой говоритъ *Palleske* (Schillers Leben und Werke II,30), что несмотря на свою туманную мистику она наэлектризовала общество (markerschüttend durch die Gebeine der Zeit fuhr) и получила безсмертное выраженіе въ другомъ великомъ художественномъ произведеніи, въ 9 симфоніи Бетховена.

Ода Мицкевича славитъ и дружбу и радость, но съ иной еще болѣе юношеской точки зрѣнія. Она—восторженный диѳирамбъ новой идеѣ, пѣснь выражающая притомъ такой восторгъ, который свойственъ только первой молодости, не ставящей ни во что личное счастіе, пренебрегающей препятствіями и самою смертью и жизнь не цѣнящая ни въ грошъ, лишь бы идея побѣдила, идея же не побѣдить не можетъ, когда за нее стоитъ союзъ молодыхъ, неустрашимыхъ Алкидовъ. Шаръ земной подернутъ туманомъ, на мертвенную поверхность его водъ всплываютъ гады—себялюбцы. «Друзья, восклицаетъ поэтъ, столпимся въ общемъ дѣлѣ—Въ счастьи всеобщаго наши цѣли.... Счастливъ кто тѣломъ легъ своимъ Воздвигъ ступень ко славы граду Великодушно онъ другимъ. Нектаръ вѣдь жизни тогда лишь сладость Когда его могу съ другими я дѣлить. Небесную тогда сердца вкушаютъ радость Когда соединитъ ихъ золотая нить. Итакъ плечо къ плечу и шаръ земной Мы цѣпью обовьемъ живою.... Міръ! съ своего содвинься основанія. На новый путь тебя мы поведемъ И плесень снявъ съ себя, во всей красѣ природы Зеленые ты вспомнишь годы!....» Вся ода дышетъ бодростью, сіяетъ выраженіями, превратившимися въ пословицы, въ боевые оклики, молодаго поколѣнія, напримѣръ: *Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga, Łam czego rozum nie złamie* (Стремись куда и взоръ не идетъ, ломай чего разсудку не сломать). Въ другихъ филаретскихъ пѣсняхъ Мицкевича

есть равносильныя выраженія увлекавшія его поколѣніе, а нынѣ оспариваемыя, напримѣръ: *Mierz siły na zamiary, nie zamiar podług sił* (Пригоняй силы къ замысламъ, не бери замысловъ лишь по силамъ). Изъ приведенныхъ отрывковъ ясно, что у молодаго поколѣнія, водружавшаго стягъ романтизма были широкія затѣи, пока—до времени только въ области мысли, на почвѣ общечеловѣчности безнаціональной и лишь въ предѣлахъ одной литературы, но разсматриваемой какъ главный рычагъ для подъема всей жизни общественной. Какъ бы презрительно ни относились юные романтики къ пренебрегаемымъ ими «мудрецовымъ глазу и стеклышку», сколько бы разъ они не повторяли: «имѣй сердце и гляди въ сердце», превознося это сердце по сравненію съ холоднымъ умомъ, эти нападки не пошатнули бы классиковъ и не изгнали бы ихъ изъ позицій укрѣпленныхъ по правиламъ піитикъ Горація и Буало, еслибы романтики не могли показать произведеній покрупнѣе нежели подражательныя баллады и романсы, еслибы они не увлекли современниковъ поэмами, которыя бы заставили публику волноваться и плакать, несмотря на то что были написаны вопреки всѣмъ установленнымъ правиламъ тогдашняго піитическаго искуства. Такимъ потрясающимъ и жгучимъ произведеніемъ явилась изданная въ 1823 г. во второмъ томѣ поэзій Мицкевича *четвертая* часть его Поминокъ или Дѣдовъ. Прежде чѣмъ написать онъ долженъ былъ выстрадать всю эту исторію первой неудавшейся любви, разстроившей его нервную систему. Прошедшая по немъ буря страсти воспламенила его чувство и окрылила воображеніе, точно ударъ электричества. Я долженъ остановиться на этомъ романическомъ эпизодѣ въ жизни поэта.

V.

Романъ Мицкевича имѣетъ нѣкоторое отдаленное сходство съ любовью Байрона (въ 1803 г.) къ его кузинѣ Мэри Чауортъ, увѣковѣченной въ его гораздо позд-

нѣйшемъ стихотвореніи «Сонъ» (Dream). Мэри позволила ухаживать за собою 16 лѣтнему младшему ея по возрасту мальчику-хромоножкѣ, потомъ оттолкнула его грубо и оскорбительно и вышла замужъ за стройнаго и хорошо сложеннаго красавца. Перенеся адскія муки Байронъ разстался съ Мэри хладнокровно и не нороня ни слезинки. Въ 1818 г. Занъ представилъ привезеннаго имъ съ собою въ село Тугановичи товарища-студента Мицкевича знатной и богатой семьѣ помѣщиковъ Верещаковъ. Мицкевичъ тутъ же влюбился въ свою ровесницу дочь домохозяевъ Марію или *Марылю*, которая расположилась тоже къ нему и предугадала въ немъ человѣка съ великимъ будущимъ. Родители дѣвушки рѣшили иначе и сосватали дочь съ отставнымъ офицеромъ бывшей наполеоновской арміи Путкаммеромъ. Самъ Путкаммеръ былъ романтикъ и почитатель Мицкевича, какъ восходящаго свѣтила поэзіи, онъ объяснился откровенно съ Мицкевичемъ, который ему добровольно съ дороги уступилъ. Марыля исполнила волю родителей. Свадьба состоялась поспѣшно 2 февраля 1821 г. Марыля разсталась съ Мицкевичемъ въ Тугановичахъ въ бесѣдкѣ, причемъ передала на память кипарисовую вѣтку, нѣсколько лѣтъ послѣ свадьбы была по отношенію къ мужу точно чужая, всю жизнь потомъ слѣдила съ величайшимъ участьемъ за поэтомъ. Путкаммеръ дѣйствовалъ съ большимъ тактомъ, не ревновалъ, выжидалъ, приглашалъ къ себѣ въ домъ Мицкевича, относясь къ нему крайне дружески и любезно. Можно было думать что сердечная рана уже зажила когда въ 1823 г. Мицкевичъ написалъ слѣдующее посвященіе Марылѣ на посылаемомъ ей томикѣ своихъ произведеній: «Взгляни ты иначе на годы безъ возврата, И память милаго прими изъ рукъ ты брата».... Но милый образъ воскресъ въ душѣ опять въ 1829 г. при переѣздѣ черезъ Альпы изъ Германіи въ Италію въ Сплюгенѣ: «Нѣтъ, вѣрно суждено всегда намъ быть вдвоемъ, Я моремъ ли плыву, идуль сухимъ путемъ—Ты тутъ же. Здѣсь гдѣ льдовъ воздвигнута гро-

мада На нихъ блестящій слѣдъ твой вижу я порой.... И голосъ твой я въ шумѣ слышу здѣсь Альпійскаго каскада—Власы подъемлются когда я оглянусь И чаю образъ твой увидѣть и—боюсь»....

На первыхъ порахъ было не то, а не сравненно хуже. Хотя Мицкевичъ и согласился уступить Марылю Путкаммеру, но онъ не ожидалъ, что свадьба такъ быстро состоится, извѣстіемъ о ней онъ былъ пораженъ какъ громомъ, страдалъ до безумія, перенесъ нервную горячку, словомъ, по свидѣтельству Зана, душа его была какъ лѣсъ, по которому прошелся пожаръ.—Въ умѣ блеснула мысль о самоубійствѣ, которая сказалась въ цитированномъ мною «Пловцѣ» (Żeglarz, 17 апр. 1821 года): «Борепіе такъ тяжко и разомъ-бы я—Могъ кончить... потомъ ужъ и спи подъ волною». Обращаясь къ людямъ пловецъ продолжаетъ: «Вамъ вихры чуть слышны что рвутъ мнѣ канаты; — Громъ бьетъ здѣсь а къ вамъ лишь доходятъ раскаты». — Другой товарищъ Чечотъ писалъ, что Мицкевичъ находится сплошь въ ненормальномъ состояніи, что онъ боленъ и себя убиваетъ, но не выходитъ изъ оцѣпененія и не охлаждаетъ воображенія, потому что съ тѣмъ ему любо.—Онъ стряхнулъ болѣзнь и освободился отъ горя, какъ освобождаются всякіе художники, то есть претворяя выстраданное въ поэзію; онъ вылѣчился написавъ 4-ую часть Дѣдовъ. — Это странное названіе невыражаетъ сюжета. 1-я часть никогда не была отдѣлана. Въ 3-ю Мицкевичъ отнесъ въ послѣдствіи свои тюремныя воспоминанія 1824 г.— часть 2-я есть родъ идилліи, изображающей 2 Ноября или такъ называемыя «Задушній» день поминовенія умершихъ на кладбищѣ по простонародному языческому неискорененному церковью обряду, чествованіе ихъ памяти на могилахъ ѣдою и питьемъ.—*Четвертая* часть Дѣдовъ должна была изобразить муки самоубійцы, душа котораго осуждена на то, чтобы разъ въ годъ, въ поминальный день посвященный памяти предковъ переиспытывать вновь все то, что довело эту душу до само-

убійства.—Что герой поэмы Густавъ не живой человѣкъ, а только этого рода привидѣніе—то открывается только въ концѣ драмы. Въ началѣ ея онъ только молодой человѣкъ странно одѣтый и помѣшанный, котораго пріютилъ и угостилъ сердобольный сельскій священникъ, садящійся съ воспитанниками дѣтьми за свою убогую вечернюю трапезу. Дѣти хохочутъ потѣшаясь надъ чудакомъ. Въ его исхудаломъ лицѣ священникъ узнаетъ черты своего нѣкогда любимаго и даровитаго ученика Густава. Густавъ чувствительный человѣкъ и мечтатель, какими изобиловалъ XVIII вѣкъ, человѣкъ помѣшавшійся на чтеніи романовъ: «Руссо и Гёте ты заглядывалъ въ созданія?—Ксендзъ, Элоизу ты читалъ?—Ты знаешъ Вертера страданія? Эхъ, ксендзъ, разбойническія книги, мучительные вымыслы. Не вы ли Меня къ заоблачнымъ предѣламъ унесли, И крылья думъ моихъ такъ къ верху заломили, Что я уже не могъ спустить ихъ до земли».... «Одна могуществомъ природы—Талантомъ искра намъ дана, Но только разъ въ младые годы Въ насъ загорается она»... Если на него дунетъ дыханіе Минервы, тогда звѣзда безсмертнаго Платона блеснетъ на дальніе вѣка. Если ее раздуетъ въ пламя гордость тогда является герой превращающій пастушескій посохъ въ скипетръ и будетъ онъ по мановенію сокрушать старые престолы. Если ее зажжетъ взоръ ангела женщины, тогда эта искра себѣ лишь свѣтитъ и одна горитъ какъ лампада среди римской гробницы не озаряя никого. Все существо души Густава сгораетъ до тла и безъ остатка въ такомъ пламени любви.—Ту воображаемую красавицу, какую творятъ «изъ радугъ и сіянія однѣ безумныя мечты», онъ вдругъ нашелъ вблизи, тутъ-же, возлѣ себя. Изъ за нея онъ забылъ что ему была послушна вѣщая риѳма, что ему во снѣ неразъ грезилась побѣда Мильціада. Въ немъ умерли Готфредъ Бульонскій и Янъ Собѣскій.—Счастіе было полное но минутное, произошло прощаніе въ бесѣдкѣ, слова: прощай, незабудь, протянутая кипарисовая вѣтка, да звонкія фразы:

отечество, наука, и слава и друзья. Сначала онъ думалъ что помирится съ тѣмъ, что Марія чужая жена и что вышедши замужъ она заживо похоронена. Онъ будетъ обходиться съ нею какъ съ постороннею, какъ съ другомъ, ему столь мало нужно, быть близъ нея, слышать отъ нея ласковое слово, но бѣшеная ревность взяла въ концѣ концовъ верхъ и вскипѣла. Съ кинжаломъ въ рукахъ онъ отправляется на брачный пиръ нацѣдить багрянаго вина или удавить ее своими руками. Но у кого достанетъ духу убить ее, такую добрую и нѣжную.—Я лишь пойду, думаетъ онъ и стану на этомъ пиру въ лохмотьяхъ, да съ кипарисовою вѣткою, да поражу ее взоромъ. О это будетъ взглядъ змѣиный, который «пронижетъ голову и въ мозгъ ея вопьется»... Но и этотъ молчаливый укоръ будетъ по отношенію къ ней несправедливъ: «старалась-ли она меня завлечь, Со мною заводя кокетливую рѣчь? — Иль мой дразнила жаръ надеждою лукавой?—Нѣтъ, виноватъ во всемъ онъ одинъ, создавшій для себя адъ и опоившій себя отравой. Онъ готовъ молить ее о томъ, чтобы она вспомнила о немъ изрѣдка, проронила слезку, черной лентой оттѣнила свой нарядъ. — Но тутъ то и подымается въ душѣ страдальца иное чувство, глубокое, сильное, выдѣляющее его изъ сонма сантиментальныхъ, но плаксивыхъ Сенъ-При и Вертеровъ, чувство гордости мужской (я не унижусь до моленія чтобъ пожалѣли мертвеца). Послушай, ксендзъ, говоритъ онъ, не сказывай что умеръ я въ отчаяньѣ....«Нѣтъ, ты скажи что я веселый и румяный о томъ Кого любилъ совсѣмъ не вспоминалъ, Съ друзьями бражничалъ, игралъ, Любилъ разгулъ, вино, тревогу. И какъ то разъ хмѣльной среди развратныхъ дѣлъ Переломилъ себѣ въ безумной пляскѣ ногу, И тутъ-же пьяный околѣлъ!»....

Есть въ польской литературѣ эротическія произведенія болѣе изящныя, болѣе эѳирныя, съ болѣе блестящими образами и красками, но и во всемірной литературѣ мало такихъ, въ которыхъ бы страданія неудовлетворен-

ной любви изображены были искреннѣе и задушевнѣе и проведены по всей клавіатурѣ чувства, начиная съ дѣтской рѣзвости и плача до сардоническаго смѣха, ледянаго напускнаго хладнокровія и ироніи неуступающей по силѣ байроновской. Сходство тоновъ, одинаковые намѣренные диссонансы объясняются сродствомъ темпераментовъ, а не какимъ либо прямымъ подражаніемъ Байрону.—Въ 4 части Дѣдовъ можно найти отголоски Руссо, Гётевскаго Вертера, подчеркнутыя заимствованія изъ Шиллера, нѣчто изъ Жанъ Поля и даже изъ «Валеріи» Госпожи Крюднеръ, но не изъ Байрона, который и неупоминается. — Есть несомнѣнныя доказательства что въ это именно время, въ этомъ угнетенномъ состояніи духа, въ которое его погрузило замужество Марыли и въ которое онъ писалъ 4 часть Дѣдовъ, онъ только начиналъ заниматься Байрономъ и лишь потомъ войдя во вкусъ онъ сдѣлался горячимъ его обожателемъ. Болѣзнь заставила Мицкевича взять отпускъ осенью 1821 и поселиться въ Вильнѣ на лѣто 1822 г. Здѣсь онъ сталъ переводить Гяура Байрона и писалъ: «послѣ германоманіи наступила британоманія. Я протискивался со словаремъ сквозь Шекспира, какъ богачъ сквозь игольное ушко, зато теперь Байронъ дается мнѣ легче, однако этотъ можетъ быть величайшій изъ поэтовъ не вытѣсняетъ Шиллера»....Съ лѣта 1822 Мицкевичъ опять въ Ковнѣ, онъ пересталъ работать, живетъ совершеннымъ нелюдимомъ, почти мизантропомъ, страдаетъ молча и стиснувъ зубы и пишетъ: «читаю одного только Байрона, книгу въ иномъ духѣ писанную бросаю, потому что не выношу лжи. Описаніе семейнаго счастія возмущаетъ меня, равно какъ и видъ супруговъ, дѣтей—это моя антипатія, вотъ я и описалъ себя съ головы до пятокъ». Мицкевичъ не только зачитывался Байрономъ, но и переводилъ изъ него многое. Любопытно изучать въ этихъ переводахъ прибавки къ подлиннику и отступленія, въ которыхъ сказывается различіе темперамента менѣе вспыльчиваго и болѣе нѣжнаго. Въ Байроновомъ «Снѣ»

дѣва чувствуетъ что она омрачила поэта черною тѣнью заставила его страдать, но не увидѣла всего (that his hearts was darkened by his shadow, and she saw That he was wretched but she saw not all). Дѣва у Мицкевича отгадала что онъ понесетъ муки долгія, страшныя, не угадала что эти муки будутъ *вѣчныя*.—Въ *Euthanasia* есть характерное двухстишіе презрительно относящееся къ слезамъ женщины вообще (And woman's tears produced at will—Deceive in life unman in death). У Мицкевича нѣтъ ни слѣда этого гордаго отношенія къ предмету: «слеза Марилина такова, что предъ нею *слабъ былъ поэтъ живя, слабымъ и умретъ*». То чувство острой тоски отъ одиночества, которымъ пропитано «прощай Чайльдъ-Гарольда» (And now J am in the world alone—Upon the wide wide sea...) превратилось въ довольно банальную фразу:» теперь блуждаю я по міру широкому и жизнь скитальца веду». Это тотъ самый переводъ при чтеніи котораго въ Ковнѣ въ маѣ 1823 Мицкевичъ отъ эмоціи впалъ въ обморокъ въ присутствіи Одынца.—Виленскіе друзья сильно тужили о томъ, что Мицкевичъ убиваетъ себя въ Ковнѣ, что онъ изнываетъ отъ послѣдствій овладѣвшей имъ страсти. Они порицали его что онъ некстати роняетъ себя, оглашая свои любовныя чувства (письмо Зана 12 мая 1823), собирали въ складчину деньги на отправленіе его за границу. Между тѣмъ время оказало свое цѣлительное дѣйствіе. По необычайной гибкости своего темперамента, въ чемъ онъ могъ сравняться съ Пушкинымъ, Мицкевичъ въ то самое время когда друзья думали что онъ бредитъ Марылею издалъ во второмъ томикѣ стихотвореній (1823) вмѣстѣ съ 4 частью Дѣдовъ эпосъ извлеченный изъ хроникъ средневѣковыхъ латинскихъ изъ быта языческой Литвы. Вѣроятно эта поэма задумана была еще когда Мицкевичъ былъ студентомъ, шелъ по стопамъ классиковъ, читалъ Виргилія, слушалъ освобожденый Іерусалимъ Тасса. Поэма весьма проста, задумана въ классическомъ духѣ, хотя безъ примѣси *чудеснаго*, какъ двигающей силы. Въ ней

изображенъ патріотическій подвигъ литовской княгини, которая, когда мужъ ея зазвалъ къ себѣ въ помощь враговъ нѣмцевъ противъ В. Князя Витовта, отказала нѣмцамъ на свой рискъ, взяла команду надъ войскомъ мужа и была въ бою съ нѣмцами убита, но и отомщена потому что литовцы одолѣли на этотъ разъ нѣмцевъ. — Поэма красива, но и какъ мраморъ холодна. Трудно воскрешать языческую Литву XIV вѣка въ ея бытовой обстановкѣ. Притомъ къ прошлому поэтъ подходитъ незапросто а съ поклономъ, и воспѣваетъ его слишкомъ торжественно. Эпосу недостаетъ наивности.— Классики не поняли что это поэма классическая, они находили ее скучноватою; романтики же были ею озадачены въ такой же мѣрѣ, какъ молодые нѣмцы, когда возвратившись изъ Рима творецъ Гёца приподнесъ имъ Ифигенію и Тасса.—Прежде чѣмъ товарищи Мицкевича собрали деньги и исходатайствовали ему заграничный паспортъ, надъ цѣлымъ кружкомъ стряслась бѣда, наряжена была слѣдственная коммисія о виленскихъ студенческихъ кружкахъ подъ предсѣдательствомъ сенатора Новосильцева, Мицкевичъ арестованъ 23 Октября 1823, потомъ освобожденъ 21 апрѣля 1824, потомъ 14 августа 1824 вслѣдствіе Высочайшей конфирмаціи опредѣленъ на службу въ званіи учителя въ одну изъ отдаленныхъ отъ Польши губерній, однимъ словомъ онъ подвергся административной ссылкѣ на довольно льготныхъ впрочемъ условіяхъ, но съ удаленіемъ отъ горячо любимой родины.—Хотя эта ссылка на казенный счетъ и на службу была принята имъ какъ страданіе, но она открыла Мицкевичу новые горизонты, познакомила его съ ближайшимъ къ его родинѣ востокомъ, съ новыми людьми и отношеніями, отшлифовала неуклюжаго провинціяла и сдѣлала изъ него свѣтскаго человѣка, дала ему сразу извѣстность въ Россіи и даже заграницею. Начинается новый періодъ въ жизни поэта, длившійся 7 лѣтъ, который можно бы назвать *des Poeten Wanderjahren.*

VI.

Слѣдствіе Новосильцева было однимъ изъ характерныхъ эпизодовъ тяжелой эпохи — конца царствованія Александра I. Атмосфера была душная, чувствовалась буря, разразившаяся 14 декабря 1825 года. Аресты по подозрѣніямъ въ политической неблагонадежности были часты. Взяты были въ Вильнѣ и посажены подъ арестъ у базиліанъ у Острыхъ Воротъ люди филаретскаго кружка. мечтатели и энтузіасты, занятые главнымъ образомъ литературою, преобразованіемъ слога и формъ поэтическаго творчества. Въ тюрьмѣ они съежились, въ общемъ страданіи закалились и стали, и на своихъ глазахъ, и въ мнѣніи общества политическими людьми. Особенно сильно сказалась эта перемѣна въ Мицкевичѣ, который ее и изобразилъ въ 3-й позднѣйшей части Дѣдовъ; страдалецъ отъ любви умеръ, народился мрачный страдалецъ за родину, который пишетъ на стѣнѣ своей тюремной келіи: «calendis novembris MDCCCXXIII obiit Gustavus, natus est Conradus». — Въ дѣйствительный моментъ изображаемый позднѣйшею 3 частью Дѣдовъ еще въ умѣ Мицкевича не обрѣтался замыселъ Конрада, то есть Конрада Валленрода. Въ перепискѣ Мицкевича есть указанія на то, что Валленродъ былъ сочиняемъ въ 1827 году въ Москвѣ и что сочиняя его, Мицкевичъ зачитывался драмою Шиллера «Фіеско» и книгою Макіавелли «il Principe». — Не подлежитъ однако сомнѣнію, что уже въ Вильнѣ, во время заключенія, возникло въ поэтѣ то направленіе, которое по имени героя позже сочиненной поэмы можно назвать валленродовскимъ и которое какъ нельзя лучше характеризуется эпиграфомъ къ Валленроду, заимствованнымъ якобы отъ Макіавелли, но собственно передѣланнымъ весьма существенно: dovete adunque sapere come sono due generazioni da combattere... bisogna essere volpe e leone. Въ главѣ XVIII своего трактата о Государѣ, озаглавленной: In che modo i principi debbiano osservare la fede, великій фло-

рентійскій политикъ разсуждаетъ такимъ образомъ: есть два способа сражаться, одинъ законами (борьба легальная), другой силою, первый человѣческій, другой звѣриный, но такъ какъ первый недостаточенъ, то надо прибѣгать ко второму, второй же состоитъ въ томъ, чтобы подражать (pigliare) либо лисицѣ, либо льву. — Хитрый флорентіецъ вполнѣ сочувствуетъ лисьимъ пріемамъ; онъ думаетъ, что не силенъ въ политикѣ тотъ, кто подражаетъ одному только льву: e sono tanto semplici li uomini e tanto obeiscono alla necessita presenti che colui che inganna trovera sempre chi si lascera ingannare. — Тотъ клинокъ, который флорентіецъ подавалъ въ руки правительству, обращенъ Мицкевичемъ въ противоположномъ направленіи, средства легальной или гуманной борьбы обойдены молчаніемъ и ставится вопросъ лишь о борьбѣ нелегальной, революціонной съ явнымъ предпочтеніемъ нравящихся особенно и Макіавелли лисьихъ пріемовъ, то есть съ преимуществомъ, отдаваемымъ изворотливости ума передъ силою, которой недостаетъ особи, когда она замышляетъ страшно неравный бой съ государствомъ и въ особенности съ современнымъ громаднымъ по размѣрамъ государствомъ. Т. Вержбовскій («Вѣстникъ Европы», 1888, № 9) извлекъ изъ слѣдственнаго дѣла о филаретахъ обстоятельства, которыя не могли не раздражить Мицкевича, унижая его въ собственныхъ его глазахъ. Его заставили дать показаніе о томъ, что онъ кается что былъ филаретомъ, а также подписку о непринятіи участья ни въ какомъ обществѣ, образованномъ безъ разрѣшенія правительства и обѣщаніе сообщать кому слѣдуетъ, коль скоро онъ узнаетъ о существованіи такого общества.—Онъ и сдержалъ обѣщаніе въ томъ смыслѣ, что не сдѣлался заговорщикомъ, но въ немъ родилась иная мысль борьбы и сопротивленія, болѣе глубокая, которая стала ходить по головамъ наиболѣе горячихъ людей молодаго поколѣнія. — Чтобы вполнѣ безпристрастно оцѣнить политическую стихію, приведшую съ 1824 года въ поэтическую дѣятельность

Мицкевича, слѣдуетъ замѣтить, что его враждебныя намѣренія относились только къ правительству и его системѣ, но не къ народу русскому и его интеллигенціи, которыхъ солидарности съ русскою правительственною системою онъ не признавалъ. Въ позднѣйшемъ своемъ стихѣ «къ друзьямъ Москалямъ» Мицкевичъ откровенно сознается, что онъ скрытничалъ передъ правительствомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ искренно утверждаетъ, что по отношенію къ друзьямъ своимъ русскимъ онъ всегда хранилъ голубиную чистоту. — Тогдашнія отношенія никакъ не могутъ быть судимы въ свѣтѣ позднѣйшихъ событій.—Вспомнимъ, какая въ этихъ двадцатыхъ годахъ существовала тьма невыясненныхъ вопросовъ, которые нынѣ уже рѣшены въ этомъ дарвиновскомъ *struggle for life* между двумя національностями. — Вспомнимъ, что Александръ I возстановилъ на Вислѣ Польшу и возился съ мыслью о присоединеніи къ ней западныхъ губерній, что только впервые Пушкинымъ, и то только послѣ разгара патріотическихъ чувствъ въ 1831 году, поставлена была ребромъ программа спорныхъ вопросовъ: «Куда отдвинемъ строй твердынь? За Бугъ, за Ворсклу, до Лимана? За кѣмъ останется Волынь? За кѣмъ наслѣдіе Богдана?... Отъ насъ отторгнется-ль Литва?» И нынѣ національности отталкиваются взаимно, непонимая другъ друга; шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ непониманіе было стократъ сильнѣе.—Будучи потомкомъ людей, имѣвшихъ совсѣмъ иное политическое прошлое, Мицкевичъ не могъ любить строй жизни общественной совсѣмъ противоположный, но подобно всѣмъ своимъ землякамъ за лѣсомъ не видѣлъ деревъ, за русскимъ правительствомъ — народа. Раздѣляя ихъ мысленно, онъ не постигалъ, что народъ въ моментъ борьбы станетъ крѣпко за свое правительство, которое этотъ народъ создалъ вѣковыми усиліями и вынесъ на своихъ плечахъ. — Однимъ словомъ, Мицкевичъ находился въ заблужденіи, за которое раздѣлявшій это заблужденіе польскій народъ поплатился вы-

званными имъ же и безусловно неизбѣжными послѣдствіями двухъ такъ называемыхъ «повстаній» 1830 и 1863 годовъ. Чѣмъ сильнѣе воцарялась въ душѣ поэта идея общественнаго блага, къ которой съ тѣхъ поръ стремились всѣ его помыслы, какъ къ цѣли окончательной, тѣмъ на видъ онъ становился свободнѣе, подвижнѣе, развязнѣе. Повидимому, онъ только однимъ былъ занятъ — чтобы знакомиться съ людьми всевозможныхъ народностей и оттѣнковъ, блистать остроуміемъ въ большомъ обществѣ, любезничать съ дамами и наслаждаться. На себя онъ тратилъ весьма немного, средства къ жизни получалъ, сверхъ казеннаго жалованія, отъ издателей быстро расходившихся его произведеній. Сопровождавшая его поэтическая слава открывала ему доступъ въ гостиныя. Поглощенный новыми знакомствами, Мицкевичъ меньше работалъ и возбуждалъ опасенія между товарищами, сѣтовавшими на то, что онъ превращается въ эпикурейца и въ космополита. Мицкевичъ долженъ былъ оправдываться и писалъ къ Зану и Чечоту изъ Москвы (январь 1827), въ то самое время, когда сочинялъ Валленрода: «можно плясать, играть, пѣть и любезничать, не становясь паразитомъ. Возвратясь въ Литву, я можетъ быть, какъ отпущенная пружина, упавшая на прежнее мѣсто, найду себѣ какое-нибудь горе и буду печалиться по прежнему. Я сталъ веселѣе у отцовъ базиліанъ и успокоился и чуть ли не безумствовалъ въ Москвѣ.—Всѣ мы горячо любимъ нашу любовницу (родину). Она ревнива, но мы не должны заявлять нашу любовь какъ Донъ-Кихотъ. Мы не должны подражать хлопцамъ въ Столовичахъ, трепавшимъ всѣхъ жидовъ въ отместку за распятіе Христа. Признаюсь, я готовъ ѣсть не только трефный бифштексъ Моабитовъ, но даже мясо отъ алтарей Дагона и Ваала, не переставая быть добрымъ христіаниномъ». Не вдаваясь въ описаніе странствованій Мицкевича по Россіи, укажу на главные этапы этого пути въ связи съ народившимися на этихъ мѣстахъ произведеніями.

VII.

Мицкевичъ прибылъ изъ Вильна въ С.-Петербургъ 8 ноября 1824 г., на слѣдующій день послѣ наводненія и направленъ чрезъ Кіевъ въ Одессу для опредѣленія преподавателемъ въ Ришельевскій лицей, но въ ноябрѣ 1825 года послѣдовало новое распоряженіе изъ С.-Петербурга, вслѣдствіе коего Мицкевичъ перемѣщенъ въ Москву для опредѣленія на канцелярскую, а не на ученую службу (Пушкинъ уже 20 іюня 1824 г. былъ высланъ изъ Одессы въ Михайловское). Въ пестромъ Вавилонѣ черноморскомъ, гдѣ смѣшивалось столько элементовъ и европейскихъ и азіатскихъ Мицкевичъ, подобно Пушкину, закружился въ вихрѣ свѣтскихъ чувственныхъ удовольствій, вошелъ и въ польскія и въ русскія великосвѣтскія гостиныя, былъ балуемъ, имѣлъ много любовныхъ отношеній. Молодаго дичившагося провинціала приручила одна изъ блистательнѣйшихъ одесскихъ красавицъ, сестра писателя Генриха Ржевускаго Каролина Собанская, впослѣдствіи жена попечителя Одесскаго учебнаго округа Витта, умершая въ 1886 г. женою четвертымъ бракомъ писателя Жюля Лякруа. Съ Собанскими Мицкевичъ посѣтилъ Крымъ (отъ Севастополя чрезъ Симферополь въ Эвпаторію на купанья, потомъ по южному берегу отъ Байдаръ до Алушты). Любовь его къ г-жѣ Собанской пылкая, страстная, весьма чувственная, кончилась разрывомъ (Сонетъ XX: Такъ сердце твое отъ меня отняла ты? А впрочемъ едва-ли его я имѣлъ. Иль совѣсть? а онъ-то? Иль требуешь платы? Но далъ ли злато я когда тобой владѣлъ?... Ты гимновъ хотѣла, а что они: дымъ?...) Сбылось-то что было неизбѣжно и что самъ Мицкевичъ предсказалъ въ стихахъ записанныхъ въ альбомъ красавицы: «Разстаться мы должны? увидимся-ль опять? Искать не станешь ты, я не могу искать». Разставаніе Мицкевича съ Одессою было холодное, какъ послѣ похмѣлья. Отряхнувъ съ себя

даже воспоминанія пережитаго Мицкевичъ далъ себѣ зарокъ никогда не погружаться болѣе въ подобномъ омутѣ и написалъ: «Лети! остатокъ крылъ спасенъ для поворота—Лети! но съ этихъ поръ не понижай полета»!—Пребываніе въ Одессѣ не осталось однако безплоднымъ. Поэтъ ощутилъ оплодотворяющее вліяніе испытанной страсти, которое изобразилъ въ сонетѣ Аюдагъ въ образѣ волны морской, которая когда отходитъ роняетъ на береговомъ песку цѣнныя раковины и кораллы. Такими раковинами были сонеты Мицкевича. Они двоякаго рода: эротическіе и крымскіе. Изданные въ Москвѣ въ концѣ 1826 г. сонеты распространились и сдѣлали имя автора извѣстнымъ между русскими литераторами и стихотворцами. Между этими гранеными каменьями есть куски разной цѣны. Между эротическими попадаются переводы изъ Петрарки, относительно котораго Мицкевичъ сильно ошибался. По свидѣтельству Константина Полеваго онъ отзывался что если у Петрарки нѣтъ чувства настоящей любви, то его негдѣ и искать. Есть сонеты посвященные Марылѣ, есть и такіе, которые изображаютъ Одесскихъ *Данаидъ*-красавицъ: «Теперь дешевый вѣкъ и нѣжный полъ дороже. Той золото даю: нѣтъ, гимны ей слагай! Той сердце предложилъ: отдай и руку, Боже!... Богатъ ли спросила та которую я славилъ!»... Пушкинъ характеризовалъ такимъ образомъ крымскіе сонеты Мицкевича: «И посреди прибрежныхъ скалъ—свою Литву воспоминалъ». Но въ крымскихъ сонетахъ есть нѣчто большее, нежели тоска по родинѣ, есть пестрое густыми красками набросанное изображеніе маленькой, крошечной, но прелестной страны. Поэтъ ничего ей подобнаго въ жизни не видавшій, усмотрѣвъ въ ней живое олицетвореніе по книгамъ только извѣстнаго ему Востока, воспѣлъ ее на восточный маноръ, съ роскошью образовъ, напыщенностью и преувеличеніями. Красивъ конечно за 50 верстъ видный куполъ Шатра-Горы или Чатырдага, но развѣ можно по истинѣ его назвать «мачтою Крыма, минаретомъ свѣта, драгоманомъ творенія, высящемся

тамъ гдѣ и орламъ дороги нѣтъ, гдѣ мерзнетъ паръ дыханія». Гдѣ тѣ бездонныя пропасти, тѣ «щели міра, въ которыя страшно заглянуть». Гнѣздо полудикихъ ногайцевъ-разбойниковъ воспѣто въ выраженіяхъ, достойныхъ изящнѣйшаго остатка высокаго искусства, вполнѣ подходящихъ развѣ къ одной Альгамбрѣ Гренадской. Проводники — татаре произведенные въ мурзы философствуютъ точно имамы и носятъ по волѣ поэта на бараньихъ шапкахъ своихъ заткнутыя орлиныя перья, которыхъ совсѣмъ не бываетъ у крымскихъ татаръ (XVI. Кикинейсъ: Увидишь—мелькнетъ тамъ перо—то будетъ верхъ шапки моей). Описанія прелестны но они далеко превосходятъ болѣе скромную дѣйствительность. Всѣ эти сонеты описательные крымскіе, или сантиментальные или эротическіе запечатлѣны субъективностью поэта и поэтъ этотъ носитъ на своихъ плечахъ тотъ-же небрежно накинутый Гарольдовъ плащъ, которымъ пользовался и Пушкинъ когда писалъ Онѣгина. Начиная съ послѣдняго года своего пребыванія въ Ковнѣ Мицкевичъ былъ подъ вліяніемъ Байрона, подъ которымъ находился и Пушкинъ, что и способствовало ихъ сближенію, такъ къ нему примѣнимы его-же слова о Пушкинѣ: Il était un byroniaque; il tomba dans la sphère d'attraction de Byron, il était possedé de l'esprit de son auteur favori». Онъ вполнѣ себѣ усвоилъ внѣшнія черты темперамента Байрона, сильную страстность, затаенную подъ кажущимся ледянымъ равнодушіемъ и сопровождаемую горькимъ сарказмомъ. Вотъ напримѣръ прощаніе его съ дорогимъ ему Вильномъ (Морякъ): «Видѣлъ я доблесть мужскую въ тискахъ,—тьму въ головахъ у народа, въ умникахъ алчность, а въ женскихъ сердцахъ—одну лишь пустоту»... (1824). Въ сонетѣ X *Стрѣлокъ* трепещущій отъ волненія, съ заряженнымъ ружьемъ поджидаетъ съ горькою усмѣшкою и взглядомъ Каина соперника своего въ любви. Въ крымскомъ сонетѣ IV *Буря* одинокій странникъ думаетъ: счастливъ кто обезсилѣлъ (среди бури) или молиться можетъ или есть ему съ кѣмъ прощаться.

Байроновскіе звуки раздаются во всѣхъ сонетахъ относящихся прямо или косвенно къ Одесскимъ Данаидамъ. Всего сильнѣе запечатлѣно байронизмомъ окончаніе извѣстнаго сонета XII (Rezygnacya), въ которомъ онъ такимъ образомъ опредѣляетъ свое окаменѣлое сердце: «И какъ разоренный храмъ оно въ пустынѣ—Рушится и гибнетъ: жить въ его святынѣ—Божество не хочетъ, человѣкъ не смѣетъ». Приведемъ еще одно мѣсто того-же рода въ сонетѣ XIV: «Я наслаждаться радъ, но обольщать не стану—изъ гордости. Дитя! я пересохшій злакъ—ты только разцвѣла а я давно ужъ вяну—твоя обитель—свѣтъ, моя-жъ кладбище, тьма—Такъ вейся-жъ юный плющъ вкругъ тополей зеленыхъ Давъ мѣсто терніямъ при гробовыхъ колоннахъ». Если-бы оставалось еще какое-либо сомнѣніе относительно байронизма Мицкевича, то оно должно-бы разсѣяться въ виду новаго весьма крупнаго произведенія «Конрада Валленрода» до того проникнутаго духомъ Байрона, что Ев. Баратынскій при поднесеніи Мицкевичу прощальнаго подарка отъ его почитателей въ Москвѣ выразился такъ: «Когда тебя Мицкевичъ вдохновенный—я застою у байроновскихъ ногъ»... Валленродъ переноситъ насъ въ Москву. Мнѣ слѣдуетъ уяснить какъ созрѣвало и слагалось это дивное произведеніе навѣянное Байрономъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и въ высокой степени оригинальное.

VIII.

Въ Москвѣ Мицкевичъ на первыхъ порахъ сосредоточился, уединился и готовилъ историческую поэму, о которой ничего никому не сообщалъ, сильно побаиваясь пройдетъ-ли она чрезъ цензуру (Korresp. 1,15). Опасность грозила-бы поэмѣ если-бы догадались что въ ней изображены энергическія чувства современнаго человѣка, но поэтъ предваряетъ читателя въ самомъ введеніи, что онъ будетъ повѣствовать только о томъ какъ любящія сердца, расторгнутыя враждою народовъ вновь

соединяетъ пѣснь народнаго пѣвца. Замѣтимъ мимоходомъ что сама эта маска фальшивая, потому что и Альфъ и Альдона оба литовцы и сердца ихъ не были никогда разрываемы враждою народовъ. Другою ширмою маскирующею замыселъ служило прозаическое предисловіе къ первому изданію поэмы. Въ этомъ предисловіи обязательно поясняется, что и Литва и Орденъ тевтонскій уже померли, что они, какъ умершіе сдѣлались достояніемъ одной только поэзіи по правилу Шиллера: Was unsterblich im Gesang soll leben—Muss im Leben untergehn. Предисловіе кончается словами признательности «Монарху, въ котораго державѣ наиболѣе племенъ и языковъ и который оставляя за каждымъ подданнымъ исповѣдуемую имъ вѣру, обычай и языкъ, повелѣваетъ оберегать и розыскивать памятники былыхъ вѣковъ, какъ наслѣдіе грядущихъ поколѣній». Намъ извѣстно что къ выбору историческаго сюжета Мицкевича располагали не только внѣшнія удобства, напримѣръ обходъ цензуры, но и литературныя убѣжденія, высказываемыя многократно въ письмахъ (1828 Korr. IV, 101, 103). Онъ полагалъ что вѣкъ XIX нуждается въ исторической драмѣ, которая однако еще не создана, потому что Шиллеръ только подражаетъ Шекспиру, а Гёте лишь въ Гёцѣ чутьемъ угадывалъ какова должна быть историческая драма, къ другимъ-же своимъ драмамъ примѣняетъ старыя формы, освѣжая ихъ. Мицкевичъ признаетъ что жегъ много своихъ драмъ и что не чувствуетъ себя въ силахъ написать трагедію, а потому слѣдуетъ Байрону, который понялъ духъ новой поэзіи и нашелъ для нея эпическія формы, но не драматическія, которыя всегда запаздываютъ. «Я отчаянный (zabity) шекспиристъ, говоритъ Мицкевичъ, я допускаю измѣненія формы и экономіи драмы, но всегда ищу поэтическаго духа и исторической правды. Чувствую жестокое отвращеніе къ островамъ и странамъ, которыхъ нѣтъ на картѣ и къ царямъ, которыхъ нѣтъ въ исторіи. Всѣ фабулы основанныя на переодѣваніяхъ, сюрпризахъ, оракулахъ для

меня нестерпимы». Посмотримъ въ какой мѣрѣ соблюдены въ Валленродѣ эти правила и наставленія.

Еще будучи въ Ковнѣ Мицкевичъ ради Гражины изучалъ лѣтописи, латинскія и нѣмецкія и сочиненіе Коцебу (убитаго Зандомъ 1818) Preussens ältere Geschichte 1808. Изъ этихъ источниковъ взяты всѣ до одного дѣйствующія въ Валленродѣ лица. Нѣмецкій рыцарь Вальтеръ Стадіонъ попалъ въ плѣнъ къ Кейстуту, женился на его дочери и увезъ ее съ собою. Была и отшельница замуравленная въ башнѣ—блаженная Дорота изъ Монтовы, подвизавшаяся не въ Маріенбургѣ, но въ Маріенвердерѣ, изъ которой легко было сдѣлать Альдону Кейстутовну. Конрадъ Валленродъ лицо вполнѣ историческое, гросмейстеръ ордена, пьяница и дурной правитель, притомъ весьма жестокій человѣкъ. Онъ совершилъ два крестовые походы на Вильно, но осаждалъ столицу Литвы столь лѣниво и оплошно, что извелъ даромъ многіе десятки тысячъ войска и истощилъ орденскую казну, а потомъ постыдно бѣжалъ, когда Витовтъ измѣнивъ ордену сошелся, такъ сказать за спиною его, съ Ягеллою. Хотя самъ монахъ, этотъ Валленродъ еще болѣе того былъ солдатъ, онъ терпѣть не могъ вообще поповъ и слылъ по сей причинѣ безбожникомъ. Ему по преданію всегда сопутствовалъ нѣкто *Leander Albanus* монахъ, должно быть колдунъ и несомнѣнный еретикъ. Взявъ эти лица живьемъ изъ хроники Мицкевичъ имѣлъ полное право дать волю фантазіи, отождествивъ Вальтера съ Конрадомъ. Онъ сдѣлалъ предположеніе во стократъ болѣе смѣлое, ни начемъ не основанное и исторически не вѣроятное, что настоящій человѣкъ, носившій оба эти названія былъ литовецъ Альфъ, заполоненный нѣмцами и воспитанный ими, но вернувшійся къ своимъ, женившійся потомъ на дочери Кейстута Альдонѣ и затѣмъ покинувшій и родину и жену чтобы стать рыцаремъ ордена, достигнуть званія гросмейстера и имѣя власть самую державу орденскую расшатать и подорвать. Не только затаенный литовецъ

Валленродъ не похожъ на настоящаго историческаго, но и моментъ его дѣятельности избранъ Мицкевичемъ фантастическій. Война въ которой будто-бы измѣнникъ гросмейстеръ извелъ свою армію въ лѣсахъ и снѣгахъ Литвы ведется съ языческою Литвою, между тѣмъ какъ походы Валленрода происходили въ 1390 и 1391 годахъ противъ Ягелла уже бракосочетавшагося съ Ядвигою въ 1386 г. и противъ Литвы уже крещеной. Орденъ существовалъ лишь ради обращенія въ христіанство язычниковъ. Разъ Литва крестилась сама, принявъ вѣру отъ Польши и крестясь полячилась, паденіе ордена становилось неизбѣжнымъ, но съ другой стороны спасеніе Литвы не обусловливалось истощеніемъ силъ ордена, которыя онъ заимствовалъ извнѣ посредствомъ крестовыхъ походовъ и которыя были не истощимы, пока Литва оставалась языческою. Литва была спасена вслѣдствіе усвоенія себѣ той-же вѣры, какая была у ордена, но вмѣстѣ съ тѣмъ и культуры, не нѣмецкой, а польской, словомъ она для своего спасенія повторила то, что сдѣлалъ Альфъ, когда онъ бѣжавъ на родину остался христіаниномъ и обратилъ жену въ христіанство. Подобная постановка вопроса не только совсѣмъ-бы разстроила планъ поэта, заключавшійся въ перенесеніи дѣйствія въ изчезнувшую языческую Литву, но она сдѣлала-бы безцѣльнымъ самъ подвигъ Валленрода. Наконецъ эта постановка сдѣлала-бы вполнѣ невозможнымъ одно дѣйствующее лицо уже весьма неправдоподобное въ томъ даже видѣ, въ какомъ его задумалъ поэтъ, а именно лицо вайделота Гальбана. Этотъ нѣмецкій плѣнникъ, оставаясь языческимъ жрецомъ, вдохнулъ въ душу Альфа ненависть къ нѣмцамъ, онъ и бѣжалъ съ Альфомъ къ Кейстуту, онъ и участникъ подвига Альфа заключающагося въ томъ чтобы достигнуть власти въ орденѣ. Самъ онъ сдѣлался монахомъ и духовникомъ гросмейстера. По замыслу Мицкевича Гальбанъ—хранитель литовской старины, слѣдовательно прежде всего вѣры предковъ. Только представляя Литву въ видѣ сплошнаго цѣлаго,

Мицкевичъ могъ оставить насъ въ неизвѣстности дѣйствительно-ли Гальбанъ притворный монахъ, а въ сущности жрецъ Перкунаса, язычникъ онъ или христіанинъ, во всемъ-ли онъ или не во всемъ единомышленникъ и сподвижникъ Валленрода. Какъ только-бы Литва представилась въ движеніи развитія, съ отдѣляющимися отъ старины прогрессивными элементами, проникающимися иноземною культурою, Гальбанъ потерялъ-бы значеніе воплощеннаго народнаго преданія, которое онъ олицетворяетъ собою въ поэмѣ. И такъ историческая правда не стѣснила поэта и не обрѣзала крыльевъ у его фантазіи. Теперь я докажу что онъ умѣлъ изображать страны, которыхъ нѣтъ на картѣ и царей которыхъ нѣтъ въ исторіи. Такова вся баллада *Альпухара*, которую Мицкевичъ влагаетъ въ уста Валленроду.

На первый взглядъ сюжетъ поэмы — месть побѣжденнаго народа къ народу побѣдителю: «хотите знать какъ мстятъ литовцы нѣмцамъ»? До развязки поэмы, въ то время когда она еще неуяснилась возбужденному его вниманію слушателей, самъ герой, чтобы сбить съ толку недоумѣвающихъ нѣмцевъ предлагаетъ дублюру того же искомаго сюжета но въ формѣ гораздо болѣе грубой и первичной (Арабы нѣкогда отмщали столь сурово) уже невозможной въ XIV вѣкѣ, при большой обширности государствъ и при большей усложенности бытовыхъ отношеній, месть по правилу: погибай я, но погибнешь и ты. Одинъ изъ послѣднихъ царей мавровъ въ Испаніи, городъ котораго Альпухара, завоеванъ испанцами бѣжитъ въ Гренаду—гдѣ чума, нарочно зачумляется, возвращается къ испанцамъ, просится въ ренегаты, а затѣмъ братаясь съ испанцами лобызаетъ ихъ и зачумляетъ своихъ враговъ: «Синъ я и блѣденъ, Гяуры, смотрите— Чей угадайте посолъ?—Васъ обманулъ я, въ чумѣ пропадете: Я изъ Гренады пришелъ. Пролили въ душу мои вамъ лобзанія—Ядъ что васъ долженъ пожрать. Вы на мои поглядите страданія—Такъ вѣдь и вамъ умирать»! Картина поразительная, совсѣмъ романтическая, скажу

болѣе: байроновская. Далѣе того неидетъ энергія мести облагороженной любовью къ родинѣ. Она почти стольже великая, и потрясающая какъ сожженіе русскими Москвы въ 1812 году. Все дѣйствіе этой мести совершается въ небываломъ, ни во времени, ни въ пространствѣ. Нѣтъ города ни крѣпости *Alpujarras*, а есть того имени горный отрогъ крутой и мало обитаемый между Сіеррою Нэвадою, у подножья коей расположена Гренада и моремъ. Исторія незнаетъ ни царя ни эмира маврскаго Альманзора. Само слово Альманзоръ или вѣрнѣе El-Mansour есть прозвище: «*побѣдоносный*». Этотъ титулъ присвоилъ себѣ великій человѣкъ Ибнъ-Абу-Амиръ (умершій 1002 г.) визирь ничтожнаго по уму и характеру Кордовскаго калифа Гишама II. Этотъ Эль—Мансуръ довелъ до апогея могущество мавровъ въ Испаніи, въ 997 г. взявъ Сантъ—Яго въ Галиціи, забралъ оттуда и повѣсилъ въ Кордуанской мечети, какъ трофеи, колокола великой святыни христіанской. Послѣ него калифатъ палъ, разсыпался на отдѣльные города и эмирства, христіане отняли у мавровъ въ 1085 году Толедо, въ 1236 Кордову, въ 1251 Севилью. На югѣ держались еще крошечныя маврскія государства, несамостоятельныя, иногда даже состоящія вассальными владѣніями по отношенію къ Кастиліи. Они держались не матеріальною силою, но тѣмъ что дипломатизировали, держали балансъ между христіанскими государствами и между волною ислама приливающею порою изъ Африки (наѣздники берберы). Они точно вели шахматную игру и озадачивали болѣе грубыхъ сѣверныхъ варваровъ — испанцевъ, чудесами своей оригинальной культуры. Притомъ эти эпигоны маврской цивилизаціи были толерантны, наконецъ извѣстно, что исламъ есть ученіе несовмѣстимое съ любовью къ родинѣ локализированною, прикрѣпленною къ извѣстной землѣ, къ гробамъ отцовъ, къ извѣстной природѣ. Это религія кочеваго племени разливающаяся по лицу земли какъ морская волна и притомъ религія фаталистовъ, безропотно поддающихся совершив-

шемуся факту, какъ повелѣнію Аллаха. Типическимъ выраженіемъ этой покорности судьбѣ можетъ служить увѣковѣченный преданіемъ «вздохъ Мавра» (Sospiro del Moro), то есть плачъ сдавшаго Гренаду въ сто лѣтъ послѣ Валленрода (2 Января 1492 г.) маленькаго царька *el rey Chico* Абу-Абдаллы-Магомета или Боабдиля. Прекрасна баллада Альпухара, но она столь мало исторична, какъ польскій король Василій и московскій князь Астольфъ въ знаменитой драмѣ Кальдерона *La vida es sueno* (Жизнь есть сонъ).

Небудемъ оспаривать у фантазіи права создавать произведенія изъ чего бы то ни было, изъ воздуха, изъ песку, изъ чистѣйшихъ вымысловъ, но совсѣмъ устранивъ вопросъ о матеріалѣ, мы не можемъ не требовать чтобы эта фантазія была послѣдовательна, строила правильно и симметрично и соблюдала смыслъ въ постройкѣ. Самъ Мицкевичъ не былъ съ этой стороны доволенъ Валленродомъ, онъ признавалъ его произведеніемъ несовершеннымъ и даже неудавшимся. Въ письмѣ, писанномъ въ началѣ 1828 г. (IV, 102) онъ заявляетъ, что первоначально намѣревался написать двѣ отдѣльныя повѣсти, одна должна была начинаться съ описанія заразы, то есть съ того дивнаго апоѳеоза народной были, которая озаглавлена «пѣснь Вайделота» (О быль народная! Ковчегъ завѣта ты—Давно минувшаго съ живымъ ты единеніе. Въ тебя кладетъ народъ бойца вооруженіе — И пряди думъ своихъ и чувствъ своихъ цвѣты...), а слѣдовательно и повѣсть того же Вайделота о томъ, какъ воспитывался юный Вальтеръ у нѣмцевъ, какъ вайделотъ внушалъ ему: «ты не невольникъ: одно у рабовъ есть оружіе — измѣна», какъ Вальтеръ прислушивался на берегу морскомъ какъ ежеминутно «Новая гидра съ пескомъ несется—Бѣлые плёсы расширитъ живой материкъ уничтожитъ», какъ потомъ Вальтеръ вернувшись на родину «Счастія въ домѣ невстрѣтилъ, потому что его не нашлося въ отчизнѣ»; какъ наконецъ онъ бѣжитъ изъ Литвы невѣдомо куда съ адскимъ, тай-

нымъ, но патріотическимъ замысломъ. Если бы весь разсказъ развертывался такимъ образомъ хронологически и прямолинейно, то въ первую часть поэмы попало бы все относящееся до Вальтера, а вторую бы заняли исключительно судьбы Конрада, его предательскій подвигъ, причемъ Конрадъ, какъ ни замаскированъ по отношенію къ нѣмцамъ, былъ бы въ глазахъ читателя совсѣмъ понятенъ и насквозь прозраченъ... Всякая сильная страсть, воцарившаяся въ душѣ, наполняетъ ее собою нераздѣльно, дѣлаетъ человѣка равнодушнымъ ко всему остальному. Представимъ что это воцарившееся въ душѣ чувство—месть, и притомъ не личная а національная, имѣющая въ глазахъ увлекающагося ею человѣка всѣ признаки священнаго долга; она несомнѣнно притупляетъ у него и приводитъ въ безчувственное состояніе самую совѣсть. Есть въ поэмѣ прелестные стихи вложенные въ уста Вальтеру — Альфу: «Сердца великія ульямъ великимъ подобны, Альдона, Медъ ихъ наполнить не можемъ, гнѣздомъ они ящерицъ станутъ». Если Альфъ пожертвовалъ идеѣ мести всѣмъ своимъ существомъ, то улей уже наполненъ по самые края и нѣтъ въ немъ больше пустаго пространства. Такой умъ одноидейный, устремленный въ одну только точку—страшная сила способная произвести ужасающія опустошенія. То что совершитъ эта сила можетъ быть предметомъ поэзіи, но сама дѣйствующая личность героя не поэтична. Нѣтъ въ мірѣ ничего болѣе отталкивающаго и жестокаго, какъ изувѣрство, будь оно религіозное или національное или политическое. Выродившемуся въ такого фанатика Конраду была бы сущею помѣхою любовь Альдоны, онъ бы ее оттолкнулъ. Ему не нуженъ былъ бы и подстрекатель въ лицѣ Гальбана. Даже въ предсмертный часъ Конраду не пришлось бы сказать: «какой я одинокій!.. Кому же гдѣ и что предъ смертью въ часъ жестокій—Васъ исключая двухъ я могъ бы передать»!.. Между тѣмъ разбиравшіе поэму критики наталкиваются въ поэмѣ на исполненныя нѣжности сцены ночныхъ

бесѣдъ Конрада съ отшельницею, они видятъ какъ онъ терзается, какъ колеблется передъ подвигомъ, какъ отдаляетъ и этотъ подвигъ и развязку. Еще въ 1830 г. Маврикій Мохнацкій обвинялъ Мицкевича въ непослѣдовательности, призналъ все построеніе поэмы неудачнымъ не смотря на чудесныя подробности, строго осудилъ богатырскій эпосъ за любовную, романическую часть, за нѣжничаніе сѣдаго Альфа съ сѣдою Альдоною, которое приличествовало бы развѣ Густаву и Марыли. Этотъ взглядъ до того укоренился, что его одинъ за другимъ воспроизводятъ позднѣйшіе критики вплоть до Петра Хмѣлёвскаго (А. М. 1885 г. 1,412). Въ виду колебаній Конрада въ моментъ наступившаго дѣйствія Іосифъ Третьякъ (Pamiętnik Mickiewiczowski, I, Lwów 1887), находитъ что въ видоизмѣненной противъ первоначальнаго замысла поэмѣ герой собственно не Конрадъ впечатлительный и нервный, а Гальбанъ — укротитель его въ припадкахъ пьянства и руководитель или подстрекатель въ дѣлѣ мести, Гальбанъ же есть ничто иное, какъ олицетвореніе новой романтической поэзіи, которая рождаетъ подвиги, а эти подвиги въ свою очередь вдохновляютъ поэзію, чѣмъ и устанавливаются связь и круговращеніе поэзіи съ жизнью и жизни съ поэзіей. Еще болѣе разногласія существуетъ относительно нравственной оцѣнки личности Конрада. Одни гнушались идеею мести, какъ не христіанскою и безнравственною (берлинскій профессоръ Цыбульскій), другіе видѣли въ ней отраженіе пережитой поэтомъ эпохи заговоровъ (Бэлциковскій). Третьи (Третьякъ) считаетъ предательство случайнымъ и второстепеннымъ обстоятельствомъ и восторгаются въ поэмѣ любовью къ родинѣ безпредѣльною, доведенною до наивысшаго своего выраженія. Если въ шестьдесятъ лѣтъ по написаніи поэмы господствуетъ еще такое разномысліе въ критикѣ, то это доказываетъ необычайную глубину содержанія поэмы, неисчерпаемость замысла. Сколько бы не писали о Гамлетѣ—еще останется многое недосказанное. Почти то же можно сказать

и о Валленродѣ. Одно только несомнѣнно явствуетъ изъ выводовъ, до сихъ поръ сдѣланныхъ критикою, что совсѣмъ наперекоръ заключенію Мохнацкаго въ поэмѣ есть подробности, не подходящія къ цѣлому, есть лоскуты сантиментальности, напоминающіе первую манеру Мицкевича, Сенъ-При, Вертера, напримѣръ грезы сѣдыхъ любовниковъ о цвѣточкахъ ковенской долины, отказъ отшельницы бѣжать съ Конрадомъ, чтобы не потерять иллюзій молодости, увидавъ себя старыми и завядшими, но эти подробности забываются, потому что общее впечатлѣніе весьма сильно, а это общее впечатлѣніе заключается въ томъ, что Конрадъ высѣченъ изъ одного куска гранита, что возможно только при предположеніи, что онъ съ такою цѣльностью и задуманъ съ начала поэтомъ. Тѣ измѣненія которыя по разнымъ причинамъ испортили строй поэмы (zepsuły układ), касались только строя ея и сдѣланы по соображеніямъ внѣшнимъ, можетъ быть только цензурнымъ, и имѣли можетъ быть ту цѣль, чтобы накинуть болѣе густое покрывало на мысль основную. По сей причинѣ, можетъ быть, поэтъ заставилъ Гальбана переодѣваться и разъигралъ съ Гальбаномъ неправдоподобную штуку на пиру, которая была способна раскрыть затѣи обоихъ предателей всякому слушателю, не только хитроумной орденской братіи. Самъ пиръ непомѣрно удлинился и изъ отдѣльнаго эпизода превратился въ главную часть, почти что въ половину поэмы, между тѣмъ какъ самъ подвигъ Конрада изображенъ тонкими, тощими, почти ничтожными штрихами. Поэма явно не симметричная, начата медленнымъ, плавнымъ гекзаметромъ, вполнѣ подходящимъ къ дѣйствію, развивающемуся медленно и эпически. Затѣмъ риѳмъ движенія ускоряется, эпосъ превращается въ почти порывистую драму, которую поэтъ переводитъ на одиннадцатислоговый силлабическій стихъ. Не только риѳма становится быстрѣе, но и самъ интересъ незамѣтно и съ удивительнымъ искусствомъ перенесенъ съ подвига Конрада на его лицо. Походъ на Литву совершается за-

глазно, за кулисами. Для людей, созерцавшихъ во-очію бѣгство наполеоновской арміи изъ Россіи, никакая поэма не могла бы изобразить болѣе картинно другое подобное же бѣдствіе, случившееся когда-то въ прошедшемъ. Самому Мицкевичу для изображенія гибели орденской арміи приходилось прибѣгать къ личнымъ впечатлѣніямъ 1812 года и картина, достойная кисти Верещагина, была сразу готова, такъ что и прибавлять къ ней было нечего. «Вы видѣли-ль, когда съ приволья тѣхъ полей— Затѣмъ погромомъ вслѣдъ велъ войско упырей... Въ сугробахъ тащатся нестройною гурьбой—Тѣснятся, падаютъ, какъ насѣкомыхъ рой; По трупамъ вновь ползутъ, доколѣ снова груда, Валяясь, увлечетъ на дно ихъ за собой. Одни еще влачатъ хладѣющія ноги, Другіе на ходу застыли у дороги, И мертвецы съ рукой, приподнятой стоятъ, Какъ тѣ столбы, что путь указываютъ въ градъ». Картина наброса́на, остальное должно дополнить воображеніе, но вниманіе наше устремлено въ другую сторону. Мы забываемъ погибнувшихъ нѣмцевъ и съ замираніемъ сердца слѣдимъ за перипетіями неизбѣжно трагической судьбы героя, котораго поэтъ успѣлъ сдѣлать лицомъ, болѣе насъ интересующимъ, нежели его подвигъ, весьма привлекательнымъ и достойнымъ полнаго ему сочувствія. Спрашивается: какими средствами достигнутъ этотъ чудесный общій результатъ?

Мицкевичъ изобразилъ своего героя по типу весьма распространенному въ то время и модному, воцарившемуся послѣ чувствительныхъ людей по темпераменту Руссо, то есть по образу байроновскихъ героевъ энергическихъ, мрачныхъ, не только недобродѣтельныхъ, но вообще болѣе похожихъ на отъявленныхъ злодѣевъ. Конрадъ съ перваго взгляда удивительно похожъ на Корсара или Лару. — Онъ неровный человѣкъ, надломленъ или ударомъ судьбы или волненіемъ страсти, «хоть молодъ заклейменъ печатью онъ страданій, морщинами чела и ранней сѣдиной.» Изрѣдка любитъ онъ кутить съ молодежью, бросать дамамъ съ улыбкою холодной слова

учтивой лести, но по малѣйшему намеку становится безчувственъ нѣмъ и глухъ и погружается въ таинственныя думы. Есть въ немъ черты просто порочныя: онъ наединѣ любитъ напиваться. Тогда онъ преображается, лицо горитъ яркимъ румянцемъ, синіе глаза мечутъ молніи, струятся слезы. Онъ поетъ но не нарадостяхъ, всѣ струны перебираетъ онъ кромѣ веселыхъ и всѣ выражаетъ чувства кромѣ одного: надежды.—«Невѣрной мыслью онъ гонится опять—въ волнахъ минувшаго за днями упованій—А гдѣ душа его? въ странѣ воспоминаній.» Даже въ моментъ возложенія на него гросмейстерскихъ знаковъ ордена на лицѣ Валленрода промелькнула только слабая улыбка, мгновенно же изчезнувшая: «Такъ блескъ что на зарѣ мракъ тучи разсѣкаетъ — И солнечный восходъ и тучи предрекаетъ.»— Зато послѣ предательскаго его похода на Литву хоть тѣнью у него лазурь очей одѣта, сатанинскимъ однако взоръ свѣтился выраженіемъ. — Воспроизведеніе байроновскаго типа было у Мицкевича вполнѣ сознательное, онъ до конца жизни былъ поклонникомъ лорда Байрона и какъ поэта и какъ человѣка, за его искренность, за правду. Онъ объяснялъ въ 1829 г. Одынцу въ Веймарѣ слѣдующее: наиболѣе правды открылъ Шекспиръ въ сердцахъ людей; Байронъ тоже обрѣтается въ правдѣ, но въ правдѣ собственныхъ чувствъ». Въ критической статьѣ: Гёте и Байронъ, набросанной повидимому въ Москвѣ въ тоже время, когда писалъ Валленрода, Мицкевичъ считаетъ Байрона поэтомъ настоящаго, наилучшимъ выразителемъ чувствъ «нашего» вѣка (т. е. первой четверти XIX), отличающагося сильными и бурными страстями, которыя встрѣчая болѣе и болѣе сопротивленія въ законахъ, въ житейскихъ разсчетахъ и въ приличіяхъ, приняли характеръ сумрачной тоски совершенно отличный и отъ набожной покорности средневѣковыхъ любовниковъ и отъ велерѣчивой мечтательности героевъ французскихъ и нѣмецкихъ романовъ. Таковъ поэтическій характеръ эпохи въ частной жизни, а въ

общественной явился человѣкъ собственною силою генія возносящійся и подчиняющій своему уму многіе народы— зрѣлище внушающее самыя печальныя мысли о человѣчествѣ и власти надъ нимъ одного смѣлаго и геніальнаго лица. Такова по словамъ Мицкевича главная идея эпическихъ произведеній Байрона, списавшаго нѣкоторымъ образомъ своего Корсара съ Наполеона.—Сопоставимъ съ этимъ отрывкомъ другой относящійся къ концу жизни Мицкевича (1842 г. письмо къ Александру Ходзькѣ, Kłosy 1887 № 1159): «развѣ ты думаешь что Байронъ написалъ бы столько великихъ строфъ, еслибы не былъ готовъ покинуть Лондонъ и пэрство для грековъ? Въ этой готовности кроется секретъ его писательской силы, которую многіе хотѣли бы похитить изъ книгъ его, не изъ его души. Предъ нами дѣло (польское) покрупнѣе греческаго и міръ пошире байроновскаго; пора, братъ Олесь, дѣлать поэзію»... Извѣстно, что Байронъ, посвящая своего Сарданапала Гёте писалъ что это приношеніе of a literary vassal to his liege lord the first of existing writers. Хотя Мицкевичъ невыразилъ ничего подобнаго, но я полагаю что и онъ питалъ къ Байрону почти такія же чувства, какъ Байронь къ Гёте.

Каково бы однако не было увлеченіе Байрономъ, еслибы Валленродъ былъ только списанъ съ байроновскихъ героевъ, мѣсто его въ литературѣ не могло бы быть особенно высокое. Эпохи начинаются не съ копій, а съ творческихъ произведеній, ,съ оригиналовъ. Не смотря на свою байроновскую внѣшность Валленродъ въ сущности весьма оригиналенъ. Никогда Байронъ не могъ бы поставить задачу поэмы, какъ Мицкевичъ, никогда по своему темпераменту онъ не могъ бы ее такимъ образомъ рѣшить. — Байронъ принадлежалъ къ числу неугомонныхъ людей, не созданныхъ для счастья, органически не способныхъ къ нему, потому что ихъ желанія безпредѣльны и завѣдомо для нихъ же самихъ несбыточны, а между тѣмъ они всю жизнь только то и

дѣлаютъ, что пробиваютъ эту стѣну головою (Lara: His madness was not of the head but heart... Онъ не любилъ блаженной середины. — И лишь въ страстяхъ забытія искалъ — Исполненъ бурь съ презрѣніемъ онъ взиралъ На бури тѣ что бороздятъ пучины — Свои-жъ восторги слалъ онъ къ небесамъ Увѣренный что большихъ нѣтъ и тамъ). Независимо отъ сего Байронъ былъ вполнѣ космополитъ, членъ націи гордой, свободной, обезпеченной, покрытой славою и торжествующей тѣмъ что она была душою коалиціи, низвергнувшей Наполеона. Байронъ любилъ горячо свою родину, но любилъ ее любовью еще болѣе странною, чѣмъ лермонтовская. Любя ее онъ постоянно поносилъ ее за то, что она не такова, какая должна бы быть по его понятіямъ; онъ бранилъ ее за *cant*, за чопорность и лицемѣріе, за эгоизмъ, за возстановленіе порядковъ, разрушенныхъ великою революціею, которой восторженнымъ пѣвцомъ былъ Байронъ, всю жизнь свою гонявшійся за призракомъ небывалой и въ сущности невозможной свободы. Не вынося пошлой порядочности Байронъ чернилъ самъ себя и представлялъ себя отъявленнымъ злодѣемъ, какимъ онъ не былъ никогда.

Трудно себѣ представить болѣе противоположныя внѣшнія условія какъ тѣ, въ которыхъ были поставлены Байронъ и Мицкевичъ. Польскій поэтъ принадлежалъ націи, которая по собственной ли винѣ, какъ полагаютъ новѣйшіе ея историки, или по стеченію неблагопріятныхъ внѣшнихъ обстоятельствъ, была въ злополучномъ состояніи и обречена на то, чтобы вести войну за существованіе, войну неровную и такую, въ которой то и дѣло что уходила почва изъ подъ ея ногъ. Нашъ поэтъ былъ по натурѣ, не смотря на свою энергію, человѣкъ добрый, малымъ-довольствующійся и покладистый, какъ бы созданный для счастія. — На первыхъ же его шагахъ въ жизни его личное счастіе, во всѣхъ отношеніяхъ возможное, разстроилось отъ житейскихъ разсчетовъ и приличій, вслѣдствіе которыхъ любимую жен-

щину у него отняли и выдали за болѣе состоятельнаго человѣка. Вслѣдъ за тѣмъ онъ подвергся новому испытанію, тюрьмѣ и ссылкѣ за свои филаретскія убѣжденія, за тѣ восторги, за тѣ радости, которые ему доставило пребываніе въ чистой, непорочной средѣ школьныхъ товарищей, настроенныхъ на одинъ ладъ и одушевленныхъ любовью къ добру и къ родинѣ.—Тогда то онъ могъ о себѣ сказать «счастія въ домѣ не встрѣтилъ, его не нашелъ и въ отчизнѣ».—Тогда то въ его душѣ установилась твердая рѣшимость, проявившаяся въ свободномъ и на видъ даже веселомъ настроеніи. Онъ рѣшился отъ счастія личнаго отказаться и даже его не искать, жить только для другихъ, добиваться счастія только коллективнаго, бороться за него всѣми средствами до послѣдняго издыханія, per fas et nefas, лечь за родину костьми и даже больше: положить за нее душу свою, пожертвовать ей даже своею совѣстью. Эту мысль и воплощаетъ Конрадъ. Такую рѣшимость вполнѣ бы одобрилъ древній римлянинъ по извѣстному языческому правилу: *in hostem omnia licita.* Ей бы вѣроятно сочувствовалъ и италіанецъ XIX вѣка, слѣдуя совѣту Макіавелли (facci un principe conto di mantenere lo stato: i mezzi saranno sempre giudicati onorevoli e di ciascuno laudati) и подсмѣиваясь что люди вообще просты и легко даютъ себя обманывать. Но у Конрада есть и лучшіе задатки, есть прямота, честность, благородство, естественное отвращеніе къ звѣринымъ пріемамъ борьбы, вообще къ лисьей хитрости, къ обманамъ, и злоупотребленію довѣріемъ.—Душа героя возмущалась всѣмъ, такъ сказать, своимъ нутромъ противъ адскаго замысла, не смотря на его безспорную необходимость.—Совѣсть Конрада обременяетъ не невысказанное какое-то злодѣяніе, подобное тому, которое омрачаетъ Лару или Манфреда. Ей не даетъ покоя только этотъ острый конфликтъ между замысломъ и совѣстью. Отъ него-то Валленродъ преждевременно состарѣлся и завялъ, сталъ напиваться и проклинать само чувство патріотизма, вы-

швырнувшее его изъ обычной колеи: «Закравшись въ колыбель такая пѣснь лукаво—Еще ребенка грудь змѣею обовьетъ, И яды въ духъ ему жестокіе вольетъ Любви къ отечеству и глупой жажды славы!»—Конрадъ знаетъ, что ему нѣтъ отпущенія ни въ сей жизни, ни въ будущей: «хочу я знать впередъ, что ждетъ меня въ аду». Онъ самъ себѣ гадокъ и чувствуетъ свою противную человѣческой природѣ смертоносность. Съ омерзеніемъ вспоминаетъ онъ, что плакалъ лишь затѣмъ, чтобы умерщвлять. Съ омерзеніемъ водворяется онъ у враговъ «въ краю обмана и разбоя».—Хотя онъ почти что дошелъ до цѣли, но само дѣло до того противно его натурѣ, что онъ не въ состояніи оторваться отъ башни - отшельницы и что необходимо вмѣшательство Гальбана, чтобы раздувать тухнущее пламя мести. Вернувшись изъ роковаго похода, Валленродъ тѣшится какъ юноша и радъ не тому, что насладился мщеніемъ, но что уже не приходится убивать: «Не выдумаетъ адъ ужаснѣйшаго мщенія, Но человѣкъ я — мнѣ довольно этихъ бѣдъ! Средь лицемѣрія я росъ почти съ рожденія—Среди грабительства... въ преклонныхъ же годахъ Измѣна мнѣ тошна. Негоденъ я въ бояхъ. — Довольно мщенія, вѣдь нѣмцы люди тоже!» — Такимъ образомъ эпосъ незамѣтно превратился въ настоящую трагедію и обрисовалась какъ нельзя рельефнѣе вина героя, ради которой онъ неизбѣжно долженъ пасть намъ же извиняемый и оплакиваемый. — Мы вполнѣ сочувствуемъ его гордымъ словамъ, когда отравившись, онъ передъ тевтонскими орденскими рыцарями топчетъ гросмейстерскіе знаки, восклицая: «Вотъ жизни всей моей предъ вами прегрѣшенія! — Готовъ я умереть — чего же больше вамъ? — Отчетъ правленія вы выслушать хотите?... Все это сдѣлалъ я! такъ многоснесть головъ — однимъ у гидры взмахомъ!»... Онъ не былъ бы конечно великъ, еслибы не запечатлѣлъ своего трагическаго подвига смертью, но и въ моментъ самой смерти онъ человѣченъ и не оправдалъ предска-

заній вайделота: «Пламя мщенія наконецъ охватило и сердце—Всякое чувство въ немъ выжгло и даже сильнѣйшее чувство — Даже и чувство любви услажденіе досель его жизни. У бѣловежскаго дуба такъ точно когда звѣроловы Тайный огонь разведутъ, сердцевину глубоко въ немъ выжгутъ — Скоро царь лѣса утратитъ листы, разносимые вѣтромъ, Съ вѣтромъ слетятъ и его вѣтки и даже послѣдняя зелень, Дубъ украшавшая прежде, засохнетъ корона омёлы». — Огонь не выжегъ сердцевины, уцѣлѣла омёла и зелени столько, что произведеніе не въ отдѣльныхъ подробностяхъ, а въ цѣломъ составѣ великолѣпно и безсмертно. Оно изображаетъ одно изъ благороднѣйшихъ чувствъ человѣка — любовь къ отечеству, доведенную до наивысшей интензивности, дѣйствующее почти волканически, но неосновательно было бы усматривать въ Валленродѣ апоѳеозъ мести, возведеніе мести въ идеалъ. Поставленъ только вопросъ о мести, рѣшаемый скорѣе отрицательно. Послѣдующіе писатели разрабатывали ту же предложенную Мицкевичемъ тему и Иридіонъ Красинскаго заканчиваетъ эту валленродовскую литературу осужденіемъ мести и установленіемъ правила, что чистыя цѣли должны быть достигаемы лишь безусловно чистыми средствами.

IX.

Пятилѣтнія странствованія Мицкевича по Россіи (1824—1829 Одесса, Москва, Петербургъ) и затѣмъ двухлѣтнія (1829—1831) по западной Европѣ (Веймаръ, Римъ) даютъ богатѣйшій матеріалъ для жизнеописанія Мицкевича, но въ количественномъ отношеніи его творчество какъ будто убыло и истощилось, стало давать лишь изрѣдка, хотя и отборные и ароматическіе цвѣточки. Весь поглощенный обществомъ, изучаемымъ имъ съ любопытствомъ, вращаясь среди тончайшихъ умовъ своего вѣка, импровизируя, расточая свой талантъ на альбомныя записи, рѣшая въ салонныхъ диспутахъ

смѣло, быстро и авторитетно всевозможные вопросы искусства, политики и международныхъ отношеній, Мицкевичъ несомнѣнно изощрялъ свой умъ и накоплялъ громадное количество впечатлѣній, послужившихъ ему въ видѣ запаса въ будущемъ, но по натурѣ онъ былъ прежде всего поэтъ сердца, а сердцу давала мало пищи та жизнь разсѣянная, вся въ вихрѣ свѣтскихъ удовольствій, которую онъ велъ теперь.—Постороннему поверхностному наблюдателю могло бы показаться, что онъ видитъ человѣка, отрывающагося отъ почвы, которая его вдохновляла и отъ которой онъ получалъ новый приливъ силы всякій разъ, когда онъ къ ней обращался, что Мицкевичъ превратился въ эстетика-эпикурейца, ищущаго однихъ пріятныхъ ощущеній.—Мицкевичъ читалъ много, слѣдилъ за русскою журналистикою въ органахъ ея московскихъ и петербургскихъ, находилъ, что литературное движеніе здѣсь бойчѣе и отзывчивѣе на заграничныя явленія, чѣмъ варшавское, переиздавалъ свои произведенія, полемизировалъ съ варшавскими классиками и пустилъ въ нихъ громовый ударъ, хлесткую статью «о варшавскихъ критикахъ и рецензентахъ» 1828 г. — Онъ сообщалъ друзьямъ: еслибы я хотѣлъ посылать вамъ всѣ русскіе переводы моихъ поэзій, то вышелъ бы тюкъ большой. Во всѣхъ почти альманахахъ (а ихъ много) помѣщаются мои сонеты, бываетъ по нѣсколько переводовъ одного и того же. Есть и русскіе сонеты въ родѣ моихъ. Русскіе простираютъ свое хлѣбосольство до самой поэзіи и переводятъ меня; толпа слѣдуетъ за писателями, стоящими въ ея главѣ. Хотя эта слава исходитъ часто отъ стола, за которымъ мы ѣли и пили съ русскими литераторами, но я счастливъ, что снискалъ ихъ расположеніе. Не смотря на рознь убѣжденій и партій, я со всѣми въ дружбѣ и согласіи (мартъ 1827 г. IV, 99). Съ успѣхами въ обществѣ росла и увѣренность поэта въ себя, а также навыкъ рѣшать труднѣйшіе вопросы съ высоты орлинаго полета, интуитивно, метафизически, посредствомъ того инстинкта

сердца, который и составлялъ самъ корень польскаго романтизма. По темпераменту своему вполнѣ и исключительно поэтическому, Мицкевичъ не былъ способенъ къ индуктивному мышленію, но самъ ходъ жизни его располагалъ его къ тому, чтобы пренебрегать методомъ точнаго изслѣдованія, отождествлять чистый разумъ съ черствымъ эгоизмомъ и ужасаться успѣхами матеріальной стороны цивилизаціи, которая знаменуетъ наше время и которая сопровождается, по мнѣнію Мицкевича, соотвѣтствующею убылью вѣры и любви въ сердцахъ. Эти мрачныя предчувствія высказались въ писанной въ С.-Петербургѣ (1828) и затерявшейся потомъ «исторіи будущаго». Исторія эта начиналась съ XXI столѣтія и изображала окончательную побѣду надъ Европою Китая, подавляющаго западъ численностью населенія и всѣми усвоенными отъ Европы хитрыми изобрѣтеніями и открытіями въ области физической природы. Кромѣ Сонетовъ и Валленрода Мицкевичъ написалъ въ Россіи изъ болѣе крупныхъ вещей одного только «Фариса», то есть всадника-араба, вихремъ несущагося по пескамъ пустыни отъ оазиса къ оазису — прелестную кассиду въ чисто восточномъ вкусѣ, исполненную такой удали, такого молодечества, что современные критики доискиваются въ ней иного содержанія и считаютъ ее усовершенствованнымъ двойникомъ «Оды на молодость», воодушевлявшей филаретовъ. Къ пребыванію въ С.-Петербургѣ слѣдуетъ пріурочить собственный идеализированный портретъ поэта, начертанный въ позднѣйшемъ отрывкѣ «Петербургъ», приложенномъ къ 3-й части Дѣдовъ, но уже сложившийся въ воображеніи поэта во время пребыванія его въ сѣверной столицѣ. Этотъ портретъ написанъ въ байроновскомъ стилѣ и представляетъ Мицкевича въ видѣ Валленрода. Поэтъ чувствуетъ себя чужакомъ въ этомъ мірѣ, онъ предвкушаетъ мысленно то будущее, которое сулятъ всему западу въ XXI вѣкѣ, чудеса цивилизаціи на азіатской подкладкѣ. Онъ относится враждебно къ окружающему, не къ людямъ—они

добры и любезны, но къ самому государству. Идутъ по улицамъ странники, у нихъ отъ отчаянія опускаются руки и думаютъ они: человѣку этихъ стѣнъ не опрокинуть. Остался пилигриммъ, онъ злобно засмѣялся, поднялъ руку и ударилъ ею камень, точно грозя этому каменному граду и вперивъ взоры, точно два ножа, въ дворецъ. Онъ былъ въ то время похожъ на Самсона, скованнаго и стоящаго межъ столбовъ у филистимлянъ, и омрачилось его блѣдное лицо какъ будто близящаяся ночь прежде всего покрыла его лицо и затѣмъ уже распространялась далѣе.

Мицкевичъ разстался съ Петербугомъ 15 мая 1829 г. и отправился чрезъ Кронштадтъ моремъ по заграничному паспорту не безъ труда исходатайствованному. Въ С.-Петербургѣ онъ писалъ мало, за границею въ первые два года онъ почти ничего не писалъ, муза его какъ будтобы успула, но умъ несомнѣнно обогащался громаднымъ количествомъ новыхъ впечатлѣній. Въ Берлинѣ онъ выслушалъ двѣ лекціи Гегеля, послѣ чего смутилъ земляковъ восторгавшихся геніемъ Берлинскаго философа замѣчаніемъ, что философъ, который мучитъ слушателей цѣлый часъ надъ разграниченіемъ двухъ понятій *Verstand* и *Vernunft* должно быть самъ себя не понимаетъ Во всю жизнь Мицкевича нѣмецкая философія была для него книгою за семью печатями. Мицкевичъ ѣздилъ на поклоненіе къ старику Гёте, исколесилъ всю Италію, по бывалъ даже въ Сициліи, изучилъ Римъ и его музеи и вращался въ трехъ разнородныхъ обществахъ: у княгини Зенеиды Волконской, знакомой ему еще съ Москвы, у блистательной, остроумной Анастасіи Хлюстиной, вышедшей потомъ за мужъ за французскаго дипломата Сиркура (такъ называемой Коринны Дѣпровской) и у графа Анквича. Онъ влюбился въ дочь Анквича Генріетту, но гордый магнатъ далъ ему почувствовать неравенство общественныхъ положеній его семейства и поэта. Трудно опредѣлить сколько бы времени продолжалось усыпленіе поэтическаго творчества у Мицкевича, если бы не по-

слѣдовалъ внѣшній толчекъ, который превратилъ это творчество, бывшее въ скрытномъ состояніи, въ громадную активную силу (въ жизни Мицкевича мы усматриваемъ нѣсколько такихъ толчковъ, имѣвшихъ рѣшающее значеніе). Такимъ толчкомъ было польское возстаніе 1830—1831 годовъ. Мицкевичъ вдругъ преобразился, пріобщился всѣми силами души къ національному движенію, сталъ національнымъ Тиртеемъ. Новая любовь была имъ подавлена въ душѣ, вопросы чистаго искусства были забыты, на первомъ планѣ стали этическія задачи. Вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдовало обращеніе свободномыслящаго, хотя и доступнаго религіозному чувству человѣка на лоно римско-католической церкви 2 февраля 1831 г., когда онъ исповѣдался и причастился. Блистательный свѣтскій человѣкъ исчезъ, остался необращающій никакого вниманія на внѣшность суровый аскетъ, почти неряха, обрекшій себя добровольно на изгнаніе и на бѣдность, сдѣлавшійся пѣвцомъ такихъ же голодныхъ, какъ онъ самъ, выходцевъ-пролетаріевъ, не получающимъ за свои произведенія даже и грошей.—Новый періодъ въ жизни Мицкевича ознаменовался двумя величайшими его произведеніями: 3-я часть Дѣдовъ и Панъ Тадеушъ, послѣ которыхъ наступилъ послѣдній періодъ мутнаго мистицизма, когда поэтъ пересталъ писать поэзію и предлагалъ ее «дѣлать», когда онъ превратился въ проповѣдника и пророка, когда въ немъ произошла такая же перемѣна, какую мы нынѣ наблюдаемъ въ графѣ Львѣ Толстомъ, въ которомъ точно также пропалъ художникъ, а проявился только учитель-моралистъ. Мицкевича и Толстаго надлежало бы изучать совмѣстно; они родственныя натуры.— Каждый изъ нихъ необыкновенно симпатиченъ и привлекаетъ еще болѣе, можетъ быть, среди своихъ заблужденій, чѣмъ тогда, когда занималъ первое мѣсто, какъ создатель величайшихъ поэтическихъ произведеній своего народа. Когда Мицкевича хоронили 21 января 1856 на кладбищѣ въ Montmorancy, то другъ его, тоже поэтъ Богданъ

Залѣскій, произнесъ на его могилѣ слѣдующія превосходно его характеризующія слова: Quelque chose de davidéen rayonnait dans son visage, car il portait au front son étoile poëtique. Les infortunes et les angoisses dantesques affligèrent et ballotèrent son âme nuit et jour, voila pourquoi il s'irrita interieurement, eut des emportements passionès, pecha beaucoup, mais aima beaucooup. Il mariait à la simplicitè de la pensée la simplicite de l'âme. — Первымъ по величинѣ поэтомъ своей націи онъ былъ при жизни, такимъ и остался: великій, сильный, удивительно пластичный и удобопонятный. — И онъ и Пушкинъ идя слѣдомъ Горація мечтали о памятникахъ для себя нерукотворныхъ. Мицкевичъ сдѣлалъ слѣдующую парафразу Гораціева стиха «exegi monumentum»: ни съ чѣмъ мой памятникъ по блеску не сравнится — Костюшки славу онъ въ вѣкахъ переживетъ... Ко мнѣ благоволятъ всѣ дочки эконома—Да и помѣщикъ самъ подчасъ благоволитъ, И не боясь таможни и погрома Мои творенія въ Литву привозитъ жидъ»... «О Боже, писалъ онъ въ вступленіи къ Тадеушу, доживуль до тѣхъ временъ счастливыхъ, Когда собраніе сихъ словъ неприхотливыхъ Достигнетъ до Литвы до нашихъ сельскихъ дѣвъ, И дѣвы юныя за прялками присѣвъ» начнутъ пѣть и «дойдутъ и до моихъ простыхъ и бѣдныхъ пѣсенъ, «и будетъ имъ разсказъ мой также интересенъ».—До этой минуты поэтъ не дожилъ, но его желаніе въ послѣдніе годы осуществилось. Съ легкой руки издателей Пушкина пустившихъ въ ходъ его творенія по дешевой цѣнѣ, появились и дешевыя изданія Мицкевича быстро разошедшіяся и въ Россіи и заграницею. Можно сказать что извѣстность его, любовь къ нему и изученіе его произведеній находятся еще въ періодѣ непрерывнаго возрастанія.

(Конецъ 1888 г.)

Пушкинъ и Мицкевичъ

у

ПАМЯТНИКА ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

Пушкинъ и Мицкевичъ

у

ПАМЯТНИКА ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

I.

Весною 1832 г., въ Дрезденѣ написаны А. Мицкевичемъ третья часть «Дѣдовъ» и состоящій съ этою частью поэмы въ связи эпизодъ «Петербургъ»; онъ посвященъ «друзьямъ-москалямъ» и подраздѣленъ на шесть картинокъ-отрывковъ. Въ одномъ изъ этихъ отрывковъ, озаглавленномъ: «Памятникъ Петра Великаго», имѣются два стиха, опредѣляющіе отношеніе Мицкевича къ «поэту русскаго народа, прославившемуся пѣснопѣніями по всему сѣверу»:

Znali się z sobą nie długo, lecz wiele,
I od dni kilku już są przyjaciele...

—«они знакомы были не долго, но много, и стали друзьями тому назадъ нѣсколько дней». Тонъ яснаго спокойствія, господствующій въ отрывкѣ, теплота чувства и полное довѣріе къ Пушкину тѣмъ болѣе заслуживаютъ вниманія, что въ промежуткѣ между моментомъ, когда началось знакомство поэтовъ, и тѣмъ, когда писался отрывокъ, пронеслись бурнымъ шкваломъ полити-

ческія событія, вслѣдствіе которыхъ «двѣ горныя вершины» уже были раздѣлены не одною «малою струею горнаго потока», но, можно сказать, цѣлою глубиною океана; онѣ не клонились по прежнему одна къ другой, но отвернулись и приняли противоположныя направленія. Въ письмѣ, писанномъ въ іюлѣ 1831 г. къ графу А. Х. Бенкендорфу, Пушкинъ ходатайствовалъ о разрѣшеніи ему издавать политическій и литературный журналъ, который бы приблизилъ къ правительству людей, ему полезныхъ, еще дичащихся по напрасному предположенію, что оно непріязненно къ просвѣщенію. [1]) Еще въ концѣ 1831 года В. А. Жуковскій и А. С. Пушкинъ издали сообща: «На взятіе Варшавы, три стихотворенія», изъ которыхъ два принадлежатъ Пушкину: «Клеветникамъ Россіи», отъ 2-го августа, и «Бородинская годовщина», отъ 5-го сентября 1831 г. Этотъ сборникъ пользовался съ самаго его появленія громкимъ и всеобщимъ успѣхомъ, котораго отголоски не могли не доходить до Мицкевича во время его пребыванія въ Познани и въ Дрезденѣ. Сборникъ былъ искреннимъ выраженіемъ тогдашняго настроенія чувствъ обоихъ авторовъ. Подвинули ихъ на то самые разнообразные мотивы: патріотизмъ, пробужденный польскимъ мятежемъ; волненіе, распространившееся по всему русскому обществу; полная общность и самихъ поэтовъ, и всего народа, въ этомъ направленіи, съ правительствомъ; наконецъ, могла быть тутъ и извѣстная увѣренность въ томъ, что въ этомъ направленіи легче возвратить извѣстную свободу литературѣ, которою она не пользовалась бы при всякомъ другомъ направленіи. Всѣ три стихотворенія написаны уже послѣ одержанной побѣды, въ первые дни скитанія за границей ушедшихъ туда побѣжденныхъ, которые это скитаніе величали именемъ

---

[1]) См. «Сочиненія А. С. Пушкина», т. VII, № 296 (Спб. 1887) въ изданіи Литературнаго Фонда, на которое мы будемъ ссылаться и впослѣдствіи.

«польскаго пилигримства». Надобно, однако, отдать полную справедливость Пушкину, что онъ весьма бережливо и осторожно касался ранъ, наболѣвшихъ у поляковъ:

Въ боренье падшій невредимъ;
Враговъ мы въ прахѣ не топтали...
Мы не сожжемъ Варшавы ихъ;
Они народной Немезиды
Не узрятъ гнѣвнаго лица,
И не услышатъ пѣснь обиды
Отъ лиры русскаго пѣвца.

Одна только особенность невѣрно звучитъ въ этихъ стихахъ, какъ очевидная несообразность въ сравненіи— это намекъ по поводу Варшавы на сожженіе Москвы въ 1812 году. Мы готовы признать ее за простой lapsus calami. Вѣдь пожаръ Москвы приписывается не побѣдителямъ, и считался всегда чѣмъ-то въ родѣ баллады «Альпухара» въ поэмѣ «Валленродъ»; пожаръ приписывается самимъ жителямъ Москвы, а не взявшимъ ее французамъ. Самъ Пушкинъ прославлялъ не разъ этотъ пожаръ, какъ великій подвигъ со стороны русскихъ («Наполеонъ», «Рославлевъ»).

Мы сказали, какимъ образомъ сборникъ «На взятіе Варшавы», былъ въ свое время принятъ въ русскомъ обществѣ всѣми, за исключеніемъ, впрочемъ, близкаго друга обоихъ поэтовъ, князя П. А. Вяземскаго отнесшагося, какъ извѣстно, къ тому сборнику весьма строго (см. Полн. собр. сочин., т. IX, 1884, стр. 156—159). въ слѣдующихъ словахъ: «Смѣшно когда Пушкинъ хвастается: мы не сожмемъ Варшавы ихъ. И вѣстимо, и вѣстимо потому что потомъ пришлось бы намъ застроить ее. Вы такъ уже сбились съ пахвей въ патріотическомъ восторгѣ что не знаете на чемъ рѣшиться, что у васъ Варшава, то непріятельскій городъ, то нашъ посадъ... Что за святотатство сочетать Бородино съ Варшавой? Какъ можно въ наше время видѣть поэзію въ бомбахъ, въ палисадахъ?.. Какая тутъ чертъ поэзія въ томъ что

насъ выгнали изъ Варшавы, за то что мы не умѣли владѣть ею... Вотъ воспѣвайте правительство за такія мѣры, если у васъ колѣна чешутся и непремѣнно надобно вамъ ползать съ лирою въ рукахъ». — Но въ защиту Пушкина слѣдуетъ, однако, привести то обстоятельство, что гораздо раньше польскаго мятежа 1830 г. онъ сознавалъ рознь и антагонизмъ двухъ главныхъ сѣверно-славянскихъ національностей, изъ коихъ ни одна другой не уступала. Въ новомъ изданіи Пушкина (I, 334) появился отрывокъ, помѣченный 1824 г. и посвященный неизвѣстному намъ графу О., поляку и поэту, котораго начальные стихи перешли почти цѣликомъ въ стихотвореніе «Клеветникамъ Россіи».

Пѣвецъ! издревле межъ собою
Враждуютъ наши племена,
То наша стонетъ сторона,
То гибнетъ ваша подъ грозою.

Антагонизмъ въ глазахъ поэта — явленіе вполнѣ естественное и вѣковѣчное, допускающее одно лишь исключеніе:

Но огнь поэзіи чудесной
Сердца враждебныя миритъ.

Несомнѣнно, въ душѣ Пушкина задолго до 1830 года хранились зародыши тѣхъ чувствъ, которыя потомъ высказались въ стихахъ: «Клеветникамъ Россіи» и «Бородинская годовщина». Далѣе, въ защиту Пушкина противъ кн. П. А. Вяземскаго нельзя не привести также и того обстоятельства, что даже послѣ мятежа 1830 года, послѣ борьбы и побѣды, онъ никогда не переставалъ признавать въ побѣжденныхъ близкихъ людей и единоплеменниковъ; онъ скорбѣлъ о борьбѣ, онъ считалъ ее однимъ изъ эпизодовъ той вѣковой семейной вражды, которая кончится когда нибудь въ будущемъ исцѣленіемъ ранъ, примиреніемъ. Ему противно только то, что вступаются въ это дѣло чужіе люди, въ особенности французы. Въ письмѣ къ кн. П. В. Голицыну (XII, №

412) Пушкинъ поясняетъ (ноябрь, 1836), что онъ хотѣлъ «donner sur le nez à toutes les vociferations de la chambre des députés». Извѣстно обращеніе, въ «Бородинской годовщинѣ», къ иностраннымъ писателямъ и ораторамъ»:

Но вы, мучители палатъ,
Легкоязычные витіи,
Вы—черни бѣдственный набатъ,
Клеветники, враги Россіи!

При подобныхъ условіяхъ задачи трудно однако оставаться вполнѣ безпристрастнымъ, особенно по отношенію къ врагамъ. Воспѣвая побѣду, нельзя было, наконецъ, воздержаться отъ хулы, несмотря на всѣ свои дружественныя отношенія къ Мицкевичу.

Мицкевичъ зналъ о перемѣнахъ, происшедшихъ въ расположеніи къ польскому вопросу бывшихъ его знакомыхъ, петербургскихъ и московскихъ. Ихъ голоса, теперь для него прямо враждебныя, и вызвали съ его стороны краткое, но ѣдкое посвященіе эпизода «Петербургъ» въ 3 части «Дѣдовъ» «друзьямъ-москалямъ»; оно обращено не къ какому-нибудь опредѣленному лицу или лицамъ, а ко всѣмъ тѣмъ, которые, бывъ его пріятелями, обрушились теперь на него. Нѣтъ ни малѣйшихъ указаній на то, чтобы это посвященіе мѣтило, между прочимъ, и въ Пушкина. Ни въ писанномъ Мицкевичемъ некрологѣ Пушкина, въ «Globe», 25-го мая 1837 г., ни въ лекціяхъ о славянскихъ литературахъ, читанныхъ въ «Collége de France», Мицкевичъ не коснулся ни разу дѣятельности Пушкина, какъ поэта-бойца въ національной и политической русско-польской борьбѣ. Въ памяти Мицкевича Пушкинъ навсегда остался такимъ, какимъ онъ былъ въ 1828 г., безъ малѣйшаго измѣненія. Очевидно, что Мицкевичъ всегда созерцалъ Пушкина съ точки зрѣнія тѣхъ «душъ, возвышающихся надъ земными препятствіями», которыя парятъ въ эфирной вышинѣ и не ниспускаются на землю безъ крайней къ тому необходимости, вытекающей изъ понятія долга—народнаго или общественнаго. Съ политикомъ-Пушкинымъ

Мицкевичъ не хотѣлъ примиряться, но онъ не хотѣлъ Пушкина судить, и дѣйствовалъ, какъ будто бы совсѣмъ не зналъ, что Пушкинъ писалъ что-либо когда-нибудь какъ политикъ.

Была ли между поэтами взаимность по отношенію къ ихъ политическимъ убѣжденіямъ? Относился ли Пушкинъ къ Мицкевичу съ такою же уступчивостью, съ такимъ же снисхожденіемъ? Взаимность была, но не столь полная, не столь совершенная. Мицкевичъ принадлежалъ къ весьма небольшому числу людей, которые внушали Пушкину уваженіе. Пушкинъ занимался произведеніями Мицкевича не только послѣ отъѣзда Мицкевича изъ Россіи (1829), но и послѣ мятежа 1830 г. Въ «Сонетѣ» (1830) Пушкинъ писалъ: «Подъ сѣнью горъ Тавриды отдаленной, — Пѣвецъ Литвы въ размѣръ его стѣсненный Свои мечты мгновенно заключалъ». Въ «Отрывкахъ изъ путешествія Онѣгина», среди воспоминаній объ Атридахъ и Митридатѣ, помѣщены стихи: «Тамъ пѣлъ Мицкевичъ вдохновенный, — И посреди прибрежныхъ скалъ — Свою Литву воспоминалъ» (III, 407). Еще въ 1828 г. Пушкинъ перевелъ введеніе къ «Валленроду»; въ 1833 г. въ Болдинѣ онъ перевелъ «Будрыса» и «Воеводу» (III, 151, 153). Въ XV главѣ повѣсти «Дубровскій» (IV, 197) Пушкинъ изображаетъ такимъ образомъ работы на пяльцахъ героини Марьи Кириловны: «она не путалась шелками подобно любовницѣ Конрада, которая, въ любовной разсѣянности, вышила розу зеленымъ шелкомъ». Въ 1833 г., Пушкинъ имѣлъ уже въ рукахъ третью часть «Дѣдовъ», потому что въ припискахъ къ оконченному и перебѣленному въ Болдинѣ 31-го октября 1833 г. «Мѣдному Всаднику» онъ похваляетъ яркость красокъ въ изображеніи петербургскаго наводненія въ отрывкѣ «Oleszkiewicz», входящемъ въ составъ эпизода «Петербургъ» (III, 564). Числомъ «10-го сентября 1834 г. Спб.», помѣченъ найденный въ бумагахъ Пушкина отрывокъ въ 20 стиховъ безъ всякаго заглавія, изображающій

несомнѣнно Мицкевича и характеризующій его чертами, исполненными глубокаго уваженія и сердечнаго сочувствія: «Злобы въ душѣ своей къ намъ не питалъ онъ... Мирный, благосклонный, онъ вдохновенъ былъ свыше и съ высоты взиралъ на жизнь... Онъ говорилъ о временахъ грядущихъ, когда народы, распри позабывъ, въ великую семью соединятся»... Въ этомъ художественномъ изображеніи замѣчается, однако, и доля непріязненной критики:

Нашъ мирный гость сталъ намъ врагомъ; и нынѣ,
Въ своихъ стихахъ, угодникъ черни буйной,
Поетъ онъ *ненависть*... О, Боже, возврати
Твой миръ въ его озлобленную душу!..

До того числа (10-го авг. 1834), которымъ помѣченъ отрывокъ Пушкина изъ сочиненій Мицкевича, были распространены только третья часть «Дѣдовъ» съ «Петербургомъ» и «Книги польскаго народа и паломничества». Печатаніе «Пана Тадеуша» кончено только въ іюлѣ 1834, слѣдовательно этотъ эпосъ никакъ не могъ быть въ Петербургѣ извѣстенъ. Слова: «поетъ онъ ненависть», очевидно, относятся къ стихамъ—не къ прозѣ, и притомъ не къ такому дидактическому произведенію, какъ «Книги польскаго народа и паломничества», которымъ подражалъ потомъ по формѣ Лямнэ въ «Paroles d'un Croyant». Изъ совокупности такихъ данныхъ слѣдуетъ выводъ, что обвиненіе въ воспѣваніи ненависти направлено противъ Мицкевича за третью часть «Дѣдовъ» и, вѣроятно, за посвященіе «Петербурга». Собственно, у Мицкевича нельзя найти ни возбужденія къ международной ненависти, ни подстрекательства соотечественниковъ къ возстанію 1830 г. Онъ не принималъ въ мятежѣ участія и избѣгалъ всякихъ клубовъ и сборищъ съ политическимъ оттѣнкомъ. Не только буйной, но и никакой вообще черни не было между заграничными выходцами. Послѣ побѣдъ, послѣ подавленія мятежа, онъ сдѣлался, по доброй волѣ, эмигрантомъ. Событія 1830 г. вырыли между обоими поэтами бездонную про-

пасть и поставили ихъ на двухъ противоположныхъ полюсахъ въ жгучемъ вопросѣ. Они скорѣе повліяли на Пушкина, нежели на Мицкевича. На Пушкина подѣйствовало очнувшееся въ массахъ патріотическое чувство, всегда увлекающее отдѣльныхъ людей всею силою инстинкта. Пушкинъ измѣнился, но не хотѣлъ признать въ себѣ этой перемѣны, и укорялъ Мицкевича въ непослѣдовательности, въ безпричинной ненависти, вмѣсто прежней любви. Впрочемъ, такъ какъ перемѣна въ Мицкевичѣ, о которой сожалѣлъ Пушкинъ, касалась только политики, во всемъ же остальномъ Пушкинъ не переставалъ цѣнить и высоко уважать въ Мицкевичѣ человѣка и великаго поэта, то въ исторіи сохранится навсегда красивый слѣдъ ихъ кратковременнаго сближенія, фиксированный въ картинѣ, съ которой начинается «Памятникъ Петра Великаго» у Мицкевича [1]:—«вече-

---

[1]) Считаемъ нелишнимъ привести здѣсь сужденія польскаго поэта о произведеніяхъ русскаго пѣвца, высказанныя Мицкевичемъ, какъ въ некрологѣ Пушкина, такъ и въ курсѣ славянскихъ литературъ.

Къ числу произведеній Пушкина въ чисто Байроновскомъ духѣ Мицкевичъ относитъ «Кавказскаго Плѣнника» и «Бахчисарайскій Фонтанъ». Въ нихъ Пушкинъ не столько байронистъ, то-есть подражатель Байрону, сколько байронствующій (byroniaque), то-есть вдохновляющійся Байрономъ. Поэмы «Цыгане» и «Мазепа» (? т.-е. Полтава) знаменуютъ явный успѣхъ, характеры сильнѣе обрисованы, слогъ свободнѣе отъ романтической утрировки, только форма остается байроновская и мѣшаетъ свободѣ творчества. Въ выборѣ историческихъ сюжетовъ, въ заботливости о мѣстномъ колоритѣ, сквозитъ несознаваемое, можетъ быть, самимъ Пушкинымъ вліяніе Вальтеръ-Скотта. Красивѣйшимъ, оригинальнѣйшимъ и народнѣйшимъ созданіемъ Пушкина Мицкевичъ считаетъ «Онѣгина», которое будетъ читаемо во всѣхъ славянскихъ земляхъ и навсегда останется памятникомъ той эпохи. Началось оно съ подражанія байроновскому «Донъ-Жуану», но затѣмъ Пушкинъ съумѣлъ создать его самостоятельно, и сдѣлался вполнѣ своеобразенъ. Сюжетъ и лица взяты изъ дѣйствительности, изъ частной жизни. Произведеніе содержитъ въ себѣ множество трагическихъ мотивовъ и сценъ изъ высшей комедіи. Содержаніе поэмы весьма простое—исторія двухъ влюбленныхъ паръ: одинъ герой гибнетъ на дуэли, другой герой сходитъ со сцены и появляется только въ концѣ романа. Это содержаніе слишкомъ скромное, недостаточное для большой поэмы, но въ сценахъ жизни домашней, въ пейза-

ромъ на дождѣ стояли оба юноши, взявшись за руки и подъ однимъ плащемъ» [1]).

Они были ровесники: Мицкевичъ родился 24-го декабря 1798 г., въ Новогрудкѣ; Пушкинъ — 26-го мая 1799 г., въ Москвѣ. Роковая пуля Дантеса похитила Пушкина 29-го января 1837 г., въ самомъ цвѣтѣ художественнаго развитія. Мицкевичъ скончался 26-го но-

---

жахъ, Пушкинъ нашелъ много мотивовъ, частью комическихъ, частью трагическихъ и романическихъ. Пушкинъ не столь плодовитъ, какъ Байронъ, не столь богатъ, онъ не подымается столь высоко въ своемъ пареніи, не погружается столь глубоко въ сердце человѣческое, но онъ правильнѣе Байрона, и отдѣлка формы у него старательнѣе. Дивный слогъ его мѣняетъ ежеминутно видъ и цвѣтъ, отъ оды нисходитъ до эпиграммы; попадаются часто сцены грандіозныя, почти эпическія. Поэма проникнута болѣе жгучею тоскою, чѣмъ въ произведеніяхъ Байрона. Вскормленный романами, раздѣлявшій чувства своихъ друзей, молодыхъ и порывистыхъ либераловъ, Пушкинъ испыталъ жестокое разочарованіе, вслѣдствіе чего онъ охладѣлъ ко всему высокому и прекрасному на землѣ. Начавъ писать свой романъ, вѣроятно, Пушкинъ не уяснилъ еще себѣ его развязки, потому что онъ не былъ бы въ состояніи изобразить любовь молодыхъ людей съ такою чувствительностью, непосредственностью и силою, если бы тогда же предполагалъ заключить романъ столь печально и прозаично. Въ Онѣгинѣ Пушкинъ изобразилъ самого себя:

Мечтамъ невольная преданность,
Неподражаемая странность,
И рѣзкій охлажденный умъ...

Преобладающее въ Онѣгинѣ чувство есть ненависть къ тому, что считается модою, общественнымъ приличіемъ (le ton de la société).

Что касается до «Бориса Годунова», то Мицкевичъ не раздѣляетъ мнѣнія тѣхъ, которые ставятъ это произведеніе на ряду съ Шекспировскими, но онъ уклоняется отъ объяснительной мотивировки своего сужденія. Ему кажется, что Пушкинъ былъ слишкомъ еще молодъ для созданія историческихъ личностей. Эта попытка показала только, чѣмъ онъ могъ стать со временемъ: «Et tu Shakespeare eris, si fata sinant»! По этой драмѣ нельзя вполнѣ оцѣнить талантъ Пушкина, хотя и въ ней есть много превосходныхъ деталей, дивныхъ сценъ. Въ особенности прологъ ея (Пименъ и Григорій—Келья въ Чудовомъ монастырѣ) столь своеобразенъ и грандіозенъ, что Мицкевичъ называетъ его единственнымъ въ своемъ родѣ.

[1]) Z wieczora na dżdżu stali dwaj młodzieńce
Pod jednym płaszczem wziąwszy się za ręce...

ября 1855 г. на Іени-Шэри, въ Перѣ, въ Константинополѣ, но его поэтическое творчество довольно рано погасло. Послѣднимъ изъ большихъ его произведеній былъ «Панъ Тадеушъ», котораго послѣдніе стихи дописаны были въ февралѣ 1834 г. Общеніе поэтовъ, прерываемое частыми отъѣздами Пушкина въ деревню, продолжалось около двухъ лѣтъ, съ начала 1827 г. до марта 1829 г., когда Пушкинъ, зная, что ему не разрѣшатъ ѣхать въ армію Паскевича на Кавказъ, отправился туда, не предупредивъ ни друзей, ни властей, и добрался до Эрзерума, крайне обезпокоивъ тѣмъ графа Бенкендорфа и чиновъ корпуса жандармовъ. Въ томъ же году, 15-го мая, Мицкевичъ, успѣвшій получить заграничный паспортъ, въ выдачѣ котораго легко могли произойти затрудненія, вслѣдствіе появленія въ печати его поэмы «Валленродъ», отправился изъ Кронштадта на кораблѣ за границу. Съ тѣхъ поръ поэты никогда не встрѣчались и не переписывались, но помнили другъ друга и вліяли на себя взаимно. Имѣется драгоцѣннѣйшій поэтическій матеріалъ, оправдывающій это предположеніе: сохранился одинъ художественный замыселъ, который былъ каждымъ изъ нихъ на свой ладъ обработанъ, но который обязанъ, повидимому, происхожденіемъ дружеской между ними бесѣдѣ. Предметъ бесѣды былъ громаднѣйшій и существеннѣйшій изъ всѣхъ тѣхъ, какіе могли интересовать и русскихъ, и поляковъ, въ условіяхъ не только 1828 года, но и современныхъ, а именно: критическій взглядъ на личность и дѣятельность Петра Великаго, какъ создателя современной Россіи, сообщившаго ей мощнымъ толчкомъ движеніе, продолжающееся до настоящей минуты. Въ 68-ми стихахъ отрывка: «Памятникъ Петра Великаго», этотъ критическій взглядъ приписанъ Мицкевичемъ Пушкину, который представлялся разсуждающимъ о памятникѣ лицомъ (Pielgrzym coś dumał nad Piotra kolosem, — A wieszcz rossyjski tak rzekł cichym głosem). Подобная же критика дѣятельности Петра составляетъ основу поэмы, не пропущенной при

жизни Пушкина цензурою и вошедшей только въ посмертныя изданія его произведеній подъ заглавіемъ: «Мѣдный Всадникъ». Нѣтъ никакихъ болѣе точныхъ указаній о томъ, какъ родились оба произведенія, кромѣ одной только фразы въ стихотвореніи Мицкевича, влагающей въ уста Пушкину извѣстныя мысли, пробуждаемыя въ немъ созерцаніемъ памятника. Въ каждомъ поэтическомъ произведеніи совмѣщаются и «Dichtung», и «Wahrheit», правда и вымыселъ. Порою не трудно выдѣлить и устранить вымыселъ, послѣ чего можно, хотя бы по теоріи вѣроятностей, заключать о настоящей правдѣ въ произведеніи, которая одна интересуетъ насъ при научномъ изслѣдованіи предмета.

Никто до сихъ поръ не изучалъ обоихъ поэтическихъ произведеній совмѣстно, никто ихъ не сопоставлялъ. Попробуемъ произвести этотъ анализъ, который поможетъ намъ опредѣлить и происхожденіе обѣихъ поэмъ, и взаимное другъ на друга вліяніе двухъ главныхъ, непревзойденныхъ и геніальнѣйшихъ поэтовъ, принадлежащихъ къ двумъ самымъ крупнымъ отраслямъ племени славянскаго.

II.

Не подлежитъ сомнѣнію, что изъ произведеній поэта можно заимствовать матеріалы для его жизнеописанія, но при этомъ заимствованіи слѣдуетъ дѣйствовать крайне осмотрительно, вооружась самою строгою критикою. Всякое умственное творчество есть произвольное сочетаніе данныхъ, либо достовѣрно извѣстныхъ, либо такихъ, которыя можно логически допустить. Всякое поэтическое творчество состоитъ въ сочетаніи данныхъ, разсчитанномъ на произведеніе наибольшаго эстетическаго впечатлѣнія, то-есть поражающемъ не столько реальною правдою изображаемаго, о которой поэтъ мало заботится, сколько красотою и правдоподобіемъ изображенія, опредѣленіемъ изображаемаго сюжета—событія или образа—

такими характерными чертами и особенностями, которыя по самой природѣ вещей должны быть присущи этому событію или образу. Лучшимъ доказательствомъ того, что изъ поэтическаго описанія никакъ нельзя заключать о томъ, что дѣйствительно случилось то именно, что́ описано, могутъ служить отдѣльныя подробности эпизода «Петербургъ». Лучшій жизнеописатель Мицкевича, Петръ Хмѣлёвскій (Adam Mickiewicz, zarys biograficzno-literacki. 2 tomy. Warszawa. 1886) сопоставляетъ заглавіе одного изъ отрывковъ эпизода: «Олешкевичъ — канунъ петербургскаго наводненія 1824 г.», съ описанною въ этомъ отрывкѣ встрѣчею на берегу Невы Олешкевича съ молодыми путешественниками, въ числѣ которыхъ имѣется и таинственный пилигримъ—двойникъ автора поэмы. Хмѣлёвскій заключаетъ затѣмъ категорически (I, 317), что, выѣхавши изъ Вильна 24-го октября 1824 г., Мицкевичъ прибылъ въ Петербургъ 6-го ноября и былъ очевидцемъ великаго наводненія 7-го ноября 1824 года. Легко доказать, что основу всего отрывка «Олешкевичъ» составляетъ чистѣйшій вымыселъ. Пржецлавскій (Ципринусъ, «Калейдоскопъ воспоминаній». Москва, 1874) утверждаетъ, что онъ встрѣтилъ Мицкевича въ самый день его пріѣзда въ Петербургъ, 8-го ноября, слѣдующій за наводненіемъ, и что затѣмъ 9-го ноября они осматривали наиболѣе опустошенныя части города. Первой встрѣчѣ Мицкевича съ Олешкевичемъ, описанной въ эпизодѣ «Петербургъ», дана въ поэмѣ слѣдующая обстановка:—царитъ въ Петербургѣ морозная зима; одинъ изъ одиннадцати странниковъ, пилигримъ (лицо байроновскаго типа), остался на Дворцовой площади; «онъ стоялъ задумавшись и вперилъ въ дворецъ быстрый взоръ, точно два ножа»—за нимъ слѣдилъ незнакомецъ, который обратился къ нему съ слѣдующими словами:— «я христіанинъ и полякъ; привѣтствую тебя знаменемъ креста и погони» (pogoń—бывшій государственный гербъ вел. кн. литовскаго).

Другой отрывокъ, посвященный Олешкевичу и отне-

сенный къ кануну наводненія, написанъ, очевидно, позднѣе. Тутъ оказались тѣ же одинадцать странниковъ; предъ ними спускается по гранитнымъ ступенямъ на замерзшую рѣку мистикъ «гуслярь», съ фонаремъ и книгою въ рукахъ, и возвращается потомъ съ грозными предсказаніями на устахъ. Одинъ изъ странниковъ слѣдуетъ за Олешкевичемъ, потому что его поразили «голосовой звукъ, таинственныя слова... онъ тотчасъ вспомнилъ, что уже слышалъ этотъ звукъ; онъ бѣжалъ опрометью по неизвѣстнымъ путямъ ночью и въ ненастье»... Прибавимъ еще одну любопытную подробность. Самъ Пушкинъ замѣтилъ въ припискѣ къ «Мѣдному Всаднику»: «жаль только, что описаніе это (наводненія у Мицкевича) — не точно: снѣгу не было; Нева не была покрыта льдомъ» (III, 564). Описаніе, дѣйствительно, не соотвѣуствуетъ ни природѣ вещей, ни климатическимъ условіямъ Петербурга. Наводненія бываютъ здѣсь только осенью, пока Нева не замерзла — и только при сильномъ западномъ вѣтрѣ, вгоняющемъ воду рѣки въ русло ея по направленію вспять и останавливающемъ такимъ образомъ ея теченіе. Это простое обстоятельство, которое Мицкевичу не было извѣстно, вполнѣ достаточно для объясненія неправильности многихъ подробностей въ описаніи, либо лишнихъ, либо очевидно, но безъ всякой видимой причины, невѣрныхъ. Ясно, что Мицкевичъ фантазировалъ и возсоздавалъ воображеніемъ страшное бѣдствіе, которое зналъ только по разсказамъ («Небо горитъ сильнѣйшимъ морозомъ — вдругъ потускнѣло... снѣгъ сталъ таять... вѣтры подняли головы съ полярныхъ льдовъ, точно морскія чудовища, сѣли верхомъ на волнахъ, сняли съ нихъ оковы. Слышу—морская бездна разнуздана, она мечется и грызетъ ледяныя удила»). Въ этомъ неудачномъ описаніи всего курьезнѣе похожденія самаго «гусляра», который изучаетъ приближающееся наводненіе, спускаясь на замерзшую рѣку, опуская въ прорубь веревку съ лотомъ и считая на ней узлы. Всему Петербургу извѣстны неизбѣжные предвоз-

вѣстники наводненія: гранитныя ступени спусковъ покрыты водою, вода поднимается до уровня мостовыхъ, бьетъ фонтанами на улицахъ чрезъ отверстія водосточныхъ трубъ, между тѣмъ какъ барки на каналахъ подняты до высоты нижнихъ ярусовъ домовъ. То же событіе изображено Пушкинымъ несравненно реальнѣе и съ полнымъ знаніемъ мѣстныхъ условій, хотя и Пушкинъ изображалъ его только по наслышкѣ, такъ какъ во время наводненія онъ находился въ Михайловскомъ.

Нева всю ночь
Рвалася къ морю противъ бури...
. . . .
Но силой вѣтра отъ залива
Перегражденная Нева
Обратно шла—гнѣвна, бурлива,
И затопляла острова;..
. . . .
Котломъ клокоча и клубясь—
И вдругъ, какъ звѣрь остервенясь,
На городъ кинулась—
. . . .
. . . . . Вòды вдругъ
Втекли въ подземные подвалы;
Къ рѣшеткамъ хлынули каналы—
И всплылъ Петрополь, какъ Тритонъ.
По поясъ въ воду погруженъ [1]).

Этимъ мы заканчиваемъ пока разборъ наводненія какъ сюжета, затронутаго Мицкевичемъ. Оказывается, что въ умѣ поэта произошло сочетаніе въ одну группу двухъ фигуръ: пилигрима, то-есть собственно Конрада Валленрода, перенесеннаго въ XIX вѣкъ, и мистика-пророка Олешкевича; что этой группѣ дана обстановка не реальная, но такая, которая бы лучше всего подходила

---

[1]) Великолѣпный по своей пластичности образъ Тритона-Петербурга навѣянъ, можетъ быть, слѣдующими стихами эпизода «Петербургъ»:

Wenecka stolica
Co wpół na ziemi a do pasa w wodzie
Pływa jak piękna syrena-dziewica.

къ лицу новаго Іезекіиля, петержбурца-поляка Олешкевича. Обстановкою служитъ день наканунѣ катастрофы, иными словами, сама природа, свидѣтельствующая о возможности пророческаго предсказанія (Pan wstrząśnie szczeble assurskiego tronu—Pan wstrząśnie grunty miasta Babilonu) въ ту самую минуту, когда у странниковъ опускаются въ отчаяніи и головы, и руки, потому что они думаютъ, созерцая эти громады камней: «человѣку ихъ не одолѣть» (człowiek ich nie zwali).

III.

Оставимъ наводненіе и вернемся къ поименованнымъ нами произведеніямъ обоихъ поэтовъ, которыя наматывались точно нити на одинъ и тотъ же предметъ — на бронзовый колоссъ самодержца-реформатора, причемъ не будемъ терять изъ виду задачи, нельзя ли изъ самихъ произведеній извлечь какія-нибудь жизнеописательныя данныя? Если бы мы сдѣлали предположеніе, весьма правдоподобное, что двустишіе: «вечеромъ на дождѣ стояли оба юноши, взявшись за руки и подъ однимъ плащемъ» — воспроизводитъ дѣйствительное событіе, то мы должны, по необходимости, отнести это событіе къ 1828 году, послѣ того, какъ Мицкевичъ — уже извѣстный въ Россіи авторъ «Сонетовъ» и «Конрада Валленрода» (изданнаго въ февралѣ, 1828) — распростился съ Москвою, которая ознаменовала отъѣздъ его обѣдомъ и поднесеніемъ ему на память серебряной чаши отъ восьми [1]) русскихъ литераторовъ (конецъ апрѣля, 1828). Бесѣда происходила, по всей вѣроятности, въ одинъ изъ тѣхъ безконечно длящихся на сѣверѣ вечеровъ, когда господствуютъ, по выраженію Пушкина, «прозрачный сумракъ, блескъ безлунный», и когда всякій предметъ виденъ превосходно, даже издали, въ малѣйшихъ своихъ подроб-

---

[1]) Оба Кирѣевскіе, Баратынскій, Шевыревъ, Елагинъ, С. Соболевскій, Н. Полевой и Рожалинъ.

ностяхъ. Мы не рѣшаемся утверждать, подобно П. Хмѣлёвскому (I, 440), что поэты прикрылись отъ дождя коричневымъ плащемъ, который былъ купленъ Мицкевичемъ въ Одессѣ, потомъ былъ подаренъ поэтомъ товарищу его, А. Э. Одынцу, потомъ былъ симъ послѣднимъ пожертвованъ въ виленскій музей и неизвѣстно куда послѣ дѣвался. Очень можетъ быть, что плащъ принадлежалъ Пушкину и былъ въ родѣ тѣхъ, которые тогда носились и назывались альмавивами, весьма широкій, весь въ складкахъ, съ откиднымъ воротникомъ и коротенькою пелеринкою. Нынѣ памятникъ совсѣмъ иначе обставленъ: громадная и пустая площадь отъ набережной Невы до Исакіевскаго собора превращена въ садъ; надъ гущей зелени высится лишь верхъ скалы, служащей пьедесталомъ, и на ней всадникъ, вслѣдствіе чего памятникъ производитъ гораздо меньшее впечатлѣніе; къ нему несравненно лучше шла прежняя ширь. Несмотря на эту невыгодную перемѣну, великое твореніе Фальконета поражаетъ могучею энергіею замысла, символическимъ воплощеніемъ въ созданіи искусства глубокой идеи. Пріятель Дидрó, человѣкъ, достигшій высокаго образованія въ лучшей того времени идейной лабораторіи—Парижѣ, литераторъ и философъ, Фальконетъ пытался представить идеальный образъ самовластнаго цивилизатора, безъ удержу несущагося впередъ и одолѣвающаго всѣ препятствія, противодѣйствующія его державной волѣ. Извѣстно, что такой идеалъ господствовалъ въ Европѣ въ половинѣ XVIII столѣтія, когда всѣ надежды возлагаемы были на просвѣщенныхъ монарховъ, и когда всѣ думали, что общество можно лѣпить, какъ мягкую глину, что его могутъ преобразовывать по произволу ловкіе пальцы изобрѣтательнаго законодателя. Человѣкъ независимый и не обладавшій качествами придворнаго, Фальконетъ вскорѣ надоѣлъ двору и навлекъ на себя неудовольствіе императрицы, вслѣдствіе чего ему не удалось довести послѣ двѣнадцати-лѣтнихъ работъ (1767—1779) свое произведеніе до конца, до отливки статуи. Скульпторъ долженъ былъ

бороться съ безчисленными трудностями, проистекавшими отъ людей, которые портили ему его замыселъ, которые настаивали на томъ, чтобы Петру дана была такая же посадка, какая у Марка-Аврелія на памятникѣ послѣдняго на Капитоліѣ, близъ церкви Ara Coeli, или требовали устраненія безполезно, по ихъ мнѣнію, извивающагося подъ конскими копытами змѣя, или осуждали длиннополую одежду царя, въ которой они усматривали старорусскій кафтанъ, не подходящій къ реформатору, заставившему русскихъ надѣть иностранную форму и всегда носившаго ботфорты, обтянутый мундиръ и треугольную шляпу. Въ письмѣ къ Дидро Фальконетъ объяснялъ (1770), что онъ не надѣлъ на Петра ни историческое его платье, ни римскую тогу, потому что избранная имъ туника и плащъ суть, по его мнѣнію, идеальное одѣяніе героевъ всѣхъ вѣковъ въ скульптурныхъ произведеніяхъ: такъ одѣвались римскіе полководцы и старинные русскіе князья; такъ одѣваются крестьяне на берегахъ Тибра и бурлаки на берегахъ Волги (см. 17-й томъ Сборника Историческаго Общества и 2-ю статью Рамбо въ Revue des deux Mondes, 1877 г.). Фигура Петра посажена свободно, въ самой естественной и непринужденной позѣ, безъ сѣдла и стремянъ на скачущемъ конѣ; на нее накинутъ нарядъ неопредѣленнаго времени, но только не римская тога, какъ показалось Мицкевичу (Car . . . . . w todze rzymianina), незнакомому съ исторіею отдѣлки памятника. Ни въ одномъ изъ произведеній нашихъ поэтовъ, посвященныхъ памятнику, нѣтъ и помину о скульпторѣ и о задачѣ, которую онъ себѣ поставилъ. Вѣроятно, они столь мало о немъ думали, какъ мало помышляютъ о Гомерѣ люди, восхищающіеся Иліадой. Можетъ быть, они и знали очень немногое о Фальконетѣ, такъ какъ съ момента открытія памятника прошло тогда уже почти полвѣка (1782). Ихъ интересовало гораздо въ большей степени, какъ отразился памятникъ въ русской поэзіи. Всего вѣроятнѣе, что Пушкинъ былъ руководителемъ

Мицкевича на этомъ поприщѣ и сообщилъ ему четверостишіе современнаго открытію памятника мелкаго стихотворца и журналиста Рубана, вошедшее потомъ во всевозможныя риторики,—стихотвореніе довольно грубое, неуклюжее, отчасти въ стилѣ церковно-славянскихъ виршей, отчасти въ державинскомъ:

Нерукотворная здѣсь русская гора,
Внявъ гласу Божію изъ устъ Екатерины,
Прешла чрезъ Невскія пучины
И пала подъ стопы Великаго Петра.

Отсюда Мицкевичъ выкинулъ слова лести по адресу императрицы, но усвоилъ себѣ представленіе о ея матеріальномъ могуществѣ и создалъ образъ, весьма красивый, характеризующій и самаго Петра: «Царю Петру не пригодно стоять на собственной землѣ; въ отечествѣ ему не такъ, какъ слѣдуетъ, просторно, почву для него рѣшено добыть заморскую. Велѣно вырвать изъ финскихъ береговъ гранитный холмъ, который по слову владычицы плыветъ по морю и бѣжитъ по сушѣ и падаетъ навзничь въ городѣ передъ царицей». Въ центральномъ мѣстѣ произведенія Мицкевича сопоставлены имъ, какъ контрасты, и статуи, и идеальныя личности Марка-Аврелія и Петра Великаго. Самъ Фальконетъ сознавалъ, что эти два героя крайне другъ на друга непохожи, когда, опровергая предложенія Бецкаго, онъ объяснялъ въ 1768 году императрицѣ, что статуя Марка-Аврелія прилична Марку-Аврелію, а статуя другаго лица должна быть прилична другому.

Настоящій западникъ и истый латинянинъ, Мицкевичъ рѣшительно преклоняется предъ Маркомъ-Авреліемъ, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ представленъ въ статуѣ,—то-есть, предъ кроткимъ правителемъ и миротворцемъ, возвращающимся на Капитолій по усмиреніи внѣшнихъ враговъ:

«Прекрасенъ ликъ его, кроткій и благородный, на лицѣ сіяетъ мысль о благѣ государства. Руку одну онъ тихо поднялъ, какъ будто бы хотѣлъ благословить толпы

своихъ подданныхъ. Другою рукою, опущенною на бразды, онъ укрощаетъ порывъ своего коня. Чувствуешь, что много народу стояло на пути, и что народъ кричалъ: возвращается отецъ нашъ, Кесарь.—Кесарь желаетъ тихо проѣхать между толпящимися и всѣхъ пожаловать отеческимъ поклономъ. Конь ощетинилъ гриву, мечетъ огонь изъ глазъ, но сознаётъ, что везетъ любимѣйшаго гостя—что везетъ отца милліоновъ дѣтей—и самъ сдерживаетъ свою прыть и живость. Дѣтямъ дано подойти къ отцу, глядѣть на него. Конь идетъ мѣрно, шагомъ, по ровному пути—угадываетъ, что онъ идетъ въ безсмертіе».

Вся прелесть стиховъ пропадаетъ, конечно, въ этой прозаической передачѣ; тѣмъ не менѣе описаніе статуи даже и въ прозѣ столь живо, столь пластично, что мы должны перенести моментъ возникновенія стиховъ съ 1828 г. въ другую, позднѣйшую эпоху; они могли быть написаны только послѣ того, какъ Мицкевичъ насладился самъ лично красотою подлинника, то-есть когда побывалъ самъ въ Римѣ—въ 1830 и 1831 годахъ. Замѣтимъ, что и Пушкинъ, которому приписано приведенное выше описаніе памятника М.-Аврелія, никогда не былъ въ Римѣ и, слѣдовательно, не видалъ подлинника.

Характеристика Петра Великаго гораздо короче; она вся въ шести стихахъ:

«Царь Петръ попустилъ бразды лошади. Видно, летѣлъ онъ, топча все на пути. Сразу вскочилъ онъ на самый край скалы. Бѣшеный конь уже приподнялъ копыта,—царемъ не удерживаемый, конь скрежещетъ, кусая удила. Чувствуешь, что онъ полетитъ и разобьется въ дребезги»...

Что касается до этой характеристики, приписываемой тоже Пушкину, то надобно обратить вниманіе, что Пушкинъ читалъ третью часть «Дѣдовъ» и «Петербургъ» уже послѣ того, какъ произошла значительная перемѣна и въ его политическихъ взглядахъ, и въ его народническихъ чувствахъ; что онъ подвергъ критикѣ однѣ только мелкія подробности наводненія, но не отрицалъ

прямо приписанныхъ ему Мицкевичемъ взглядовъ (пословица говоритъ: qui tacet, consentire videtur); что главную мысль Мицкевича онъ, съ своей стороны, воспроизвелъ, изобразивъ ее въ еще болѣе богатой формѣ, одушевленной чувствомъ болѣе сердечнымъ, чувствомъ русскаго, воспитаннаго въ благоговѣйномъ поклоненіи своему народному герою. Пушкинъ выбралъ для своей повѣсти время позднѣе катастрофы, а именно осень года, слѣдовавшаго за наводненіемъ. Уже нѣтъ болѣе тѣхъ «хищныхъ волнъ», которыя «толпились, бунтуя грозно вкругъ его». Остался неподвиженъ, на своей скалѣ, только тотъ, «чьей волей роковой—надъ моремъ городъ основался»:

Ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ!
Какая дума на челѣ!
Какая сила въ немъ сокрыта!
А въ семъ конѣ какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И гдѣ опустишь ты копыта?
О, мощный властелинъ судьбы!
Не такъ ли ты надъ самой бездной,
На высотѣ, уздой желѣзной
Россію вздернулъ на дыбы?

Намъ приходится теперь отыскать общія черты, присущія обоимъ произведеніямъ, сходные въ обоихъ сужденія и взгляды, и отыскать, кому изъ двухъ поэтовъ принадлежитъ починъ въ этихъ взглядахъ на Петра Великаго. Мы должны теперь поближе изучить основу и содержаніе обоихъ произведеній.

IV.

Мицкевичъ жилъ въ такомъ вѣкѣ и принадлежалъ къ такой народности, что онъ могъ только удивляться Петру В., но не могъ никакъ его любить и имъ восхищаться. Существовалъ многовѣковый антагонизмъ между римско-католическою Польшею и отдаленною отъ моря и Европы византійскою Москвою. Побѣдивъ шведовъ,

Петръ склонилъ сразу въ свою сторону вѣсы и сталъ вдругъ преобладающимъ на Востокѣ государемъ, располагающимъ почти по произволу будущею судьбою Польши. Было замѣчено Европою, что послѣ полтавскаго сраженія Петръ—*war considerabel in Europa geworden* (Brückner, «Peter der Grosse», во Всеобщей Исторіи изд. *Oncken*'a, S. 416). Уже въ 1709 король прусскій былъ занятъ мыслью о раздѣлѣ Польши, которую внушалъ Петру въ Маріенвердерѣ. Въ то время, какъ Польша опускалась въ бездну по наклонной плоскости безначалія, тѣмъ временемъ повышалась Россія и дошла до самой вершины могущества и славы. Она возвысилась, главнымъ образомъ, потому, что Петръ двинулъ ее впередъ и далъ ей европейское образованіе (Mick.: Pierwszy on odkrył tę caropedyę, Piotr wskazał carom do wielkości drogę— I rzekł: Rossyę zeuropejczyć mogę). Очень естественно, что, по понятіямъ Мицкевича, то не была цивилизація, а только призракъ цивилизаціи, внѣшній лоскъ на сыромъ корню, на степной, полувосточной подкладкѣ. Такія сужденія о тогдашней Россіи сочетались въ умѣ Мицкевича съ его коренными убѣжденіями, красною нитью проходившими по всѣмъ его произведеніямъ, объ отрицательномъ и демоническомъ элементѣ въ исторіи, о легкости сочетаній—по химическому, такъ сказать, сродству—безпредѣльнаго и не знающаго препонъ деспотизма со всѣми жадно усвоиваемыми имъ изобрѣтеніями въ области научнаго знанія и техники, съ тончайшимъ аналитическимъ умомъ. Ученѣйшіе въ своихъ отрасляхъ знанія люди содѣйствуютъ сенатору Новосильцеву въ третьей части «Дѣдовъ»; при генералѣ, командующемъ въ Краковѣ,—въ драмѣ «Барскіе Конфедераты»,—состоитъ на службѣ политическій агентъ, докторъ-философъ. Извѣстно, что на этой канвѣ была вышита фантастическая «Исторія будущаго», писанная Мицкевичемъ въ Петербургѣ, въ которой были восходящія до 1828 г. предсказанія объ измѣненіи европейскихъ политическихъ отношеній вслѣдствіе развитія же-

лѣзно-дорожной сѣти и изобрѣтенія телефоновъ. Кончался этотъ фантастическій разсказъ полнымъ торжествомъ Азіи и китайцевъ надъ европейцами. Въ лекціяхъ Мицкевича о славянскихъ литературахъ взглядъ на реформу Петра остался тотъ же, но къ характеристикѣ реформатора прибавилась еще одна черта—усмотренное сходство его съ монтаньярами французскаго конвента: и тотъ, и другіе были философы, раціоналисты, но по темпераменту вполнѣ революціонеры. Привожу слова 48-й лекціи: «Pierre le Grand, bien supérieur à ces deux monarques (Louis XIV et Charles XII), plus froid que Gengis Chan, n'avait qu'une seule idée: celle de dominer. Il représentait l'orgueil du siècle, il précédait et devansait la Convention... La réforme russe et la révolution terroriste de la France s'expliquent mutuellement». Кромѣ такого сравненія, едва ли есть въ характеристикѣ Петра, сдѣланной Мицкевичемъ, хотя бы одна черта, которая могла бы быть заимствована у Пушкина; напротивъ того, послѣдніе стихи отрывка таковы, что едва ли бы могъ Пушкинъ произнести нѣчто подобное. Мицкевичъ сравнилъ скачущаго, но не падающаго со скалы всадника—съ замершимъ горнымъ водопадомъ, повисшимъ надъ бездною, заключилъ стихотвореніе такимъ образомъ:

Lecz skoro słońce swobody zabłyśnie,
I wiatr zachodni ogrzeje te państwa—
I cóż się stanie z kaskadą tyraństwa?..

Бѣшеный конь, кусающій удила, застывшій водопадъ, повисшій надъ пропастью—это вѣдь сама Россія. Не могъ допустить русскій патріотъ, что этотъ конь разлетится въ дребезги; что весь каскадъ растаетъ; что весь періодъ реформъ Петра долженъ быть признанъ недѣйствительнымъ, не бывшимъ, долженъ быть вычеркнутъ изъ исторіи; что вся реформа была, такъ сказать, навыворотъ; что, начинаясь съ бороды и платья, она нисколько не вліяла на улучшеніе нравственности человѣка; что отъ нея останутся однѣ лишь развалины.

Здѣсь-то именно и было то горное ущелье, изъ котораго вырывалась струя воды, на-вѣки раздѣлившая двѣ скалы,—разсѣлина, столь глубокая, что по инстинкту чувствовали ея непроходимость оба поэта; они такъ и не видали никогда дна раздѣлившей ихъ пропасти. Такимъ образомъ, слова, будто бы пушкинскія, въ произведеніи Мицкевича суть только выраженіе собственныхъ убѣжденій Мицкевича, и только вслѣдствіе *licentia poetica* вложены въ уста Пушкину. Отношеніе ихъ къ Пушкину увеличивало вѣсъ и значеніе сужденій о преобразователѣ, потому что они якобы шли отъ потомка тѣхъ русскихъ, посредствомъ которыхъ царь Петръ и «сотворилъ свои чудеса». Замѣтимъ еще, что Мицкевичъ поступалъ въ этомъ случаѣ добросовѣстно, будучи убѣжденъ, что Пушкинъ не можетъ не раздѣлять взглядовъ на Петра В., разсматриваемаго съ общеевропейской и, какъ Мицкевичу казалось, общечеловѣческой точки зрѣнія.

Теперь мы можемъ перейти къ изученію происхожденія поэмы Пушкина. П. Бартеневъ передаетъ (Русскій Архивъ, 1877, № 8, стр. 424) разсказъ, слышанный имъ отъ С. Соболевскаго и переданный Пушкину графомъ М. Ю. Віельгорскимъ, слѣдующаго содержанія. Въ 1812 году существовало опасеніе, что Наполеонъ пойдетъ на Петербургъ, вслѣдствіе чего изъ сѣверной столицы вывозимы были, по распоряженію правительства, всякія драгоцѣнности; были даже ассигнованы суммы на снятіе и вывозку статуи Петра. Нѣкто, маіоръ Батуринъ, явившись къ статсъ-секретарю и оберъ-прокурору правительствующаго синода А. Н. Голицыну, разсказалъ ему свой нѣсколько разъ повторившійся сонъ. Снилось Батурину, что онъ стоитъ на сенатской площади, что статуя державнаго всадника поворачиваетъ, съѣзжаетъ со скалы и скачетъ, звеня по мостовой копытами, по направленію къ Каменному острову, гдѣ жилъ тогда государь Александръ Павловичъ. «Молодой человѣкъ!—сказалъ великанъ вышедшему на встрѣчу государю,—до чего довелъ ты Россію? Но, покамѣстъ

я на мѣстѣ, городу нечего опасаться». Съ этими словами всадникъ опять повернулся и поскакалъ на свой обычный постъ на скалѣ. Мистикъ Голицынъ поспѣшилъ съ докладомъ о сновидѣніи Батурина къ императору, который приказалъ Петра съ его скалы не трогать. Очень вѣроятно, что изъ этого-то разсказа Пушкинъ заимствовалъ самыя сильныя и наиболѣе образныя черты своей повѣсти (...«какъ будто грома грохотанье, тяжело-звонкое скаканье по потрясенной мостовой... За нимъ повсюду Всадникъ Мѣдный съ тяжелымъ топотомъ скакалъ»). Эти характерныя черты сочетались у Пушкина не съ патріотическими воспоминаніями 1812, но съ народнымъ бѣдствіемъ наводненія 1824 года. По замыслу Пушкина, однимъ изъ лицъ, наиболѣе пострадавшихъ отъ бѣдствія, былъ мелкій чиновникъ, самый обыкновенный человѣкъ. Мимоходомъ Пушкинъ, не называя этого канцеляриста изъ захудалыхъ дворянъ даже по фамиліи, обронилъ слѣдующія слова о его прозваніи: оно, быть можетъ, «въ минувши времена блистало, И подъ перомъ Карамзина Въ родныхъ преданьяхъ прозвучало»... а теперь, однако, забыто. Безфамильный приказный живетъ въ Коломенской части, исправно ходитъ на службу въ канцелярію и постоянно мечтаетъ объ убогой дѣвушкѣ, съ которою онъ помолвленъ и которая живетъ въ дальнѣйшихъ мѣстахъ Васильевскаго Острова, гдѣ-то близь Галерной Гавани, въ старомъ домикѣ подъ ивою. Пришло наводненіе: канцеляристъ метался во всѣ стороны, какъ бѣшеный, въ смертельномъ безпокойствѣ о судьбѣ невѣсты, взбирался на одного изъ тѣхъ мраморныхъ львовъ сторожевыхъ, которыми украшено крыльцо бывшаго дома Лобанова, нынѣ военнаго министерства, глядѣлъ съ отчаяніемъ на разливъ, между тѣмъ какъ дождь хлесталъ ему въ лицо, а вѣтеръ сорвалъ шляпу. На слѣдующій день нашъ канцеляристъ переѣзжаетъ въ лодкѣ Неву, направляется къ домику невѣсты, но, увы! тамъ стоитъ только ива, а домикъ и строенія снесены волнами безслѣдно. Бѣд-

някъ сошелъ съ ума, пересталъ бывать въ канцеляріи, спалъ на пристани, питался подаяніемъ, ходилъ въ лохмотьяхъ. Осенью слѣдующаго года онъ забрелъ на Сенатскую площадь къ гиганту на бронзовомъ конѣ. Вскипѣла въ немъ кровь, помутились глаза, стиснулись зубы, и, поднявъ кулакъ, помѣшанный сталъ хулить грознаго царя: «Добро, строитель чудотворный!.. Ужо̀ тебѣ»!.. Въ ту самую минуту у мѣднаго гиганта возгорѣлись гнѣвомъ очи, и всадникъ поскакалъ, простерши руку, въ вышинѣ, преслѣдуя убѣгающаго хулителя. Трупъ безумца отысканъ былъ на взморьѣ, на безлюдномъ острову, возлѣ отысканныхъ имъ остатковъ домика невѣсты. Такова въ своей теперешней редакціи, отличающейся необыкновенною простотою, эта—не то идиллія канцелярская, не то элегія, въ которую попалъ грозный царь совершенно случайно и даже напрасно, такъ какъ мало ли что̀ можетъ взбрести на умъ помѣшанному. Имѣются, однако, свѣденія, что цѣнный камень имѣлъ совсѣмъ иной видъ, прежде нежели былъ окончательно отшлифованъ, и что достоинство его было гораздо выше. Князь Петръ Петровичъ Вяземскій, сынъ близкаго друга обоихъ поэтовъ, пишетъ слѣдующее (Р. Арх. 1884, № 4, стр. 430: «Пушкинъ по документамъ Остафьевскаго архива, 1826—1837»): «неизгладимое впечатлѣніе произвелъ монологъ обезумѣвшаго чиновника передъ Мѣднымъ Всадникомъ, содержащій около тридцати стиховъ. Не вѣрится, что онъ не сохранился въ цѣлости. Въ бумагахъ моего отца монолога не сохранилось, весьма можетъ быть, потому, что въ немъ слишкомъ энергически звучала *ненависть къ европейской цивилизаціи*. Мнѣ все кажется, что великолѣпный монологъ таится вслѣдствіе какихъ-либо тенденціозныхъ соображеній, ибо трудно допустить, чтобы изо всѣхъ людей, слышавшихъ проклятіе, никто не попросилъ Пушкина дать списать эти тридцать-сорокъ стиховъ». Не подлежитъ сомнѣнію, что длинный монологъ съ проклятіями никакъ не шелъ къ безродному и ничтожнѣйшему приказному, къ этому

homme de rien. Самъ канцеляристъ имѣлъ иной видъ передъ окончательною отдѣлкою поэмы, видъ непохожій на истертую монету. Его звали Езерскимъ; онъ былъ потомокъ людей, бывшихъ «и въ войскѣ, и въ совѣтѣ, на воеводствѣ и въ отвѣтѣ». Пушкинъ занимался сочиненіемъ «Родословной моего героя». Это сатирическое стихотвореніе начиналось съ генеалогіи героя и пересыпано было колкими упреками по адресу настоящаго времени:

Кто бъ ни былъ вашъ родоначальникъ,—
Мстиславъ, князь Курбскій иль Ермакъ,
Или Митюшка цѣловальникъ,—
Вамъ все равно. Конечно, такъ:
Вы презираете отцами,
Ихъ славой, честію, правами—
Великодушно и умно;
Вы отреклись отъ нихъ давно,
Прямого просвѣщенья ради,
Гордясь (какъ общей пользы другъ)
Красою собственныхъ заслугъ,
Звѣздой двоюроднаго дяди,
Иль приглашеніемъ на балъ
Туда, гдѣ дѣдъ вашъ не бывалъ. (III, 550.)

Дѣдъ Езерскаго имѣлъ 12,000 душъ, отецъ разорился, вслѣдствіе чего Езерскій «жалованьемъ жилъ и регистраторомъ служилъ». Въ драмѣ Сигизмунда Красинскаго: «Иридіонъ» есть одно дѣйствіе, въ которомъ герой драмы, заклятый врагъ Рима, завербовалъ въ свою дружину, на погибель «вѣчному городу», гладіатора, кроющаго подъ неказистымъ именемъ Спора свое настоящее происхожденіе отъ древнихъ Сципіоновъ. Хотя подобныхъ чувствъ и не питаетъ Езерскій, захудалый потомокъ московскихъ бояръ, однако и онъ, какъ озлобленный червякъ, способенъ роптать на судьбу и доискиваться виновника несчастнаго его положенія. Весьма справедливо замѣчаетъ П. В. Анненковъ («Идеалы Пушкина», въ «Вѣстникѣ Европы», 1880, № 6, стр. 613): «коломенскій чиновникъ осмѣливается укорять великаго императора во всѣхъ своихъ несчастіяхъ и даже пося-

гаетъ на угрозу передъ бронзовымъ ликомъ его, въ которомъ онъ внезапно открываетъ того человѣка, который лишилъ его фамилію гражданскаго значенія, низвелъ его самого въ бездольные служаки и косвенно настигъ, даже послѣ своей смерти въ послѣднемъ его убѣжищѣ—сердечномъ счастіи, унесенномъ наводненіемъ въ основанномъ имъ Петербургѣ... Въ этомъ нелѣпомъ: «ужо̀ тебѣ!» безумецъ выразилъ промелькнувшую въ его головѣ мысль о возможности найти еще судъ въ потомствѣ и передѣлать приговоръ, давшій такую славу и значеніе имени грознаго реформатора. Мѣдный Всадникъ, погнавшійся за нимъ, точно угадалъ его тайную мысль! Первоначальный замыселъ повѣсти не могъ бы помѣститься въ тѣсныхъ рамкахъ идилліи, онъ былъ крупнѣе и смахивалъ на эпопею. Первоначальный замыселъ тѣмъ бо̀льшее имѣетъ для насъ значеніе, что коломенскій чиновникъ и Езерскій — это одно лицо; мало того: и чиновникъ и, Езерскій суть двойники самого Пушкина, который признается самъ (въ варіантахъ къ IV строфѣ «Родословной моего героя»: III, 548):

«Могучихъ предковъ правнукъ бѣдный,
Люблю встрѣчать ихъ имена
Въ двухъ-трехъ строкахъ Карамзина:
Отъ этой слабости безвредной
Какъ ни старался, видитъ Богъ,
Отвыкнуть я никакъ не могъ».

Въ теченіе всей своей жизни Пушкинъ искалъ предковъ по лѣтописямъ и старымъ документамъ, поэтизировалъ всякими средствами предка по матери — негра Ганнибала. Это стремленіе обозначилось подъ конецъ жизни до того сильно и рельефно, что впослѣдствіи времени поставленъ былъ вопросъ: точно ли онъ народный поэтъ? не есть ли онъ только представитель одного лишь русскаго дворянства въ періодъ исторіи, начавшійся съ Петра, періодъ, въ теченіе котораго интеллигенція была исключительно дворянская, лишенная настоящей любви къ народу, лишенная способности

ощущать его потребности, не сознающая того, что́ кроется подъ верхнимъ слоемъ общества, разрыхленнымъ посредствомъ цивилизаціи? На зло новому, свѣжеиспеченному дворянству по чину, ордену, новой аристократіи, образовавшейся изъ случайныхъ временщиковъ, Пушкинъ, самъ себя называющій («Моя родословная», II, 107): «родовъ униженныхъ обломокъ... бояръ старинныхъ я потомокъ», иронически демонстративно отрекается отъ своего дворянскаго происхожденія, лишь бы не стать на одной доскѣ съ вновь возведенными въ дворянское достоинство, предпочитаетъ пріобщиться къ tiers-état, предпочитаетъ записаться въ совсѣмъ неподходящее и несуществующее въ Россіи званіе «я мѣщанинъ», то-есть «bourgeois» въ французскомъ смыслѣ этого слова. «Древне-русское дворянство, — пишентъ онъ въ 1829 г. (Разговоръ вечеромъ на раутѣ, IV, 367), — у насъ въ неизвѣстности и составило родъ третьяго сословія. Благородная чернь, къ которой и я принадлежу считаетъ своими родоначальниками Рюрика и Мономаха, но настоящая наша аристократія съ трудомъ можетъ назвать и своего дѣда». «Моя родословная», Пушкина, якобы «вольное подражаніе Байрону», писанная 6-го сентября въ Болдинѣ, повторяетъ на всѣ лады одно: куда-жъ мнѣ быть аристократомъ! —Я, славу Богу, мѣщанинъ.—Эта «Моя родословная» 1830 г. составляетъ первоначальный набросокъ того, что потомъ, въ передѣлкѣ 1836 года, въ недоконченномъ отрывкѣ сатирической поэмы озаглавлено: «Родословная моего героя», т.-е. Езерскаго. «Родословная» же Езерскаго должна была составлять основаніе поэмы «Мѣдный Всадникъ», а нынѣ она является покинутымъ и забракованнымъ его началомъ, такъ какъ въ переписанной для цензуры рукописи поэмы, помѣченной 31-го октября 1833 г., Езерскій уже исчезъ, и вмѣсто него поставленъ какой-то малохарактерный и почти безличный, безфамильный канцеляристъ. Послѣдовало, значитъ, весьма большое сокращеніе, если не самой темы, то первоначальнаго замысла ея, сопровож-

даемое пониженіемъ и сильнымъ утоненіемъ общественнаго элемента въ произведеніи, вслѣдствіе чего самый сюжетъ сталъ неясенъ, загадоченъ, какъ будто бы что-то въ поэмѣ не досказано. Послѣ прочтенія произведенія читатель поставленъ въ недоумѣніе, какова основная мысль автора: прославленіе памяти Петра или осужденіе, апоѳеозъ или хула? Вникая въ причины такого сокращенія въ самомъ первичномъ замыслѣ поэмы, мы приходимъ къ цѣлому ряду любопытныхъ выводовъ и предположеній, которые во всякомъ случаѣ заслуживаютъ того, чтобы на нихъ остановиться.

V.

П. В. Анненковъ полагалъ (Матеріалы для біографіи Пушкина, 2 изд. 1873, стр. 375), что сведеніе до minimum'а первоначальной идеи поэта произошло по побужденіямъ, имѣющимъ свой источникъ только въ эстетическомъ чутьѣ Пушкина. Образные элементы поэмы — наводненіе и скачущій колоссъ—измельчали бы и стушевались, сдѣлались бы мало эффектны, если бы на первый планъ выдвинулось поношеніе Петра, резонированіе. Всякое возвеличеніе Езерскаго, всякое подробное изображеніе родовыхъ характерныхъ линій его физіономіи умалило бы размѣры мѣднаго гиганта. Надо было, по началамъ эстетики, сдѣлать дѣйствующее лицо неважнымъ человѣкомъ, поставить его въ туманѣ, окружить его сѣрымъ полусвѣтомъ. Предметъ поэмы—собственно не люди, а сама катастрофа, которая одна и должна занимать неразвлекаемаго ничѣмъ читателя.

Рядомъ съ этою до извѣстной степени правдоподобною причиною можно бы еще съ бо̀льшимъ основаніемъ поставить другую, совершенно внѣшнюю, а именно, современныя созданію поэмы тогдашнія *условія печати*. Съ того самаго, весьма памятнаго для Пушкина, числа 8-го сентября 1826 г., когда бывъ привезенъ съ

фельдъегеремъ въ Москву, Пушкинъ предсталъ, безъ перемѣны костюма, въ дорожномъ платьѣ, передъ императоромъ Николаемъ; когда сей послѣднiй милостиво разрѣшилъ ему жить гдѣ угодно и писать и изъявилъ свою волю быть его цензоромъ, положенiе Пушкина, какъ поэта, стало несравненно труднѣе, нравственно отвѣтственнѣе и несвободнѣе; то было положенiе птички, заключенной въ просторной золоченой клѣткѣ. Не подлежитъ сомнѣнiю, что условiя того времени становились съ каждымъ годомъ неблагопрiятнѣе для писателей. Жизнь общественная въ Россiи отличалась крайне своеобразнымъ ритмомъ; она совершалась внезапными скачками, которые отдѣляются длинными промежутками застоя. Если бы хотѣли изобразить графически волны этого движенiя, то оказалось бы, что каждая волна подымается почти перпендикулярно, но опускается потомъ по длинной наклонной линiи. Тотчасъ послѣ вѣнскаго конгресса 1815 г. обрисовалась реакцiя, когда колеблющiйся духъ россiйскаго Агамемнона сильно обезпокоенъ былъ распространенiемъ либеральныхъ идей, точно заразною болѣзнью, проникающею къ намъ изъ западной Европы, и зарожденiемъ тайныхъ обществъ. Реакцiя, которую круто повели сначала обскуранты и мистики, стала, послѣ вступленiя на престолъ императора Николая, хладнокровнѣе, осмотрительнѣе, систематичнѣе, получила характеръ болѣе правительственный и полицейскiй. Правительство во все вмѣшивалось, обязывало преподавать предметы на каѳедрахъ въ извѣстномъ духѣ, покровительствовало извѣстнымъ направленiямъ въ литературѣ и искусствѣ, или преслѣдовало ихъ, или приказывало замолчать расходившимся и полемизирующимъ противникамъ. Оно требовало, чтобы самый патрiотизмъ соблюдалъ мѣру и не выходилъ изъ надлежащихъ, по усмотрѣнiю власти, границъ. Дѣйствiе правительства не вызывало, въ теченiе весьма долгаго, времени, никакаго противодѣйствiя со стороны народной интеллигенцiи. Среди дремоты и всеобщаго мертвеннаго застоя выси-

лись авторитеты, окруженные почти что боготворенiемъ со стороны публики. Ихъ нельзя было даже и разбирать, потому что всякаго смѣльчака, который бы попробовалъ критически къ нимъ отнестись, преслѣдовала бы сама перiодическая печать и указала бы на него правительству какъ на вольнодумца. Такимъ колоссальнымъ авторитетомъ, въ области исторiи и политики, былъ, въ то время, Карамзинъ (ум. 1826), нѣкогда страстный поклонникъ западной Европы, а позже сильно измѣнившiйся въ убѣжденiяхъ, врагъ новизны, противникъ реформъ. Какимъ тяжелымъ бременемъ ложился на современниковъ каждый авторитетъ и какъ стѣснялъ онъ свободу историческаго изслѣдованiя, это можетъ объяснить курьезный документъ во 2-мъ томѣ полнаго изданiя сочиненiй кн. П. А. Вяземскаго (Спб., 1879, стр. 214), а именно: письмо его писанное въ 1836 г. къ министру народнаго просвѣщенiя С. С. Уварову, какъ главному начальнику цензуры. Князь Вяземскiй, человѣкъ несомнѣнно просвѣщенный и считавшiй себя либеральнымъ, жалуется министру на то, что онъ допускаетъ съ учебныхъ каѳедръ и въ пропускаемыхъ цензорами журналахъ статьи, критикующiя «творенiе Карамзина, эту единственную въ Россiи книгу, истинно государственную, и народную и монархическую, и чрезъ то самое поощряетъ *черную шайку* разрушителей или *ломщиковъ*, которые только того и добиваются, чтобы можно было провозгласить: *у насъ нѣтъ исторiи*». Князь Вяземскiй обличаетъ, такимъ образомъ, два журнала, оба московскiе: «Телеграфъ» и «Телескопъ», изъ которыхъ первый, издаваемый Н. Полевымъ, за то, что помѣстилъ критику исторiи Карамзина, написанную Лелевелемъ, котораго мнѣнiя и духъ, по словамъ самаго Вяземскаго, раскрылись много лѣтъ потомъ, въ дни польскаго мятежа, а второй журналъ обвиняемъ былъ за помѣщенiе извѣстнаго *Философическаго письма* Чаадаева. — Независимо отъ журналовъ, Вяземскiй указывалъ еще на профессора петербургскаго университета,

Устрялова, который позволилъ себѣ, «вывести на одну доску—Карамзина и Полевого, стройное твореніе одного и недоносокъ другого» (Исторія русскаго народа, Н. Полевого) и притомъ изложилъ ихъ взгляды «столь двумысленно или просто сбивчиво, что по истинѣ не знаешь, кому изъ двухъ онъ даетъ преимущество». Князь Вяземскій убѣжденъ, что правительство должно покровительствовать одной *зиждительной* силѣ, а ничего зиждительнаго нѣтъ въ историческомъ протестантизмѣ, который осушаетъ источники вѣрованій и преданій и, увлекаясь нелѣпою фразеологіею *высшихъ взглядовъ, потребностей и духа времени*, создаетъ какую-то *подвижную исторію*, по измѣненіямъ образа мыслей и страстей, и переходитъ къ современному *нигилизму* [1]). Для полноты оцѣнки взглядовъ кн. Вяземскаго слѣдуетъ замѣтить, что Карамзинъ былъ не только историкъ, но и публицистъ, былъ лицо, занимавшее до смерти своей положеніе, похожее на то, какое занималъ въ недавнія времена М. Катковъ. Извѣстно, что Карамзинъ въ свое время былъ поборникомъ принципа самодержавія болѣе рѣшительнымъ, чѣмъ само правительство и самъ монархъ. Увлеченіе князя Вяземскаго было столь велико, что, по его словамъ, «самое 14-е декабря» было не что иное, какъ «критика вооруженною рукою мнѣнія, исповѣдуемаго Карамзинымъ, то-есть исторіи Государства Россійскаго».— До конца своей жизни кн. Вяземскій, однако, сочувствовалъ полякамъ, языкъ и литературу ихъ онъ основательно зналъ, такъ какъ нѣсколько лѣтъ прожилъ въ средѣ польскаго общества, въ Варшавѣ, при цесаревичѣ Константинѣ Павловичѣ. Онъ самъ себя считалъ, не безъ основанія, европейцемъ и прогрессистомъ. Никакой злой умыселъ не руководилъ имъ при написаніи письма

---

[1]) Кличку изобрѣлъ, какъ извѣстно, Надеждинъ; Вяземскій ее только повторилъ.

къ Уварову, никакой личной цѣли не достигалъ онъ посредствомъ этого письма. Наконецъ, замѣтимъ, что само письмо показано было Пушкину авторомъ до отсылки его по назначенію, и Пушкинъ одобрилъ его, за исключеніемъ фразы о 14-мъ декабря, противъ которой онъ поставилъ замѣтку: «не лишнее ли?» — Легко понять, что, при тогдашнемъ всеобщемъ умственномъ застоѣ, при полной политической незрѣлости, при хаотическомъ броженіи и невыработкѣ простѣйшихъ понятій о лучшихъ порядкахъ, обстоятельства не благопріятствовали трезвому изслѣдованію исторіи, не только новѣйшей, но даже и древне-московской. Документъ въ родѣ вышеприведеннаго, и притомъ исходящій отъ столь хорошаго вообще и передоваго человѣка, какимъ былъ кн. Вяземскій, болѣе поучителенъ, нежели цѣлые томы, и превосходно освѣщаетъ и духъ тогдашняго времени, и настроеніе общества. Что касается до новѣйшей исторіи русской послѣ Петра, то великаго царя и великую царицу позволяемо было только прославлять, но порицать никакъ и никому не подобало. Къ числу строго запрещенныхъ сочиненій принадлежала, въ то время, даже и извѣстная записка Карамзина: «О древней и новой Россіи», въ которой историкъ, относясь съ глубочайшимъ благоговѣніемъ къ Петру В., упрекалъ его только слегка за пренебреженіе своей собственной народности, за пристрастіе къ иноземному. Отъ Пушкина, которому съ іюня 1831 г. открыты были, для собранія матеріаловъ по исторіи царствованія Петра, государственные архивы, и правительство, и публика ожидали одного только апоѳеоза. Не только указанное пятно на пямяти царя, но даже малѣйшая тѣнь, брошенная на него историкомъ, была бы признана за оскверненіе и вызвала бы полное и общее негодованіе. Какъ ни охорашивалъ Петра Пушкинъ въ «Мѣдномъ Всадникѣ», какъ ни занавѣшивалъ онъ основную мысль поэмы, несмотря на то, цензура не разрѣшила ему при жизни его поэмы къ напечатанію.

VI.

Вполнѣ признавая всю вѣскость двухъ разобранныхъ нами причинъ, повліявшихъ на то, что основная идея «Мѣднаго Всадника» не была вполнѣ ясно и достаточно прозрачно высказана, а именно: *эстетическаго* чувства и *внѣшнихъ препятствій*, между которыми на первомъ планѣ стояла тогдашняя цензура, мы должны отмѣтить еще и третью причину, можетъ быть, самую крупную, обусловившую загадочность произведенія, подобнаго вопросительному знаку. Только въ самые послѣдніе годы своей жизни,—слѣдовательно, гораздо позже своего знакомства съ Мицкевичемъ, Пушкинъ сильно поколебался въ своихъ политическихъ и общественныхъ убѣжденіяхъ, въ своихъ взглядахъ на совершенство петровскихъ реформъ, въ своихъ съ дѣтства взлелѣянныхъ идеалахъ, но не дошелъ, однако, до кореннаго пересозданія этихъ идеаловъ. Въ немъ зародились только нѣкоторыя сомнѣнія относительно обожаемаго имъ съ молодости реформатора, усмотрѣны только сильныя противорѣчія въ этой натурѣ, удивительная смѣсь добра и зла. Противорѣчій этихъ онъ не согласовалъ, не одолѣлъ; онъ съ мощною личностью не совладалъ; въ концѣ концовъ, это лицо такъ и осталось для него неразгаданнымъ сфинксомъ. Это обстоятельство было весьма подробно и толково разобрано П. В. Анненковымъ въ его трудѣ объ «Общественныхъ идеалахъ Пушкина» («Вѣстникъ Европы», 1880, № 8). Броженіе въ области политическихъ понятій у Пушкина и перерожденіе идеаловъ Анненковъ относитъ къ двумъ главнымъ причинамъ: во-первыхъ, къ тому, что подъ конецъ жизни Пушкинъ сталъ болѣе, чѣмъ смолоду, аристократомъ, что такой аристократизмъ во вкусѣ и привычкахъ повелъ и къ усиленному развитію аристократизма въ идеяхъ; и, во-вторыхъ, тому, что, вступивъ въ архивы, Пушкинъ дотронулся собственноручно до источниковъ, свидѣтель-

ствующихъ о величіи реформатора, но вмѣстѣ съ тѣмъ и ужасающихъ, такъ какъ изъ этихъ документовъ струилась и капала кровь почти на каждомъ ихъ листѣ. Извѣстно, что съ лѣтами стираются воспоминанія тяжелыя и мучительныя, а если смотрѣть издали, лѣтъ сто послѣ событій, то остаются въ виду только окончательные и общіе результаты крупной дѣятельности политика. Все, что̀ предшествовало Петру, почти совсѣмъ было уже позабыто въ началѣ XIX вѣка; оно было закрыто сказочною и полумиѳическою фигурою великана, обладающаго сверхъестественною силою; казалось, какъ будто бы съ него только и начинается русская исторія. Пушкинъ записалъ въ отрывкахъ своей «автобіографіи» (V, 40), что когда онъ познакомился въ 1818 г. съ первыми восемью томами появившейся тогда «Исторіи» Карамзина, то ему показалась она откровеніемъ: «древняя Россія найдена Карамзинымъ, какъ Америка Колумбомъ». Пушкинъ не только былъ воспитанъ въ чувствахъ полнаго уваженія къ памяти Петра, но онъ не могъ еще не дорожить, какъ поэтъ, тѣмъ, что въ сказаніяхъ о Петрѣ содержался богатый и готовый матеріалъ для эпоса, который могъ быть прямо переносимъ изъ сказаній въ поэзію крупными чертами. Самъ предметъ былъ въ высшей степени благодарный для артиста, потому что чѣмъ симпатичнѣе былъ бы представленъ герой, тѣмъ съ бо̀льшимъ энтузіазмомъ было бы принято произведеніе всѣми классами и направленіями общества. Народъ гордится своимъ героемъ и видитъ въ немъ свое собственное олицетвореніе. Только двѣ историческія личности дѣйствовали столь магически и обаятельно на Пушкина: Петръ В. и Наполеонъ. Подъ этимъ чарующимъ вліяніемъ Петра, осенью памятнаго по общенію Пушкина съ Мицкевичемъ 1828 года, написано было быстро и въ пылу непрерывавшагося вдохновенія одно изъ главныхъ произведеній Пушкина: «Полтава». Въ такомъ же настроеніи высокаго и сильнаго энтузіазма сочинено и вступленіе къ «Мѣд-

ному Всаднику», не вполнѣ соотвѣтствующее основной мысли поэмы и содержащее не сатирическое, какъ у Мицкевича, но сильно идеализированное изображеніе Петербурга, каковъ онъ есть, сравнительно съ моментомъ, когда на «мшистыхъ, топкихъ берегахъ» Петръ думалъ о будущемъ и рѣшался «въ Европу прорубить окно». Такъ какъ всякая поэзія есть, до извѣстной степени, вымыселъ, созданный съ цѣлью произвести возможно болѣе пріятное впечатлѣніе, то не всегда можно навѣрняка сказать, что авторъ именно такъ понималъ дѣйствительность, какъ онъ ее и изобразилъ. Но по этому вопросу мы обладаемъ весьма любопытнымъ объяснительнымъ документомъ, а именно: «историческими замѣчаніями» Пушкина, писанными въ 1822 году въ Кишиневѣ и заключающими въ себѣ сужденія о новѣйшей русской исторіи (V, 10). Авторъ строго осуждаетъ все царствованіе Екатерины II; въ заслугу ей зачтены только униженная Швеція и уничтоженная Польша; въ укоръ ей поставлены: жестокая дѣятельность ея деспотизма подъ личиною кротости и терпимости; угнетеніе народа намѣстниками; расхищеніе казны любимцами; ничтожность законодательства; комедія въ сношеніяхъ съ философами; наконецъ и то, что, возвышая любимцевъ, она унизила русское дворянство. Сужденія автора о Петрѣ не отличаются своеобразностью, онѣ довольно шаблонны и почти совпадаютъ со взглядами, до-нынѣ господствующими въ средѣ русской интеллигенціи. «Движеніе, переданное сильнымъ человѣкомъ, продолжалось въ огромныхъ составахъ государства преобразованнаго; наслѣдники сѣвернаго исполина съ суевѣрною точностью подражали ему во всемъ, что̀ не требовало новаго вдохновенія; дѣйствія правительства были выше его образованности, и добро производилось не нарочно, между тѣмъ какъ азіатское невѣжество обитало при дворѣ... Петръ не страшился народной свободы, ибо довѣрялъ своему могуществу и презиралъ человѣчество, можетъ быть, больше, чѣмъ Наполеонъ»

(въ черновыхъ бумагахъ эта послѣдняя фраза изложена такъ: «Петръ не страшился народной свободы, неминуемаго слѣдствія просвѣщенія. Геній его скрывался за предѣлами вѣка, ибо, довѣряя своему могуществу, онъ почиталъ его неприкосновеннымъ. Всеобщее рабство и безмолвное повиновеніе. Всѣ состоянія были равны предъ его палкою»). Пушкинъ радуется, что не удались попытки русскихъ аристократовъ ограничить самодержавіе. «Это спасло насъ отъ *чудовищнаго феодализма*, и существованіе народа не отдѣлилось вѣчною чертою отъ существованія дворянъ... Владѣльцы душъ, сильные своими правами, затруднили бы или даже уничтожили бы способы освобожденія людей крѣпостнаго состоянія, ограничили бы число дворянъ и заградили бы для прочихъ сословій путь къ достиженію должностей и почестей государственныхъ. Одно только страшное потрясеніе могло бы уничтожить въ Россіи закоренѣлое рабство; нынче, политическая наша свобода неразлучна съ освобожденіемъ крестъянъ. Желаніе лучшаго соединяетъ всѣ состоянія противъ общаго зла, и мирное, твердое единодушіе можетъ *скоро* поставить насъ на ряду съ просвѣщенными народами Европы».

Эти оптимистическіе взгляды, эти красивыя мечты намъ знакомы. Эти идеалы одушевляли все молодое поколѣніе тогдашнее, цвѣтъ котораго составляли «друзья-москали» Мицкевича, иными словами,—декабристы. Во главѣ подавленнаго 14-го декабря движенія стояли русскіе дворяне, получившіе французское воспитаніе; люди, которые, несмотря на жестокій урокъ, данный кровавымъ исходомъ великой революціи 1789 г., легкомысленно и не угадывая препятствій, пустились впередъ, вѣруя, что можно однимъ скачкомъ и одновременно дойти до двухъ колоссальнѣйшихъ и неимовѣрно трудныхъ результатовъ: и до освобожденія крестъянъ, и до парламентаризма. Ради достиженія общей политической свободы они отрѣшались отъ своей касты и жертвовали всѣми правами и преимуществами своего привилегиро-

ваннаго состоянія. За рубежемъ, который они пытались перейти, уже не было, по ихъ понятіямъ, мѣста для русско-польскаго спора; тайныя общества обѣихъ національностей подавали, какъ оказалось, другъ другу руки и дѣйствовали за-одно. Не принадлежа къ тайнымъ обществамъ тогдашнимъ, Пушкинъ былъ съ ними умственно и нравственно солидаренъ; сама его ссылка на югъ Россіи была слѣдствіемъ того, что по рукамъ ходили его возбуждающіе къ энергическому дѣйствію, политическому или соціальному, стихи. Въ извѣстной своей «Деревнѣ», 1819 г. (I, 205), клеймя «дикое барство», которое «присвоило себѣ насильственной лозой и трудъ, и собственность, и время земледѣльца», авторъ заключаетъ произведеніе стихами, исполненными тоски какого-то ожиданія:

Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный
И рабство падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?

Всѣ эти золотыя грезы молодости были разрушены событіями 14-го декабря 1825 г., какъ падаютъ карточные домики дѣтей отъ дуновенія вѣтра. Провалилась цѣликомъ вся недозрѣлая программа партіи со всѣми ея положеніями общественной и политической, и международной реформы. Пути дальнѣйшаго слѣдованія обѣихъ національностей, русской и польской, соединявшіеся идеально въ умахъ передовыхъ людей движенія, разошлись уже въ то время, когда началось знакомство Мицкевича съ Пушкинымъ. Оба поэта даже и не подозрѣвали, какое огромное пространство стало теперь между этими разошедшимися путями. Въ глазахъ Мицкевича императоръ Николай еще не переставалъ быть царемъ конституціоннымъ польскимъ. Въ 1829 г., 12-го іюня, онъ писалъ письмо къ Ѳ. Булгарину, въ которомъ, по поводу коронаціи августѣйшей четы въ Варшавѣ, изображалъ онъ свой восторгъ и счастіе, и энтузіазмъ, и радость своихъ земляковъ по поводу этого торже-

ственнаго акта (Хмѣлёвскій, Ад. М., II, 467). Что касается Пушкина, то катастрофа 14-го декабря не измѣнила собственно его сердечныхъ отношеній къ наказаннымъ за бунтъ декабристамъ, но видоизмѣнила во всемъ и значительно его программу будущаго. Въ своихъ лекціяхъ въ Collège de France Мицкевичъ выражается, говоря о Пушкинѣ (69-я лекція), что, послѣ 14-го декабря 1825 г., онъ потерялъ бодрость и энтузіазмъ политическій, что онъ сталъ падать (commença à déchoir), что̀ отразилось и на его поэтическихъ произведеніяхъ. Онъ не сознавалъ еще, что ошибался, но въ близкомъ кругу онъ уже говорилъ о своихъ бывшихъ друзьяхъ и объ ихъ идеяхъ съ горечью и пренебреженіемъ.—Эти сужденія несправедливы, пристрастны и не сходятся ни съ дѣйствительностью, ни съ тѣмъ, что̀ самъ Мицкевичъ писалъ въ некрологѣ Пушкина въ 1837 г., будто въ то время, когда они познакомились, Пушкинъ достигалъ зрѣлости, развивался, изъ байрониста превращался въ народнаго русскаго поэта, изучающаго народныя пѣсни, сказки, народную исторію, пускающаго корни въ народную почву, такъ что Мицкевичъ ожидалъ отъ него чего-нибудь колоссальнаго (Mélanges posthumes d'A. Mickiewicz, 1-re série, Paris, 1872, p. 298—305). Прибавимъ, что однимъ изъ характернѣйшихъ хорошихъ качествъ Пушкина было его постоянство въ дружбѣ, чувство нѣжнѣйшей, почти дѣтской, привязанности къ любимцамъ юности. Пушкинъ никогда не отрекался отъ своихъ опальныхъ друзей. Несмотря на свое весьма шаткое положеніе, онъ писалъ, въ лицейскую годовщину 19-го октября 1827 г.:

Богъ помощь вамъ, друзья мои,
И въ буряхъ, и въ житейскомъ горѣ,
Въ краю чужомъ (Тургеневы А. и Н.), въ пустынномъ морѣ
(Матюшкинъ),
И въ мрачныхъ пропастяхъ земли!

Еще раньше того (вѣроятно, въ началѣ 1827 г.) отправлены въ Сибирь (само собою разумѣется, тайно)

горячія строфы «Посланія» (II, 11), предвозвѣщающія узникамъ, правда, не революцію, но амнистію, въ воспослѣдованіе которой Пушкинъ твердо вѣровалъ до конца своей жизни:

Во глубинѣ сибирскихъ рудъ
Храните гордое терпѣнье:
Не пропадетъ вашъ скорбный трудъ
И думъ высокое стремленье.
Несчастью вѣрная сестра,
Надежда, въ мрачномъ подземельѣ
Пробудитъ бодрость и веселье
Придетъ желанная пора:
Любовь и дружество до васъ
Дойдутъ сквозь мрачные затворы,
Какъ въ ваши каторжныя норы
Доходитъ мой свободный гласъ;
Оковы тяжкія падутъ,
Темницы рухнутъ—и свобода
Васъ приметъ радостно у входа,
И братья мечъ вамъ отдадутъ.

Не подлежитъ сомнѣнію, что и послѣ паденія декабристовъ Пушкинъ считалъ себя ихъ товарищемъ, случайно спасшимся послѣ крушенія ихъ корабля. Такой смыслъ имѣетъ помѣченный 16-мъ іюля 1827 г. отрывокъ «Аріонъ» (II, 15):

Погибъ и кормчій и пловецъ!
Лишь я, таинственный пѣвецъ,
На берегъ выброшенъ грозою.
Я гимны прежніе пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнцѣ, подъ скалою.

Что касается до программы практическихъ задачъ и затѣй декабристовъ, то онѣ оказались безусловно неисполнимыми, несостоятельными. Будучи одаренъ необыкновенно упругимъ темпераментомъ, весьма трезвымъ взглядомъ и большою сообразительностью, Пушкинъ послѣ событія, которое смело его друзей, — тогдашнихъ либераловъ,—не хандрилъ, не опустилъ рукъ, не отчаялся и не сдѣлался нелюдимомъ или заговорщикомъ, но сталъ

бодро и не унывая созидать, въ своей всегда работающей и богатой идеями головѣ, идеалъ иного будущаго, непохожаго на то, которое онъ себѣ до того времени воображалъ. Въ періодъ своего знакомства съ Мицкевичемъ еще основныя положенія и задачи будущаго оставались у Пушкина прежнія, только онѣ отодвигались въ неизмѣримую почти даль. Несоотвѣтствующими задачамъ оказывались средства, и эту слабую сторону въ неудавшемся предпріятіи подвергалъ Пушкинъ безпощадной критикѣ; рѣзкость которая огорчала Мицкевича. Вопросы политическіе не переставали занимать по прежнему Пушкина; на этой-то почвѣ, а не въ области чистаго искусства, нашлись точки соприкосновенія его съ Мицкевичемъ, Мицкевичъ не считалъ также никогда поэзію единственнымъ дѣломъ и главною задачею своей жизни; на первомъ планѣ стояли у него мораль, человѣческое благо, счастіе людей, осуществляемыя политическими средствами (такова и основная мысль третьей части «Дѣдовъ»). Мицкевичъ сообщаетъ (въ некрологѣ Пушкина), что и Пушкину противно было артистическое равнодушіе Гёте ко всему, вокругъ него происходящему, что онъ презиралъ писателей, не имѣющихъ цѣли, направленія. Мицкевичъ опредѣлилъ довольно точно, о чемъ онъ бесѣдовалъ съ русскимъ поэтомъ: «Пушкинъ удивлялъ слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума, обладалъ громадною памятью, вѣрнымъ сужденіемъ, изящнѣйшимъ вкусомъ. Когда онъ разсуждалъ о политикѣ иностранной и внутренней, казалось, что говоритъ посѣдѣлый дѣловой человѣкъ, питающійся ежедневно чтеніемъ парламентскихъ преній... Рѣчь его, въ которой можно было замѣтить зародыши будущихъ его произведеній, становилась болѣе и болѣе серьезною. Онъ любилъ разбирать великіе, религіозные и общественные вопросы, само существованіе которыхъ было, повидимому, неизвѣстно его соотечественникамъ». Мицкевичъ сознавалъ начинавшееся охлажденіе русской публики по отношенію къ Пушкину: «публика оставляла Пушкина

потому, что не находила въ немъ прежней точки опоры. Она хотѣла бы обрѣсти въ своемъ любимомъ поэтѣ руководителя совѣсти или, по крайней мѣрѣ, руководителя общественнаго мнѣнія, который бы сказалъ: что̀ намъ дѣлать? чего ждать?» (69-éme leçon). Между тѣмъ Пушкинъ не зналъ что̀ сказать. Самому Мицкевичу будущее направленіе русскаго поэта представлялось неяснымъ и загадочнымъ. Вотъ что̀ сказано въ некрологѣ Пушкина: «что̀ происходило въ его душѣ? проникалась ли она втихомолку вліяніемъ того духа, который одушевляетъ произведенія Манцони и Сильвіо Пеллико, (т.-е. поэтовъ терпѣливой, страдальческой оппозиціи)? Или же его воображеніе работало надъ воплощеніемъ идей въ родѣ тѣхъ, какія возвѣстили Сенъ-Симонъ или Фурье? Этого я не знаю; въ его мелкихъ стихотвореніяхъ и бесѣдахъ появлялись признаки обоихъ этихъ направленій».

Намъ трудно указать, въ какихъ мелкихъ стихотвореніяхъ Пушкина открылъ Мицкевичъ зародыши отвлеченныхъ общечеловѣческихъ утопій. Кажется что умъ Пушкина не былъ вовсе къ нимъ склоненъ. Въ общихъ чертахъ дилемма, которую ставитъ Мицкевичъ, примѣнима была вполнѣ къ цѣлому обществу русскому тогдашнему, и по этой причинѣ приложена Мицкевичемъ и къ Пушкину.

Оба предположенія Мицкевича основывались на томъ, что Пушкинъ останется вѣренъ началамъ русскаго либерализма, побѣжденнаго въ декабрѣ 1825 года, и обреченъ на роль бойца оппозиціи, протестующаго въ предѣлахъ возможности противъ водворившагося послѣ катастрофы режима. Ни та, ни другая изъ предугадываемыхъ Мицкевичемъ ролей не были у Пушкина ни въ его натурѣ, ни въ его характерѣ. Никакіе удары судьбы не могли сломить Пушкина; къ нему, мгновенно послѣ удара, возвращались и бодрость, и надежды, но онъ не былъ созданъ для упорной, не имѣющей никакихъ видовъ на успѣхъ, борьбы; онъ не любилъ плыть

противъ теченія и въ душѣ былъ, по крайней мѣрѣ послѣ катастрофы, искреннимъ сторонникомъ правительства и власти. Еще находясь въ ссылкѣ въ Михайловскомъ, въ январѣ 1826 г., онъ писалъ къ Дельвигу (VII, № 162): «я бы желалъ вполнѣ и искренно помириться съ правительствомъ. Въ этомъ желаніи болѣе благоразумія, нежели гордости съ моей стороны». По совершенно вѣрному замѣчанію Мицкевича, императоръ Николай обнаружилъ рѣдкую проницательность (sagacité rare), отпуская Пушкина на свободу и взявъ только съ него честное слово, что онъ не употребитъ ея во зло. Пушкинъ былъ до глубины души тронутъ этимъ доказательствомъ довѣрія, а такъ какъ онъ былъ притомъ величайшій оптимистъ и весьма дѣятельный человѣкъ, то ему показалось, что ему открывается въ новыхъ, хотя и трудныхъ условіяхъ извѣстное поприще для полезной дѣятельности. Не хлопоча для себя ни о чемъ и храня, какъ зѣницу ока, свою нравственную независимость, Пушкинъ пытался принести пользу другимъ, наиболѣе въ томъ нуждающимся. Въ декабрѣ 1826 г. (II, 7, Стансы), поднося императору Николаю значительно польщенный насчетъ незлобія портретъ Петра В., Пушкинъ кончалъ стихи такимъ обращеніемъ къ государю:

Семейнымъ сходствомъ будь же гордъ,
Во всемъ будь пращуру подобенъ:
Какъ онъ, неутомимъ и твердъ,
И памятью, какъ онъ *незлобенъ*(?).

Въ 1828 году, выражая свою искреннюю благодарность за дарованную ему свободу, Пушкинъ защищаетъ себя передъ друзьями:

Я—льстецъ?—Нѣтъ, братья, льстецъ лукавъ
Онъ горе на царя накличетъ,
Онъ изъ его державныхъ правъ
Одну лишь милость ограничитъ...
Бѣда странѣ, гдѣ рабъ и льстецъ
Одни приближены къ престолу,
А Богомъ избранный пѣвецъ
Молчитъ, потупя очи долу!

Еще въ ноябрѣ 1830 (письмо къ Вяземскому, VII, № 253) Пушкинъ былъ въ полномъ упованіи амнистіи. «Каковъ государь? Молодецъ! того и гляди, что нашихъ каторжниковъ проститъ». Этому благоговѣйному поклоненію особѣ государя Пушкинъ остался вѣренъ до послѣдняго издыханія, какъ то̀ видно изъ словъ, сказанныхъ Жуковскому (8-е изданіе, Ефремова, 1882, VII, 430, 441): «скажи, что мнѣ жаль умереть; *былъ бы весь его*». Хотя эти слова были, въ моментъ ихъ произнесенія, вполнѣ искренни, но сильно бы ошибся тотъ, кто полагалъ бы, что поэта можно всегда держать на цѣпочкѣ, хотя бы то была стальная цѣпочка чувства благодарности. Эпиграммы срывались съ языка невольно: несмотря на нѣжнѣйшія чувства уваженія и любви, не могъ пощадить онъ ни Карамзина, ни Жуковскаго, не могъ онъ отъ времени до времени не съострить ни «насчетъ небеснаго отца», ни «насчетъ царя земного» (I, 198). Подъ самый конецъ жизни, 5-го іюля 1836 г., вѣчный шутникъ, забавлявшійся озадачиваніемъ литераторовъ насчетъ иностранныхъ поэтовъ которыхъ якобы онъ переводилъ, писалъ онъ дивные, по красотѣ и по юмору, стихи, которые озаглавилъ сначала: «изъ Alfred de Musset», а потомъ: «Изъ VI Пиндемонте», въ которыхъ изобразилъ самаго себя и изъ которыхъ позаимствуемъ конецъ (II, 187):

...никому
Отчета не давать; себѣ лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ,
Дивясь божественнымъ природы красотамъ.
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья—
Вотъ счастье! вотъ права!

VII.

Чѣмъ больше мужалъ и входилъ въ лѣта Пушкинъ тѣмъ болѣе онъ степенился, становился положительнымъ,

консервативнымъ человѣкомъ въ политикѣ, чуждающимся фрондерства. По своему собственному признанію (письмо къ Жуковскому, начала 1826 г., VII, № 160), онъ подсвистывалъ Александру I-му до самаго гроба, но императору Николаю онъ былъ вполнѣ и душевно преданъ. На это подсвистываніе онъ смотрѣлъ теперь какъ на ребячество, на увлеченія молодости, отъ которыхъ онъ постепенно началъ отрекаться еще въ Одессѣ въ 1823 г. («это мой послѣдній либеральный бредъ»: письмо къ А. Тургеневу, VII, № 49). Ему вполнѣ уяснился общій смыслъ русской исторіи, ея неизмѣнная формула: всякое крупное политическое дѣйствіе—только по почину правительства; оно есть движущее и образующее начало въ русской исторіи; консервативные элементы являются только задерживающими тормазами; всѣ великіе государи въ Россіи были своего рода революціонеры; Петръ Великій—больше всего (Pierre I est à la fois Robespierre et Napolèon I—la révolution incarnée... V, 87, изданія 8-го, Ефремова, черновыя замѣтки въ тетрадяхъ). Замѣтимъ мимоходомъ, что у Мицкевича, вь его лекціяхъ (48 l.), приводится та же мысль о поразительномъ сходствѣ Петра съ монтаньярами—въ мельчайшихъ подробностяхъ, въ нервномъ безпокойствѣ, точно у тигра, въ судорожныхъ искаженіяхъ лица, и Мицкевичъ указываетъ на эту мысль, какъ на раздѣляемую русскими [1]), изъ чего мы, повидимому, въ правѣ заключить о томъ, что, можетъ быть, сама мысль заимствована Мицкевичемъ отъ Пушкина и передана ему въ памятной бесѣдѣ у памятника.

Общій смыслъ русской исторіи несомнѣнно таковъ, какимъ представлялъ его себѣ Пушкинъ, но крайне ошибочно было бы предположеніе, что само движеніе совер-

---

[1]) On peut regarder l'empire de Pierre le Grand comme une Convention en permanence; les Français se recrient que la Convention travaillait pour la liberté et la Russie pour le despotisme; *les Russes répondent* que Pierre le Grand organisait, tandis que la Convention ne faisait que dètruire.

шается непрерывно, что въ каждый моментъ общество движется одинаково быстро, увлекается впередъ правительственными реформаторами. Государственная политика каждаго отдѣльнаго момента есть весьма сложное произведеніе всѣхъ современныхъ вѣяній и настроеній, силы вещей, того, что̀ въ прежнія времена называли духомъ вѣка. Слѣдуетъ признать, что условія новаго періода, въ которомъ пришлось жить Пушкину послѣ 1825 г., клонились вообще не къ ускоренію, а къ задержкѣ общественнаго движенія, и были крайне неблагопріятны для литературы. Въ крайне утомленной послѣ французской революціи и Наполеонскихъ войнъ Европѣ преобладала реакція. Императоръ Николай былъ общепризнаннымъ рыцаремъ европейской контръ-революціи. Россія являлась твердынею легитимизма и охранительныхъ началъ. Сама она представлялась весьма стройною на видъ громадою, почти неподвижною,—такъ тихо и почти автоматически совершались въ ней всѣ жизненныя отправленія, точно въ часовомъ механизмѣ. По своимъ формамъ она являлась старинною патріархальною монархіею, опирающеюся на дворянствѣ; дворянство, какъ сословіе, покоилось даже не на землевладѣніи, а на душевладѣніи, слѣдовательно на крѣпостномъ правѣ. При такихъ условіяхъ крѣпостное право становилось одною изъ бытовыхъ основъ общества, къ которой даже и мысленно нельзя было прикасаться. При такой солидарности, въ теченіи цѣлыхъ десятковъ лѣтъ, правительства и душевладѣльческаго дворянства въ вопросѣ о крѣпостныхъ, побѣжденному въ декабристахъ русскому либерализму приходилось надѣяться на неопредѣленное по времени будущее, ждать, пока обнаружатся силою вещей слабыя стороны системы управленія съ дворянскимъ оттѣнкомъ, пока измѣнится точка зрѣнія правительства на вопросъ, и, ожидая, сосредоточивать всѣ усилія на одинъ пунктъ, на отмѣну крѣпостничества, и подготовлять къ этой реформѣ умы лучшихъ и даровитѣйшихъ представителей самаго дворянства. Извѣстно,

что оппозиція исполнила по мѣрѣ возможности свою трудную работу, на которую косо смотрѣли въ свое время и крайне подозрительно — и современные правительственные люди, и дворянское сословіе, и что усилія ея вознаграждены были впослѣдствіи прекрасными плодами, какіе принесла эта работа въ слѣдующее за тѣмъ царствованіе. Пушкина нѣтъ въ рядахъ этихъ людей, которыхъ предугадывалъ Мицкевичъ, произнося имена Манцони и Сильвіо Пеллико. Публика стала дѣйствительно къ нему охладѣвать, потому что, по замѣчанію Мицкевича, она не находила уже въ немъ «son directeur de conscience, son directeur d'opinion», общественный дѣятель въ немъ какъ будто бы и не высказывался, а оставался только великій и неподражаемый жрецъ чистаго искусства. Не изъ изданныхъ при жизни произведеній, а изъ оставшагося послѣ Пушкина литературнаго наслѣдства, изъ черняковъ и отрывковъ, видно, что онъ не то, чтобы сдѣлался равнодушнымъ къ политикѣ и общественнымъ вопросамъ, но радикальнѣйшимъ образомъ, самъ, можетъ быть, того не замѣчая, измѣнился, что онъ оставилъ убѣжденія, которыя вдохновляли его въ годы молодости, что онъ перешелъ уже къ консерваторамъ, раздѣлялъ узко-дворянскіе взгяды и сталъ критически относиться къ реформѣ петровской, и даже не прочь былъ проводить эти взгляды и дѣйствовать какъ публицистъ въ этомъ направленіи. Обстоятельства помѣшали ему осуществить эти намѣренія, по той только очень простой причинѣ, что до конца своей жизни онъ не имѣлъ въ литературной дѣятельности полной своей воли. Этому перерожденію содѣйствовало множество причинъ: непокидавшая Пушкина до конца его жизни жажда общественной дѣятельности, прямой и непосредственной, рѣдкая способность приноровляться оппортунистически ко всякому твердо установившемуся порядку вещей, живость воображенія, заставляющая его усматривать въ дѣйствіяхъ правительства осуществленіе того что̀ было совершенно чуждо

видамъ правительства, но чего онъ самъ надѣялся и страстно желалъ; наконецъ, впечатлѣнія ранняго дѣтства, дворянское воспитаніе, атмосфера, среди которой онъ выросъ, растлѣвающія привычки барства и крѣпостничества, которыя становились сильнѣе послѣ крушенія идеаловъ либерализма, развѣянныхъ событіями декабря 1825 года. Крайне любопытно прослѣдить по письмамъ и черновымъ наброскамъ, какъ возникаютъ въ артистически-творческой, геніальной головѣ Пушкина паутинныя сѣти публицистическихъ мечтаній, и въ какіе сплетаются онѣ причудливые узлы.

Первый признакъ поворота въ анти-петровскомъ дворянскомъ направленіи содержится въ курьезномъ письмѣ къ кн. Вяземскому (VII, № 218), изъ Москвы, 16-го марта 1830 г. «Государь оставилъ въ Москвѣ,—пишетъ Пушкинъ,—проектъ новой организаціи, *контръ-революціи революціи Петра*. Вотъ случай написать политическій памфлетъ, ибо правительство дѣйствуетъ или намѣрено дѣйствовать въ смыслѣ европейскаго просвѣщенія. Огражденіе дворянства, подавленіе чиновничества, новыя права мѣщанъ и *крѣпостныхъ* — вотъ великіе предметы. Какъ ты? я думаю, пуститься въ политическую прозу». Все сообщаемое извѣстіе состоитъ изъ призраковъ и иллюзій. Не было предполагаемо дарованіе правъ мѣщанамъ и крѣпостнымъ. Ограждать дворянство не приходилось, съ нимъ однимъ считалось правительство, ему предоставляло оно власть надъ крѣпостными, множество должностей для замѣщенія посредствомъ выборовъ и разныя преимущества при восхожденіи по ступенямъ табели о рангахъ. Если бы предполагаемо было дѣйствительно подавить чиновничество, то такая реформа заслуживала бы вполнѣ названія контръ-петровской, потому что Петръ былъ настоящимъ создателемъ новѣйшей бюрократіи, и Пушкинъ былъ правъ, когда, осуждая — хотя и съ чисто дворянской точки зрѣнія—его созданія, писалъ въ замѣткахъ къ исторіи Петра Великаго (VI, 326): вотъ уже 150 лѣтъ, какъ «табель о рангахъ сме-

таетъ дворянство въ одну кучу, а затѣмъ уничтоженіе майоратства *плутовскимъ* образомъ довершило паденіе передоваго класса. Что изъ сего слѣдуетъ? восшествіе Екатерины II, 14-е декабря и т. д.». Но именно въ то время менѣе чѣмъ когда-либо можно было помышлять о подавленіи чиновничества. Развѣтвленная до безконечности, какъ исполинскій полипъ, бюрократическая машина изолировала вполнѣ народъ отъ правительства. Та политическая проза, о которой Пушкинъ писалъ къ Вяземскому, предназначалась для «Литературной Газеты» барона Дельвига, въ которой Пушкинъ велъ ожесточенную литературную войну съ двумя весьма опасными по своему положенію журнальными, какъ ихъ называли тогда, «братьями-разбойниками», Н. Гречемъ и Ѳ. Булгаринымъ. Осенью 1830 г. въ Болдинѣ набросаны были на бумагу теоретическія замѣтки и проекты критическихъ и теоретическихъ статей для газеты, которыя, вѣроятно, потому только не были потомъ отдѣланы, что сама газета была пріостановлена изданіемъ, а затѣмъ скончался потрясенный ея судьбою самъ Дельвигъ, 14-го января 1831 года. Исходною точкою зарождавшейся у Пушкина цѣлой теоріи русской аристократіи послужила критика «Исторіи русскаго народа», Н. Полевого, который, какъ извѣстно, придерживаясь изслѣдованій Гизо, усматривалъ и на Руси феодализмъ. Пушкинъ, какъ и слѣдовало, опровергалъ это мнѣніе, какъ исторически невѣрное; но въ противность тому, что̀ онъ проповѣдывалъ въ молодости, онъ уже сожалѣетъ, что въ Россіи не водворился феодализмъ,—система простая и сильная, основанная на правѣ завоеванія. Если бы феодализмъ установился, то могла бы выработаться верхняя палата, какъ первый опытъ такъ-называемыхъ Пушкинымъ учрежденій независимости, къ которому бы потомъ примкнуло собраніе общественныхъ представителей. Мѣсто феодализма заступило боярство, крѣпнувшее посредствомъ мѣстничества и со временемъ могущее сдѣлаться наслѣдственнымъ, что̀ составляло бы его хорошую

сторону, потому что «l'hérédité de la haute noblesse (въ совокупности съ майоратами) est une garantie de son indépendance». Цари Θедоръ и Петръ, дѣйствуя за-одно съ низшими слоями служилаго сословія, сокрушили боярство и отмѣнили мѣстничество. Высшая аристократія не сдѣлалась наслѣдственною, а только пожизненною (moyen d'entourer le despotisme des stipendiaires devoués et d'étouffer toute indépendance). Съ Θедора и Петра начался переворотъ, произведшій новое дворянство, богатое, властное, дробящееся чрезъ раздѣлы наслѣдства. Старое боярство рушилось и образуетъ родъ средняго состоянія, къ которому принадлежатъ большею частію и русскіе литераторы. Полагалъ ли вѣроятнымъ Пушкинъ возстановить павшее боярство и предоставить ему вліяніе въ государствѣ, того нельзя себѣ ясно представить по уцѣлѣвшимъ отрывкамъ; но изъ программъ для «Литературной Газеты» (V, 79) оказывается, что онъ понималъ необходимость существованія потомственнаго дворянства, какъ высшаго сословія, награжденнаго бо́льшими (нежели другіе классы) преимуществами относительно собственности и личной свободы, состоящаго изъ лицъ, отмѣнныхъ по своему богатству или образу жизни и имѣющихъ время заниматься чужими дѣлами, слѣдовательно не трудящихся ремесломъ или земледѣліемъ и готовыхъ являться по первому призыву «du souverain». Пушкинъ имѣетъ самыя высокія понятія о цѣли института и объ обязанностяхъ привилегированнаго состоянія: быть живымъ воплощеніемъ независимости, храбрости, благородства, чести вообще,—качествамъ, которыя нужны вообще и всему народу, но они таковы, что независимый образъ жизни способенъ ихъ усилить или развить. Съ этой точки зрѣнія дворянство, по мнѣнію Пушкина, есть «la sauvegarde» трудолюбиваго класса, которому нѣкогда развивать эти качества. Пушкинъ различаетъ дворянство въ республикѣ и въ монархіи (государствѣ): въ первой оно состоитъ изъ богатыхъ людей, которыми кормится народъ (!), а въ монархіи — изъ военныхъ,

составляющихъ войско государево. Затѣмъ онъ ставитъ вопросъ: чѣмъ кончается (т.-е., по мнѣнію Анненкова, «погибаетъ») дворянство?—Въ республнкѣ, — отвѣчаетъ онъ,—аристократіей правъ, а въ монархіи рабствомъ народа. П. В. Анненковъ признаетъ все это за доказательство того, что дворянское направленіе Пушкина происходило не изъ кровной привязанности къ боярскимъ привилегіямъ, а изъ сожалѣнія о потерѣ передовымъ сословіемъ орудій и средствъ сослужить великую службу отечеству; что подъ теоріей Пушкина текла горячая политическая струя; что, строя свою теорію, которая теперь оказывается и несостоятельною, и утопическою, Пушкинъ никогда не переставалъ быть типомъ гуманнаго развитія; что онъ всю жизнь желалъ для родины умноженія правъ и свободы въ предѣлахъ законности и политическаго быта, утвержденнаго всѣмъ прошлымъ и настоящимъ бытомъ Россіи... Въ защиту Пушкина Анненковъ ставитъ, такъ сказать, въ свидѣтели Мицкевича и заключаетъ слѣдующее: «мы убѣждены, что извѣстный глубоко-сочувственный, почти восторженный отзывъ Мицкевича о *политическомъ смыслѣ* Пушкина возникъ преимущественно изъ знакомства съ основными чертами этой самой теоріи (Пушкина), которая уже давно (слѣдовательно, до 1829 г.) народилась и созрѣвала въ головѣ ея автора. Но Анненковъ, очевидно, смѣшиваетъ два разные предмета: аристократическія преданія, свойственныя вообще народамъ, имѣвшимъ, какъ, напримѣръ, Польша, аристократическую формулу развитія въ прошломъ, и аристократическія стремленія,— и полагаетъ, что кто имѣлъ аристократическое, личное или національное, прошлое, тотъ, естественно, долженъ имѣть и аристократическія тенденціи для практической дѣятельности въ будущемъ. Подобный выводъ опровергается опытомъ вѣковъ, противъ него свидѣтельствуютъ и аристократы древнихъ Грецін и Рима, становившіеся во главѣ демократическихъ движеній, и знать французская, кинувшаяся въ революцію, и Байронъ, никогда не

измѣнявшій своему политическому радикализму, и всякая вообще жизне-способная аристократія, которая только тѣмъ и обнаруживаетъ свою живучесть, что стремится къ постепенному отрѣшенію отъ личныхъ и имущественныхъ привилегій, и что практически осуществляетъ она не аристократію правъ, но аристократію обязанностей и освобожденія народа. При всей красотѣ идеала дворянства, какимъ оно должно быть у Пушкина, теорія его несогласна въ практическихъ своихъ результатахъ съ этимъ идеаломъ; она, притомъ, такого рода, что Мицкевичъ никакъ не могъ бы ей сочувствовать и не одобрилъ бы ея, еслибы она ему стала извѣстна изъ бесѣдъ съ Пушкинымъ въ 1828 году.

VIII.

Ближайшимъ ко времени знакомства Мицкевича съ Пушкинымъ выраженіемъ общественныхъ и политическихъ понятій самого Мицкевича слѣдуетъ признать его «Книги польскаго народа и паломничества», 1833 г. Въ этихъ книгахъ, конечно, господствуетъ уже, не существовавшая въ 1828 г., и въ этомъ видѣ весьма ошибочная и односторонняя, идея *мессіанизма*—плодъ горькихъ неудачъ и страданій послѣ событій 1830 года; но въ главныхъ чертахъ основы философско-историческихъ воззрѣній и тамъ остались тѣ же, какія подготовило въ поэтѣ все его прошлое. Въ этихъ книгахъ Мицкевичъ утверждаетъ, что, по ученію Христа, тотъ—бóльшій между людьми, кто имъ служитъ, что христіанство вело народъ постепенно къ свободѣ, что свобода распространялась въ Европѣ постоянно и постепенно, отъ королей исходя, перешла на вельможъ; а эти послѣдніе, ставъ свободными, распространяли ее на города, что она должна была вскорѣ снизойти на весь народъ такъ что 3-го мая король и рыцарство рѣшили всѣхъ поляковъ обратить въ братьевъ, сначала мѣщанъ, а по-

томъ и крестьянъ. Мы вовсе не намѣрены отстаивать эту исторію польскаго народа, исторію сильно фантастическую, но она доказываетъ, что Мицкевичъ отличалъ самый институтъ—и духъ, оживляющій этотъ институтъ, то есть цвѣтъ увядающій—и сѣмя отъ этого цвѣта. Неудивительно, что онъ имѣлъ высокое понятіе объ институтѣ, такъ какъ у него были постоянно передъ глазами и его многовѣковое и великое прошлое, и громадная литература, прославлявшая шляхетство, начинающаяся съ классическаго изображенія у Н. Рейя въ періодъ возрожденія идеала шляхтича, какимъ онъ долженъ быть (Zwierciadło albo żywot poczciwego człowieka, 1567). Когда Мицкевичъ мечтаетъ о рыбацкомъ разбившемся суднѣ, которое будетъ за-ново выстроено и пойдетъ при помощи спасенной отъ кораблекрушенія магнитной иглы компаса,—компасомъ этимъ Мицкевичъ считаетъ не дворянство, которое окончательно растаяло въ народѣ, которому оно сообщило свое шляхетство, но одинаково присущую съ тѣхъ поръ и мужику, и еврею, любовь къ общему отечеству. Польское шляхетство было растеніе, конечно, далеко менѣе красивое, менѣе развѣсистое и прочное, нежели западно-европейскій феодализмъ, оно менѣе располагало дворянъ отстаивать противъ всѣхъ и каждаго свою личность въ твердынѣ своего личнаго права, но въ сравненіи съ польскимъ шляхетствомъ русское боярство представлялось лишь верхнимъ слоемъ служилаго сословія, обязаннаго службою въ должностяхъ земскихъ и придворныхъ или на войнѣ, безусловно зависимыхъ отъ монарха, сильно похожимъ на литовское боярство, какимъ оно было до вступленія на польскій престолъ Ягеллоновой династіи. Пушкинъ также долженъ былъ признать, что институтъ боярства былъ разбитъ въ дребезги и выметенъ совсѣмъ петровскою табелью о рангахъ. Пушкинъ нисколько не заботился, каковъ былъ спеціально духъ этого упраздненнаго древне-московскаго института. Поэтъ заимствуетъ извнѣ западно-европейскія и феодальныя преданія, чувства независимости и чести,

сдѣлавшіяся нынѣ общимъ достояніемъ всѣхъ классовъ, отъ монарха до простого рабочаго, и наполняетъ этимъ содержаніемъ старый сосудъ, въ явно ошибочномъ предположеніи, что огражденное новыми привилегіями сословіе сдѣлается оплотомъ (sauvegarde) общенародной свободы противъ правительства и бюрократіи. Всякое укрѣпленіе сословныхъ дворянскихъ преимуществъ вело бы не къ расширенію общегражданскихъ свободъ, а къ затрудненію освобожденія крестьянъ, котораго, въ сущности, правительство желало, но къ которому опасалось прикасаться и о которомъ оно запретило печатно разсуждать, только въ виду того, чтобы освобожденіемъ крестьянъ не умалить правъ дворянъ и не поколебать тѣмъ самымъ одного изъ устоевъ общественнаго быта.

Стремленіе къ усиленію дворянскихъ преимуществъ по логической связи вещей производило въ одержимомъ имъ лицѣ охлажденіе къ крупному вопросу, служившему въ то время пробнымъ камнемъ либерализма, то-есть къ освобожденію крестьянъ. На эту особенность настроенія Пушкина въ послѣдніе годы его жизни бросаетъ яркій, хотя и перемежающійся свѣтъ его полемическая статья 1834 г.: «Мысли на дорогѣ», заключающая въ себѣ систематическое опроверженіе знаменитаго въ свое время, изданнаго въ 1790 г. и строго запрещеннаго «Путешествія изъ Петербурга въ Москву», Александра Радищева. Сочиненіе Радищева обращалось въ рукописяхъ; оно произвело въ юности большое впечатлѣніе на Пушкина и вдохновило его къ написанію извѣстнаго стихотворенія его «Деревня», 1819 г. (I, 206):

Здѣсь рабство тощее влачится по браздамъ
Неумолимаго владѣльца.
Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ.
Здѣсь дѣвы юныя цвѣтутъ
Для прихоти развратнаго злодѣя, и пр.

Что свое увлеченіе проповѣдникомъ освобожденія крестьянъ Пушкинъ сохранилъ до конца жизни, тому неопровержимымъ доказательствомъ служитъ 6-я строфа

его «Памятника», писаннаго въ 1836 году, которая имѣла слѣдующій видъ въ первоначальной своей редакціи:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что звуки новые для пѣсенъ я обрѣлъ,
Что вслѣдъ Радищеву возславилъ я свободу
И милосердіе воспѣлъ (II, 89).

Не мало должны были удивиться критики, когда въ посмертныхъ бумагахъ Пушкина найдено было такое же, какъ радищевское, путешествіе только въ обратномъ направленіи—изъ Москвы въ Петербургъ, передающее въ сокращеніи его разсказы, но оспаривающее его образы и выводы шагъ за шагомъ. Съ самимъ Радищевымъ Пушкинъ обращается тутъ довольно пренебрежительно и свысока, называетъ слогъ его надутымъ и напыщеннымъ, его самаго—истиннымъ представителемъ полупросвѣщенія, вѣчно кому-нибудь подражающимъ и отражающимъ криво, какъ въ кривомъ зеркалѣ, всю французскую философію XVIII вѣка (V, 349—356), писателемъ дерзкимъ, съ которымъ приходится соглашаться только изрѣдка и по-неволѣ. По поводу статей Пушкина о Радищевѣ мнѣнія раздѣлились: писатели консервативнаго лагеря считали ихъ доказательствомъ полной зрѣлости и отрезвленія, искупившаго прежнія несбыточныя мечтанія поэта; а въ прогрессивномъ и либеральномъ лагерѣ «Мысли на дорогѣ» разсматривались какъ перемѣна убѣжденій и отступничество отъ прежнихъ началъ. Недавно В. Якушкинъ («Радищевъ и Пушкинъ», Москва, 1886) попытался возстановить славу и доброе имя Пушкина посредствомъ согласованія обоихъ мнѣній [1]). Онъ утверждаетъ, что Пушкинъ прибѣгалъ къ средству, часто употреблявшемуся писателями XVIII вѣка, которые хитрили съ цензурою и рѣзко порицали тѣ самыя мысли, которыя хотѣли распространять, что такой «рабій», эзоповскій языкъ былъ неизбѣжною необ-

[1]) Сравн. «Вѣстникъ Европы», февраль, 1887 г.: Литерат. Обозр., стр. 870.

ходимостью того времени; что оппортунистъ-Пушкинъ рѣшился, хотя бы и прибѣгая къ такому способу, воскресить память о великомъ писателѣ и его замѣчательномъ произведенiи. Въ этомъ можетъ быть доля правды; но остается невыясненнымъ то, не замаскировалъ ли себя Пушкинъ до того, что ввелъ въ заблужденiе всѣхъ своихъ читателей и достигнулъ цѣли, прямо противной предполагаемымъ его намѣренiямъ. Въ «Мысляхъ на дорогѣ» Пушкинъ почти помирился съ крѣпостнымъ состоянiемъ, потому что повинности мужика не тягостны, подушная подать платится мiромъ, барщина опредѣлена закономъ, оброкъ неразорителенъ. Въ разговорѣ съ англичаниномъ (V, 241) Пушкинъ убѣждается англичаниномъ, что состоянiе русскаго крестьянина во сто кратъ лучше состоянiя англiйскаго рабочаго. Нашъ крестьянинъ опрятнѣе англiйскаго; въ его поступи и рѣчи нѣтъ и тѣни рабскаго униженiя по отношенiю къ помѣщику. Власть помѣщиковъ необходима для рекрутскаго набора и т. д. Такое резонирующее укрѣпленiе крѣпостничества снискивало ему сторонниковъ, конечно, помимо вѣдома его и воли, между столбами консерватизма и рабовладѣльчества, но точно холодною водою окачивало прогрессистовъ, у которыхъ оно отнимало всякую надежду на измѣненiе правоотношенiя. Такою цѣною едва ли стоило оплачивать даже и распространенiе въ публикѣ свѣденiй о Радищевѣ. Всякiя возможныя попытки истолковать загадочную рукопись въ смыслѣ благопрiятномъ Пушкину, въ концѣ концовъ, требуютъ новыхъ объясненiй. Либо приходится признать, что онъ въ болѣе зрѣлыхъ лѣтахъ въ меньшей уже степени представлялъ собою типъ гуманнаго развитiя; что въ теорiяхъ его уже замѣчалось меньше горячей политической струи; что, по мѣрѣ того, какъ улетучивалась юность, ослаблялось и то, чтó было только внушенiемъ духа времени, зато, съ другой стороны, усиливались и оплотнялись прежнiя наклонности и привычки самаго ранняго дѣтства. Его увлеченiе идеею освобожденiя

крестьянъ, быть можетъ, было отвлеченное, теоретическое; къ тому же онъ, по природѣ, былъ неизмѣнно добрымъ для всѣхъ, даже для тѣхъ, кого называлъ «хамами» (VII, № 173). Либо наоборотъ придется допустить, что опроверженіе Радищева было только преувеличеннымъ «оппортунизмомъ», доведеннымъ до того, что надѣтая маска могла плотно пристать къ лицу, и въ сознаніи и совѣсти начали совершаться трудно объясняемыя сдѣлки между добрыми пожеланіями и невольнымъ преклоненіемъ предъ признаваемымъ непреодолимымъ господствомъ зла.

IX.

Разборъ элементовъ, изъ которыхъ составилась художественная характеристика Петра В. въ «Мѣдномъ Всадникѣ», былъ бы лишенъ надлежащей полноты, если бы мы обошли одинъ важный вопросъ, послѣдній изъ тѣхъ, которые подлежатъ разсмотрѣнію въ настоящемъ очеркѣ: о вліяніи на эту характеристику архивныхъ изысканій Пушкина и изученія Петра по подлиннымъ документамъ его царствованія. Пушкинъ предугадалъ анти-петровское направленіе въ политикѣ, котораго теоретиками были московскіе славянофилы, котораго практическія попытки стали возможны только позднѣе, послѣ освобожденія крестьянъ, послѣ введенія въ жизнь общественную множества мало-культурныхъ, не отполированныхъ цивилизаціею петровскаго періода элементовъ. Противъ Петра В. возстановляло Пушкина прежде всего воспоминаніе о томъ, что самъ онъ, Пушкинъ—потомокъ древнихъ и знатныхъ бояръ, которые были всѣ сметены въ одну со многими другими классами кучу. Едва ли, однако, всѣ нареканія этого потомка бояръ могли бы подѣйствовать такимъ образомъ на колосса, чтобы онъ спустился съ своего гранитнаго подножія и чтобы сверкнули гнѣвомъ его очи. Въ 1831 году, по запискѣ Пушкина, ему разрѣшено рыться въ государ-

ственныхъ архивахъ для собранія матеріаловъ къ исторіи Петра В. и его ближайшихъ наслѣдниковъ,—первый шагъ къ занятію въ будущемъ почетной, вакантной послѣ Карамзина, должности россійскаго исторіографа. Послѣ четырехъ лѣтъ постоянныхъ работъ оказалось (15 декабря 1835 г.), что собрана только большая масса историческихъ сырыхъ матеріаловъ, не провѣренныхъ критикою и расположенныхъ безъ плана, только по порядку лѣтъ. Пушкинъ пытался строить изъ этихъ данныхъ цѣлое, но тотчасъ бросилъ эту работу и ограничился одними бѣглыми замѣтками и вопросительными знаками, которые обнаруживаютъ, что онъ замѣтилъ нѣкоторую двойственность въ личности Петра, крупныя и разительныя противорѣчія въ ней, которыхъ онъ объяснить не могъ; что для разгадки этого историческаго лица у него недоставало подходящаго ключа. О характерѣ этихъ замѣтокъ можетъ дать понятіе слѣдующая (VI, 327): «Достойна удивленія разность между государственными учрежденіями Петра и временными его указами. Первыя суть плоды ума обширнаго, исполненнаго доброжелательства и мудрости; вторые нерѣдко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутомъ. Первыя были для вѣчности или по крайней мѣрѣ для будущаго; вторые вырывались у нетерпѣливаго, самовластнаго помѣщика. Это внести въ исторію Петра, *обдумавъ*». Такимъ-то образомъ формулировалъ Пушкинъ свою задачу, которая была для него совсѣмъ неразрѣшима. Проживи онъ еще десять лѣтъ, онъ бы не написалъ, вѣроятно, исторіи Петра В. Сто лѣтъ едва прошло отъ смерти Петра до момента, когда Пушкинъ принялся писать его исторію; времени этого едва ли хватило бы на то, чтобы, по словамъ Мицкевича, воздвигнуть «эти пышные чертоги, вымыть шампанскимъ паркеты буфетовъ и натереть ихъ менуэтными пà» (Petersburg),—періодъ, похожій на непрестанный маскарадъ, періодъ обезьяничанья и слѣпаго подражанія иностранному. Однако, вслѣдствіе только того, что въ народной исклю-

чительности проломаны многія бреши, что чрезъ эти проломы повѣялъ духъ XVIII вѣка и установилось свободное движеніе воздуха,—уже утончились формы общежитія у вчерашнихъ скиѳовъ, уже ихъ ощущенія и иллюзіи сдѣлались нѣжнѣе и благороднѣе. Невольно улыбнешься, когда услышишь, что одинъ такой юный офранцузившійся скиѳъ, потомокъ древнихъ московскихъ бояръ, писалъ въ 1817 году на портретѣ друга своего, такого же юнаго скиѳа: «Онъ въ Римѣ былъ бы Брутъ, въ Аѳинахъ Периклесъ, У насъ онъ—офицеръ гусарскій» (I, 180). Конечно, ни одинъ, ни другой, не были похожи на древнихъ грековъ и римлянъ, но несомнѣнно, что нѣкоторыя чувства общечеловѣческія и гражданскія, одушевлявшія древнихъ грековъ и римлянъ, бывъ потомъ процѣжены сквозь французскій классицизмъ XVIII вѣка, вошли въ плоть и кровь этихъ «скиѳовъ». Очеловѣченіе ихъ сказывалось въ особенности въ томъ, что пробуждалось въ нихъ непреодолимое, почти физическое отвращеніе отъ грубой силы, попирающей всѣхъ не только безъ милосердія, но даже и безъ соображенія, есть ли какое-нибудь соотвѣтствіе между пользою цѣли и вредомъ средствъ,—отвращеніе, которое во сто кратъ сильнѣе, когда созерцаешь извѣстное историческое дѣйствіе не издали, не сквозь легендарную призму, но находясь въ самой, такъ сказать, исторической бойнѣ. Ипполитъ Тэнъ (Origines de la France contemporaine, III, 152 и 154), описывая, между прочимъ, Петра В., какъ онъ съ хлыстомъ въ рукахъ училъ своихъ «московскихъ медвѣжатъ» танцовать европейскій менуэтъ, остается при томъ, облегчающемъ въ его глазахъ задачу Петра, убѣжденіи, что Петръ не вмѣшивался въ крестьянскій міръ, не трогалъ его и имѣлъ въ числѣ своихъ помощниковъ всѣхъ просвѣщенныхъ людей своей страны. Изъ всѣхъ новѣйшихъ изслѣдованій (С. Соловьевъ, Костомаровъ, Брикнеръ) слѣдуетъ, что условія реформы Петра В. были гораздо труднѣе, нежели Тэнъ предполагаетъ, что Петръ В. не пощадилъ въ обреченномъ на сломку строеніи даже

крестьянскаго міра, что онъ отвергъ всѣ общинныя учрежденія, что онъ имѣлъ крайне малое число помощниковъ, и то болѣе изъ иностранцевъ, что у него мало было собственныхъ организаціонныхъ идей, а бралъ онъ живьемъ все чужое и заимствованное, что отличительная его черта была не глубина замысловъ, но страшное напряженіе воли и неимовѣрная поспѣшность, съ которою онъ несся впередъ, одержимый одною только идеею, притомъ, идеею весьма простою—соорудить скорѣйшимъ путемъ громаднѣйшую державу, употребивъ на это дѣло всякіе безъ разбору матеріалы, всякія, какія нашлись подъ руками, средства. Историческая наука, которая чуждается всѣхъ субъективныхъ влеченій и отвращеній, и которая ищетъ въ событіяхъ только подлежащихъ разрѣшенію загадокъ и задачъ, затрудняется до-нынѣ, при изученіи Петра, встрѣчаемыми въ немъ замѣчательнѣйшими въ психологическомъ отношеніи противорѣчіями, которыя будутъ, по всей вѣроятности, когда-нибудь согласованы посредствомъ обслѣдованія центральнаго узловаго пункта въ этомъ вопросѣ, а именно: свойства его основныхъ идей, раздѣленія мотивовъ, заставлявшихъ его дѣйствовать, на эгоистическіе и альтруистическіе, и сопоставленія, наконецъ, его идей съ завѣтнѣйшими и древнѣйшими надеждами и вожделѣніями народа, который только такимъ образомъ могъ освободиться отъ монголовъ и построить независимое государство, что отрекаясь отъ личнаго счастія отдѣльныхъ лицъ, возлагалъ все свое добро, не разсуждая, на жертвенникъ общественнаго блага (Тэнъ говоритъ: «à l'idée vague du salut public», p. 152); слѣдовательно, и въ данномъ случаѣ народъ этотъ слѣдовалъ за реформаторомъ, хотя и упираясь, и сопротивляясь, по магическому какъ бы заклинанію волшебника. Пушкинъ не обладалъ способностью критическаго, методическаго анализа событій; онъ и въ исторіи былъ только поэтъ, угадывающій рѣшеніе по вдохновенію. Если бы въ немъ были малѣйшіе задатки мистицизма, то и рѣшеніе было бы, вѣроятно, туманное, таинственное, основанное на

чемъ-то недоступномъ пониманію человѣческому. Имѣется въ польской литературѣ у Юлія Словацкаго нѣчто подобное въ одномъ изъ его капитальнѣйшихъ, но и самыхъ загадочныхъ произведеній подъ заглавіемъ: «Царь-Духъ». Въ этой поэмѣ опоэтизированы жестокіе дѣятели въ исторіи, тамъ нашлось бы мѣсто и для Петра Великаго. Необычайно ясный умъ Пушкина не могъ играть въ эту игру, не могъ ставить предположеній о предопредѣленіяхъ свыше. Новый его взглядъ на народнаго героя явился въ формѣ простаго отрицанія: Пушкинъ усомнился только въ томъ, было ли все то добро, что́ создано Петромъ. Поэтъ всмотрѣлся пристально въ лицо реформатора и содрогнулся—до того вдругъ показалось ему это лицо зловѣщимъ, обрызганнымъ кровью, смертоноснымъ. Лицо было какъ будто знакомое, но оно получило неожиданно совсѣмъ новое выраженіе, оно явилось воспроизведеніемъ «восточнаго типа *бича божія*—Аттилы». Такимъ-то образомъ объясняетъ происхожденіе крупнаго произведенія Пушкина, остающагося и до-нынѣ, несмотря на это объясненіе, загадочнымъ, лучшій до сихъ поръ знатокъ и коментаторъ Пушкина, собиратель и издатель его произведеній—П. В. Анненковъ. Когда поэтъ приступилъ къ осуществленію своего замысла, то онъ долженъ уже былъ считаться и съ цензурою и съ публикою, онъ почти вычеркнулъ всю хулу и злословіе, умалилъ по возможности хулителя, превратилъ его въ маленькаго, ничтожнаго человѣчка, представилъ его сошедшимъ съ ума, превратилъ движеніе судорожно сжатой, грозящей «кумиру» руки въ пароксизмъ бѣшенства. Даже мрачный образъ наводненія очень ловко спрятанъ, поставленъ на второмъ планѣ, а на первомъ, во вступленіи, воздвигнуто нѣчто въ родѣ тріумфальныхъ воротъ, слышится нѣчто въ родѣ побѣднаго марша, воспѣты гранитъ, морозы сѣверной столицы, ночныя пирушки, военные парады и стрѣльба изъ пушекъ корабельныхъ и крѣпостныхъ по Невѣ. Эти громкіе бубны и литавры не спасли, однако, поэму отъ цензуры, но они же, появившись въ посмертныхъ изданіяхъ со-

чиненій Пушкина; сбили съ толку публику. Въ публикѣ поэма считается до-нынѣ апоѳеозомъ реформатора. Ослѣпленные красотою картины, изображающей галлюцинаціи помѣшаннаго канцеляриста, читатели не идутъ дальше и не вникаютъ въ основу, въ содержаніе, въ нравоученіе поэмы.

X.

Перейдемъ къ окончательнымъ выводамъ, къ заключенію.

Сообщаясь другъ съ другомъ въ 1828 г., въ Петербургѣ, Мицкевичъ и Пушкинъ сблизились. Они бесѣдовали не только о предметахъ искусства, но и объ общественныхъ, религіозныхъ и политическихъ вопросахъ. Они разсуждали однажды и о Петрѣ Великомъ, осматривая памятникъ его, и этотъ разговоръ занесенъ былъ въ ихъ воспоминанія. Разговоръ этотъ переданъ былъ въ поэтической формѣ Мицкевичемъ, который заимствовалъ, можетъ быть, нѣсколько мѣткихъ замѣчаній, для характеристики героя, отъ Пушкина, но вложилъ эту характеристику только посредствомъ поэтическаго вымысла въ уста Пушкину, полагаясь на то, что его собственный взглядъ на Петра совпадаетъ со взглядомъ Пушкина или, по крайней мѣрѣ, не противорѣчитъ рѣзкимъ образомъ взгляду Пушкина, хотя въ то самое время существовала уже глубокая рознь въ обоихъ взглядахъ, еще не примѣчаемая самимъ Мицкевичемъ. Произведеніе Мицкевича сдѣлалось извѣстно Пушкину только въ такое время, когда политическія событія уже совсѣмъ разобщили его съ Мицкевичемъ, но также когда и взглядъ его самаго на Петра сталъ болѣе прежняго критическій, ближе подходящій ко взгляду Мицкевича на Петра, нежели въ 1828 г., когда они о Петрѣ бесѣдовали. Пушкинъ не опротестовалъ приписываемыхъ ему въ стихахъ Мицкевича сужденій о Петрѣ; можетъ быть, знакомство съ произведеніемъ Мицкевича вошло въ число мотивовъ,

побудившихъ его создать произведенiе весьма своеобразное, гораздо крупнѣе по размѣрамъ, нежели произведенiе Мицкевича, — произведенiе, въ которомъ коренная его идея не была вполнѣ высказана, по тогдашнимъ условiямъ. Третья четверть вѣка истекаетъ съ того момента, когда оба поэта встрѣтились; Европа значительно видоизмѣнилась, одинъ только колоссъ остался невредимъ и недвижимъ. Если бы предположить, что встрѣча двухъ генiальнѣйшихъ, не превзойденныхъ до-нынѣ, поэтовъ славянскаго мiра произошла теперь, то и взгляды ихъ на державнаго властелина сѣвера были бы совсѣмъ иные. Вопросъ о Петрѣ В. подвигается въ исторiи какъ паукъ,—это одинъ изъ вопросовъ наиболѣе жизненныхъ, наиболѣе привлекающихъ и благодарныхъ. Царь Петръ давно пересталъ быть, въ глазахъ изслѣдователей, чѣмъ-то въ родѣ библейскаго Нимврода, государя, дѣйствующаго наперекоръ законамъ природы, лишь съ тою цѣлью, чтобы, какъ выразился Мицкевичъ, «показать свое всемогущество». Теперь извѣстно, что вся его умственная дѣятельность наполнена была одною идеею, не личною его, но великорусскою, далеко выходящею за предѣлы его личнаго бытiя, его вѣка, и увлекавшею его съ силою, съ какою увлекаетъ религiозная идея своего фанатика, или артистическая идея — художника въ пылу творчества. Идеѣ этой онъ принесъ въ жертву своего сына, не виновнаго, какъ надобно думать, ни въ политическомъ, ни въ уголовномъ смыслѣ; онъ ею былъ такъ занятъ, что не подумалъ, кому ее завѣщать, до того самаго момента, когда цѣпенѣющая рука и застывшiй языкъ отказались указать преемника, такъ что вся будущность монархiи повисла на волоскѣ, предана была на произволъ судьбы, представлена самому случаю. Мицкевичъ отлично постигъ Петра, какъ воплощенiе исполинской силы; мало того: возвысившись надъ своими нацiональными чувствами до болѣе общей точки зрѣнiя, онъ отлично понялъ столь чуждый вообще поляку героизмъ слѣпаго, почти невольническаго

послушанія (Ach! żal mi ciebie, biedny Sławianinie! Biedny narodzie, żal mi twojej doli:—Jeden znasz tylko heroizm—niewoli!). Но для Мицкевича осталось навсегда неразгаданною тайною обаяніе властелина, чарующее его вліяніе на народъ: какимъ образомъ укрощалъ онъ и дѣлалъ себѣ безусловно послушнымъ этого нетерпѣливаго и становящагося на дыбы коня? Какимъ образомъ могла эта масса быть увлечена однимъ представленіемъ о почти необъятной, въ матеріальномъ отношеніи, громадѣ, не наполненной еще содержаніемъ, въ которой не отведено мѣста для личнаго счастья единицъ, которая держится безграничною преданностью, а иногда и страданіемъ этихъ покорныхъ единицъ? Неизмѣримое пространство отдѣляло Мицкевича отъ такого почти античнаго и языческаго понятія о государствѣ; оно отдѣляетъ и насъ,—намъ чрезвычайно трудно усвоить себѣ теперь петровскія идеи. Это отсутствіе въ созданіи петровомъ мѣста для чувствительнаго сердца, уголка для оскорбленнаго чувства эта пробуждающаяся въ единицѣ жажда счастья для себя взята Пушкинымъ какъ точка отправленія; она и составляетъ центральный пунктъ въ поэмѣ, она-то и придаетъ произведенію высокую цѣну и значеніе: червякъ злословитъ; безконечно малое существо грозитъ поднятымъ кулакомъ колоссу. Пробуждающіяся требованія единицы свидѣтельствуютъ о томъ, что перемѣнились времена,—а перемѣнились они отъ успѣховъ цивилизаціи, но самъ-то плодъ зеленъ еще и незрѣлъ, мало еще въ немъ сознанія существа зла и средствъ его леченія. Многіе десятки лѣтъ потрачены будутъ на исканіе чего-то ощупью. Ни къ чему не приведутъ ни скорбь о сметенномъ имъ съ лица земли старомъ порядкѣ вещей, ни жалобы на излюбленный невскій «парадизъ» Петра, съ его ненастьемъ, слякотью и наводненіями, ни мечты о древнемъ строѣ, ни плачъ объ отступленіи отъ чистоты патріархальнаго быта, о порчѣ нравовъ и о культурной денаціонализаціи высшихъ интеллигентныхъ слоевъ общества. Задача освобожденія отъ умственнаго подра-

жанія иноземному и пріобрѣтенія умственной самобытности разрѣшается только поступательнымъ движеніемъ впередъ, при содѣйствіи не однѣхъ внѣшнихъ, механически усвоиваемыхъ, формъ европейской цивилизаціи, но самаго содержанія этой цивилизаціи, развитіемъ чувствъ справедливости и гуманности. Немыслимо возвращаться не только къ до-петровскимъ порядкамъ, но и къ до-петровской племенной и вѣроисповѣдной исключительности. Всякая ислючительность ведетъ къ сокращенію и разрушенію зданія, воздвигнутаго великимъ строителемъ, который сплотилъ его торопясь, правда, и наскоро, изъ столькихъ разновидностей рода человѣческаго, изъ столькихъ племенъ, языковъ и вѣрованій. Соединенныя почти насильственно части держатся нынѣ сами собою крѣпко, не видно въ зданіи ни осѣданія, ни трещинъ, простоять оно можетъ многіе вѣка,—но желательно не исключеніе изъ него, а согласованіе частей, сообщеніе общему жилью бо́льшей массы движущагося воздуха, бо́льшаго количества солнечныхъ лучей, доставленіе всѣмъ бо́льшихъ удобствъ отъ сожитія, насколько такія удобства совмѣстимы съ цѣлымъ, вмѣщающимъ въ себѣ всѣ эти разновидности, съ цѣлью и назначеніемъ государства. Какъ бы ни были велики и разнообразны ремонтныя и детальныя работы, едва ли придется ломать капитальныя стѣны, или класть новые фундаменты: они столь же годятся для будущаго времени, какъ и въ минуту, когда были возведены великимъ зодчимъ.

Мы старались воспроизвести, по мѣрѣ возможности, обстоятельства, сопровождавшія кратковременное, почти моментальное, сближеніе двухъ великихъ поэтовъ славянскаго міра, которыхъ пути случайно пересѣклись почти подъ прямыми углами. Поразительно противоположны были ихъ темпераменты, двѣ разныя стихіи, столь же мало похожія, какъ, напримѣръ, гранитная скала (поэтъ Красинскій любитъ сравнивать Мицкевича со скалою) и зыбкая, на глазахъ моментально измѣняющаяся волна морская, играющая всѣми цвѣтами радуги.

Каждый изъ нихъ былъ превосходнымъ представителемъ самыхъ характерныхъ свойствъ своего племени и народа, оба они были поэты-романтики, оба оказали громадное, до-нынѣ продолжающееся вліяніе на потомство, оба считали себя людьми дѣла и политиками, хотя не были вовсе таковыми, а только, и исключительно, художниками. Если мы были поставлены въ необходомость указать на различныя противорѣчія въ политикѣ-Пушкинѣ, на происшедшія въ немъ, безъ достаточныхъ, по нашему мнѣнію, причинъ, перемѣны въ убѣжденіяхъ, то мы это сдѣлали вовсе не по желанію отыскивать пятна на солнцѣ, но потому, что того требовалъ самъ предметъ нашего изслѣдованія. Несмотря на свою неустойчивость въ коренныхъ убѣжденіяхъ политическихъ и общественныхъ, Пушкинъ всегда былъ человѣкъ симпатичный, и особенно замѣчателенъ онъ былъ именно тѣмъ, что послѣ каждой разразившейся надъ нимъ бури къ нему возвращались спокойствіе духа и веселость; онъ опять возстановлялъ свою, ревниво оберегаемую, независимость, вслѣдствіе необыкновенной упругости своей живой натуры. Подчиняясь невольно, и почти безсознательно, всѣмъ вѣяніямъ, всѣмъ измѣненіямъ въ окружающей его средѣ, Пушкинъ не терялъ никогда бодрости и способности работать при самыхъ тяжелыхъ условіяхъ. Нельзя мѣрять всѣхъ людей всѣхъ временъ однимъ, и въ особенности своимъ собственнымъ, аршиномъ. При оцѣнкѣ дѣятельности Пушкина, надобно, прежде всего, соображаться съ внѣшними условіями его дѣятельности въ переживаемыя имъ трудныя времена. Примѣромъ и образцомъ правильныхъ и справедливыхъ оцѣнокъ будутъ служить хорошія отношенія, которыя сохранили другъ къ другу Пушкинъ и Мицкевичъ, даже и послѣ того, какъ они другъ съ другомъ — по политическимъ убѣжденіямъ—разошлись навсегда.

БАЙРОНИЗМЪ

у

Пушкина.

Байронизмъ у Пушкина.

(Изъ эпохи романтизма).

I.

Недавно, 10-го (22) января 1888 года, исполнилось сто лѣтъ со дня рожденія Джорджа Гордона Байрона. Громкую извѣстность пріобрѣлъ онъ только въ 24 года отъ роду, когда, послѣ изданія первыхъ двухъ пѣсенъ «Чайльдъ-Гарольда», отмѣтилъ, въ мартѣ 1812 г., въ своей записной книжкѣ: «Я проснулся разъ утромъ и узналъ, что я знаменитость» (I awake one morning and found myself famous). Съ тѣхъ поръ, въ теченіе цѣлыхъ двѣнадцати лѣтъ, слава его возрастала и достигла своего апогея въ минуту его кончины 19-го апрѣля 1824 г. въ Миссолунги. Современники не обратили вниманія на то, что погасъ человѣкъ уже изжившійся, искавшій только одной «могилы воина» и писавшій въ стихѣ на 36-ю годовщину своего рожденія: «огонь, пожирающій мою грудь, какъ одинокій волканическій островъ, не свѣточемъ онъ горитъ, но погребальнымъ костромъ» [1]).—

---

[1]) The fire that on my bosom fires
Is lone as some volcanic isle
No torch is kindled at its blaze
A funeral pile.

Всѣхъ поразилъ героизмъ этой смерти, умѣніе дѣйствующаго лица устроить и обставить и жизнь, и кончину свою, поэтически. По смерти Байронъ былъ еще славнѣе, чѣмъ при жизни. Имя его раздавалось во всей Европѣ; онъ казался какимъ-то Наполеономъ въ области поэзіи; поэзія его возбуждала умы, иныхъ выводила изъ себя и раздражала, иныхъ покоряла и увлекала, никого не оставляла равнодушнымъ. Талантливѣйшіе люди на материкѣ Европы, гдѣ вообще его чествовали больше, чѣмъ въ его отечествѣ, открыто признавали себя его поклонниками и послѣдователями. Начинавшій во Франціи свое поприще, плодовитый поэтъ Ламартинъ обращался къ нему (Méditations poétiques, 1820) такимъ образомъ: Toi, dont le monde ignore le vrai nom—Esprit mystérieux, mortel, ange ou démon!—Почти въ томъ же духѣ выразился Пушкинъ въ «Онѣгинѣ»: «Созданье ада, иль небесъ—Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ—Кто жъ онъ?»...—Нынѣ, когда почти совершенно забыто политическое значеніе Байрона, какъ противника вѣнскихъ трактатовъ 1815 г. и религіозно-монархической реставраціи, какъ знаменоносца либерализма, остается неоспоримымъ фактъ его колоссальнаго литературнаго вліянія на современниковъ и ближайшее за ними поколѣніе. Въ исторіи литературы ставится не вполнѣ еще разработанный вопросъ объ отраженіяхъ поэзіи Байрона въ произведеніяхъ другихъ поэтовъ, о сдѣланныхъ ими заимствованіяхъ и о воспроизведеніяхъ его художественныхъ идей, хотя бы и въ иныхъ формахъ. Байронизмъ нашелъ многочисленные отголоски въ восточно-европейскихъ литературахъ, русской и польской. Изслѣдованія о байронизмѣ въ Россіи производились систематически, начиная съ Бѣлинскаго; сырой матеріалъ собранъ почти весь, но предметъ далеко не исчерпанъ. Изслѣдованія не выходили большею частью изъ узкихъ рамокъ самой литературы. Сопоставляемъ былъ только поэтъ съ другимъ какимъ-либо поэтомъ въ ихъ произведеніяхъ, между тѣмъ какъ сила Байрона и его вліяніе заключались

столько же въ его поэтическомъ дарованіи, сколько и въ самой его личности, и только потому байронизмъ, по вѣрному замѣчанію Аполлона Григорьева (Соч. I, 151), былъ своего рода «повѣтріемъ» и пожиралъ страстныя натуры, такъ что, по словамъ того же критика, самъ Пушкинъ поддавался ему скорѣе не какъ художественному образцу, а какъ великому историческому явленію, какъ «властителю думъ вѣка», и видѣлъ въ немъ прежде всего стихійную, слѣпую силу, когда, уподобляя его морю, писалъ: «Онъ былъ, о, море! твой пѣвецъ... Твой образъ былъ на немъ означенъ,—Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ,—Какъ ты, могучъ, глубокъ и мраченъ,—Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ»...

Другой недостатокъ изслѣдованій о байронизмѣ заключается въ томъ, что служащая точкою отправленія поэзія Байрона обыкновенно разсматривается какъ нѣчто цѣльное, вполнѣ законченное и неразлагающееся на свои составные элементы. Конечно, эта поэзія однообразна; виртуозность ея односторонняя. Поэтъ одаренъ пламеннымъ чувствомъ, но воображеніе его ограничено. Ему недоставало того, что Тэнъ называетъ l'esprit sympathique — способности чувствовать за другихъ, или, по выраженію Достоевскаго, перевоплощаться въ другихъ. Всегда и неизмѣнно онъ носится только со своимъ могучимъ *я*, болѣзненно чувствительнымъ, адски горделивымъ, бунтующимъ и неугомоннымъ. Послѣ своего перехода отъ Байрона къ Шекспиру, Пушкинъ, по свойственной ему мѣткости взгляда, сознавалъ эту ограниченность дарованія своего прежняго кумира—Байрона, по крайней мѣрѣ, въ области драмы (письмо къ Раевскому, сентябрь 1825, VII, 158): Ce Byron n'a jamais conçu qu'un seul caractère (et c'est le sien). Ce Byron a partagé entre ses personnages tel et tel trait de son caractère; son orgueil à l'un, sa haine à l'autre, sa mélancolie au troisième, et c'est ainsi que d'un caractère plein, sombre et énergique il a fait plusieurs caractères insignifiants). Какъ ни цѣльна эта поэзія и какъ сильно ни запечатлѣна

она въ каждомъ стихѣ индивидуальностью поэта, какъ ни рѣзки ея основныя черты,—все-таки этихъ чертъ было нѣсколько, и дѣйствіе ихъ было весьма разнообразное, смотря по темпераментамъ, которые оно увлекало. Въ поэзіи Байрона выразился прежде всего духъ вѣка и его преобладающее чувство, лучше сказать—его болѣзнь, міровая скорбь о бытіи,—то, что̀ теперь обыкновенно называютъ *пессимизмомъ*, т. е. пониманіе жизни какъ страданіе и бытія—какъ зло. Кромѣ того, эта поэзія содержала въ себѣ и борьбу съ этимъ зломъ; пріемъ противодѣйствованія ему—прометеевскій, титаническій, а отношеніе къ нему—высокомѣрное, презрительное. Наконецъ, что касается до технической стороны, то форма въ этой поэзіи была восхитительная. Поэтъ изображалъ въ совершенствѣ всѣ чувства необычайно воспріимчивой души, отъ самыхъ нѣжныхъ до сильнѣйшихъ и мрачныхъ; образы его были пластичные. лишенные всякихъ недосказовъ и туманности; изображать онъ больше всего любилъ величавое, колоссальное, и писалъ онъ густыми красками и весьма ярко; въ живописаніи онъ былъ безподобный колористъ. Идеи, чувство, техника—таковы были средства дѣйствія Байрона, которыми онъ вліялъ весьма разнообразно на другихъ поэтовъ, такъ что натуры совсѣмъ несходныя, люди направленій самыхъ противоположныхъ, могли одновременно очутиться въ лагерѣ байронизма и стоять подъ однимъ знаменемъ.—Движеніе, извѣстное подъ именемъ байронизма, можно себѣ представить какъ полевой смерчъ, собирающій съ разныхъ полей кучу пылинокъ и заставляющій ихъ нѣкоторое время двигаться спирально снизу вверхъ. По быстротѣ движенія и направленію пылинокъ можно до извѣстной степени заключать о качествѣ и силѣ вѣтра, приводящаго въ движеніе пылинки. Подобное ретроспективное заключеніе по адептамъ о самомъ Байронѣ могло бы пролить новый свѣтъ на само творчество Байрона и его эпоху. Задача слишкомъ обширна для одного лица, она предполагаетъ изученіе нѣсколь-

кихъ десятковъ, а можетъ быть и болѣе писателей, но она заманчива и къ ней можно подходить исподоволь, дѣлая хотя бы нѣсколько шаговъ. Меня съ давнихъ поръ сильно увлекало желаніе начать сравнительное изученіе послѣдователей Байрона съ сопоставленія первоклассныхъ поэтовъ, принадлежащихъ къ двумъ родственнымъ, по племенному происхожденію, литературамъ—польской и русской, писателей одной и той же великой поэтической эпохи романтизма: Мицкевича и Пушкина, Словацкаго и Лермонтова. Задачу я исполнилъ только наполовину—у меня готовъ только русскій отдѣлъ, я могу передать только результаты моихъ наблюденій, извлеченные изъ произведеній Пушкина, котораго мы поминали столь недавно, почти годъ тому назадъ, и Лермонтова, котораго, если доживемъ, то, безъ сомнѣнія, помянемъ 15 іюля 1891 года. Перехожу прямо къ дѣлу—и начинаю съ Пушкина.

II.

Начало знакомства Пушкина съ поэзіею Байрона относятъ къ 1820 году, къ горамъ Кавказскимъ, Юрзуфу, Каменкѣ, къ бытности его въ средѣ Раевскихъ, въ семьѣ которыхъ онъ нашелъ нѣкоторое успокоеніе, послѣ испытанныхъ имъ въ то время огорченій. Постигшія его въ то время непріятности сильно предрасполагали его къ воспріятію чувствъ Байрона, общаго ихъ настроенія, протестующаго и гнѣвнаго, свойственнаго темпераменту Байрона. Но Пушкинъ меньше всего былъ похожъ на идеалъ, начертанный его другомъ, княземъ П. А. Вяземскимъ, въ слѣдующихъ стихахъ, которые онъ хотѣлъ поставить эпиграфомъ къ «Кавказскому Плѣннику» (II, 300): «Подъ бурей рока—твердый камень;—въ волненьяхъ страсти—легкій листъ».—Много разъ его спасало то, что и подъ «бурей рока» онъ былъ легокъ и упругъ, что ко всякому положенію онъ успѣ-

валъ приспособляться.—Но въ данномъ случаѣ Пушкинъ былъ на долгое время пришибленъ и свыше мѣры раздраженъ—до озлобленія, до бѣшенства, не столько ссылкою на югъ, довольно льготною въ сравненіи съ предполагавшеюся первоначально отправкою его въ Соловецкій монастырь, сколько весьма распространившимися и упорно державшимися ложными слухами, что за его литературныя «проказы», за вольнолюбивыя мечты и эпиграммы онъ дѣйствительно лишился «нѣсколькихъ клочковъ шкуры», какъ выразился въ оффиціальномъ письмѣ 17 января 1824 г., по отношенію къ нему, генералъ-полицiймейстеръ 1-й арміи, Скобелевъ («Русская Старина», 1871, № 12, л. 673). Много времени спустя, въ 1825 г., въ Михайловскомъ, Пушкинъ писалъ: Je délibérais, si je ne fairais pas bien de me suicider ou d'assassiner... Je résolus de mettre tant d'indignation et de jactance dans mes discours et mes écrits, qu'enfin l'autorité soit obligée de me traiter en criminel: j'aspirais la Sibérie ou la forteresse comme réhabilitation (VII, 132). Въ письмѣ 1822 г., къ брату Льву (VII, 85), Пушкинъ говоритъ о douloureuse expérience и о jours d'angoisse et de rage [1]).—Этимъ ненормальнымъ и слишкомъ продолжительнымъ состояніемъ раздраженія объясняются многія черты въ жизни Пушкина во время его пребыванія въ Кишиневѣ и Одессѣ: картёжъ, скандальное волокитство, безобразія надъ молдаванскими боярами, дуэли, скитанія по степямъ съ цыганскимъ таборомъ.—Безобразія Байрона были совсѣмъ иного рода; онъ не проявлялъ себя ни картежникомъ, ни бреттеромъ.—Нѣтъ надобности объяснять безобразія Пушкина въ ту эпоху, какъ объясняетъ ихъ П. В. Анненковъ («Пушкинъ въ Александровскую эпоху», 1874, с. 149), тѣмъ, что то было байрониче-

---

[1]) Въ черновыхъ тетрадяхъ Пушкина (описаніе Якушкина, «Русская Старина», 1884, № 12, с. 526, № 2384) сохранился слѣдующій отрывокъ: «И бурныя кипѣли въ сердцѣ чувства—И ненависть и грезы мести блѣдной,—Но здѣсь меня таинственнымъ щитомъ,—Святымъ прощеньемъ осѣнила—Поэзія, какъ ангелъ утѣшитель,—Спасла меня».

ское настроеніе, которое выродилось, бывъ перенесено на русскую почву, и оттѣнилось своеобычными, свирѣпыми и анти-гуманными подробностями. Извѣстно, что эти припадки разгула, нѣсколько разъ повторявшіеся въ жизни Пушкина, не имѣли вреднаго вліянія на его дарованіе; что въ то самое время, когда всѣмъ казалось, что онъ погрязъ въ распутствѣ и чувственности, израсходовался на пустяки,—поэтъ взлеталъ опять на недосягаемую высоту, не загрязнивъ своихъ крыльевъ; что, отрѣшившись отъ «безстыднаго бѣшенства желаній», онъ сыпалъ изъ своего рога изобилія произведенія красивѣе и глубже предыдущихъ.—Чувственность сильна у каждаго художника; притомъ великіе поэты—странный народъ, къ которому только съ большими исключеніями приложимы правила обыденной культурной морали. Культура пріучаетъ людей быть всегда ровными, жить не волнуясь, творить добро безъ напряженія, естественно, просто, почти автоматически; между тѣмъ какъ для поэта такая проза—смерть; онъ живетъ только волненіемъ и страстью, для него страсть—то же, что огонь для миѳологической саламандры, то-есть—его настоящая стихія, потому что его творчество воспроизводитъ правдиво только то, что имъ прочувствовано и выстрадано. Исторія можетъ пересчитать по пальцамъ подобныхъ Шекспиру и составляющихъ рѣдчайшее исключеніе творцовъ по отгадкѣ. По большей части настоящій поэтъ изображаетъ собою «Парусъ» Лермонтова (1832): «Подъ нимъ струя свѣтлѣй лазури—Надъ нимъ лучъ солнца золотой;—А онъ, мятежный, проситъ бури,—Какъ будто въ буряхъ есть покой».

Знакомство съ Байрономъ едва ли прибавило что-нибудь къ внѣшней бытовой сторонѣ жизни Пушкина въ его періодъ бунтованія (Sturm und Drangperiode); оно могло только усилить до извѣстной степени его одичалость, его пренебреженіе къ свѣтскимъ условіямъ и приличіямъ. Извѣстно, что впослѣдствіи онъ остепенился, сдѣлался порядочнѣе и сталъ, женившись, твердить, въ

началѣ тридцатыхъ годовъ, слова Шатобріана (Hélas! il n'y a du bonheur que dans les vies communes). Но на само творчество Пушкина вліяніе Байрона было громадное. Пушкинъ нашелъ въ Байронѣ натуру себѣ, какъ ему показалось, родственную, поэзію по душѣ, а главное, онъ обрѣлъ въ Байронѣ опору для своего новаго, рѣзко отрицательнаго направленія, новую исходную точку и и подходящую теоретическую основу для систематическаго отрицанія. Онъ вкусилъ отъ пессимизма Байрона, составляющаго самый корень байроновской поэзіи. Постигъ ли Пушкинъ Байрона въ этомъ отношеніи вполнѣ, усвоилъ ли онъ себѣ этотъ мозгъ костей байроновскаго творчества? Таковы вопросы, которые прежде всего подлежатъ нашему разсмотрѣнію.

III.

Пессимизмъ есть недовольство жизнью, доведенное до злословія, до заключенія о тягости всякаго бытія вообще. Пессимизмъ можетъ быть источникомъ поэзіи или системою философіи. Онъ появляется только изрѣдка, въ самыя мрачныя эпохи исторіи, и окрашенъ всегда особенностями того критическаго момента, въ которомъ онъ созрѣлъ и распространился въ видѣ повальной болѣзни. Въ чемъ состояли особенности пессимизма Байрона? Всѣ согласны, что, по своему міросозерцанію, Байронъ принадлежитъ цѣликомъ къ XVIII вѣку. Онъ—гуманистъ; онъ считаетъ, что человѣкъ безобразно изуродованъ нелѣпыми предразсудками и общественными формами; онъ вѣруетъ въ силу разума, въ необходимость возвращенія къ природѣ, въ свободу столь безусловную, что она теряетъ всякую границу, въ возможность устроить всеобщее счастіе, законодательствуя и управляя людьми раціонально. Опытъ былъ произведенъ и кончился полнѣйшею неудачею, кровавою траги-комедіею великой французской революціи. Старое разбито

на-поваль и растоптано, но освобожденные люди бродили дикими звѣрями по колѣно въ грязи, въ лужахъ крови, среди развалинъ. Многіе извѣрились въ самую революцію затѣянную во имя разума. Главное теченіе вѣка измѣнилось и пошло обратнымъ путемъ, возстановляя упраздненные алтари и престолы. Что̀ предстояло теперь дѣлать людямъ, не соглашающимся подставлять шею подъ старое ярмо? Конечно, отстаивать по возможности свои прежнія убѣжденія при измѣнившихся обстоятельствахъ. Сторонникамъ гуманизма, держащимся задачъ революціи, приходилось, вникая въ причины провала, признать, что сами революціонеры шли ненадлежащими путями, и даже что цѣли движенія поставлены были фальшиво, что за велѣнія разума выдаваемы были невѣрные разсчеты, запечатлѣнные явнымъ непониманіемъ природы человѣка и общества; иными словами, имъ приходилось стать почти на ту самую точку зрѣнія, на которой, стоитъ нынѣ историческая наука по отношенію къ міровому событію конца прошлаго столѣтія. Впрочемъ, былъ еще и другой выходъ изъ затрудненія, который и былъ совершенъ Байрономъ. Аполлонъ Григорьевъ (Соч., I, 155: «О правдѣ и искренности въ искусствѣ») утверждалъ, что поэзія Байрона характеризуется отсутствіемъ всякаго нравственнаго начала; что она—протестъ противъ неправды, но безъ сознанія правды; что такъ какъ эта поэзія открытаго эгоизма безъ маски не могла быть принята спокойно поэтическою натурою Байрона, то она и выразилась тоской и сатанинскимъ смѣхомъ, окружившими поэтическимъ ореоломъ это обоготвореніе эгоизма. Такое опредѣленіе поэзіи Байрона считаю я неправильнымъ отъ начала до конца и діаметрально противоположнымъ истинѣ. Вѣрный сынъ XVIII вѣка, Байронъ не пожертвовалъ ни однимъ изъ идеаловъ этого вѣка, несмотря на измѣнившіяся обстоятельства; но такъ какъ они еще до него были втоптаны въ грязь и опошлены, то Байронъ вымещаетъ свое негодованіе за это оскверненіе

идеаловъ на всемъ родѣ человѣческомъ, изъемля, конечно, себя и нѣсколько высшихъ натуръ, близкихъ ему по сердцу людей, которыхъ онъ умѣлъ любить глубоко и нѣжно. По темпераменту гордый и стойкій боецъ, Байронъ довелъ до виртуозности свое горделивое презрѣніе ко всему роду человѣческому. Эта нота звучитъ весьма сильно во всѣхъ его произведеніяхъ, начиная съ надгробной надписи ньюфоундлэндской собакѣ (1817, въ переводѣ Миллера: «О, слабый человѣкъ, минутный гость земли. — Отъ рабства и властей затоптанный въ пыли, — Кто знаетъ, тотъ тебя съ презрѣньемъ покидаетъ... Предъ каждымъ звѣремъ ты поймешь стыда сознанье» [1]) — до послѣдней его сатиры *Донъ Жуанъ*, направленной противъ всего рода человѣческаго. Тысячу разъ изображалъ онъ выходящія изъ ряда вонъ натуры, которыя высятся надъ ненавистью стоящихъ подъ ними созданій (must look on the hate of those below. «Ch. H.», III, 45). Идеалъ люди опошлили, онъ уже не общечеловѣческій, а только личный, свойственный высокимъ, избраннымъ натурамъ. Байронъ до того ему преданъ, что дѣйствительную, настоящую жизнь людскую, жизнь общества, съ его нравами и законами, считаетъ поддѣльнымъ творчествомъ (Of its own beauty is the mind diseased — And fevers into false creation.. «Ch. H.», IV, 122), фальшью въ природѣ, дисгармоніею («Жизнь наша — то же дерево анчаръ съ его смертоносною отравою и ядовитою росой». «Ch. H.», IV, 126). Въ этихъ положеніяхъ сквозитъ невѣрный, конечно, взглядъ, заимствованный отъ Жанъ Жака Руссо о необходимости возвратиться къ состоянію природы, о необходимости стряхнуть съ себя искуственную цивилизацію. Ошибка эта, впрочемъ, несущественна. Мы имѣемъ дѣло не столько съ мечтателемъ, вѣрующимъ въ блаженство людей въ

[1]) Oh man! Thou feable tenant of one hour — Debased by slavery or corrupt by power, — Who knows thee well must quit thee with disgust — Degraded mass of animated dust.

состоянiи природы, сколько съ идеалистомъ, для котораго весь смыслъ и вся цѣнность жизни—не въ наслажденiяхъ, доставляемыхъ благами сего мiра, и не въ ожиданiи чего-то за гробомъ, а только въ метафизическихъ созданiяхъ, витающихъ въ сознанiи человѣка, выдѣляемыхъ душою изъ самой себя, въ добрѣ и красотѣ, въ произведенiяхъ ума и искусства, болѣе живыхъ, болѣе реальныхъ, нежели грубая и пошлая дѣйствительность («Ch. H.», III, 6; IV, 5). Эти порывы къ идеальному составляютъ и муку жизни, и ея красу. Въ 1-й пѣснѣ «Чайльдъ-Гарольда», въ стихахъ къ Инесѣ, Байронъ, будучи еще весьма молодымъ человѣкомъ, жаловался на эту муку, на «ржавчину жизни», на «демона мысли» (The bligth of life — the demon Thought). Много лѣтъ спустя, въ 3-ей и 4-ой пѣсняхъ того же «Чайльдъ-Гарольда» онъ себя называлъ «скитающеюся жертвою своего мрачнаго ума (The wandering outlaw of his own dark mind. III, 3.—I hawe thought too long and darkly. III, 7). Въ «Онѣгинѣ» Пушкинъ говоритъ: «И Байронъ, мученикъ суровый»... — опредѣленiе невѣрное, неполное; къ Байрону примѣнимы были бы развѣ его же слова о Руссо: «самъ себя мучащiй человѣкъ» (III, 7: self torturing... но только не sophist). Тѣмъ не менѣе этотъ самомучитель идетъ на муки и терзанiя добровольно, по долгу совѣсти, отвергая даже то средство, которое допускали употреблять древнiе стоики — самоубiйство («Ch. H.», V, 21: «Надо переносить бытiе. Глубоко водружены корнями жизнь и страданiе въ наше печальное нутро. Верблюдъ несетъ молча тяжелѣйшую ношу, волкъ издыхаетъ молча, животное выноситъ, а мы, высшiя существа, не снесли бы того, что́ длится только какой-нибудь день»). Въ Байронѣ самымъ энергическимъ образомъ проявляется то чувство, которое выразилъ, вдохновленный духомъ этой мужественной поэзiи, Пушкинъ въ словахъ: «Но не хочу, о, други! умирать, — Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать». Въ этихъ стихахъ слышится какъ бы отголосокъ дивной

127-й строфы IV-й пѣсни «Ч.-Гарольда»: «Давайте сильнѣе разсуждать; мы бы постыдно отступились отъ разума, еслибы отказались отъ права мыслить—послѣдняго и единственнаго убѣжища. Что̀ бы тамъ ни было—это убѣжище мое!» И такъ, у Байрона есть несомнѣнно идеалъ; этотъ идеалъ пересталъ, въ нашъ жестокій вѣкъ, быть общественнымъ и сдѣлался личнымъ идеаломъ поэта, но, какъ у всякаго человѣка, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ—и идеалъ его вѣка. Имъ увлекаются только немногія избранныя натуры. Байронъ изображаетъ все по собственному опыту, по какому-то роковому непреодолимому порыву; эти сильныя натуры совершаютъ свое теченіе, попирая все на своемъ пути. «Вихрь—ихъ дыханіе, а жизнь ихъ — штормъ»... «покой имъ страшнѣе ада» (III, 42). Изображая огонь въ крови, пожирающій ихъ, горячку дѣйствія, которою они одержимы, Байронъ замѣчаетъ: «Это-то и дѣлаетъ сумасшедшими людей, которые и другихъ сводили съ ума, заражая ихъ собою, завоевателей и царей, учредителей сектъ и системъ, да вдобавокъ софистовъ, бардовъ, государственныхъ людей... Имъ завидуютъ, но сколь напрасно!.. Раскройте одну такую грудь, и вы отобьете у рода человѣческаго охоту къ тому, чтобы блистать или господствовать» («Ч. Г.», IV, 43). Довершимъ характеристику, добавивъ, что, созидая новый родъ философіи исторіи—теорію высшихъ натуръ, роковыхъ великихъ людей, для которыхъ законъ не писанъ, потому что они сами себѣ законъ,—Байронъ не выдѣляетъ поэта, не отводитъ ему особаго привилегированнаго положенія и весьма далекъ отъ мысли, что поэтъ можетъ быть и слабъ, и малъ, и что онъ становится великимъ, когда на него внезапно нисходитъ вдохновеніе. Байронъ не анализировалъ—какъ это дѣлаетъ новѣйшая наука психологіи — корней творчества въ безсознательномъ; притомъ, онъ прежде всего былъ человѣкъ дѣла, а не писаній; онъ былъ просто человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ необыкновенный и между прочимъ занимав-

шійся писательствомъ. Таковъ въ главныхъ чертахъ образецъ и учитель. Какія черты заимствовалъ отъ него ученикъ, который, по собственному его выраженію, нѣкоторое время «сходилъ отъ Байрона съ ума»?

IV.

Послѣ дней тоски и бѣшенства, наболѣвшее сердце Пушкина жадно усвоивало себѣ и, такъ сказать, всасывало одну особенность характера Байрона: презрѣніе къ роду человѣческому. Мертвящимъ холодомъ обдаютъ насъ уроки злѣйшей мизантропической морали, преподаваемые 23-лѣтнимъ юношей изъ Кишинева (1822) младшему его брату Льву, распущенному юношѣ: «commencez par penser des hommes tout le mal imaginable.... Méprisez-les le plus poliment qu'il vous sera possible. Soyez froid avec tout le monde. N'acceptez jamais des bienfaits, ils sont pour la plupart une perfidie. Point de protection, car elle asservit et dégrade... N'oubliez jamais les offenses. Moins on aime une femme et plus on est sûr de l'avoir, mais cette jouissance est digne d'un vieux sapajou du XVIII siecle» (VII, 43). Когда Пушкинъ писалъ эти наставленія, онъ былъ безъ сомнѣнія искрененъ; ихъ ѣдкая кислота и несходство вообще съ темпераментомъ Пушкина заставляютъ заключить, что чувства, ими выражаемыя, были преходящія, что сама идейная подкладка написаннаго была не болѣе какъ намекъ. Извѣстно, что отъ частаго повторенія одной и той же эмоціи мимическое ея выраженіе можетъ неподвижно застыть на лицѣ человѣка, превратиться въ несходящую морщину, въ искривленіе, напримѣръ, угловъ рта отъ часто повторяющейся презрительной улыбки. У каждаго изъ насъ лицо есть родъ маски, образуемой изъ глубокихъ слѣдовъ всего пережитаго, которое исколесило это лицо по всѣмъ направленіямъ; за этими слѣдами скрывается недоступное наблюденію и только угадываемое психологи-

ческое я наблюдаемаго лица. Такимъ застывшимъ слѣдомъ на лицевой маскѣ Пушкина считаю я его, какъ я думаю, напускное презрѣніе къ роду человѣческому, которое, вслѣдствіе душевныхъ страданій, появилось у Пушкина и затѣмъ уже его не покидало, потому что сдѣлалось обыкновенною складкою его ума. «Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ въ душѣ не презирать людей»,—сказано въ написанной, вѣроятно, еще въ 1822 году 46-й строфѣ первой главы «Онѣгина». Въ 22-й строфѣ главы VII изображенъ современный человѣкъ— «Съ его безнравственной душой, — Себялюбивой и сухой,—Мечтанью преданной безмѣрно,—Съ его озлобленнымъ умомъ,—Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ». Рядомъ съ этими стихами сопоставимъ два стиха явно байроновскаго пошиба изъ стихотворенія: «Полководецъ» (т.-е. Барклай де-Толли), помѣченнаго 7-мъ апрѣля 1835 г., въ Свѣтлое Воскресеніе: «О, люди! жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха! — Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!»

Коротко знавшій Пушкина, Мицкевичъ находилъ, что Пушкинъ самъ себя изобразилъ съ поразительнымъ сходствомъ въ стихахъ: «Мечтамъ невольная преданность, — Неподражательная странность, — И рѣзкій, охлажденный умъ» («Онѣгинъ», гл. I, строфа 45). Сама характеристика: «озлобленный», или «охлажденный» умъ, логически едва ли правильна: умъ всегда исправляетъ въ психической дѣятельности функцію холодильника. Очевидно, Пушкинъ старался этими словами выразить волевую привычку обуздывать всякій сочувствующій кому-либо порывъ, обязательно подсказываемымъ предположеніемъ, что вообще люди гадки, что всѣ они— бездушные эгоисты. Охлажденіе Пушкина произошло тогда, — и это можно опредѣлить по его произведеніямъ,—когда онъ утвердился въ своемъ анти-гуманномъ взглядѣ на людей. Можно съ достовѣрностью сказать, что его озлобленіе противъ людей не было вызвано, какъ у Байрона, созерцаніемъ тогдашней политической

неурядицы въ Европѣ, потому что политическія убѣжденія Пушкина были весьма неустойчивы въ бурные годы молодости, и онъ продолжалъ еще питать самыя розовыя надежды. Въ своей «Деревнѣ» (1819) Пушкинъ до глубины души прогрессивный либералъ, но онъ и монархистъ («И рабство падшее по манію царя»...). Въ «Посланіи къ Чаадаеву («Любви, надежды, гордой славы»...) и въ «Вольности» (1820), повлекшей за собою ссылку на югъ, преобладаютъ общія конституціонныя идеи декабристовъ (...«гдѣ крѣпко съ вольностью святою—Законовъ мощныхъ сочетанье»), идеи о волности, какъ о чемъ-то небываломъ, вселяющемся не иначе, какъ внезапно и при революціонной обстановкѣ (1822—*Таврида*: «Гдѣ ты гроза? символъ свободы, промчись поверхъ невольныхъ водъ!....»). Къ первой половинѣ 1821 г. относится весьма извѣстный «Кинжалъ» («Лемносскій богъ тебя сковалъ для рукъ безсмертной Немезиды»), котораго признанная революціонная нецензурность и ядовитость сильно выкупаются тѣмъ, что это стихотвореніе вовсе не оригинальное произведеніе а близкое подражаніе другому, сверхъ Байрона, властителю думъ Пушкина въ то время, а именно Андрею Шенье (Ode à Charlotte Corday:.. Et des choeurs sur ta tombe, en une sainte ivresse, — Chanteraient Némésis la tardive déesse—Qui frappe le méchant son trône endormi... O vertu! le poignard, seul espoir de la terre,— Est ton arme sacrée alors que le tonnerre—Laisse venger le crime et le rend à ses lois). Въ 1823 г. объявившій себя въ письмѣ къ брату эгоистомъ и мизантропомъ, Пушкинъ восклицаетъ (правда, слѣдуя по стопамъ перваго своего образца, Байрона), «Возстань, о, Греція! возстань!.. Страна героевъ и боговъ,—Расторгни рабскія вериги—При пѣньѣ пламенныхъ стиховъ—Тиртея, Байрона и Риги» (I,298). Не успѣли, можно сказать, еще обсохнуть чернила на стихахъ, которыми Пушкинъ клеймилъ радость такъ-называемаго имъ милорда «Уоронцова» (М. В. Воронцовъ), при полученіи извѣстія о казни испанскаго революціо-

нера Ріэго (ноябрь, 1823), какъ уже, по собственному признанію его же, Пушкина (Письмо къ Тургеневу 1 дек. 1823), у него уже прошелъ либеральный задоръ, и подъ вліяніемъ отрезвленія онъ писалъ: «Изыде сѣятель... Къ чему стадамъ дары свободы, — Ихъ должно рѣзать или стричь...» До конца своей жизни Пушкинъ оставался однимъ и тѣмъ же безграничнымъ оппортюнистомъ, надѣющимся, что правительство послушается его совѣтовъ. И такъ, тоска и разочарованіе Пушкина произошли не отъ неудачъ и проваловъ въ русской и европейской общественности, которые Пушкинъ переносилъ вообще довольно спокойно и къ которымъ онъ относился не какъ къ своему главному дѣлу (февраль, 1825, VII, 110: Tout qui est politique n'est fait que pour la canaille). Это разочарованіе можно бы объяснить частными обстоятельствами жизни Пушкина, измѣнами въ службѣ, любви, подобными той, съ которой Альфредъ Мюссе начинаетъ свои *Confessions d'un enfant du siècle*, — еслибы не было вполнѣ удостовѣрено, что онъ влюблялся часто и не безъ взаимности, и что имѣлъ друзей добрыхъ, преданныхъ, которымъ вѣрилъ, и которые составляли лучшее, что̀ только было въ тогдашнемъ обществѣ русскомъ. Остается возможность предположить, что Пушкинъ заразился разочарованіемъ отъ другого лица, отъ того *Демона* (1823, I, 292), который сталъ тайно навѣщать его и вливать въ душу тайный ядъ своими язвительными рѣчами. Это стихотвореніе до того заинтересовало въ свое время публику, что она стала доискиваться, какое подъ образомъ этого «Демона» кроется живое лицо; стала догадываться, что этимъ «Демономъ» былъ извѣстный скептикъ А. Н. Раевскій. Самъ Пушкинъ, когда ему передали эту догадку (строфа 12, глава III «Онѣгина») готовился опровергать въ печати это предположеніе (черновые наброски, см. Анненкова: «Пушкинъ», стр. 153), указывая на то, что онъ хотѣлъ только олицетворить сомнѣніе... «духа, отрицающаго (подобно Мефистофелю Гёте), съ его печальнымъ вліяніемъ

на нравственность вѣка», уничтожающимъ лучшіе поэтическіе предразсудки души». Объясненіе Пушкина весьма похоже на правду; его «Демонъ» едва ли былъ живой человѣкъ, во всякомъ случаѣ имъ не былъ Байронъ, *во-первыхъ*, потому, что къ огненной поэзіи Байрона никакъ не идутъ слова: «хладный ядъ», «насмѣшникъ», «клеветать на Провидѣніе», «не вѣрить свободѣ...»; *во-вторыхъ*, потому, что посѣщенія этого бѣса отнесены ко днямъ отрочества, до начала знакомства Пушкина съ Байрономъ: «когда мнѣ были новы всѣ впечатлѣнія бытія, и взоры дѣвъ, и шумъ дубровы». Если перенесемся мысленно къ отрочеству Пушкина, то откроемъ, что этотъ бѣсъ-насмѣшникъ, вѣроятно, помѣщался въ отцовской библіотекѣ, откуда дитя-Пушкинъ таскалъ всякія французскія книги, обостряя свой умъ, но загрязняя воображеніе; что этотъ бѣсъ былъ неотлучно съ Пушкинымъ въ лицеѣ, что этотъ бѣсъ очень походилъ на того, о комъ Пушкинъ писалъ: «Фернейскій злой крикунъ, поэтъ въ поэтахъ первый... Онъ все вездѣ великъ, — Единственный старикъ» (I, 40: Городокъ)... Послѣ знакомства съ цѣлою французскою литературою XVIII в., съ самыми пикантными ея произведеніями, едвали пришлось Пушкину брать новые уроки «чистаго аѳеизма въ Одессѣ у глухого философа-англичанина, который» уничтожалъ будто бы у него мимоходомъ слабыя доказательства безсмертія души (Стоюнинъ: «Пушкинъ», стр. 209: Письмо, повліявшее на заточеніе Пушкина въ Михайловскомъ). Усвоенный въ юности саркастическій нигилизмъ французскихъ философовъ-матеріалистовъ не проникалъ, однако, въ глубь натуры Пушкина. Его предохраняло эстетическое чувство, о которомъ онъ выражался такимъ образомъ: «Иная, высшая награда была мнѣ рокомъ суждена,—Самолюбивыхъ душъ отрада,—Мечтанья не земного сна (1821 — Набросокъ: I, 265). Насмѣшникъ съ насмѣшниками, мечтатель самъ съ собою и въ стихахъ, Пушкинъ меньше всего способенъ былъ справляться съ вопросомъ: кото-

рому изъ этихъ двухъ воззрѣній соотвѣтствуетъ дѣйствительность. Испытанныя имъ страданія поставили вдругъ ребромъ непріятный вопросъ, и Пушкинъ долженъ былъ признать, что и выражено въ заключеніи рокового для него письма объ аѳеѣ: «система не столь утѣшительная, какъ обыкновенно думаютъ, но къ несчастію больше всего правдоподобная»; иными словами, что жизнь вообще гадость, и что подходить къ ней слѣдуетъ съ ея задняго двора (одинъ изъ варіантовъ къ 45 строфѣ I-й главы «Онѣгина»: «Открылъ я жизни бѣдный кладъ,—Въ замѣну прежнихъ заблужденій,— Въ замѣну вѣры и надеждъ, — Для легкомысленныхъ невѣждъ». Изд. Морозова, III, 252). Самъ Пушкинъ, въ замѣткѣ на толки публики о «Демонѣ» поясняетъ: «сомнѣнія вызваны вѣчными противорѣчіями — чувство мучительное, хотя непродолжительное». Оставимъ открытымъ вопросъ: уничтожилось ли у Пушкина сомнѣніе прежде, нежели исчезли «лучшіе поэтическіе предразсудки души». Во всякомъ случаѣ, оно не служило достаточнымъ основаніемъ для того презрѣнія къ людямъ, которое непрерывно заявляетъ Пушкинъ. Байронизмъ не состоялъ вовсе въ томъ, чтобы копошиться вмѣстѣ съ другими въ грязи, хотя бы и признавая ничтожество бытія, но въ томъ, чтобы идти на бой со всѣмъ свѣтомъ, неся въ рукахъ свѣточъ своего личнаго идеала и утверждая его превосходство предъ пошлою дѣйствительностью. Только такая борьба оправдываетъ слова: «Гордая лира Альбіона» (I-я глава «Онѣгина»), и даетъ бойцу право свысока смотрѣть на болѣе слабыя существа.

V.

Пушкинъ не могъ вполнѣ себѣ усвоить пессимизмъ Байрона: темпераменты обоихъ поэтовъ — учителя и ученика — оказались несхожіе, неодинаково страдающіе, неравномѣрно отзывчивые на впечатлѣнія извнѣ и на

уколы судьбы. Оба поэта страдали сильно, но организмъ у Пушкина былъ нѣжнѣе. Съ юныхъ лѣтъ раздается это страданіе унылымъ, протяжнымъ напѣвомъ, жалобною пѣснею, не сопровождаемою скрежетомъ зубовъ. Семнадцатилѣтній юноша (1816) уже пѣлъ въ лицеѣ: «Моя стезя печальна и пуста... Вся жизнь моя — печальный мракъ ненастья» (I, 130). Посл. къ Горчакову)... Прервется ли души холодный сонъ,—Поэзіи зажжется-ль упоенье?—Безплодное проходитъ вдохновенье» (I, 150). То было только предугадываніе суровой дѣйствительности, гдѣ-нибудь вычитанное («Насъ пылъ сердечный рано мучитъ,—Любви насъ не природа учитъ,—А Сталь или Шатобріанъ. — Мы хочемъ жизнь узнать заранѣ—И узнаемъ ее въ романѣ»... «Онѣгинъ», гл. I, стр. 9). Пришли, наконецъ, испытанія; поэтъ не сломился, но былъ угнетенъ. «Запутанный въ сѣтяхъ судьбы суровой», онъ пишетъ о себѣ: «Для всѣхъ чужой—какъ сирота бездомный,—Подъ бурею главой поникъ я томной» (19 окт. 1825, I, 355). Поэтъ пришибленъ, сомнѣвается самъ въ себѣ: «Сохраню-ль къ судьбѣ презрѣнье?—Понесу-ль на встрѣчу ей—Непреклоность и терпѣнье—Гордой юности моей?» (1828 — Предчувствіе, I, 39), то-есть тѣ качества, которыя онъ за собою признавалъ, пока еще «не сталъ извѣстенъ межъ людей... пламеннымъ волненьемъ, — И бурями души моей,—И жаждой воли и гоненьемъ» (I, 265). Въ сознаніи его поселилась горькая печаль, но она стелется тонкою дымкою, точно туманъ, и не совсѣмъ уничтожаетъ яркость красокъ, присущую инымъ жизнерадостнымъ, здоровымъ впечатлѣніямъ. Само недовольство жизнью или собою — не похоже у Пушкина на пессимизмъ, оно—скоропреходящая тѣнь отъ набѣгающихъ на солнце облаковъ, оно—вспышка минутной досады. Въ октябрѣ 1825 г., въ день лицейской годовщины, Пушкинъ ищетъ «отраднаго похмелья, минутнаго забвенья горькихъ мукъ» — «пора, пора! душевныхъ нашихъ мукъ—Не стоитъ міръ»... Чувство недовольства существуетъ, но зато какъ оно

граціозно и летуче даже въ самыхъ конфиденціальныхъ изліяніяхъ поэта: Croyez m'en, chère M-me Ossipow, la vie, toute süsse Gewohnheit qu'elle est, a une amertume, qui finit par la rendre dégoutante, et c'est un vilain tas de boue que le monde» (VII, 385 г. 1835). «Чортъ догадалъ меня родиться въ Россіи и съ талантомъ! Весело, нечего сказать» (послѣднее письмо къ женѣ, 18 мая 1836, VII, 404). — Бо̀льшая часть страданій Байрона происходила отъ него самого, отъ нравственнаго *самоистязанія*, при размышленіяхъ надъ своимъ прошедшимъ, при вскрытіи остающихся свѣжими послѣ десятковъ лѣтъ своихъ воспоминаній. Ихъ сравнивалъ Байронъ («Ч. Г.», IV, 23) съ жестокою болью отъ жала скорпіона; она постоянно возвращалась по всякому намеку, по малѣйшему, хотя бы пустому слову. Жизнь Пушкина доставляла много случаевъ для точно такихъ же тяжелыхъ моментовъ: «Потомокъ негровъ безобразный», признающій за собою «безстыдство бѣшеныхъ желаній» (1818 г. I, 188), онъ писалъ: «И я въ законъ себѣ вмѣняя—Страстей единый произволъ» («Онѣгинъ», VIII гл., 3 стр.)... Онъ не могъ не ощущать порою, какъ горятъ «змѣи сердечной угрызенья»... когда воспоминаніе развивало свой длинный свитокъ и представляло ему его утраченные годы—въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ, въ безумствѣ гибельной свободы (Воспоминанія, 1828 г., I, 37). Но и эти угрызенія совѣсти лишены у Пушкина трагическаго элемента и сбиваются на элегію. Иногда поэтъ ставитъ колоссальные вопросы бытія и ставитъ ихъ по-байроновски, съ протестомъ противъ Творца: «Кто меня *враждебной* властью—Изъ ничтожества воззвалъ,—Душу мнѣ наполнилъ страстью,—Умъ сомнѣньемъ взволновалъ»... (26 мая, 1826); но вслѣдъ за тѣмъ мысль мельчаетъ: «Цѣли нѣтъ передо мною,—Сердце пусто, празденъ умъ»;—однимъ словомъ, является то чувство, котораго выраженіе вложено въ уста Фаусту въ неудачной сценѣ (1826): «Мнѣ скучно, бѣсъ!» (III, 103), или: «Остались мнѣ одни страданья,—Плоды

сердечной пустоты» (1821 г., I, 238). Я уже приводилъ стихъ, въ которомъ несомнѣнно выражена байроновская мысль: «Мой путь унылъ, сулитъ мнѣ трудъ и горе— Грядущаго волнуемое море.—Но не хочу, о, други! умирать,—Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать». Однако, вся сила впечатлѣнія ослабляется игривымъ анакреонтическимъ концомъ этой пьесы: «И можетъ быть на мой закатъ печальный—Блеснетъ любовь улыбкою прощальной» (1830. Элегія, II, 101). Привожу еще одну выдержку. Нѣтъ мысли, которая бы сильнѣе отравляла счастіе человѣка, какъ мысль о неизбѣжности смерти и о безучастіи къ судьбѣ живаго лица самой безсердечной природы. Мысль эта мучила царя Сиддарту за шесть вѣковъ до Христа, когда, почувствовавъ тщету жизни при видѣ трупа, онъ бросилъ тронъ, жену, ушелъ въ пустыню и сдѣлался Буддою. Мысль эта навѣщала и больнаго Тургенева, когда онъ писалъ свои, вызывающія въ тѣлѣ дрожь, «стихотворенія въ прозѣ». Она составляетъ главный узелъ въ наиболѣе пессимистическомъ и весьма глубокомъ произведеніи Байрона: «Каинъ». Мысль эта тревожитъ также и Пушкина (1829 г., II, 77): «Кружусь ли я въ толпѣ мятежной — Вкушаю-ль сладостный покой,—Но мысль о смерти неизбѣжной — Всегда близка, всегда со мной». Что̀ можетъ быть мрачнѣе, повидимому, этой тѣни Банко, садящейся за столъ на царственномъ пиру? Между тѣмъ и этотъ мракъ разсѣкается у Пушкина золотистымъ лучомъ солнца, и плачъ о неизбѣжной смерти переходитъ въ милѣйшую, но приторную идиллію: «И пусть у гробового входа—Младая будетъ жизнь играть,—И равнодушная природа—Красою вѣчною сіять». На палитрѣ Пушкина совсѣмъ почти нѣтъ тѣхъ темныхъ красокъ, которыми злоупотребляетъ иногда муза Байрона, но, съ другой стороны, не подлежитъ сомнѣнію, что воображеніе Пушкина было несравненно живѣе и богаче; что оно дѣлало его настоящимъ «Протеемъ» (такъ и называли его современники); что онъ былъ въ высокой степени способенъ выходить изъ

себя, объективироваться и доходить до яснаго, величаваго спокойствія, присущаго античному искусству—напримѣръ, въ дивныхъ стихахъ его отрывка 1829 года, подъ которыми подписался бы и самъ олимпіецъ Гёте: «Примите гимнъ, таинственныя силы!—Хоть долго былъ изгнаньемъ удаленъ—Отъ вашихъ жертвъ и тихихъ изліяній,—Но васъ любить не преставалъ, о, боги!—... съ какимъ святымъ волненьемъ—Оставилъ я людское стадо наше,—Дабы стеречь вашъ огнь уединенный,—Бесѣдуя одинъ съ самимъ собою.—Часы неизъяснимыхъ наслажденій!—Они даютъ намъ знать сердечну глубь.—Въ могуществѣ и въ немощахъ сердечныхъ—Они любить, лелѣять научаютъ—Несмертныя, таинственныя чувства,—И насъ они наукѣ первой учатъ — *Чтить самого себя*!» (II, 85). Впослѣдствіи, когда увлеченіе Байрономъ прошло, самъ Пушкинъ весьма трезво и мѣтко указывалъ на односторонность его поэзіи, на ея слабыя стороны. «Се Бейронъ—Феба образецъ!»—писалъ онъ въ шуточной одѣ къ Хвостову, въ 1824 г.—...«Великъ онъ, но единообразенъ». Въ первой главѣ «Онѣгина» (с. 56) Пушкинъ не желаетъ, чтобы подумали, что въ Онѣгинѣ... «намаралъ я свой портретъ — Какъ Байронъ, гордости поэтъ; — Какъ будто намъ ужъ невозможно — Писать поэмы о другомъ,—Какъ только о себѣ самомъ».

VI.

Несмотря на коренное несходство двухъ натуръ—Байрона и Пушкина, случилось, однако, что на нѣкоторое время послѣдній былъ заполоненъ первымъ. По словамъ весьма компетентнаго судьи—Мицкевича, Пушкинъ «tomba dans la sphère d'attraction de Byron et tournait autour de cet astre comme une planète éclairée par sa lumière. Dans les ouvrages de sa première manière tout est byronien, les sujets, les caractères, l'idée et la forme» (Некрологъ Пушкина, въ «Globe», 25 мая 1837 г.). Но

поэтъ, о которомъ самъ Мицкевичъ выражался такъ: «si les compositions du poëte anglais n'existaient pas, on aurait proclamé Pouschkine le premier poëte de l'époque»,— не могъ, конечно, быть простымъ подражателемъ. По словамъ Мицкевича, Пушкинъ былъ собственно не байронистъ, а «байронствующій» (byroniaque), то-есть одержимый (possédé) духомъ своего любимаго автора. По натурѣ, Пушкину легче было подражать своему образцу въ житейскихъ мелочахъ, въ причудахъ, въ высокомъ мнѣніи о превосходствѣ аристократической породы («...Нашъ лордъ—Не только былъ отмѣнно гордъ—Великимъ даромъ пѣснопѣнья,—Но и случайностью рожденья»,—варіантъ къ «Родословной моего героя», III, 554), въ тѣлесныхъ упражненіяхъ, въ напускной жадности къ деньгамъ, заработываемымъ перомъ, въ громкихъ заявленіяхъ, что онъ свою поэзію продаетъ и ради денегъ только пишетъ,—нежели подчинить Байрону свое творчество. Съ одной стороны, такъ какъ воображеніе его было богаче и дарованіе разнообразнѣе, то въ поэзію его входили многіе чуждые Байрону элементы; съ другой стороны, темпераментъ его былъ подвижнѣе, нѣжнѣе и мягче, и когда онъ пробовалъ чертить по-своему лицо въ родѣ «Корсара», которому даетъ первое мѣсто въ ряду произведеній Байрона (V, 49; статья 1827 года), то, по его неспособности проникнуть во всѣ изгибы мрачной и суровой души, у него оказываются въ работѣ либо пятна, либо пробѣлы. По этимъ двумъ причинамъ, въ заимствованіяхъ изъ Байрона замѣтны у Пушкина— и въ содержаніи, и въ формѣ—недостатки, съ которыми приходится познакомиться при изученіи байроновскаго періода въ литературной дѣятельности Пушкина. Обзоръ нашъ дѣятельности поэта въ этотъ періодъ остановится на самыхъ главныхъ ея чертахъ.

VII.

Первыми въ ряду являются «Черная шаль» и перенаряженный «Корсаръ» со своею Гюльнарою во образѣ

«Кавказскаго Плѣнника» и его черкешенки. Хотя «Черная шаль» заимствована, по преданію, Пушкинымъ отъ трактирной пѣвицы молдаванки Маріулы въ Кишиневѣ, пѣвшей въ 1820 году эту балладу, но въ ней множество отголосковъ Байрона, подражаній его кровавымъ восточнымъ повѣстямъ; она напоминаетъ манеру Байрона во всѣхъ своихъ подробностяхъ убійства невѣрной любовницы и ея сообщника, утопленія убитыхъ въ волнахъ Дуная и душевныхъ терзаній убійцы-мстителя: «Съ тѣхъ поръ не цѣлую прелестныхъ очей,—Съ тѣхъ поръ я не знаю веселыхъ ночей,—Гляжу какъ безумный на черную шаль, — *И хладную* душу терзаетъ печаль».—Что касается «Плѣнника», то самъ Пушкинъ относился впослѣдствіи безпощадно къ этому произведенію, которое, однако, онъ любилъ, самъ не зная почему: «въ немъ были,—пишетъ онъ,—стихи моего сердца» (1821; VII, 30). «Плѣнникъ зеленъ (VII, 166; 1825), все это слабо, молодо, неполно» (Путешествіе въ Арзерумъ, IV, 420). «Богатая обстановка изъ горъ и горцевъ есть собственно «hors d'oeuvre», географическая статья, отрывокъ изъ путешествія» (VII, 30; 1822).—Но самъ «Плѣнникъ»? да и онъ только бѣлое, недомалеванное пятно. Надъ нимъ потѣшались потомъ самъ авторъ съ Раевскимъ. Характеръ его—предметъ, съ которымъ Пушкинъ «насилу сладилъ» (V, 120) или, лучше сказать, совсѣмъ не сладилъ. Мы нá слово должны вѣрить, что это прожженный человѣкъ, который... «бурной жизнью погубилъ — Надежду, радость и желанье».., заключивъ въ увядшемъ сердцѣ лучшихъ дней воспоминанье, отступникъ свѣта и т. д.; что онъ «невольникъ чести безпощадной»,—«На поединкахъ твердый, хладный—Встрѣчая гибельный свинецъ», и т. д. Мы даже не знаемъ, были ли у него сильныя движенія сердца, коль скоро онъ ихъ хранилъ въ молчаньѣ глубокомъ, такъ что—«И на челѣ его высокомъ—Не измѣнялось ничего». Непонятно, почему же и какъ могли дивиться черкесы «безпечной смѣлости» плѣнника, когда онъ не проявилъ

ни разу во всей поэмѣ ни смѣлости, ни великодушія. Г. Стоюнинъ замѣтилъ, что плѣнникъ становится неинтереснымъ и даже противнымъ, что есть въ немъ черты, оскорбляющія нравственное чувство, напримѣръ: «Я вижу образъ вѣчно милый,—Его зову, къ нему стремлюсь,—Тебѣ въ забвеньѣ предаюсь—И тайный призракъ обнимаю». Хотя образъ черкешенки испорченъ вложенною въ него романтическою сантиментальностью, но въ авторѣ уже видѣнъ мастеръ, будущій живописецъ Татьяны. Черкешенка—настоящій герой поэмы (VII, 25; 1821: «Конечно, поэму приличнѣе было бы назвать «Черкешенкой», я объ этомъ не подумалъ»), а не плѣнникъ—размазня и плакса, совсѣмъ не изображающій того, что̀ хотѣлъ представить Пушкинъ: «преждевременную старость души, отличительную черту молодежи XIX вѣка» (VII, 25). Указывая на странность стиховъ: «Свобода, онъ одной тебя,—Одной искалъ въ подлунномъ мірѣ»,—г. Стоюнинъ не безъ основанія спрашиваетъ: зачѣмъ съ такимъ идеаломъ свободы летѣть въ далекій край, чтобы порабощать свободный народъ?» — Много лѣтъ спустя, послѣ вторичной поѣздки на Кавказъ и изученія его не съ однѣхъ высотъ предгорья, не съ одной вершины Бешту, Пушкинъ осуществилъ свою идею о дикой свободѣ некультурныхъ племенъ въ ея противоположности съ цивилизаціею (1829—1833) въ дивномъ эпическомъ отрывкѣ изъ неоконченной, къ несчастью, поэмы: «Галубъ», поистинѣ достойной того, чтобы быть поставленною на-ряду если не съ лучшими страницами Иліады, то, по крайней мѣрѣ, съ таковыми же испанскаго Романсеро. Сынъ чеченскаго князя Галуба—Тазитъ, получившій своеобразное воспитаніе внѣ дома, являетъ черты характера христіанскія. Онъ не ограбилъ богатаго армянина на дорогѣ, когда могъ это сдѣлать безнаказанно; онъ не притащилъ въ аулъ на арканѣ бѣглаго раба и даже не умертвилъ убійцу своего брата, сжалившись, такъ какъ убійца былъ раненъ и безоруженъ. Отъ Тазита отрекаются его родъ, его племя, но,

отверженный, онъ является, однако, на родинѣ преобразователемъ-миссіонеромъ. Конечно, онъ дѣйствуетъ только моральными средствами, а не при содѣйствіи враже-скихъ, по отношенію къ его родинѣ, барабановъ и штыковъ; онъ даже гибнетъ въ сраженіи съ русскими, какъ можно судить по уцѣлѣвшей программѣ поэмы. Замыселъ поэмы былъ колоссальный; въ сравненіи съ нимъ, «Кавказскій Плѣнникъ» оказывается только юношескимъ упражненіемъ, обнаруживающимъ лишь задатки таланта. Чтобы опредѣлить, съ какою неимовѣрною быстротою совершался ростъ таланта у Пушкина, слѣдуетъ сопоставить «Плѣнника» не съ «Бахчисарайскимъ Фонтаномъ» — граціозною бездѣлкою, съ ея гаремными сценками и мелкими силуэтами Маріи Потоцкой и Заремы, имѣющими только общее и далекое сходство съ происшествіями въ султанскомъ гаремѣ въ V-й пѣснѣ байроновскаго «Донъ-Жуана» (султанша Гюльбейазъ), и не съ «Братьями-Разбойниками», первообразомъ картинъ съ натуры изъ острожнаго и каторжнаго быта, — а съ «Цыганами». Извѣстно, что «Цыгане» писались въ декабрѣ 1823 г. на югѣ, и только послѣднюю отдѣлку получили въ Михайловскомъ. При своемъ появленіи поэма была принята съ столь единодушнымъ одобреніемъ, что поставила славу поэта у современной ей публики на высоту наибольшую изъ всего достигнутаго имъ при жизни. Были позднѣе произведенія Пушкина глубже по замыслу и сложнѣе, но мнѣнія о нихъ дѣлились, такъ что Пушкинъ, по отношенію къ нимъ, находился въ положеніи сходномъ съ положеніемъ Гёте, возвратившагося изъ римскаго путешествія и обнародовавшаго «Ифигенію въ Тавридѣ» и «Тасса» — произведенія совершеннѣйшія въ художественномъ отношеніи, но мало симпатичныя для современниковъ. Поэту приходилось задумываться надъ охлажденіемъ къ нему публики, и только теперь, чрезъ полвѣка послѣ его смерти, настало время надлежащей оцѣнки того, что̀ написалъ онъ наиболѣе цѣннаго. Но и въ настоящее время «Цыгане» не утратили нисколько

своей свѣжести, и оказываются они небольшимъ, но необычайно красивымъ алмазомъ съ сильнѣйшею игрою свѣта. Теперь мы можемъ восхищаться только однѣми художественными красотами поэмы, но современниковъ она интересовала вдвойнѣ. Она была, *во-первыхъ*, вполнѣ романтическое и весьма оригинальное произведеніе, — единственная насквозь-романтическая поэма Пушкина, взятая изъ живой дѣйствительности; *во-вторыхъ*, она ставила вопросъ объ отношеніи отдѣльнаго лица къ обществу и чертила какъ бы идеалъ общества въ ходячей тогда формѣ возврата къ простотѣ первобытнаго состоянія людей. Мысль о блаженствѣ до-историческаго, до-культурнаго состоянія людей не переставала вскружать умы и порождала издавна безчисленное множество пасторалей. Одна изъ прелестнѣйшихъ комедій Шекспира: «As you like it», написана на эту тэму. Въ XVIII вѣкѣ главнымъ апостоломъ возврата людей на лоно природы былъ Жанъ-Жакъ Руссо, въ духѣ котораго воспитывались послѣдовательно многія поколѣнія вплоть до начала тридцатыхъ годовъ. Его идеями и чувствами питались въ молодости и Байронъ, и Пушкинъ. Многіе изъ мечтавшихъ о естественномъ состояніи ѣздили искать его за морями у гуроновъ или ирокезовъ; Пушкину удалось его открыть между Одессою и Измаиломъ, подъ шатрами цыганской кочевки. Людей того вѣка такъ и манилъ къ себѣ огонь костра въ степи, такъ и влекло ихъ туда желаніе «презрѣть оковы просвѣщенья», подобно «птичкамъ беззаботнымъ, проснувшись, свой день весъ отдавать на волю Бога», бѣжать подальше отъ мѣстъ, гдѣ люди «любви стыдятся, мысли гонятъ, — Торгуютъ волею своей, —Главы предъ идолами клонятъ—И просятъ денегъ и цѣпей»... Сама по себѣ тэма мала богатая. Еслибы въ Пушкинѣ было нѣсколько меньше поэтическаго чутья, то онъ бы ее и разработалъ въ дидактическомъ направленіи,—онъ бы непремѣнно вставилъ въ произведеніе уже заготовленную пѣсню Алеко, убаюкивающаго своего ребенка сына: «Не мѣняй простыхъ

пороковъ—На образованный развратъ...—Пускай цыгана бѣдный внукъ—Не знаетъ суеты наукъ... Отъ общества, быть можетъ, я — Отъемлю нынѣ гражданина: — Чтó нужды? я спасаю сына»... Въ эту нетребовательную среду, въ этотъ мірокъ людей вольныхъ, какъ птицы, не знающихъ труда, какихъ бы то ни было стѣсненій, какихъ бы то ни было каръ, какой бы то ни было власти лица надъ лицомъ, вступилъ, по доброй волѣ, Алеко, то-есть самъ Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ, въ печальный критическій моментъ его бурной молодости. Авторомъ употребленъ настоящій байроновскій пріемъ: онъ изобразилъ самого себя и притомъ безъ самоокрашиванія начерно, безъ рисовки, безъ предпосылки какихъ бы то ни было мрачныхъ уголовщинъ, позирующихъ героя злодѣемъ. Онъ выведенъ только съ предвареніемъ, что онъ человѣкъ сознательно покинувшій «измѣнъ волненье, предразсужденій приговоръ, толпы безумное гоненье», и что, по натурѣ, онъ человѣкъ волнующійся и страстный, притомъ искренно рѣшившійся перероднться, измѣниться въ этомъ именно отношеніи, сдѣлаться беззаботнымъ и къ дѣяніямъ другихъ равнодушнымъ. Главный узловой вопросъ ставился такъ: выдержитъ ли онъ? «Давно-ль, надолго-ль усмирѣли» (страсти въ его измученной груди)? «Онѣ проснутся: погоди».

Онѣ дѣйствительно проснулись роковымъ образомъ, и тѣмъ съ большею силою, чѣмъ продолжительнѣе было ихъ усыпленіе. Алеко къ одному не могъ привыкнуть въ новомъ быту—къ тому, чтобы его подруга, по вольному цыганскому браку, могла загулять съ другимъ мужчиною. Онъ не въ силахъ усвоить себѣ цыганскую философію: «Вольнѣе птицы младость,—Кто въ силахъ удержать любовь?—Чредою всѣмъ дается радость;—Что было, то не будетъ вновь». Какъ ни искренно онъ припѣвалъ, убаюкивая сына: «не будешь жертвой злыхъ измѣнъ,—Трепеща тайно жаждой мести»...; но въ данномъ случаѣ этотъ человѣкъ, который и любилъ иначе, чѣмъ цыгане, не «шутя», а «горестно и трудно, не въ

силахъ преодолѣть себя: «Я не таковъ. — Нѣтъ, я не споря — Отъ правъ моихъ не откажусь». Трагическая коллизія разсѣкается просто, дѣйствіемъ быстрымъ, двумя ударами кинжала, поражающими и соперника, и Земфиру, безстрашную даже и подъ ножемъ и пренебрегающую убійцею («Не боюсь тебя, — Твои угрозы проклинаю, Твое убійство презираю!—Умру любя!»). Замѣтимъ мимоходомъ, что переведшій «Цыганъ» съ русскаго на французскій языкъ Просперъ Меримэ, въ своей собственной, очень извѣстной, повѣсти «Carmen», изданной совмѣстно съ переводомъ «Цыганъ» въ 1847 году, почти списалъ съ Пушкина ту же самую сцену, придавъ ей только то, что называется couleur locale: «Comme mon vom, tu as le droit de tuer la vomi; mais Carmen sera toujours libre. Calli (цыганкою) elle est née, calli elle mourra. T'aimer encore, c'est impossible. Vivre avec toi — je ne le veux pas». Надъ убійцею изрекаетъ у Пушкина приговоръ—исправляющій должность хора древней трагедіи старикъ-цыганъ: «Не нужно крови намъ, ни стоновъ.—Мы жить съ убійцей не хотимъ. — Ты не рожденъ для дикой доли;—*Ты для себя лишь хочешь воли*.— Прости! да будетъ миръ съ тобой!» Комментаторы Пушкина усматриваютъ въ этомъ приговорѣ моральное осужденіе байронизма, какъ направленія, безпощадное развѣнчаніе Алеко и вступленіе Пушкина на новый путь къ народности, или, лучше сказать, къ простонародію (Анненковъ, 241; Незеленовъ, 169). Я отрицаю подобный выводъ, превращающій созданіе Пушкина въ нравоученіе. Именно, по своему нежеланію явиться моралистомъ, Пушкинъ исключилъ изъ поэмы пѣсню Алеко надъ ребенкомъ. Въ 1825 г. Пушкинъ писалъ Жуковскому (VII, 131): «Ты спрашиваешь, какая цѣль у «Цыгановъ?» вотъ-нà! цѣль поэзіи — поэзія, какъ говоритъ Дельвигъ (если не укралъ этого)». Анненковъ приводитъ, со словъ, слышанныхъ имъ отъ Плетнева: «Только съ «Цыганъ» почувствовалъ я въ себѣ призваніе къ драмѣ». Несомнѣнно, что, начиная съ «Цыганъ», Пушкинъ про-

явилъ способность, приводившую въ восторгъ Меримэ и свойственную только великимъ драматургамъ: сосредоточивать бездну страсти въ наименьшемъ числѣ словъ: «je ne connais pas d'ouvrage plus tendre... pas un vers, pas un mot à retrancher, et cependant tout est simple, naturel (Сравн. *Faguet*, Etudes littéraires dans le XIX siècle, 1887; p. 337). Драма и есть тотъ особенный родъ творчества, въ которомъ, при происходящихъ роковыхъ столкновеніяхъ между дѣйствующими лицами, сердце зрителя дѣлится между сталкивающимися противниками; не знаешь, на чью сторону склониться, сочувствуешь герою, видишь его ошибки и миришься съ его паденіемъ,—въ виду непреложности міроваго порядка, съ его неизмѣнными, понятными разуму законами. Ошибка комментаторовъ Пушкина заключается въ томъ, что, по ихъ понятіямъ, міровой порядокъ отождествляется въ сознаніи Пушкина съ цыганскою моралью, между тѣмъ какъ нравоученія старика-цыгана изображаютъ только бытовыя условія среды, въ которую вступилъ Алеко; они—только историческая подкладка и обстановка трагическаго дѣйствія. Вина Алеко—вовсе не въ томъ, что онъ окончательно не оцыганился до смѣшенія половъ; она заключается въ томъ, что, будучи культурнымъ человѣкомъ, онъ вступилъ въ невозможную для него среду, отрицающую и ярмо тяжелаго, ежедневнаго труда, и собственность, и осѣдлость, и любовь, какъ нѣчто отличное отъ моментальнаго полового влеченія, и чистоту семейныхъ нравовъ. Никогда въ дѣйствительной жизни Пушкинъ не ставилъ себѣ идеаломъ цыганскій образъ жизни. Въ пѣснѣ Алеко онъ могъ помѣстить слова, относящіяся къ сыну: «Нѣтъ, не преклонитъ онъ колѣнъ предъ идоломъ безумной чести».... но самъ онъ былъ крайнимъ послѣдователемъ до конца этого культа чести, онъ жилъ и умеръ неисправимымъ Алеко. Я готовъ согласиться съ Аполлономъ Григорьевымъ, что Пушкина сгубила отдѣлившаяся отъ него стихія Алеко (243), то-есть прирожденная страстность его натуры, — но коренная идея

«Цыганъ» вовсе не та. Если въ человѣкѣ замерли всѣ страсти, если онъ, такъ сказать, выхолощенъ, то будь онъ похожъ на цыганъ: «мы робки и добры душою»,— но онъ уже не человѣкъ. Такое полное омертвѣніе страстей невозможно даже въ цыганскомъ быту, и я удивляюсь, какъ не было обращено должное вниманіе на самое заключеніе поэмы, устраняющее всякую надежду полнаго блаженства человѣка даже и въ состояніи природы, даже и въ до-культурномъ быту: «Но счастья нѣтъ и между вами,—Природы бѣдные сыны!—И подъ издранными шатрами—Живутъ мучительные сны! — И ваши сѣни кочевыя — Въ пустыняхъ не спаслись отъ бѣдъ. — И всюду страсти роковыя. — И отъ судебъ защиты нѣтъ!» Пушкинъ началъ писать поэму изъ однихъ личныхъ воспоминаній, а нежданно, негаданно, подъ рукою его выросла драма, о которой онъ отзывался въ 1825 г., въ письмѣ къ П. А. Вяземскому: «Я, кажется, писалъ, что мои «Цыгане» никуда не годятся: не вѣрь, я совралъ; ты будешь ими очень доволенъ». Эта драма знаменуетъ также и выходъ Пушкина изъ области байроновскаго вліянія, ибо у Байрона, какъ извѣстно, по субъективности его поэзіи, недоставало драматическаго дарованія, а въ драмѣ онъ воспроизводилъ только одно, и то—свое лицо. Обыкновенно, предѣльною чертою байроновскаго вліянія на Пушкина считаютъ отслуженную за упокой *болярина Георгія* панихиду въ Михайловскомъ, 7-го (19) апрѣля 1825 г., въ первую годовщину кончины поэта. Этотъ моментъ ознаменованъ былъ въ жизни Пушкина еще и увлеченіемъ, съ которымъ онъ погрузился въ изученіе Шекспира. Очень правдоподобно, что вліяніе Байрона продолжалось и послѣ того, хотя было слабѣе. Когда писался, въ 1825 году, осенью, въ деревнѣ «Графъ Нулинъ», послѣ прочтенія шекспировской «Лукреціи», «Нулинъ», составляющій пародію на этотъ историческій эпосъ, то передъ Пушкинымъ носились несомнѣнно и «Беппо», и «Донъ-Жуанъ», и онъ усвоивалъ себѣ шуточную манеру Байрона въ этихъ поэмахъ.

Есть еще, кромѣ того, одно произведеніе Пушкина — и самое крупное, которое не только исполнено воспоминаній о Байронѣ, но и зачато въ его духѣ: я говорю объ «Онѣгинѣ». Къ этой поэмѣ я теперь и перейду.

VIII.

4-го ноября 1823 г., Пушкинъ писалъ кн. Вяземскому (VII, 56): «Пишу романъ въ стихахъ, *въ родѣ Донъ-Жуана*». Въ предисловіи къ изданному въ 1825 г. началу поэмы, сказано, что первая глава напоминаетъ «Беппо—шуточное произведеніе мрачнаго Байрона». По своей первоначальной идеѣ, романъ долженъ былъ походить и на «Донъ-Жуана» не только по своей формѣ, но и по сатирическому содержанію: «я захлебываюсь желчью—двѣ пѣсни уже готовы» (VII, 62; Тургеневу, 1 декабря 1823 г.). «Раевскій искалъ романтизма, а нашелъ сатиру и цинизмъ, и порядочно не разчухалъ: это — лучшее мое произведеніе» (VII, 70; брату Льву, январь 1824 г.). Годъ спустя, 21-го марта 1825 г. (письмо къ Бестужеву), Пушкина уже сердило усматриваемое всѣми подражаніе Байрону, и объ «Онѣгинѣ» онъ уже твердилъ совершенно противное тому, что писалъ прежде: «Въ Донъ-Жуанѣ нѣтъ *ничего* общаго съ Онѣгинымъ. Гдѣ у меня сатира?—о ней нѣтъ и помина. У меня затрещала бы набережная отъ сатиры, еслибы я ея коснулся. Если сравнить Онѣгина съ Донъ-Жуаномъ, то развѣ въ одномъ отношеніи: кто милѣе и граціознѣе, Татьяна и Юлія?» Оба заявленія одинако искренни и правдивы. «Беппо» и «Донъ-Жуанъ» породили въ Пушкинѣ мысль и охоту написать нѣчто подобное изъ русской жизни. Рамка «Донъ-Жуана» широкая, раздвижная и вмѣстительная; она была весьма удобна именно потому, что ни въ чемъ не стѣсняла фантазію автора и даже не требовала никакого цѣльнаго замысла, никакого связнаго содержанія. Поэма могла окончиться

на десятой главѣ, или на двадцатой, или дойти до сотой. Она разросталась, какъ сосна или дубъ въ лѣсу, которые выдвигаются въ высоту, утолщаются и раскидываютъ вѣтви, по мѣрѣ того, какъ они живутъ, и измѣняютъ до неузнаваемости свой прежній видъ. Мы не можемъ даже и представить себѣ, во что̀ бы обратился «Онѣгинъ», еслибы поэтъ послѣдовалъ совѣтамъ Плетнева и безчисленныхъ друзей, твердившихъ въ одинъ голосъ: «Онъ живъ и не женатъ.—Итакъ, романъ еще не конченъ: это кладъ!—Въ его свободную, вмѣстительную раму—Ты вставишь рядъ картинъ, откроешь діораму»... (III, 422). Во всякомъ случаѣ, плодовитость проявилась бы въ ущербъ замыслу и основному плану, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ осуществленъ послѣ подведенія самимъ Пушкинымъ итога рабочему времени, ушедшему на поэму: 7 лѣтъ 4 мѣсяца и 17 дней (III, 42). Планъ этотъ крайне простой и даже до убожества бѣдный: молодая провинціалка влюбляется въ пріѣзжаго столичнаго льва, который осадилъ ее и прочелъ ей жестокую нотацію. Потомъ, когда она сдѣлалась блестящею великосвѣтскою дамою, онъ же самъ влюбился въ нее до безумія, но получилъ отъ нея крупную сдачу съ процентами — урокъ еще болѣе чувствительный для его самолюбія. Промежъ двухъ уроковъ проходитъ кровавою полосою ненужный, глупый, безтолковый поединокъ изъ-за пустяковъ между двумя сердечными друзьями, не оправдываемый даже тѣмъ, что онъ произошелъ ради «идола безумной чести». Мицкевичъ сдѣлалъ слѣдующій выводъ объ «Онѣгинѣ», какъ мнѣ кажется, вполнѣ основательный (Курсъ слав. литературъ): «en écrivant les premiers chapitres Pouschkine n'avait pas probablement d'idée arrêtée sur le dénoûement, parce qu'il n'aurait pu écrire avec tant de tendresse, tant de naïveté et de force les amours des jeunes gens pour les terminer d'une manière aussi triste et aussi prosaïque». Вмѣсто имѣвшейся сначала въ *предметѣ* (говоря слогомъ того времени, см. гл. I, стр. 27) сатиры нравовъ, мы получили не то fabliau, не то новеллу Бокка-

чіо, не то comédie или proverbe изъ жизни россійскаго fashion или high life'а, — во всякомъ случаѣ довольно пустой сюжетъ, великолѣпнѣйшимъ образомъ написанный, вещь интересную не по замыслу, а потому, что она представляетъ полную картину нравовъ извѣстной, въ даль отошедшей эпохи, родъ психологическаго склада, въ который поэтъ бросалъ безъ разбору и порядка все передуманное и пережитое въ теченіе семи съ половиною лѣтъ самаго богатаго, самаго могучаго творчества (1823—1831). «Собранье пестрыхъ главъ,—Полусмѣшныхъ, полупечальныхъ,—Простонародныхъ, *идеальныхъ*» (противъ этого выраженія протестуетъ Honegger въ Russische Litteratur und Cultur, Leipzig; 1880: «romantisch ist wohl die Dichtung, aber ideal in keinem Zuge»),—Небрежный плодъ моихъ забавъ,—Безсонницъ, мелкихъ вдохновеній—Незрѣлыхъ и увядшихъ лѣтъ,—Ума холодныхъ наблюденій — И сердца горестныхъ замѣтъ». Романъ сталъ, такимъ образомъ, автобіографіею, родомъ confessions для потомства, сочиненіемъ, въ которомъ Пушкинъ является не истолкователемъ чужихъ затѣй и причудъ, а «москвичемъ въ Гарольдовомъ плащѣ» («Онѣгинъ», VII, 24), который распахнулъ этотъ плащъ и стоитъ въ туфляхъ, бухарскомъ халатѣ и съ трубкою во рту. Само собою разумѣется, что въ такомъ видѣ Пушкинъ сдѣлался удобною мишенью для всѣхъ застрѣльщиковъ литературы, для всѣхъ подростающихъ поколѣній—и того, которое онъ собственными глазами видѣлъ изъ уцѣлѣвшихъ послѣ 14-го декабря ревнителей гражданственности («Едва опомнились младыя поколѣнья,—Жестокихъ опытовъ сбирая поздній плодъ;—Они торопятся съ расходомъ свесть приходъ.—Имъ некогда шутить, обѣдать у Темиры,—Иль спорить о стихахъ...»—Письмо къ вельможѣ Н. Б. Юсупову, 1830; II, 93),—и того, позднѣйшаго, которое въ шестидесятыхъ годахъ жестоко осуждало своихъ предшественниковъ, людей сороковыхъ годовъ, за ихъ празднословіе и эстетику, за ихъ изнѣженность и неспособность къ

простой черной работѣ, къ практическому труду, требующему мозолистыхъ рукъ и выносливости. Эти осужденія высказывались у насъ, по обыкновенію, въ самой рѣзкой и безусловной формѣ; они не встрѣчали своевременно при своемъ появленіи у насъ, какъ обыкновенно бываетъ, ни отпора, ни опроверженія; они прошли почти безслѣдно, не омрачивъ славы Пушкина, которая сіяетъ болѣе сильнымъ, нежели при жизни поэта, блескомъ. Въ этомъ хуленіи «Онѣгина» всѣхъ превзошелъ Писаревъ (3-я часть Сочиненій, изд. 1871, стр. 223), дошедшій до слѣдующихъ геркулесовыхъ столповъ прямолинейной критики въ духѣ утилитаризма: «Общій колоритъ поэзіи Пушкина — внутренняя красота человѣка, проводящаго жизнь въ праздности и посвящающаго досуги пищеваренію и созерцанію мраморныхъ боговъ, и лелѣющая душу гуманность въ отношеніи къ дѣтямъ небесъ, презирающимъ и топчущимъ въ грязь червей земли... Никто изъ русскихъ поэтовъ не можетъ внушить такого безпредѣльнаго равнодушія къ народнымъ страданіямъ, такого презрѣнія къ честной бѣдности и такого отвращенія къ честному труду, какъ Пушкинъ». Болѣе сдержанно, но въ сущности также неодобрительно отзывается объ «Онѣгинѣ» весьма почтенный критикъ Водовозовъ (Новая Русская Литература, ст. 157 и слѣд.): «чтеніе Байрона и другихъ современныхъ писателей указало Пушкину какія-то новыя требованія жизни...., но, оторванный отъ своей среды, онъ не въ силахъ былъ освободиться отъ ея привычекъ; увлекаясь Байрономъ онъ все-таки останавливался *на фразѣ*»... Всѣ эти отрицанія были бы умѣстны, еслибы поэма имѣла направленіе, еслибы, по замыслу автора, поэма должна была изображать «требованія жизни». Она отразила только эту жизнь, съ ея дремотою и лѣнью, съ ея пустотою, съ отсутствіемъ всякихъ серьезныхъ задачъ и интересовъ. Когда Онѣгинъ поутру... «отправлялся налегкѣ—Къ бѣгущей подъ гору рѣкѣ», и—«Пѣвцу Гюльнары подражая,—Сей Гел-

леспонтъ переплывалъ», — то никакой вины его не было въ томъ, что его опыты плаванія происходили на мелкой рѣченкѣ; дайте ему Геллеспонтъ — онъ, можетъ быть, переплылъ бы и настоящій Геллеспонтъ. А жизнь тогдашняя въ Россіи не представляла собою никакихъ Геллеспонтовъ, — живого дѣла не предстояло, само общество его чуждалось. Человѣкъ, предъявляющій особыя требованія, расшибъ бы себѣ лобъ объ стѣну, или бѣжалъ бы, какъ Чацкій, ища, «гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ» — и прослылъ бы чудакомъ и опаснымъ сумасшедшимъ. Людямъ не боевого темперамента приходилось по-неволѣ услаждать свое скучное существованіе «созерцаніемъ мраморныхъ боговъ» и сохранять — въ этой, единственно-возможной по тому времени, формѣ служенія отвлеченной наукѣ и чистому искусству — связь съ общимъ движеніемъ европейской мысли и отзывчивость на міровыя событія и явленія. Невѣрно было то, въ чемъ обвинялъ Писаревъ Пушкина и его современниковъ (III, 239), будто, «погрузившись въ созерцаніе мелкихъ, личныхъ ощущеній, они сдѣлались неспособными анализировать и понимать общественные и философскіе вопросы вѣка». Когда пришла пора реформъ, то явились и люди, способные рѣшать запутанные и сложные общественные вопросы. Долгое уединеніе отъ міра сего и пребываніе въ сферѣ отвлеченностей принесло, конечно, и вредныя послѣдствія. Реформаторы заскакивали на сто лѣтъ впередъ; учрежденія выкраивались шире, чѣмъ слѣдовало, не по росту субъекта. Мы чурались эстетики и чистаго искусства ради практическаго дѣла, ради реформъ, и стоимъ нынѣ въ раздумьѣ на перекресткѣ, не зная — куда направиться. Талантами мы сильно оскудѣли, нашъ умственный уровень пониманія простѣйшихъ общечеловѣческихъ вопросовъ жизни понизился; нѣтъ у насъ идеаловъ ни эстетическихъ, ни этическихъ. Царитъ одинъ голый и до цинизма откровенный эгоизмъ, все равно — личный ли онъ, или національный. По мѣрѣ того, какъ выяснялось

въ сознаніи наше огрубѣніе, возстановляется и репутація бывшихъ долгое время въ загонѣ людей сороковыхъ годовъ; надъ головами нашими выростаютъ они съ Пушкинымъ во главѣ. Въ пользу Пушкина, очищающимъ его отъ злословія доказательствомъ служитъ то, что всѣ великіе писатели слѣдующаго за нимъ періода, уже не ограничивавшагося «созерцаніемъ мраморныхъ боговъ», но посвященнаго настоящему дѣлу, начиная съ олимпійца Тургенева и до живописца нервныхъ страданій и истерики Достоевскаго, — происходятъ отъ Пушкина и провозглашаютъ его своимъ первоучителемъ. Что же касается до нареканій за эпикуреизмъ и квіетизмъ, то Пушкинъ подвергался этимъ нареканіямъ не одинъ, — та же самая судьба постигла и Гёте за его политическій индифферентизмъ. Курьезно то, что люди, поносящіе Пушкина за его сибаритство и неумѣніе стать на высотѣ Байрона въ уразумѣніи практическихъ требованій вѣка, попрекаютъ его и за тѣ его стихотворенія, въ которыхъ онъ изображаетъ высокое назначеніе поэзіи и священный почти характеръ поэта, между тѣмъ какъ это обоготвореніе поэта Пушкинымъ есть не что иное, какъ воспроизведеніе въ нѣсколько измѣненной, согласно его личному темпераменту, формѣ основной байроновской идеи, составляющей дурную и въ значительной степени вредную сторону его поэзіи, а именно, байроновскаго культа великихъ, геніальныхъ людей, для которыхъ никакой законъ не писанъ, ни положительный, ни чисто нравственный. Намъ приходится теперь остановиться на понятіяхъ Пушкина о значеніи и назначеніи поэта.

IX.

Пушкинъ сталъ поэтомъ съ малолѣтства,—и по настоящему призванію, по воспріимчивости къ поэтическимъ впечатлѣніямъ, и по наслажденію, испытываемому при

созиданіи поэтическихъ образовъ. Съ самаго лицея, его и не интересовало ничто, кромѣ одной поэзіи. На тысячу ладовъ провозглашалъ онъ: — Я поэтъ!.. «Въ пещерахъ Геликона—Я нѣкогда рожденъ...—Подъ кровомъ вешнихъ розъ—Поэтомъ я возросъ» (1815; Батюшкову, I, 77). «Я мирныхъ звуковъ наслажденья—Младенцемъ чувствовать умѣлъ... И лира стала мой удѣлъ» (1817; Дельвигу, I, 167); всего сильнѣе въ стихѣ Жуковскому (1817, I, 163): «Благослови, поэтъ!... Мнѣ жребій вынулъ Фебъ—и лира мой удѣлъ». Пушкинъ все въ мірѣ отдалъ бы за поэтическую славу: «Ахъ, вѣдаетъ мой добрый геній,—Что предпочелъ бы я скорѣй—Безсмертію души моей — Безсмертіе моихъ твореній»... (1817; Илличевскому, I, 177). Собственно не сама слава влечетъ его неодолимо въ область поэзіи, а стремился онъ туда просто потому, что это была его естественная стихія: «Душа стѣсняется лирическимъ волненьемъ,—Трепещетъ и звучитъ, и ищетъ какъ во снѣ — Излиться, наконецъ, свободнымъ проявленьемъ — И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей... И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ» (Осень, 1830; II, 105). Читая произведенія Пушкина, писанныя еще до катастрофы 1820 г., изумляешься, сколько въ нихъ страдальческихъ звуковъ, унылыхъ и печальныхъ, при преобладающемъ, однако, общемъ настроеніи рѣзвой веселости, — и какъ великъ навыкъ поэта уединяться, переполняться звуками и смятеніемъ и бѣжать «на берега пустынныхъ волнъ, въ широкошумныя дубровы» (III, 21). Онъ прилѣплялся къ поэзіи, какъ къ единственному своему занятію, всѣми корнями души, какъ къ якорю, какъ къ средству, очищающему его отъ страстей и искупающему всякую скверну: «Такъ сердце — жертва заблужденій — Среди порочныхъ упоеній — Хранитъ одинъ святой залогъ, — Одно божественное чувство»... Онъ только и живетъ въ этомъ элизіумѣ, съ его условными символами, съ его языческою миѳологіею, съ его излюбленными мечтами и героями, и настолько имъ преданъ сердцемъ, что знать

не хочетъ уничтожающей ихъ правды; онъ отворачивается отъ дѣйствительности, насколько она несхожа съ поэтическою легендою. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ обнаружилась уже эта анти-историческая черта въ поэтѣ. Еще въ лицеѣ онъ такъ опредѣлялъ назначеніе поэзіи: «Гоните мрачную печаль, — Плѣняйте умъ *обманомъ*, — И милой жизни свѣтлу даль — Кажите за туманомъ». Этому отношенію къ сухой, некрасивой дѣйствительности Пушкинъ былъ вѣренъ всю жизнь. Еще въ концѣ 1830 г. онъ писалъ въ «Героѣ» (Наполеонъ) — съ эпиграфомъ: «Что́ есть истина?»: — «Да будетъ проклятъ правды свѣтъ, — Когда посредственности хладной, — Завистливой, къ соблазну жадной, — Онъ угождаетъ праздно. Нѣтъ! — Тьмы низкихъ истинъ мнѣ дороже — Насъ возвышающій обманъ».

Съ молодыхъ лѣтъ и гораздо раньше катастрофы 1820 г., въ поэзію Пушкина — игривую, граціозную, по преимуществу эротическую, то-есть посвященную «наукѣ страсти нѣжной», входятъ гражданскіе мотивы съ сильно-политическимъ, свойственнымъ тому времени оттѣнкомъ. На политическое воспитаніе поэта оказалъ, повидимому, громадное вліяніе Петръ Яковлевичъ Чаадаевъ («единственный другъ», «цѣлитель душевныхъ силъ», «ты поддержалъ меня недремлющей рукой» (Посланіе 1824 г., I, 241). «Подъ гнетомъ власти роковой — Отчизны внемлемъ призыванья! — Мы ждемъ, съ томленьемъ, ожиданья — Минуты вольности святой» (1818 г.; I, 190), — конечно, въ видѣ громадно набѣгающаго откуда-то извнѣ шквала. На сихъ «младыхъ вечерахъ», въ «пророческихъ спорахъ», лелѣялись вольнолюбивыя мечтанія и надежды, которыя помогъ Пушкину облекать въ поэтическую форму Андрей Шенье (Вольность: «Открой мнѣ благородный слѣдъ — Того возвышеннаго галла, — Кому сама средь славныхъ бѣдъ — Ты гимны смѣлые внушала)». Всѣ эти произведенія отзываются манерою Шенье, — они слегка ходульны и важно напыщенны. Замѣчательно, что эту политическую поэзію Пушкинъ до

конца жизни ставилъ себѣ въ главную заслугу, и что въ первоначальномъ наброскѣ «Памятника» (1835 г.; II, 19) онъ выразилъ, что тѣмъ-то именно и будетъ любезенъ онъ народу, что — «вслѣдъ Радищеву возславилъ я свободу (проповѣдывалъ освобожденіе крестьянъ) И милосердіе воспѣлъ» (то-есть ходатайствовалъ за декабристовъ). Затѣмъ послѣдовало изгнаніе, знакомство съ поэзіею Байрона и увлеченіе имъ. Есть въ черновыхъ Пушкина одинъ набросокъ, относимый къ 1830 г. (I, 115) и писанный дантовскими терцинами (вспомнимъ, что Данта онъ изучалъ во время эрзерумскаго путешествія: «зорю бьютъ, изъ рукъ моихъ великій Данте выпадаетъ»), въ отрывкѣ изображены прельщавшіе когда-то поэта два бѣса: «Одинъ (дельфійскій идолъ)—былъ гнѣвенъ, полонъ гордости ужасной, и весь дышалъ онъ силой неземной. Другой — женоподобный, сладострастный, сомнительный и лживый идеалъ, волшебный демонъ— лживый, но прекрасный». Со вторымъ идоломъ Пушкинъ знакомъ былъ съ малолѣтства; первымъ идоломъ сдѣлался, вѣроятно, въ бурный періодъ изгнанія, Байронъ, которымъ Пушкинъ увлекся ради волевой силы, обрѣтавшейся въ Байронѣ въ великомъ изобиліи. Отъ Байрона перешелъ къ Пушкину и культъ героевъ, которые непремѣнно презираютъ людей и человѣчество въ своемъ сверхъестественномъ величіи, будь они Петръ Великій или Наполеонъ. Начальные стихи «Героя» (1830) изображаютъ еще въ полномъ цвѣту это поклоненіе; ихъ можно назвать родственными по духу лучшимъ строфамъ (36—45) третьей пѣсни «Ч.-Гарольда»: «Какъ огненный языкъ она (т.-е. слава) — По избраннымъ главамъ летаетъ, — Съ одной сегодня исчезаетъ — И на другой уже видна. — За новизной бѣжать смиренно — Народъ безсмысленный привыкъ, — Но намъ ужъ то чело священно,—Надъ коимъ вспыхнулъ сей языкъ.—На тронѣ, на кровавомъ полѣ,—Межъ гражданъ на чредѣ иной,— Изъ сихъ избранныхъ кто всѣхъ болѣ — Твоею властвуетъ душой?» Когда писался этотъ стихъ, «Героемъ»

по преимуществу былъ не кто иной какъ Наполеонъ: «Все онъ, все онъ, пришлецъ сей бранный, — Предъ кѣмъ смирялися цари;—Сей ратникъ, вольностью вѣнчанный, — Исчезнувшій какъ тѣнь зари!» Этотъ герой изображается чертами, не измѣнившимися съ 1823 г. и прямо заимствованными изъ написаннаго въ этомъ году отрывка (I, 297): «Сей всадникъ, передъ кѣмъ склонялися цари — Мятежной вольности наслѣдникъ и убійца,—Сей хладный кровопійца,—Сей царь, исчезнувшій, какъ сонъ, какъ тѣнь зари!» Я не могу отнести поэтическое поклоненіе Пушкина Наполеону къ Байрону, какъ источнику сего поклоненія. Всѣ четыре славянскихъ поэта, которыхъ я изучаю—поклонники Наполеона, и въ этомъ отношеніи похожи на Байрона, но могли придти къ своему поклоненію совершенно различными путями, вслѣдствіе того, что жили въ эпохѣ, на которую падала тѣнь великаго историческаго лица, что великіе міровые политическіе дѣятели бываютъ закройщиками душъ и характеровъ человѣческихъ на многія послѣдующія поколѣнія. «Мы всѣ глядимъ въ Наполеоны,—писалъ Пушкинъ («Онѣгинъ», II гл., стр. 14),—Двуногихъ тварей милліоны—Для насъ орудіе одно». Не утверждаю, чтобы этотъ наполеонизмъ происходилъ отъ Байрона, хотя знакомство съ Байрономъ могло содѣйствовать его развитію (Ода «Наполеонъ» писана въ іюлѣ 1821 г., во время сильнѣйшаго увлеченія Байрономъ). Я полагаю, однако, что онъ не доходилъ въ Пушкинѣ до сознательнаго или безсознательнаго подражанія Наполеону. Между мною и лицомъ, которому я волею или неволею подражаю, должно быть извѣстное сходство въ натурахъ, совпаденіе моего метафизическаго «я», того, какимъ бы мнѣ хотѣлось быть, съ идеальнымъ «я» того моего образца, т. е. съ образцомъ, какимъ онъ представляется въ сознаніи другихъ людей и моемъ. Въ Байронѣ современники усматривали, можетъ быть, безъ всякаго основанія, нѣкоторое сходство съ Наполеономъ, даже со стороны силы воли, энергичности характера, между тѣмъ какъ, при всей своей

вспыльчивости и страстности, и при всѣми признаваемой геніальности,—Пушкинъ не импонировалъ никому; онъ былъ весьма горячо любимъ, но онъ считался человѣкомъ мягкимъ, добрымъ, легкимъ и подвижнымъ. Подобно Байрону, Пушкинъ не могъ не идеализировать самого себя, не могъ не претендовать на то, что онъ исключительно даровитая, избранная натура, что онъ не только поэтъ, но и общественный дѣятель, человѣкъ не только доставляющій эстетическія наслажденія, но и вліяющій на народъ, движущій его, принимающій дѣятельное участіе въ его судьбахъ. Скорѣе всего Пушкинъ могъ себя идеализировать въ своемъ званіи поэта—и только поэта. Во всякомъ творчествѣ есть элементъ непроизвольнаго вдохновенія, того «тайнаго холода», который «власы подъемлетъ на челѣ» (I, 193; Жуковскому),—той невѣдомой силы, которая наполняетъ душу óбразами и звуками и заставляетъ ее потомъ изливаться въ стихахъ. Сотни разъ преклонялся Пушкинъ передъ чѣмъ-то, навѣщающимъ его, таинственнымъ и божественнымъ, передъ которымъ самъ онъ, какъ человѣкъ—ничто, и которому онъ покорный слуга и вѣрный жрецъ: «Какой-то демонъ обладалъ моими играми, досугомъ... мнѣ звуки дивные шепталъ» (Разг. книгопродавца съ поэтомъ, 1826); или: «Пока не требуетъ поэта—Къ священной жертвѣ Аполлонъ» (1827 г.; II, 21)... Въ варіантѣ къ «Родословной моего героя» (1833 г.; III, 556) записано: «Зачѣмъ крутится вихрь въ оврагѣ»... «Зачѣмъ отъ горъ и мимо башенъ—Летитъ орелъ угрюмъ и страшенъ?—Зачѣмъ арапа своего—Младая любитъ Дездемона?.. Затѣмъ, что вѣтру орлу,—И сердцу дѣвы нѣтъ закона.—Гордись! таковъ и ты поэтъ,—И для тебя закона нѣтъ».—Отыскивая основаніе для своего прирожденнаго избранничества, которое онъ въ себѣ сознавалъ, подобно Байрону, Пушкинъ находилъ его, по особенностямъ своего темперамента, въ непроизвольномъ, внезапно иногда навѣщающемъ его вдохновеніи, которое онъ и боготворилъ, а самого себя, свое личное «я» онъ счи-

талъ только вмѣстилищемъ этого божества. Идя по этой стезѣ, онъ естественнымъ образомъ наталкивался и на античное представленіе о «sacer vates», и на примѣры ветхозавѣтныхъ пророковъ. Извѣстно, что въ 1824 г. въ Михайловскомъ онъ былъ религіозно настроенъ и писалъ подражаніе Корану (I, 322); онъ домогался настойчиво присылки ему Библіи, которую съ тѣхъ поръ не переставалъ изучать вплоть до 1834 г. (VII, 371), разумѣется, преимущественно съ ея поэтической стороны. Плодомъ этого усидчиваго чтенія Библіи и явилась передѣлка 6-й главы книги пророка Исаіи: «и посланъ бысть ко мнѣ одинъ изъ серафимовъ, и въ руцѣ своей имяше угль горящъ, его же клещами взятъ отъ алтаря»,—передѣлка, озаглавленная «Пророкъ», о которой сложилась даже цѣлая легенда, и съ которою комментаторы Пушкина возятся, какъ—не только съ красивѣйшимъ, но и съ глубокомысленнѣйшимъ созданіемъ поэта, опредѣляющимъ задачи и высокое назначеніе поэзіи. Позволю себѣ оспорить и легенду, и самую критику.

X.

Легенда гласитъ, что когда Пушкинъ привезенъ былъ 8-го сентября 1826 г. съ фельдъегеремъ прямо въ Чудовъ дворецъ къ государю, въ дорожномъ костюмѣ, то при немъ были опаснаго свойства стихи, которые онъ обронилъ случайно на лѣстницѣ, но нашелъ, возвращаясь по ней. Ходили слухи, что то было «Посланіе въ Сибирь къ декабристамъ»—но декабристы были въ то время еще только на пути въ Сибирь.—С. А. Соболевскій кому-то разсказывалъ (Ефремовъ, Жизнеописаніе Пушкина, въ «Р. Старинѣ», 1880 г., № 1), и г. Пятковскій передаетъ со словъ умершаго сенатора Веневитинова, что оброненные стихи содержали «Пророка» въ томъ видѣ, въ какомъ онъ появился въ 1828 г. въ «Московскомъ Вѣстникѣ», № 3, но съ прибавкою заклю-

чительной строфы, сохранившейся только въ изустномъ преданіи: «Возстань пророкъ, пророкъ Россіи!—Позорной ризой облекись—И съ вервьемъ вкругъ смиренной выи—Къ (царю россійскому) явись!» Подать эти стихи поэту не пришлось, потому что они были бы поданы только въ случаѣ неблагопріятнаго результата его представленія государю («Русская Старина», 1880, № 3). Черновой «Пророка» нѣтъ въ рукописяхъ Пушкина въ Румянцовскомъ Музеѣ (Описаніе рукописей Пушкина Якушкинымъ, «Р. Старина», 1884 г.). Не имѣя права выѣзда изъ имѣнія, Пушкинъ не могъ и помышлять о томъ, что онъ вскорѣ предстанетъ передъ лицо государя. Увезенный фельдъегеремъ, онъ не могъ догадываться, что его повезутъ въ Чудовъ дворецъ. Строфа, сохранившаяся въ устномъ преданіи, не могла быть заключительною, такъ какъ она оставляетъ читателя въ полномъ недоумѣніи, зачѣмъ имѣлъ явиться и что̀ имѣлъ сказать этотъ съ вервьемъ на шеѣ человѣкъ въ своемъ, совсѣмъ не обычномъ по нашему времени, костюмѣ и съ своими, весьма мало понятными, библейскими рѣчами? Въ данныхъ условіяхъ его поступокъ сильно походилъ бы на выходку помѣшаннаго. Вспомнимъ еще, что либеральный бредъ прошелъ у Пушкина еще въ то время, когда онъ писалъ «Сѣятеля», что въ январѣ 1826 г. онъ уже непремѣнно желалъ помириться съ правительствомъ (VII, 174). Онъ не былъ за-одно съ декабристами,—онъ только скорбѣлъ о нихъ. У него не могло быть въ запасѣ никакихъ «жгучихъ глаголовъ», коль скоро отъ милостивыхъ словъ государя онъ мгновенно раскаялся и сдѣлался на остальную жизнь человѣкомъ не противнымъ правительству.

Что касается до внутренняго смысла «Пророка», то въ цѣломъ стихотвореніи нѣтъ никакого намека на то, чтобы подъ этимъ словомъ Пушкинъ подозрѣвалъ не пророка, а поэта. Мы имѣемъ передъ собою настоящаго пророка, но только немного преобразованнаго въ томъ смыслѣ, что ветхозавѣтный пророкъ, имѣющій видѣнія

и отъ самого Бога получающій непосредственно приказанія, не нуждался въ угадываніи, посредствомъ нѣкотораго рода ясновидѣнія, процессовъ жизни и законовъ природы, что онъ могъ и не ощущать и «неба содраганье—И горній ангеловъ полетъ,—И гадъ морскихъ подводный ходъ—И дольной лозы прозябанье». Я не нахожу, чтобы очень удачна была замѣна очищенія устъ стихіею огня—горящимъ углемъ, превращеніемъ языка въ жало змѣи, потому что жаломъ можно только жалить, а не жечь, притомъ жало считаемой особенно хитрою, а потому и мудрой змѣи—во всякомъ случаѣ, съ точки зрѣнія миѳа, лукавѣе языка человѣческаго.—Не очень удачна и другая замѣна трепетнаго, то есть чувствующаго сердца — пылающимъ огнемъ. — Нельзя, однако, не признать, что модулизированный Пушкинымъ пророкъ, не пользующійся лицезрѣніемъ Господа, но одаренный широкимъ пониманіемъ природы и пламеннымъ сердцемъ, довольно близко подходитъ къ представленію о поэтѣ, съ тою разницею, что пророка проникаетъ насквозь воля божества, что, ею полный, онъ обходитъ моря и земли, прожигая сердца людей, а на поэта нисходитъ иногда, невѣдомо ка̀къ и откуда, въ видѣ вдохновенія тотъ же «божественный глаголъ» (II, 21). Это сближеніе пророка и поэта—и этотъ въ поэтѣ священный характеръ жреца и помазанника вдохновенія—усиливаются постепенно въ Пушкинѣ, по мѣрѣ того, какъ публика охладѣваетъ къ нему, и какъ она отказывается признавать его своимъ руководителемъ и моральнымъ вождемъ, то есть по мѣрѣ того, какъ онъ уединяется, уходя въ область чистаго и отвлеченнаго отъ жизни искусства, созидая произведенія весьма красивыя и замѣчательныя по техникѣ и формѣ, но неимѣющія никакого отношенія къ «злобѣ дня», и потому мало интересующія публику. Пушкинъ дорожилъ популярностью, скорбѣлъ о томъ, что она отъ него ускользала. Съ гнѣвнымъ чувствомъ царя, негодующаго противъ своихъ отложившихся подданныхъ, онъ выстрѣлилъ въ нихъ сво-

имъ негодующимъ «Ямбомъ» или «Чернью» (1828 г., II, 49), въ которомъ ставится въ невозможной формѣ неразрѣшимая дилемма по вѣчно открытому и нескончаемому вопросу о тенденціозности въ искусствѣ: либо—мое безусловное право властвовать надъ умами въ силу того, что я великій поэтъ; либо—мое безусловное вамъ подчиненіе, мое рабство, мое угодничество всѣмъ вашимъ похотямъ и инстинктамъ.—Съ одной стороны толпа ропщетъ: «Какъ вѣтеръ, пѣснь его свободна, — Зато какъ вѣтеръ и безплодна... Свой даръ, божественный посланникъ,—Во благо намъ употребляй...—Ты можешь, ближняго любя,—Давать намъ смѣлые уроки,—А мы послушаемъ тебя». — Съ другой стороны, избранная натура, поэтъ, выходитъ изъ себя и не учитъ, а бранитъ: «Молчи, безсмысленный народъ,—Поденьщикъ, рабъ нужды, заботъ!.. Подите прочь, какое дѣло—Поэту мирному до васъ?—Для вашей глупости и злобы—Имѣли вы до сей поры—Бичи, темницы, топоры;—Довольно съ васъ—рабовъ бездушныхъ!..» Поэтъ, очевидно, дѣлаетъ натяжку. Вопросъ имъ плохо поставленъ, потому что никто не понуждаетъ жрецовъ бросать алтари и жертвоприношеніе и идти мести соръ съ улицъ; но никто также не властенъ приневоливать толпу, чтобы она насильно участвовала въ таинствахъ и жертвоприношеніяхъ, нѣжила грубый слухъ нѣжными звуками или справляла нервы, можетъ быть, тому же самому лживому богу—финикійскому Адонису, о которомъ самъ Пушкинъ когда-то писалъ: «волшебный демонъ, лживый, но прекрасный».—Если въ «Черни» Пушкинъ изобразилъ изъ себя нѣкоторымъ образомъ короля Лира, сошедшаго съ престола и скитающагося по полю во время бури,—то съ другой стороны, критики шестидесятыхъ годовъ, съ Писаревымъ во главѣ, представляютъ собою, въ своемъ пуританскомъ озлобленіи и утилитаризмѣ, родъ республиканскаго конвента, принявшагося судить новаго Людовика XVI, подводя Пушкина подъ свой общій для всѣхъ этическій топоръ... Отъ своихъ высокомѣрныхъ требованій и гор-

дыхъ словъ самъ Пушкинъ отступился въ 1830 г. (1 іюля; II, 95), въ сонетѣ «Поэтъ», въ которомъ онъ является уже не гнѣвнымъ королемъ Лиромъ, а смирнымъ княземъ-изгнанникомъ, ушедшимъ, съ немногими оставшимися ему вѣрными придворными, въ Арденскій лѣсъ, въ шекспировской комедіи: «As you like it», или какъ успокоившійся Просперо на своемъ острову въ «Бурѣ».— Поэтъ и толпа окончательно разведены; каждый остается самъ у себя и по себѣ.—Поэтъ! не дорожи любовію народной!—Ты царь... живи одинъ, усовершенствуя—Плоды любимыхъ думъ.—Ты самъ твой высшій судъ... пускай твой трудъ толпа бранитъ — И плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ,—И въ дѣтской рѣзвости колеблетъ твой треножникъ!»

Но и сонетъ 1830 г. не представляетъ собою окончательно опредѣлившагося идеала поэта, то есть собственно личнаго идеала, его собственнаго «я». Бывали счастливыя минуты въ самыхъ послѣднихъ годахъ его существованія, въ которыхъ онъ слагалъ съ себя все извнѣ пришедшее, напускное, ходульное, разоблачался, позабывалъ совсѣмъ свой санъ, свое интеллектуальное избранничество, становился дѣтски простъ и естественъ, и бѣжалъ рѣзвиться или, какъ выражаются французы—faisait l'école buissonière. Въ немъ не замѣчалось тогда никакихъ уже признаковъ важнаго жреца или помазанника поэзіи, но зато имъ достигаемо было высочайшее благо человѣка: полная душевная свобода и независимость. Таковъ онъ былъ еще въ 1822 г. въ «Тавридѣ» (I, 288): «Покойны чувства, ясенъ умъ,—Въ душѣ утихло мрачныхъ думъ волненье... Вездѣ мнѣ слышенъ тайный голосъ— Давно затеряннаго счастья». Таковъ онъ былъ и послѣ женитьбы, когда писалъ женѣ: «На свѣтѣ счастья нѣтъ,— а есть покой и воля» (II, 193). Таковъ онъ въ дивномъ своемъ, оригинальномъ стихотвореніи, подложно имъ приписанномъ итальянскому поэту Пиндемонте: *«Изъ VI Пиндемонте»* (II, 187),—одномъ изъ лучшихъ его про-

изведеній [1]).—Въ этомъ послѣднемъ, по времени начертанія, идеалѣ поэта—не скажу: наивысшемъ, но во всякомъ случаѣ наиболѣе подходящемъ къ темпераменту Пушкина — не видно уже ни малѣйшихъ признаковъ байронизма.

Сводя итоги сказанному по избранному мною предмету, я заключаю мое изслѣдованіе слѣдующими выводами. Несмотря на несходство натуръ Байрона и Пушкина, вліяніе Байрона было сильное, но преходящее,—подобное слѣду камня, брошеннаго въ воду, и представляющемуся въ видѣ расходящихся круговъ, теряющихъ явственность по мѣрѣ удаленія ихъ отъ центра. Всей глубины байроновскаго отрицанія Пушкинъ не постигъ, а нѣкоторые внѣшніе пріемы Байрона усвоилъ. Съ теченіемъ времени вліяніе Байрона на Пушкина перекрещивалось съ подобными же расходящимися кругообразно струйками на поверхности отъ Шекспира, отъ Данта, отъ другихъ поэтовъ и отъ событій. Въ концѣ концовъ это вліяніе, въ совокупности съ этими, иного происхожденія, слѣдами, перешло въ легкую, трудно уловимую зыбь. Бывали времена, когда поэтъ отъ этого вліянія совсѣмъ освобождался, — и тогда онъ былъ вполнѣ независимъ, своеобразенъ, какъ тѣ причудливыя созданія народной или шекспировской фантазіи — воздушный сильфъ, игривый Пукъ или—безподобный Аріель.

---

[1]) «...Никому — Отчета не давать; себѣ лишь одному — Служить и угождать; для власти, для ливреи—Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи;—По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ,—Дивясь божественнымъ природы красотамъ, И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья—Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья—Вотъ счастье! вотъ права!»

БАЙРОНИЗМЪ

У

Лермонтова.

Байронизмъ у Лермонтова.

(Изъ эпохи романтизма).

Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ (род. 20 октября 1814 г.) былъ всего 14-ю годами съ небольшимъ моложе Пушкина, а пережилъ только на четыре съ половиною года своего великаго предшественника (29-го янв. 1837 и 15 іюля 1841); но онъ и выросъ, и сложился при иныхъ условіяхъ, въ иную эпоху политической и общественной жизни, въ атмосферѣ болѣе суровой, менѣе распологающей къ гуманности и прогрессу. Великая національная побѣда 1812 г., воодушевившая и сблизившая всѣ сословія, главнымъ образомъ пошла въ прокъ однимъ высшимъ общественнымъ слоямъ; сельское населеніе, проявившее себя живою силою, оставалось придавленымъ всесильнымъ еще крѣпостнымъ правомъ. Тяготѣніе высшихъ слоевъ общества къ французской литературѣ и культурѣ продолжалось по старымъ преданіямъ XVIII вѣка, такъ что въ этомъ отношеніи декабристы шли по стопамъ образованныхъ людей Екатерининскаго вѣка и бойцовъ 1812 г.. носившихъ французскія книжки въ походныхъ ранцахъ. Послѣ побѣды

надъ Наполеономъ незачѣмъ было отрѣшаться и отъ европеизма, который пересталъ быть грозою, но съ русской точки зрѣнія этотъ европеизмъ послѣ 14-го декабря 1825 года былъ уже двойнымъ: съ одной стороны, поднимали головы и сплочивались всѣ раздавленные французскою революціею элементы,—они тянули назадъ, въ средніе вѣка; съ другой же стороны, стояло все новое, вольнолюбивое, держащееся крѣпко принциповъ 1789 г., но представляющее себѣ свободу въ видѣ внезапно налетающей бури. — Событіе 14-го декабря, заставшее Лермонтова еще мальчикомъ, имѣло то послѣдствіе, что у русскаго европеизма отсѣченъ былъ одинъ корешокъ, и общество осталось только при другомъ — при европеизмѣ консервативномъ, легитимистическомъ, главнымъ оплотомъ котораго въ царствованіе императора Николая сдѣлалась Россія. Внѣшняя обстановка жизни будничной была какъ будто европейская, до мелочей, до обязательной стрижки волосъ и бритья бороды для дворянъ и служащихъ, до подозрительнаго отношенія ко всѣмъ ищущимъ сближенія съ простымъ народомъ славянофиламъ; но всякіе помыслы объ измѣненіи тяжелыхъ патріархальныхъ формъ роднаго быта преслѣдовались строго, и связь съ европейскою жизнью поддерживалась главнымъ образомъ только посредствомъ одной легкой литературы, или такъ-называемой беллетристики. Укажемъ еще на одну особенность того времени: сильное господство военнаго духа, преобладаніе военнаго элемента надъ гражданскимъ въ общественномъ строѣ, представленіе объ обществѣ какъ о колоссальномъ механизмѣ, въ которомъ всѣ отправленія могутъ быть совершаемы по командѣ. Не подлежитъ сомнѣнію, что на воспитаніи Лермонтова отразились слѣды этой военной эпохи. Онъ не могъ кончить образованія въ благородномъ пансіонѣ при московскомъ университетѣ потому, что пансіонъ былъ закрытъ 29-го марта 1830 г., послѣ посѣщенія его государемъ, который былъ направленіемъ его недоволенъ. Не вполнѣ выяснено,

какія обстоятельства заставили Лермонтова выйти и изъ московскаго университета и поступить, 10-го ноября 1832 г., въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ и юнкеровъ. Впрочемъ поступилъ онъ въ эту школу по доброй своей волѣ: après avoir tout sacrifié à mon ingrate idole (литературѣ), voilà que je me fais guerrier (письмо 1832 г. Изданіе Ефремова 1887 г. Сочиненія Лермонтова I, 447). Онъ сознательно покинулъ литературныя занятія для военщины, обрекая себя на «deux pénibles années». Оказалось, что эти годы были не только тяжелые, но и ужасные (j'ai sauté deux années terribles... I, 456; письмо въ декабрѣ 1834). Изъ школы вынесъ Лермонтовъ «Петергофскій Праздникъ», «Уланшу» и другія стихотворныя шалости скабрёзнаго свойства, которыми онъ прославился, прежде нежели огласилось его серьезное поэтическое дарованіе. При выходѣ изъ школы онъ явилъ себя лихимъ удальцомъ, отчаяннымъ кутилою, блестящимъ, хотя неаккуратнымъ офицеромъ (Si vous saviez la vie que je me propose de mener. D'abord des bizarreries, des folies de toute espèce et de la poèsie noyée dans du champagne. Il me faut des plaisirs matériels, un bonheur palpable, un bonheur qui s'achète avec de l'or, que l'on porte dans sa poche comme une tabatière, un bonheur qui ne fait que tromper mes sens en laissant mon âme tranquille et inactive (I, 453, письмо 3-го авг. 1833). Прежде чѣмъ заглянуть въ самое нутро этой безпокойной души, этого сложнаго и загадочнаго характера, слѣдуетъ выдѣлить изъ его поэзіи все второстепенное и случайное и отодвинуть на заднiй планъ стихіи политическую и общественную, которыя вообще занимали у него мало мѣста.

II.

Лермонтовъ былъ еще юношей, не напечатавшимъ ни одной строки, когда въ Европѣ случились два собы-

тія, вызвавшія политическій антагонизмъ между Россіею и западною Европою: 1) іюльская революція и 2) возможность вмѣшательства Европы во внутреннія дѣла Россіи по случаю вспыхнувшаго 17-го (29-го) ноября 1830 г. польскаго мятежа. Лермонтовъ вполнѣ сочувствовалъ Жуковскому и Пушкину, издавшимъ сборникъ патріотическихъ стиховъ. Находясь еще въ школѣ (1834), онъ парафразировалъ стихъ «Клеветникамъ Россіи» въ отрывкѣ (II, 333), который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ воспроизводитъ подлинныя слова Пушкина, прямо указывая на источникъ (Опять, народные витіи,—Опять, шумя, возстали вы)... Отрывокъ замѣчателенъ тѣмъ, что онъ опредѣляетъ тогдашній взглядъ на Пушкина какъ Лермонтова, такъ и нѣсколько охладѣвшей къ поэту русской публики (Поэтъ, возставшій въ блескѣ новомъ—Отъ продолжительнаго сна...). По времени написанія нѣсколько запоздалое, стихотвореніе Лермонтова выражаетъ, однако, по тону своему неизмѣнившееся до смерти его отношеніе къ своему правительству, какъ русскаго и какъ дворянина (...вамъ обидна—Величья нашего заря,—Вамъ солнца Божьяго не видно—За солнцемъ русскаго царя... —Мы чужды ложнаго стыда, — Такъ нераздѣльны въ дѣлѣ славы—Народъ и царь его всегда...—И будемъ всѣ стоять упорно—За честь его, какъ за свою!). Чувства національнаго коллективизма имѣли у Лермонтова еще болѣе яркую окраску, чѣмъ у Жуковскаго и у Пушкина, и не лишены мечтаній и надеждъ — такихъ же, какія питаемы были славянофилами. Въ «Измаилъ-Беѣ» (1832) поэтъ обращается такимъ образомъ къ черкесу: «Смирись, черкесъ! и Западъ, и Востокъ—Быть можетъ скоро твой раздѣлятъ рокъ.—Настанетъ часъ, и скажешь намъ надменно:—Пускай я рабъ, но рабъ царя вселенной!—Настанетъ часъ, и новый грозный Римъ—Украситъ Сѣверъ Августомъ другимъ».—Политическія надежды состояли въ ближайшей связи съ убѣжденіемъ Лермонтова объ упадкѣ и гниломъ состояніи Запада. Скорѣе передѣлывая, нежели переводя (въ 1836 г.) «Умирающаго гла-

діатора» Байрона (4-я пѣснь «Чайльдъ-Гарольда»), Лермонтовъ заканчиваетъ стихотвореніе такимъ образомъ: «Не такъ ли ты, о, европейскій міръ,—Когда-то пламенныхъ мечтателей кумиръ...—Къ могилѣ клонишься безславной головой—Безъ вѣры, безъ надеждъ...—И предъ кончиною ты взоры обратилъ—На юность свѣтлую, исполненную силъ,—Которую давно для язвы просвѣщенья, —Для гордой роскоши безпечно ты забылъ»... (2-го февр. 1836, I, 485)... Вспомнимъ, что и въ «Измаилъ-Беѣ» (1832) герой поэмы — «Развратомъ, ядомъ просвѣщенья—Въ Европѣ душной зараженъ!» —Спрашивается: для человѣка, тяготящагося этимъ будто бы подобострастнымъ отношеніемъ къ Западу, какой же представляется возможный выходъ? Говорятъ нынѣ: вернуться домой, назадъ, можетъ быть даже въ до-Петровскую Москву. И эта мысль мелькала у Лермонтова еще въ 1831 году, когда онъ, въ драмѣ: «Странный человѣкъ», влагалъ въ уста студентамъ слѣдующія рѣчи: «Господа! когда-то русскіе будутъ русскими? — Когда они на сто лѣтъ подвинутся назадъ и будутъ просвѣщаться и образовываться снова-здорово» (4-я сцена). Наконецъ, въ неизданной при жизни Лермонтова поэмѣ его: «Сашка», писанной вѣроятно въ 1838 году (статья профессора Висковатаго въ 1-й книжкѣ «Русской Мысли» за 1882 годъ), есть одно мѣсто (строфы 147-я и 148-я), которое въ то время и напечатаннымъ быть не могло, и какъ будто бы теперь только сочинено, когда близится повидимому пора не очень сердечнаго разставанія съ ближайшими учителями... «Искать чиновъ, мирясь съ людскимъ презрѣньемъ,—И поклоняться нѣмцамъ до конца... — И чѣмъ же нѣмецъ лучше славянина? — Не тѣмъ ли, что, куда его судьбина—Ни кинетъ, онъ вездѣ себѣ найдетъ—Отчизну и картофель?—...вотъ народъ!—За сильныхъ всюду, всѣмъ за деньги служитъ, — Слабѣйшихъ давитъ, бьютъ его — не тужитъ...» и т. д.— Я долженъ прибавить, что Лермонтовъ не долюбливаетъ однихъ только нѣмцевъ, что къ французамъ онъ распо-

ложенъ еще по старому дворянскому преданію Екатерининскихъ и Александровскихъ временъ, хотя считаетъ онъ ихъ народомъ довольно легкомысленнымъ; наконецъ, что Лермонтовъ во всю свою жизнь былъ обожателемъ Наполеона. Нѣтъ надобности искать источниковъ этого поклоненія въ томъ, что еще на родинѣ, въ Тарханахъ, Лермонтова обучалъ въ качествѣ гувернера полковникъ Наполеоновской гвардіи Жандрò (Gendroz), ни въ томъ, что Лермонтовъ заразился этимъ сочувствіемъ отъ Байрона или отъ Пушкина. Оно было въ духѣ той эпохи, среди которой и слагалась Наполеоновская легенда, кончившаяся мелкимъ образомъ и грязно-печальнымъ эпизодомъ второй имперіи. Замѣчательны логическія основанія этого поклоненія Наполеону у Лермонтова, — они существенно отличны отъ Байроновскихъ. Байронъ относился къ Наполеону гораздо болѣе критически; онъ восхищался геніемъ Наполеона, но укорялъ его за отступничество отъ началъ французской революціи (Ode to Napoleon: «But thou forsooth must be a king—And done the purple vest»), за неслѣдованіе по той стезѣ, которую проложилъ за-атлантическій Цинциннатъ (one—the first—the last—the best). Байронъ помирился съ Наполеономъ только послѣ его паденія, изъ ненависти къ шакаламъ, терзавшимъ издыхающаго льва.—Иного рода энтузіазмъ Лермонтова. Въ стихѣ «Св. Елена», 1831 г. (II, 197), Наполеонъ названъ: «жертва вѣроломства и рока прихоти слѣпой».—Почти то же повторено, въ 1841 г., въ «Послѣднемъ Новосельѣ» (I, 135), въ которомъ поэтъ попрекаетъ «жалкій и пустой народъ» тѣмъ, что: «Какъ женщина ему вы измѣнили — И какъ рабы вы предали его»... «отмѣченнаго божественнымъ перстомъ», того, который «васъ одѣвалъ въ ризу чудную могущества и славы»... Этотъ своеобразный взглядъ— не европейскій, а чисто-русскій. Онъ выражаетъ отношеніе къ предмету человѣка, воспитаннаго въ обществѣ, которое по исторической формулѣ своего развитія требуетъ сильной власти, беззавѣтно предано не идеямъ,

а лицамъ, и способно совершать величайшіе подвиги подъ мощнымъ руководствомъ великаго вождя (Петръ Великій). Всѣ другія вины французовъ поставлены имъ на видъ только для счету, — напримѣръ, что они «потрясали власть избранную (кѣмъ?) какъ бремя»; что Наполеонъ ихъ спасъ, когда они погибали отъ того, что рубили сплеча «всѣ старинныя отцовскія повѣрья». Какъ маловажны были въ сущности для Лермонтова эти повѣрья или преданія, это ясно обнаруживается изъ трехъ послѣднихъ стиховъ «Гладіатора», обращенныхъ къ отживающему европейскому міру: «Ты жадно слушаешь и пѣсни старины, — И рыцарскихъ временъ волшебныя преданья, — Насмѣшливыхъ льстецовъ несбыточные сны»... Конечно, въ качествѣ поэта-романтика, Лермонтовъ мысленно переносился иногда въ средніе вѣка и искалъ въ нихъ подходящей обстановки для своихъ произведеній, но внѣ того онъ скорѣе смотрѣлъ на средніе вѣка какъ современный и притомъ какъ русскій человѣкъ, съ точки зрѣнія московскихъ западниковъ сороковыхъ годовъ, очень довольныхъ тѣмъ, что среднихъ вѣковъ въ Россіи не было, что ея исторія—бѣлый листъ бумаги, на которомъ будущность запишетъ нѣчто немечтаемое даже и нечаемое, но безконечно великое. Вотъ что записано карандашемъ и обведено чернилами въ записной книжкѣ, переданной Лермонтову, при отправленіи его на Кавказъ 13-го апрѣля 1841 г., княземъ В. Одоевскимъ: «У Россіи нѣтъ прошедшаго: она вся въ настоящемъ и будущемъ. Еруславъ Лазаревичъ сидѣлъ сиднемъ двадцать лѣтъ и спалъ крѣпко»... а потомъ проснулся и пошелъ побивать королей и богатырей — такова Россія! — Въ ближайшей связи съ такою нигилистическою философіею русской исторіи состоитъ и любовь Лермонтова къ родинѣ, которую онъ и самъ называетъ «странною»: «Люблю отчизну я, но странною любовью...—Ни слава, купленная кровью (внѣшнія побѣды Россіи со временъ Петра Великаго), — Ни полный гордаго довѣрія покой (импони-

рующая Европѣ внѣшняя политика императора Николая).—Ни темной старины завѣтныя преданья (идеалы славянофиловъ) — Не шевелятъ во мнѣ отраднаго мечтанья.—Но я люблю—за что, не знаю самъ,—Ея степей холодное молчанье,—Ея лѣсовъ безбрежныхъ колыханье,—Разливы рѣкъ ея, подобные морямъ...» и т. д.— «И въ праздникъ вечеромъ росистымъ — Смотрѣть до полночи готовъ—На пляску съ топотомъ и свистомъ— Подъ говоръ пьяныхъ мужиковъ» (1841 г., I, 135).

Что касается до двухъ удѣляемыхъ Лермонтовымъ Россіи въ его записной книжкѣ категорій времени: *настоящее* и *будущее*, то только послѣднимъ могутъ вдоволь и безгранично наслаждаться всякіе люди, а слѣдовательно и русскіе XIX вѣка. Относительно перваго, то-есть *настоящаго*, не могло не радовать русскихъ уваженіе, которымъ Россія пользовалась за границею, благодаря твердой международной политикѣ правительства, но это настоящее сильно сжимало отдѣльную личность, держало ее въ тискахъ, не давало пищи никакимъ идеальнымъ потребностямъ и стремленіямъ. Мучительную тяжесть этого историческаго момента испыталъ на себѣ Лермонтовъ — одна изъ самыхъ непокладистыхъ и безпокойныхъ натуръ, какія когда-либо существовали. Недавно въ «Русской Старинѣ» за 1887 г., № 12, помѣщены стихи Лермонтова передъ отъѣздомъ въ 1837 году на Кавказъ «Прощай, немытая Россія,—Страна рабовъ, страна господъ,—И вы, мундиры голубые,—И ты имъ преданный народъ! — Быть можетъ, за хребтомъ Кавказа—Укроюсь отъ твоихъ вождей,—Отъ ихъ всевидящаго глаза,—Отъ ихъ всеслышащихъ ушей».—Уродливыхъ условій общежитія Лермонтовъ не изслѣдовалъ, причинъ зла даже и не искалъ, борьбы съ существующимъ и преобразованій не замышлялъ. Многое изъ нечистотъ, которыми было заражено тогдашнее общество, прилипло къ нему и срослось съ его личностью, но онъ успѣлъ выразить скорбь одинокой души, влекомой полусознательнымъ порывомъ къ иному, лучшему бытію,

съ такою правдою и захватывающею силою, что, умирая въ 28 лѣтъ, онъ уже былъ первокласнымъ поэтомъ, единственнымъ великимъ поэтомъ Николаевской эпохи (Пушкинъ есть преимущественно поэтъ Александровскаго періода). Недавно профессоръ В. Ключевскій (№ 2 «Русской Мысли» за 1887 годъ), въ своей блистательной статьѣ: «Онѣгинъ и его предки», старался провести остроумную мысль, что въ «Онѣгинѣ» Пушкинъ изобразилъ не себя и не свой идеалъ, что «Онѣгинъ» скорѣе—романъ сатирическій, что въ немъ изображенъ былъ типъ — уже въ то время вымиравшій— человѣка, оторваннаго отъ почвы, старающагося стать своимъ между европейцами и становящагося только чужимъ между своими, человѣка ненужнаго, культурнаго межеумка, преданнаго только развлеченію, не имѣющаго понятія о трудѣ и долгѣ. По системѣ Ключевскаго выходило бы, что Лермонтовъ—если не потомокъ Онѣгина, то по крайней мѣрѣ младшій братъ его. Лермонтовъ былъ несомнѣнно человѣкъ безпочвенный, разобщенный со средою, что́ и служило причиною его тоски и пессимизма. Судьбы Лермонтова обнаруживаютъ, однако, парадоксальность главнаго положенія въ выводѣ Ключевскаго, что Онѣгины были будто бы люди вымирающіе и лишніе. Они до извѣстной степени не переставали представлять собою соль земли.—Мнѣ приходится теперь прослѣдить главныя событія въ жизни Лермонтова, чтобы рѣшить, легко ли было человѣку того времени, имѣющему идеальные порывы, найти для себя подходящую работу въ практической жизни.

III.

Представимъ себѣ богатый барскій домъ въ одномъ изъ дальнихъ провинціальныхъ захолустій. Вся жизнь въ этомъ домѣ устроена на крѣпостной подкладкѣ; она держитъ барича внѣ всякихъ заботъ о трудѣ и о хлѣбѣ

насущномъ. Баричъ почти сирота, но его балуетъ шестидесятилѣтняя бабка—Мареа Посадница, какъ ее называли позднѣйшіе товарищи-юнкера. Она ни въ чемъ не отказывала внуку, который уже въ 7 лѣтъ умѣлъ «прикрикнуть на лакея и улыбнуться съ презрѣніемъ на низкую лесть ключницы» (Отрывокъ изъ начатой повѣсти, I, 369). Бонна у мальчика—нѣмка, гувернеры—иностранцы. Отъ общенія въ дѣтствѣ съ мужицкими ребятами изъ дворни осталось въ мальчикѣ, когда онъ выросъ, состраданіе къ «своимъ рабамъ», горячо прочувствованное сознаніе несправедливости ихъ положенія, поминутно вспыхивающее въ юношескихъ произведеніяхъ Лермонтова до поступленія его въ юнкерскую школу (Menschen und Leidenschaften; восклицаніе Владиміра Арбенина въ «Странномъ человѣкѣ» (сцена 5-ая): «О, мое отечество, мое отечество! — Отецъ Арбенина (сцена 7-я) говоритъ: «пускай графскіе сынки проматываютъ имѣніе... Мы, простые дворяне, отъ этого выигрываемъ... Весело видѣть передъ собою бумажку, которая содержитъ въ себѣ цѣну многихъ людей и думать: своими трудами ты достигнулъ способа мѣнять людей на бумажки».—Драма «Два брата», I, 1;—Юрій:—Князь и 3000 душъ, а есть ли у него своя въ придачу?»...). Съ переѣздомъ въ Москву, потомъ въ Петербургъ, съ поступленіемъ на службу, деревенскія впечатлѣнія ранней юности отошли на задній планъ; молодой человѣкъ пересталъ размышлять о роковомъ вопросѣ, тѣмъ болѣе, что до смерти онъ не былъ самостоятеленъ въ денежномъ отношеніи и жилъ, что называется, на хлѣбахъ у бабушки, крѣпко державшей въ рукахъ бразды правленія состояніемъ. Въ балованномъ ребенкѣ разыгрывалась страсть къ разрушенію, склонность къ жестокости. Тяжелая болѣзнь разслабила его на нѣсколько лѣтъ. Прикованный къ кровати, онъ выучился мыслить, сочетать образы и понятія усиліями воли, сочинять. Онъ сдѣлался мечтателемъ. Воображеніе стало для него интересною игрушкою. Онъ любилъ воображать себя разбой-

никомъ, среди студеныхъ волнъ или въ тѣни лѣсовъ, наѣздникомъ въ шумѣ битвъ при свистѣ бури. Необычайно рано проснулись въ немъ и любовныя чувства (Въ моемъ ребячествѣ тоску любови знойной—Ужъ сталъ я понимать душою безпокойной. — II, 89), чувства 10-лѣтняго мальчика къ 9-лѣтней дѣвочкѣ, приходившей къ его кузинамъ въ Пятигорскъ въ 1825 году. Имени и званія дѣвочки онъ не помнилъ, но еще въ 1830 г. писалъ: «этотъ потерянный рай до могилы будетъ терзать мой умъ» (II, 515). Такъ какъ онъ воспитывался среди множества подростающихъ кузинъ, которыя были, однако, старше его, то предметами любви его дѣлаются эти кузины, одна послѣ другой по очереди (Столыпины, Верещагины, Екатерина Сушкова-Хвостова, Варвара Лопухина). Самъ мальчикъ былъ весьма некрасивъ, смуглый, приземистый, неуклюжій, сутуловатый (граф. Ростопчина и Костенецкій въ «Русск. Старинѣ», № 9-й 1882 г., и № 9-й 1875 г.). Съ дѣтства его мучило авторское самолюбіе; онъ старался брать верхъ остроуміемъ, искалъ между кузинами слушательницъ и цѣнительницъ своихъ стиховъ. Его страшно бѣсило, когда къ нему относились какъ къ мальчику. Съ тѣхъ поръ Лермонтовъ не можетъ обойтись безъ женскаго общества; когда же онъ доросъ до первыхъ побѣдъ, то въ немъ развилось до уродливыхъ размѣровъ довольно противное донъ-жуанство, ухаживанье за женщиною съ тѣмъ, чтобы заставить ее полюбить его и затѣмъ бросить ее насмѣшливо, сказавъ ей, что онъ ее никогда не любилъ. Такимъ является Лермонтовъ въ своемъ романѣ съ Е. А. Сушковой (Хвостовой), весьма некрасивомъ даже и въ томъ предположеніи, что онъ хотѣлъ отомстить ей за то, что она промучила его, когда онъ былъ подросткомъ. Такимъ точно является онъ въ относящихся къ 1840 г. кавказскихъ воспоминаніяхъ г-жи Hommaire de Hell («Русскій Архивъ» 1887 г., № 9). Для зажиточнаго русскаго дворянина того времени, не желающаго зарыться въ деревнѣ, только и была одна воз-

можная житейская карьера: служба царская, въ двухъ ея видахъ: военная или гражданская. Послѣдняя находилась въ большомъ пренебреженіи. Свое презрительное отношеніе къ такъ-называемымъ подъячимъ выразилъ много разъ Лермонтовъ, напримѣръ, въ 47-й строфѣ «Сашки» («Русская Мысль» 1883 г., № 1): «Или, трудясь какъ глупая овца,—Въ рядахъ дворянства, съ робкимъ униженьемъ,—Прикрывъ мундиромъ сердце подлеца, — Искать чиновъ, мирясь съ людскимъ презрѣньемъ».—Сознательно и по собственному выбору Лермонтовъ пошелъ по болѣе почетной дорогѣ, на которой подвизались его отецъ и предки, и поступилъ въ юнкерскую школу, скрѣпя сердце, одинокій, необщительный, сосредоточенный въ себѣ и мрачный. Никогда не могъ онъ привыкнуть къ Петербургу съ его казенщиной и формализмомъ (Я врагъ Невѣ и невскому туману, — Тамъ новый вѣкъ развилъ свою чуму... — Тамъ жизнь тяжка, пуста и молчалива,—Какъ плоскій берегъ финскаго залива... («Сашка», I, 439). — Увы! какъ скверенъ этотъ городъ — Съ своимъ туманомъ и водой! — Куда не глянешь, красный воротъ—Какъ шишъ стоитъ передъ тобой...—Законъ сидитъ на лбу людей — И что̀ у насъ зовутъ душой, —То безъ названія у нихъ). Подъ напускною самоувѣренностью скрывалась удивительная застѣнчивость молодаго человѣка, который былъ самъ не свой между чужими и не имѣлъ ключа къ дѣловому механизму общества,—механизму весьма понятному для людей даже весьма ординарныхъ. Въ письмахъ Лермонтова содержатся любопытнѣйшія на этотъ счетъ признанія. (Августъ, 1832, I, 436. «Не гожусь для общества. Вчера я былъ въ одномъ домѣ, просидѣлъ четыре часа и не сказалъ ни одного путнаго слова. У меня нѣтъ ключа отъ ихъ умовъ». Августъ, 1832, I, 440. J'ai vu des échantillons de la société d'ici; tous ensemble ils me font l'effet d'un jardin français bien étroit et simple, mais oú on peut se perdre, car entre un arbre et un autre le ciseau du maître a oté toute différence.—Сентябрь 1832,

I, 444. Лермонтовъ сознаетъ, что онъ чувствуетъ реальность жизни, «son vide engageant»... но онъ себѣ не довѣряетъ. — Декабрь, 1834 I, 456. Je ne serai jamais bon à rien avec tous mes beaux rêves et mes mauvais essais dans le chemin de la vie, car ou l'occasion me manque, ou l'audace). Необходимымъ послѣдствіемъ неловкости, неспособности отыскать въ обществѣ свой шестокъ, чтобы на немъ усѣсться, было тоскливое, меланхолическое настроеніе, сдѣлавшееся привычнымъ (Тоска вездѣ какъ безпокойный геній—Какъ вѣрная жена близка!..—...невольно видишь—Подъ гордой важностью лица—Въ мужчинѣ глупаго льстеца — И въ каждой женщинѣ Іуду. 1832, I, 547.—Къ добру и злу постыдно равнодушны,—Передъ опасностью позорны малодушны—И передъ властію презрѣнные рабы...—«Дума», 1838 г., I, 35). Отъ такой тоски и отрицательнаго отношенія къ людямъ одинъ шагъ до пессимизма. Лермонтовъ сдѣлался пессимистомъ, пессимизмъ сталъ его второю натурою (Зачѣмъ семьи родной безвѣстный кругъ — Я покидалъ? все сердце рвало тамъ... — Какъ я рвался невольно къ облакамъ, — Готовъ лобзать уста друзей былъ я, — Не посмотрѣвъ, не скрыта-ль въ нихъ змѣя.—Но въ общество иное я вступилъ, — Узналъ друзей и дружескій обманъ,—Сталъ подозрителенъ и погубилъ—Безпечности душевный талисманъ...—1830 г., I, 77).

Прежде нежели займусь анализомъ этого пессимизма и прослѣжу его до самыхъ корней, — укажу на одинъ еще богатый источникъ, показывающій, насколько тяготился Лермонтовъ своимъ положеніемъ, и какъ общественный дѣятель, и какъ писатель. По странному стеченію обстоятельствъ нѣкоторые стихи столь нелюбившаго нѣмцевъ поэта дошли до насъ не въ затерявшемся подлинникѣ, а въ нѣмецкомъ переводѣ Боденштедта (M. Lermontoff's poetischer Nachlass, Berlin, 1852.—Перепечатаны въ «Русской Старинѣ» 1873, № 3, стр. 398). Приведу нѣсколько самыхъ характерныхъ отрывковъ изъ этого перевода:

1) Ich bin an meinem Lande kein Verräther... Weil ich nicht auf fremden Krücker schleiche. 2) Weil ich bei Ihrem Thun vor Scham oft roth bin, — Mir nicht Musik erscheint Geklirr von Ketten — Und mich nicht lockt der Glanz von Bayonetten, Behaupten sie dass ich kein Patriot bin. 5) Gott segnete mit Augen mich und Füssen, Doch als ich auf den Füssen gehen wollte, Und als ich mit den Augen sehen wollte, Muss't ich's im Kerker als Verbrechen büssen (вѣроятно намекъ на послѣдствія стиховъ на смерть Пушкина). 6) Es ist ein eigen Ding in meinem Land... Der Kluge braucht zur Dummheit den Verstand, Zum Schweigen seine Zunge hier [1]).

Глубокая скорбь — чувство, преобладавшее въ этой душѣ — прорывалась только въ стихахъ; она была извѣстна и то только самымъ близкимъ къ Лермонтову лицамъ. Для всѣхъ прочихъ Лермонтовъ былъ свѣтскій человѣкъ, гуляка, злой, назойливый насмѣшникъ, безпощадный для всѣхъ тѣхъ, надъ которыми онъ могъ, по ненаходчивости ихъ, потѣшаться; человѣкъ, напрашивающійся на всякаго рода исторіи и постоянно занятой донъ-Жуановскими похожденіями. «Мнѣ жаль Лермонтова, онъ дурно кончитъ»,—писала о немъ г-жа Гоммеръ-де-Гэль (1840). Графиня Ростопчина пишетъ («Русская Старина», 1882, № 9) что когда она ужинала въ послѣдній разъ съ Лермонтовымъ передъ его отъѣздомъ на Кавказъ (1841), то за ужиномъ и при прощаньѣ Лермонтовъ только и говорилъ объ ожидающей его скорой смерти. Съ мыслью о своей насильственной смерти Лермонтовъ возился всю жизнь: «Кровавая меня могила

---

[1]) Я не измѣнникъ моей странѣ... хотя не ползаю на чужихъ костыляхъ. 2) Такъ какъ я не краснѣю отъ стыда за ваши дѣйствія, не нахожу музыки въ звяканіи цѣпей и меня не привлекаетъ блескъ штыковъ, вы утверждаете что я не патріотъ. 5) Богъ даровалъ мнѣ глаза и ноги, но когда я захотѣлъ пойти на моихъ ногахъ и глядѣть моими очами, то я поплатился за то тюрьмою, какъ за преступленіе... 6) Странныя вещи творятся въ моей странѣ: умный пользуется умомъ для глупостей, а языкомъ—для молчанія.

ждетъ,—Могила безъ молитвъ и безъ креста, — На дикомъ берегу ревущихъ водъ — И подъ туманнымъ небомъ» (11-го іюня 1831). Эта совмѣстимость въ одномъ и томъ же лицѣ двухъ на первый взглядъ противоположныхъ характеровъ была превосходно подмѣчена Боденштедтомъ, на котораго первое его знакомство съ Лермонтовымъ въ Москвѣ зимою 1840—1841 г. произвело невыгодное впечатлѣніе («весь разговоръ, — пишетъ онъ, — звѣнелъ у меня въ ушахъ, какъ будто кто-нибудь скребъ по стеклу»). Эта двойственность сказывалась и въ чертахъ лица, въ странномъ сочетаніи рѣзкихъ, суровыхъ, полныхъ думы и печали черныхъ глазъ, съ немного вздернутымъ носомъ, почти дѣтскою улыбкою и насмѣшливымъ искривленіемъ тонко очерченнаго рта. Таковъ былъ человѣкъ въ его общественной обстановкѣ; теперь можно заглянуть и въ поэтическую мастерскую художника.

IV.

Знакомая и родственница Лермонтова, графиня Е. П. Ростопчина, въ запискѣ, сочиненной въ 1858 г. для Дюма-отца, сравниваетъ такимъ образомъ пріемы творчества Лермонтова и Пушкина, причемъ послѣдній ставится гораздо выше перваго: «Пушкинъ весь—порывъ, у него все прямо выливается. Мысль извергается изъ его души во всеоружіи, затѣмъ онъ передѣлываетъ, подчищаетъ, но мысль остается та же, цѣльная и точно опредѣленная. Лермонтовъ, напротивъ того, ищетъ, улаживаетъ, округляетъ фразу, совершенствуетъ стихъ, но первоначальная мысль не имѣетъ полноты, неопредѣленна и колеблется. Тотъ же стихъ, таже строфа или идея вставлены въ совершенно разныя пьесы». («Русская Старина» 1882 г., № 9, стр. 610). Характеристика писателей вѣрна, но выводъ сомнительный. Ростопчина доказала только то, что Лермонтову работа стоила бóльшаго труда; обыкновенно большій трудъ талантливаго

писателя вознаграждается бо́льшимъ богатствомъ или глубиною содержанія. Развитіе творчества Лермонтова можно прослѣдить по юношескимъ его тетрадямъ съ 13-ти лѣтъ. Сначала только переписываются цѣликомъ «Бахчисарайскій Фонтанъ» и «Шильонскій узникъ» въ переводѣ Жуковскаго. Потомъ начинается парафразированіе чужихъ сочиненій, съ пропусками, вставками, видоизмѣненіями фабулы, уже въ высокой степени запечатлѣнными индивидуальностью упражняющагося въ писаніи стиховъ. Потомъ появляются самостоятельно задуманныя поэмы, пестрѣющія только заимствованіями, которыя недостаточно еще критиками разобраны и отмѣчены. Такъ напримѣръ, Лермонтовъ заимствуетъ изъ «Кавказскаго Плѣнника» Пушкина извѣстные два стиха (въ концѣ 1-ой части): «И на челѣ его высокомъ—Не измѣнялось ничего»—и характеризуетъ имъ своего «Демона»: — И на челѣ его высокомъ — Не отразилось ничего.— Въ то время, когда развился Лермонтовъ, было больше, чѣмъ теперь, знакомства съ польской литературой, въ особенности съ гостившимъ въ Россіи Мицкевичемъ. Въ поэмѣ Лермонтова «Бояринъ Орша» встрѣчаются слѣдующіе стихи, которые почти дословно взяты у Мицкевича: «И тотъ, кто крикъ сей услыхалъ—Подумалъ, вѣрно, иль сказалъ,—Что дважды изъ груди одной—Не вылетаетъ звукъ такой» (II, 435, 1835 г.). Сравнить съ финаломъ «Валленрода»: A ktoby słyszał, odgadnałby snadnie — Że piersi z których taki jęk wypadnie—Nigdy już w życiu nie wydadzą głosu) [1]).

---

[1]) Укажу мимоходомъ еще на нѣкоторыя заимствованія изъ Мицкевича. Лермонтовъ перевелъ извѣстный крымскій сонетъ: «Видъ горъ изъ степей Козлова», въ которомъ стихъ Мицкевича: aby gwiazd karawanę nie puścić ze wschodu, передалъ съ пропускомъ слова «караванъ» (Чтобъ путь на сѣверъ заградить—Звѣздамъ кочующимъ съ востока), но граціозный образъ каравана перенесенъ въ «Мцыри» для изображенія облаковъ: «Какъ будто бѣлый караванъ — Залетныхъ птицъ изъ разныхъ странъ», — а потомъ въ «Демонѣ» для изображенія звѣздъ: «Кочующіе караваны — Въ пространствѣ брошенныхъ свѣтилъ» (I, 33)». Въ числѣ

При большой способности усвоивать чужое, въ Лертовѣ замѣтно съ ранней поры замѣчательное постоянство, съ которымъ всякіе выростающіе въ этомъ воображеніи мотивы, образы, сравненія преслѣдуютъ потомъ автора неотвязчиво, проходятъ тягучими непрерывными частями чрезъ всѣ послѣдующія произведенія и превращаются даже нѣкоторымъ образомъ въ рисунки, клишэ,

---

раннихъ произведеній М. (1822) имѣется одно прелестное: Precz z moich oczu! Поэтъ предсказываетъ, что еслибы возлюбленная удалила его съ глазъ своихъ, то воспоминаніе о немъ будетъ, однако, вѣчно ее преслѣдовать за игрой, за шахматами, на балу... «и ты подумаешь, что то моя душа!» — «Письмо», стихотвореніе 15-лѣтняго Лермонтова (II, 24), есть парафраза идеи М., съ курьезнымъ выраженіемъ того, что юношу сильно прельщалъ военный мундиръ и въ парикѣ классическаго слога, отъ котораго не могли въ юности освободиться ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ. «Настанетъ ночь, пріѣдешь изъ собранья... Узнай въ тотъ мигъ, что это я изъ гроба — На мрачное свиданіе прилетѣлъ... Когда жъ въ саняхъ въ блистательномъ катаньи—Проѣдешь ты на парѣ вороныхъ— И за тобой въ любви живомъ страданьи — Стоитъ гусаръ безмолвенъ, мраченъ, тихъ... И по груди обоихъ васъ промчится—Невольный хладъ»... вслѣдствіе чего гусаръ закрутитъ усъ... «Услышишь звукъ военнаго металла, — Увидишь блѣдный цвѣтъ его чела,—То тѣнь моя безумная предстала—И мертвый взоръ на путь вашъ навела.

Бывшій на моихъ чтеніяхъ большой знатокъ англійской литературы Л. Е. Оболенскій замѣтилъ, что и смертный стонъ Альдоны въ «Валленродѣ», и смертный крикъ дочери боярина Орши могли быть заимствованы и Мицкевичемъ, и Лермонтовымъ, отъ Байрона изъ общаго источника «Паризины», которая разражается въ своей темницѣ при отрубленіи головы любовнику ея Уго такимъ крикомъ: It was a woman's shrieck and ne'er — In madlier accents rose despair; — And those who heard it, as it past—In mercy wish'd it were the last (То женскій крикъ былъ; никогда не сказалось отчаяніе въ болѣе бѣшеныхъ звукахъ, слышавшіе его— когда оно раздалось—изъ жалости желали чтобы онъ былъ и послѣдній). Не отрицаю, что Мицкевичъ могъ вдохновиться стихами «Паризины», но разница между обоими воплями большая. Паризина не умираетъ, Байронъ оставляетъ читателя въ невѣденіи о ея судьбѣ (Whether in convent she abode...—Or if she fell by bowl or steel), между тѣмъ у Мицкевича это крикъ, на которомъ вся жизнь оборвалась (W tym głosie całe porwało się życie). Эту-то именно характерную черту послѣдняго смертнаго крика усвоилъ себѣ Лермонтовъ и заимствовалъ онъ ее не изъ «Паризины», а изъ «Валленрода».

которыми онъ иллюстрируетъ послѣдующія произведенія. Берусь подтвердить мое положеніе нѣсколькими примѣрами и начну съ мотива, который по странному стеченію обстоятельствъ играетъ видную роль въ обѣихъ литературахъ—русской и польской, хотя могъ возникнуть повидимому и самостоятельно—и въ той, и въ другой—и безъ прямаго взаимодѣйствія. Въ концѣ 1826 года изданы были Мицкевичемъ въ Москвѣ сонеты; въ числѣ этихъ сонетовъ (не крымскихъ, а просто эротическихъ) есть XII-й—*Rezygnacya*, посвященный изображенію страданій человѣка, который nie kocha, że kochał, zapomnieć nie zdoła («Кто совсѣмъ не любитъ—Иль любви минувшей позабыть не можетъ»,—переводъ Бенедиктова). Послѣдніе три стиха переведены такъ: «И какъ разоренный храмъ оно (сердце) въ пустынѣ—Рушится и гибнетъ: жить въ его святынѣ—Божество не хочетъ, человѣкъ не смѣетъ, (Я приведу подлинникъ, такъ какъ переводъ слабъ: I serce me podobne dodawnej świątyni—Spustoszałej niepógod i czasów koleją,—Gdzie bóstwo nie chce mieszkać, a ludzie nie śmieją). Лермонтовъ и Пушкинъ, знавшіе польскій языкъ, вѣроятно знакомы были и съ сонетами, но вотъ чего никто изъ нихъ знать не могъ—что свое сравненіе души человѣка съ опустошеннымъ храмомъ Мицкевичъ употребилъ послѣ окончательнаго поселенія во Франціи при личномъ, печатью тогда неоглашенномъ, столкновеніи съ поэтомъ моложе его—Юліемъ Словацкимъ.—Осенью 1832 г. среди польскихъ эмигрантовъ въ Парижѣ произошла размолвка между Мицкевичемъ и Словацкимъ вслѣдствіе того, что Мицкевичъ отозвался о поэзіи Словацкаго такимъ образомъ: «прекрасный храмъ, дивной архитектуры, жаль только, что въ этомъ храмѣ Бога нѣтъ» (Małecki «Juljusz Słowacki», 2 wyd., I, 95). Тотъ же мотивъ, но совсѣмъ навыворотъ, появляется у Пушкина, незнакомаго съ отношеніями польскихъ выходцевъ въ Парижѣ, который въ стихѣ «Чернь» (1828) выразился такъ о статуѣ Аполлона Бельведерскаго: «но мраморъ сей вѣдь Богъ».—

Обѣ формы мотива употребляются Лермонтовымъ весьма часто, и, можно сказать, излюблены имъ обѣ. — «Моя душа твой вѣчный храмъ; — Какъ божество, твой образъ тамъ» (II, 48, 1830). — «Тамъ храмъ оставленный — все храмъ, — Кумиръ поверженный — все Богъ» (1830, къ А. Верещагиной, II, 49). — «Любовь насильства не боится — Она хоть презрѣна — все Богъ (Ангелъ Смерти, 1831). — Недавно напечатана (Русск. Старина, 1887, № 10, стр. 117) «Исповѣдь» Лермонтова (начала 1830 г.) со стихами: «Пустыя звонкія слова — Блестящій храмъ безъ божества». Стихи эти повторены почти дословно въ «Бояринѣ Оршѣ», 1835 (Одни лишь звучныя слова — Блестящій храмъ безъ божества), а потомъ въ «Демонѣ» (обѣ редакціи 1831 и 1838 гг.): Чтó безъ тебя мнѣ эта вѣчность? — Моихъ владѣній безконечность? — Пустыя звонкія слова, — Обширный храмъ безъ божества».

Перехожу къ другому примѣру. Всѣмъ любителямъ Лермонтова памятно прелестное посвященіе неназванной женщинѣ «Измаилъ-Бея» (II, 242): «Опять явилось вдохновенье — Безжизненной душѣ моей, — И превращаетъ въ пѣснопѣнье — *Тоску — развалину страстей*». — Имѣется еще иной мотивъ въ посвященіи драмы «Испанцы»: «Такъ надъ гробницею стоитъ — Береза юная, склоняя — Съ участьемъ вѣтки на гранитъ, — Когда реветъ гроза ночная!» — Береза пересажена потомъ въ поэму «Бояринъ Орша», гдѣ она уже красуется среди развалинъ (II, 448): «Такъ средь развалинъ иногда — Ростетъ береза: молода, — Мила надъ плитами гробовъ — Игрою шепчущихъ листовъ». — Но еще прежде того, въ стихотвореніи 11 іюня 1831 г., состоялось прелестнѣйшее совокупленіе обоихъ образовъ съ одухотвореніемъ ихъ, съ возведеніемъ ихъ въ символъ страсти, продолжающей жить въ страдающемъ и измученномъ сердцѣ: «Но въ глубинѣ моихъ сердечныхъ ранъ — Жила любовь — богиня юныхъ дней; — Такъ въ трещинѣ развалинъ иногда — Береза выростаетъ — молода — И зелена, и взоры веселитъ, — И украшаетъ сумрачный гранитъ... Увянетъ преждевременно она, — Но

съ корнемъ не исторгнетъ никогда—Мою березу вихрь: она тверда; — Такъ лишь въ разбитомъ сердцѣ можетъ страсть—Имѣть неограниченную власть».

Такихъ примѣровъ можно бы подобрать десятки. Замѣчу мимоходомъ «свинцовую слезу» страданья и въ «Menschen und Leidenschaften», и въ «Демонѣ»; полусимволическій, заимствованный изъ кавказской природы образъ ползущей змѣи съ расписанною какъ дамасскій булатъ спиною («Аулъ Бастунджи» и «Мцыри»—сравнить еще II, 57 и 78); полную луну во образѣ Армиды въ ея волшебномъ замкѣ, окруженной облаками-рыцарями въ пернатыхъ шлемахъ (трагедія «Испанцы», стр. 26, и «Измаилъ-Бей», II, 24)... «облака — надъ вами (горами) вьются, шепчутся какъ тѣни—Какъ надъ главой огромныхъ привидѣній — Колеблемыя перья — и луна—По синимъ сводамъ странствуетъ одна».—Отмѣчаю еще сильную фразу поэта о томъ, что его душа— «Младая вѣтвь на пнѣ сухомъ,—Въ ней соку нѣтъ, хоть зелена» (Стансы 1831 г., т. II, 229), повторяющуюся въ стихѣ 1835 г.: «гляжу на будущность съ боязнью... Душа усталая моя, — Какъ ранній плодъ, лишенный сока;—Она увяла въ буряхъ рока—Подъ знойнымъ солнцемъ бытія». Въ заключеніе, въ числѣ излюбленнѣйшихъ мотивовъ поэта укажу на неутомимо и съ неувядающею свѣжестью проводимую имъ параллелъ между жизнью природы и жизнью души, между мѣрнымъ, величавымъ, невозмутимымъ теченіемъ первой—и суетою и бѣдственностью второй, послѣ чего поэтъ обыкновенно сожалѣетъ, зачѣмъ онъ не волна студеная, не тучка небесная: «Тѣмъ я несчастливъ, что звѣзды и небо—Звѣзды и небо, а я человѣкъ»!.. (1831 г., II, 22)—«Тучки небесныя—вѣчные странники—Степью лазурною, цѣпью жемчужною— Мчитесь вы будто какъ я же изгнанники — Съ милаго сѣвера въ сторону южную—...Нѣтъ вамъ наскучили нивы безплодныя,—Чужды вамъ страсти и чужды страданія; Вѣчно холодныя, вѣчно свободныя, — Нѣтъ у васъ родины, нѣтъ вамъ изгнанія» (I, 121). — «Волнамъ ихъ

воля и холодъ дороже—Знойныхъ полудня лучей» (II, 231).—«Какъ я въ душѣ любилъ всегда—Ихъ (волнъ) безконечные походы —Богъ вѣсть откуда и куда...—И эту жизнь безъ дѣлъ и думъ, — Безъ родины и безъ могилы,—Безъ наслажденія и мукъ;—Однообразный этотъ звукъ,—Причудливыя эти силы, —Ихъ буйный ревъ и тишину—И эту вѣчную войну—Съ другой стихіей—съ облаками,—Съ дождемъ и вихремъ! Сколько разъ—На кораблѣ въ опасный часъ,—Когда летала смерть надъ нами,—Я въ ужасѣ Творца молилъ,—Чтобъ океанъ мой побѣдилъ («Морякъ», 1831 г., II, 234)».—Въ приведенныхъ мною отрывкахъ мы очевидно наталкиваемся на задушевнѣйшія идеи чувства поэта, на коренныя черты его міросозерцанія печальнаго и пессимистическаго, которое хотя развилось и созрѣло въ Лермонтовѣ одновременно съ изученіемъ Байрона и подъ вліяніемъ Байрона, но имѣетъ, однако свой особенный характеръ, который необходимо изучить.

V.

Въ своемъ этюдѣ о русскомъ романѣ (Le roman russe, 1886) виконтъ Вогюэ старается представить поступательное движеніе русской мысли, начиная съ того момента, когда, достигнувъ совершеннолѣтія она освободилась отъ простаго подражанія христіански-гуманистическому европеизму. Переходною ступенью отъ этой подражательности къ полной самостоятельности служилъ реализмъ или натурализмъ, но не такой сухой и безсердечный, какъ у новѣйшихъ французскихъ натуралистовъ и декадентовъ, потому что въ Россіи онъ былъ, по словамъ Вогюэ, облагороженъ нравственной эмоціей, богобоязнью и сострадающимъ милосердіемъ. Въ своемъ походѣ русская мысль пошла по направленію древнеарійскаго духа, къ нирванѣ, къ безпредѣльной, самоотверженной любви уже не къ одному человѣчеству, а и ко всему живому въ природѣ на самыхъ низшихъ ступеняхъ раз-

вивающагося бытія. Разбирая писателей, Вогюэ долженъ былъ подойти къ самому крупному послѣ Пушкина въ русской литературѣ лицу — къ Лермонтову. Лицо это не укладывалось никакъ въ рамки теоріи Вогюэ; оно было совсѣмъ негуманнное въ европейскомъ смыслѣ этого слова, — дивный художникъ, но откровенный эгоистъ, писавшій въ 1830 г. (Романсъ, II, 116): «Не смѣйте искать въ сей груди сожалѣнья! — Когда я свои презираю мученья,—Что мнѣ до страданій другихъ!» —Вогюэ благоразумно отдѣлался отъ Лермонтова нѣсколькими строками: «vindicatif, hargnieux, mauvais compagnon...», романтикъ, одержимый Байроновскою лихорадкою, издававшій самые рѣзкіе и рѣжущіе звуки (54, 57). Лермонтовъ, въ самомъ дѣлѣ, озадачиваетъ изслѣдователя. О немъ можно сказать то же, что́ сказалъ Пушкинъ про Байрона (VII, 80): «Онъ весь созданъ былъ навыворотъ, онъ вдругъ созрѣлъ и возмужалъ» Въ 16 лѣтъ Лермонтовъ уже тотъ великій и вполнѣ развившійся художникъ, какимъ онъ и умеръ, имѣя не полныхъ 28 лѣтъ, притомъ тотъ же жестокій, своенравный характеръ, человѣкъ сознающій всю ненасытность своихъ желаній, свою неспособность ихъ умѣрить, терпящій жажду явно несбыточнаго счастія, превращающую его жизнь въ пытку, такъ что все перерабатывалось въ этомъ горнилѣ души и поэтическаго творчества въ нѣчто ѣдкое и ядовитое. Существовало полное отсутствіе равновѣсія между ощущеніями, заставляющими человѣка радоваться или страдать, составляющими единственный матеріалъ психической жизни,—и ненасытными желаніями натуры безпокойной и далеко не заурядной, такъ какъ она была одарена весьма сильнымъ умомъ, никогда не отдыхающимъ, не останавливающимся на поверхности вещей и притомъ метафизическимъ, занятымъ прежде всего одними вѣчными вопросами бытія, вопросами о его причинахъ и цѣляхъ, неразрѣшимыми, а между тѣмъ неотвязчивыми. Умъ Лермонтова былъ весьма пытливый и острый, мысль его сверлила какъ буравъ все въ одномъ

и томъ же мѣстѣ, по одному и тому же направленію.— Постараюсь пояснить нѣсколькими выдержками это курьезное вращеніе вокругъ однѣхъ и тѣхъ же идей. Вотъ чтó писалъ онъ еще до поступленія въ школу юнкеровъ: «Moi, c'est la personne que je fréquente avec le plus de plaisir... j'ai vu que mon meilleur parent, c'était moi» (I, 440)... «Ищу впечатлѣній, какихъ-либо впечатлѣній! Преглупое состояніе человѣка, когда онъ долженъ занимать себя, чтобъ жить, какъ занимали нѣкогда придворные своихъ королей, быть своимъ шутомъ» (I, 436)... «Je sens bien fortement la réalité de la vie. Je ne pourrai jamais rien détacher pour la mépriser de bon coeur, car ma vie c'est moi, moi qui vous parle—et qui dans un moment peut devenir rien, un nom, c'est-à-dire *encore un rien*. Dieu sait si après la vie le *moi* existera. C'est terrible quand on pense qu'il peut arriver un jour oú je ne pourrai pas dire: moi! A cet idée l'univers n'est qu'un morceau de boue» (I, 444). Лермонтова толкаетъ, конечно, впередъ благородное желаніе славы: «меня мучитъ сознаніе, что я кончу жизнь ничтожнымъ человѣкомъ» (I, 437)... «Cette drole de passion de laisser toujours des traces de mon passage» (I, 444). Въ знаменитой «Думѣ» 1838 г. больше всего печалитъ Лермонтова то, что—«Толпой угрюмою и скоро позабытой — Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,—Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой, — Ни геніемъ начатаго труда» (I, 35). Лермонтовъ проникъ и уразумѣлъ тщету и обманчивость счастія: «Какъ въ ночь звѣзды падучей пламень, — Ненуженъ міру я... — Молю о счастіи, бывало, — Дождался наконецъ!—И тягостно мнѣ счастье стало,—Какъ для царя вѣнецъ». Если нѣтъ счастія, то не слѣдуетъ къ нему и стремиться, незачѣмъ печалиться о неизбѣжности смерти; надо брать отъ жизни съ признательностью все то, что она можетъ дать хорошаго, а именно возможно большее удовольствіе отъ самаго процесса этой жизни. Эта рѣшимость не чужда Лермонтову, онъ ее высказываетъ въ свои хорошія минуты: «Чтò безъ страданій жизнь

поэта,—И что̀ безъ бури океанъ?» — Онъ хочетъ жить цѣною «мукъ, покупая ими неба звуки» (I, 437). Онъ восклицаетъ: «Дайте разъ на жизнь и волю,—Какъ на чуждую мнѣ долю,—Посмотрѣть поближе мнѣ» (I, 6). «Дайте волю, волю, волю—И не нужно счастья мнѣ!» (I, 486). Эта жажда дѣла выражена всего типичнѣе въ поэтической автобіографіи поэта, озаглавленной: «11 іюня 1831 г.» (II, 117)—«Такъ жизнь скучна, когда боренья нѣтъ...—Мнѣ нужно дѣйствовать... понять—Я не могу, что̀ значитъ отдыхать. — Всегда кипитъ и зрѣетъ что-нибудь—Въ моемъ умѣ...—Мнѣ жизнь все какъ-то коротка—И все боюсь, что не успѣю я—Свершить чего-то. Жажда бытія—Во мнѣ сильнѣй страданій роковыхъ».—Эта жажда бытія, борьбы и бури выражена прелестно въ «Парусѣ». Въ «Чашѣ» поэтъ мирится меланхолически, но съ философскимъ спокойствіемъ, съ тщетою надеждъ личнаго счастія. Примирительное настроеніе было, однако, непостоянное, скоропреходящее, проявляющееся въ исключительныя минуты, къ числу которыхъ принадлежитъ та, когда онъ написалъ одну изъ своихъ задушевнѣйшихъ предсмертныхъ строфъ (1841 г., I, 181): «Ужъ не жду отъ жизни ничего я,—И не жаль мнѣ прошлаго ничуть;—Я ищу свободы и покоя,—Я-бъ хотѣлъ забыться и заснуть».—Въ большей части рѣшающихъ моментовъ примиреніе внутри души поэта не можетъ состояться по той простой и роковой причинѣ, въ которой и содержится весь трагизмъ его судьбы, что для примиренія съ жизнью, необходимо умѣрить свои желанія, подавить и обуздать свои страсти, иными словами—посягнуть на самый источникъ вдохновенія, закрыть главный родникъ поэзіи Лермонтова. — Тяжесть борьбы и невозможность мировой на удовлетворительныхъ основаніяхъ выражены съ дивной простотой и красотою въ «Молитвѣ» 1829 г. (когда поэту было 15 лѣтъ): «Не обвиняй меня, Всесильный,—И не карай меня, молю,—За то, что мракъ земли могильный—Съ ея страстями я люблю;—За то, что лава вдохновенья — Клокочетъ на груди моей; —

За то, что дикія волненья — Мрачатъ стекло моихъ очей...—Но угаси сей чудный пламень,—Всесожигающій костеръ,—Преобрати мнѣ сердце въ камень...—Отъ страшной жажды пѣснопѣнья—Пускай, Творецъ, освобожусь,—Тогда на тѣсный путь спасенья — Къ Тебѣ я снова обращусь».

VI.

Существовала ли для Лермонтова возможность, при нѣсколько иныхъ условіяхъ воспитанія и внѣшней обстановки, избѣжать душевнаго разлада, достигнуть внутренняго успокоенія и равновѣсія? Отвѣчая на этотъ вопросъ замѣчу, что я имѣю въ виду только натуры избранныя, съ пытливымъ умомъ—людей, ни объ одномъ изъ коихъ нельзя сказать, что «въ заботы суетнаго свѣта онъ малодушно погруженъ». Если въ одной изъ такихъ даровитыхъ психическихъ организацій преобладаетъ сообразительность, аналитическая способность, рефлексія, то равновѣсіе устанавливается устойчивое и прочное весьма естественно и просто. Допустимъ, что у такого человѣка ощущенія сильныя и живыя, но они тотчасъ же претворяются въ отвлеченныя понятія, въ значки, изоизображающіе прошлыя наблюденія, въ символы пережитаго. Воспоминанія пережитаго ничѣмъ не отличаются отъ воспоминаній вычитаннаго или отъ умозаключеній. Все испытанное, прочитанное и выведенное укладывается въ головѣ толково, порядочно, въ систему голыхъ, безличныхъ фактовъ. Одно постоянное созерцаніе міровой громады въ ея стройной красѣ и дивномъ порядкѣ доставляетъ такое высокое наслажденіе мыслителю, что онъ позабываетъ о себѣ, что онъ отъучается отъ исканія смысла жизни съ точки зрѣнія личной, и прежде всего и больше всего его интересуетъ вселенная. Громадныя услуги оказала людямъ въ этомъ направленіи нѣмецкая философія, въ особенности геніальнѣйшая изъ

системъ этой философіи: Гегелевскій идеализмъ. Лермонтовъ обрѣтался нѣкоторое время въ самомъ разсадникѣ этого идеализма, въ московскомъ университетѣ, одновременно съ Герценомъ и его сверстниками («Святое мѣсто! помню я какъ сонъ — Твои каѳедры, залы, коридоры, — Твоихъ сыновъ заносчивые споры — О Богѣ, о вселенной и о томъ, — Какъ пить: съ водой иль просто голый ромъ; — Ихъ гордый видъ предъ грозными властями, — Ихъ сюртуки, висящіе клочками». — «Сашка», II, 527). Еслибы обстоятельства и не прервали ученой карьеры Лермонтова, сомнительно, вышелъ ли бы изъ него философъ. Скорѣе можно предполагать противное. Онъ писалъ въ 1830 г. (II, 65): ...«мой умъ не по пустякамъ — Къ чему то тайному стремился. — Къ тому, чему даны въ залогъ — Съ толпою звѣздъ ночные своды — И что́ бъ уразумѣть я могъ — Черезъ мышленіе и годы. — Но пылкій, но суровый нравъ — Меня грызетъ отъ колыбели... — Умру я, сердцемъ не познавъ — Печальныхъ думъ печальной цѣли».

Какъ всякій художникъ, Лермонтовъ имѣлъ натуру чувственную; въ немъ отъ природы преобладала эмоціональная дѣятельность надъ рефлексіею. Онъ обладалъ такою же страшною *«памятью сердца»*, какъ и Байронъ, то-есть способностью воспроизводить въ сознаніи послѣ многихъ лѣтъ испытанныя когда-то ощущенія, не только съ первоначальною ихъ свѣжестью, но еще обособленныя, усиленныя и дополненныя воображеніемъ. «Какъ все прошедшее — пишетъ Лермонтовъ въ «Героѣ нашего времени» — ясно и рѣзко отлилось въ моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттѣнка не стерло время!» (II, 314). «Нѣтъ въ мірѣ человѣка, надъ которымъ прошедшее пріобрѣтало бы такую власть, какъ надо мною. Всякое напоминаніе о минувшей печали или радости болѣзненно ударяетъ въ мою душу и извлекаетъ изъ нея все тѣ же звуки... Я глупо созданъ; ничего не забываю, *ничего!* — Натуры чувственныя, волнующіяся безъ удержу и страстныя, нуждаются въ уздѣ, которая

бы укрощала ихъ порывы, въ силѣ, дѣйствующей извнѣ, въ авторитетѣ, предъ которымъ онѣ бы преклонялись. Для большинства людей, для несмѣтнаго ихъ числа, такою моральною уздою является религія, ничѣмъ по благотворному своему вліянію незамѣнимая для душъ, еще способныхъ вѣрить. Живой примѣръ буйнаго артистическаго темперамента, укрощеннаго религіею, представляетъ собою Шатобріанъ, пѣвецъ анти-революціонной въ римско-католическомъ духѣ реакціи.—По условіямъ своего происхожденія и воспитанія подъ крылышкомъ богомольной бабки, по врожденной сильной наклонности къ націонализму, по сильной любви къ родинѣ своей—самой тѣсной, по нерасположенію своему къ европеизму и глубокому религіозному чувству, вдохновляющему «Вѣтку Палестины» и множество прекраснѣйшихъ молитвъ, Лермонтовъ былъ снабженъ всѣми данными для того, чтобы сдѣлаться великимъ художникомъ того литературнаго напрявленія, теоретиками коего были Хомяковъ и Аксаковы, художникомъ народническимъ, какого именно и недоставало этой школѣ. Въ 15 лѣтъ отъ роду, сознавая уже свое мастерство, Лермонтовъ писалъ: «если захочу вдаться въ поэзію народную, то вѣрно нигдѣ больше не буду ее искать, какъ въ русскихъ пѣсняхъ» (II, 515). Такъ какъ онъ былъ мастеръ на всѣ лады и поэтъ геніальный, то случилось, что ему разъ захотѣлось написать поэму въ народномъ русскомъ вкусѣ, и онъ ее написалъ легко и свободно. Замѣчательно, что въ превосходномъ эпосѣ, озаглавленномъ: «Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника, и удалого купца Калашникова», Лермонтовъ не модернизировалъ въ современномъ либеральномъ духѣ своихъ людей изъ прошлыхъ временъ, какъ это дѣлалъ Алексѣй Толстой со своими героями изъ былинъ Владимірова цикла. Лермонтовъ не взялъ на себя сравнительно болѣе легкой задачи воспѣвать богатырей, которыхъ слава и безъ того свѣжа и у всѣхъ на виду, напримѣръ Петра Великаго. Онъ избралъ златоглавую, бѣлокаменную, частью ви-

зантійскую, частью татарскую Москву, въ самый мрачный періодъ слагающагося самодержавія. Онъ вывелъ и поставилъ во весь ростъ гигантскую фигуру Грознаго. Въ произведеніи этомъ сквозитъ такое пониманіе исторіи, такая простота фабулы и такая правда выраженія, наконецъ такое мастерство превращать въ золото поэзіи все то, что́ кроетъ въ себѣ жизнь самого дурнаго, несправедливаго и ужаснаго, что невольно призадумаешься о томъ, какой изъ Лермонтова могъ бы выйти замѣчательный историческій живописецъ и поэтъ славянофильскаго лагеря. Но самъ Лермонтовъ сказалъ о себѣ, что до 15-ти лѣтъ онъ почти ничего не читалъ, а съ 15-ти лѣтъ онъ уже не думалъ о томъ, какъ бы вдаваться въ народную поэзію (II, 515). Странно, что въ 1830 г. онъ написалъ: «наша литература такъ бѣдна, что я ничего не могу изъ нея заимствовать», между тѣмъ какъ онъ заимствовалъ многое отъ Пушкина, передѣлывалъ «Кавказскаго Плѣнника» и старался всячески имѣть, подобно Пушкину, «холодный умъ средь мрачныхъ думъ» («Портретъ», 1829 г., II, 22), тотъ умъ «сомнѣньемъ охлажденный и спорить съ рокомъ пріученный» (Измаилъ-Бей, 1832, II, 305). Кажется, что этотъ обходъ Пушкина въ русской литературѣ можетъ быть объясненъ очень просто тѣмъ, что русскую поэзію представлялъ Лермонтову одинъ только Пушкинъ, горячо имъ любимый, но Лермонтовъ считалъ Пушкина не національно-русскимъ, а обще-европейскимъ поэтомъ, какимъ Пушкинъ и былъ въ дѣйствительности. Притомъ господство Пушкина надъ воображеніемъ Лермонтова было значительно поколеблено вліяніемъ на Лермонтова еще болѣе яркаго поэтическаго свѣтила, которому Лермонтовъ сознательно и беззавѣтно подчинился, а именно — Байрона. Еще раньше того момента, когда Лермонтовъ, по его же словамъ, началъ марать стихи въ пансіонѣ въ 1828 г., онъ переписывалъ «Шильонскаго Узника». Восторженное отношеніе его къ Байрону началось съ прочтенія, въ 1830 г., жизнеописанія Байрона написан-

наго Муромъ (The life, letters and journals of L. Byron), а точнѣе выражаясь,—по прочтеніи перваго тома этого труда, изданнаго въ Лондонѣ въ январѣ 1830 г., второй томъ не могъ быть извѣстенъ Лермонтову въ 1830 г., такъ какъ онъ изданъ въ Лондонѣ въ самомъ концѣ 1830 г., и само предисловіе къ нему помѣчено декабремъ. Тогда-то Лермонтовъ написалъ: «Я молодъ; но кипятъ на сердцѣ звуки, — И Байрона достигнуть я-бъ хотѣлъ:—У насъ одна душа, однѣ и тѣ же муки.—О, еслибъ одинаковъ былъ удѣлъ!» — Съ того же момента начинается прилежное подбираніе и записываніе малѣйшихъ чертъ сходства между ученикомъ и учителемъ. Лермонтова поражаетъ, что и Байронъ прибиралъ и переписывалъ свои дѣтскіе стишонки, какъ бы по инстинкту, въ чаяніи будущаго. Затѣмъ замѣчено еще одно сходство: «матери Байрона предсказала цыганка, что онъ будетъ великій человѣкъ; про меня предсказала то же самое старуха моей бабушкѣ. Дай Богъ, чтобы и надо мною сбылось, хотя бы я былъ такъ же несчастливъ, какъ Байронъ» (II, 513). Въ 1831 г. Лермонтовъ пишетъ на картину Рембрандта: «Ты понималъ, о мрачный геній, — Тотъ грустный, безотчетный тонъ, — Порывъ страстей и вдохновеній, — Все то, чѣмъ удивлялъ Байронъ» (II, 231). Но въ томъ же 1831 году написанъ и отрывокъ, который жизнеописатели Лермонтова подчеркиваютъ какъ доказательство его эманципаціи: «Нѣтъ, я не Байронъ, я другой,—Еще невѣдомый избранникъ,— Какъ онъ, гонимый міромъ странникъ, — Но только съ *русскою* душой.—Я раньше началъ, кончу ранѣ, — Мой умъ немного совершитъ;—Въ душѣ моей, какъ въ океанѣ, — Надеждъ разбитыхъ грузъ лежитъ». — Цѣна и вѣсъ этого доказательства крайне спорны и сомнительны. Писалъ отрывокъ Лермонтовъ какъ студентъ университета (съ авг. 1830 по іюнь 1832 г.), баловень бабушки, юноша, малѣйшія прихоти котораго исполнялись, и который изъ кожи лѣзъ, чтобы изобразить собою другой экземпляръ Байрона. Въ этихъ видахъ онъ даже и за-

гримировался гонимымъ странникомъ, плачущимъ о разбитомъ грузѣ надеждъ, хотя онъ еще и не вкусилъ порядкомъ отъ плодовъ жизни, а слѣдовательно и разочароваться не могъ. Если его мучила неизвѣстность, жажда славы, то эта слава неслась передъ нимъ окрыленная и улыбалась; талантъ свой онъ сознавалъ вполнѣ, и еще въ 1829 г. писалъ: «лишь лиры звукъ мнѣ неизмѣненъ былъ» (II, 25), такъ что его авторскіе успѣхи въ будущемъ представлялись только какъ вопросъ времени. Не менѣе загадочны и неясны слова: «съ русскою душой». Свою родину Лермонтовъ любилъ не только «странною», но и весьма неровною любовью. Любя ее, онъ все-таки упорно отыскивалъ для себя знатное иностранное происхожденіе, и выводилъ свой родъ то отъ испанскихъ Лерма, то, потомъ (что̀ согласнѣе съ фамильными документами) отъ шотландскихъ Лирмонтовъ, съ ихъ Learmonth's Tower на Твидѣ, неподалеку отъ Вальтеръ-Скоттова Абботсфорда (Висковатый, «Русская Мысль» 1882 г.). Лермонтовъ горѣлъ поэтическимъ «желаніемъ» летѣть въ Шотландію, гдѣ стоитъ могила Оссіана — въ горахъ Шотландіи моей» (1830, II, 74), помчаться степнымъ ворономъ, чтобъ задѣть струны шотландской арфы: «Послѣдній потомокъ отважныхъ бойцовъ—Увядаетъ средь *чуждыхъ* снѣговъ;—Я здѣсь былъ рожденъ, но *не здѣшній душой*. — О, зачѣмъ я не воронъ степной!» Эти послѣдніе стихи, съ фразою: «нездѣшній душой», помѣчены 29-го іюля 1831 г. на бельведерѣ въ Средниковѣ (II, 197), тѣмъ же годомъ, въ концѣ котораго написанъ (II, 232) стихъ: «но только съ русскою душой». И такъ, въ виду противорѣчій въ показаніяхъ субъекта, вопросъ о національности его души остается открытымъ, тѣмъ болѣе, что въ этомъ вопросѣ онъ не можетъ быть самъ себѣ и экспертомъ. Русскіе литературные критики согласны въ томъ, что Пушкинъ былъ байронистъ только на поверхности, но что Лермонтовъ сталъ байронистомъ до мозга костей. Вогюэ замѣчаетъ: «Lermontoff a reçu l'instrument façonné par

Pouschkine, mais il se rattache sur tout á leur maître commun. Le créateur d' «Onéguine» n'avait pris á celui de «Childe Harold» que la poétique, Lermontoff lui a pris son âme» (54). Полагаютъ вообще, что вліяніе Байроновской поэзіи на Лермонтова было благотворное, возвышающее способствующее тому, чтобы Лермонтовъ могъ стряхнуть съ себя всю пошлость современной общественности, выбраться изъ этой тины, прервать мертвый застой того времени отчаяннымъ, хотя и малополезнымъ протестомъ. Всѣ эти предположенія какъ о пользѣ вліянія Байрона на Лермонтова, такъ и о пользѣ Лермонтовскаго протеста á la Byron, должны быть изъяты изъ нашего разсмотрѣнія, какъ безусловно противныя задачамъ литературной критики и сильно препятствующія анализу фактовъ, долженствующихъ быть прежде всего установленными, притомъ фактовъ не соціальнаго, но психологическаго свойства. Не будь Байрона и его вліянія— изъ Лермонтова вышелъ бы, можетъ быть, крупный поэтъ, не очень высокаго полета, съ узкимъ національнымъ направленіемъ, сильно державшійся за родную почву множествомъ корнѣй, а потому и популярный и любимый. Подъ вліяніемъ Байрона изъ Лермонтова выработался поэтъ весьма высокаго полета, но космополитическій. можетъ быть и безпочвенный, но столь могучій по силѣ генія, что въ теченіе всѣхъ истекающихъ по его смерти 50 лѣтъ ни одинъ изъ появившихся потомъ пѣвцовъ не унаслѣдовалъ его волшебной лиры, никто не приблизился къ нему—всѣ они точно маленькіе холмы въ виду этого поэтическаго Казбека. И такъ, вопросъ долженъ быть поставленъ въ совершенно иной формѣ: насколько видоизмѣнилось творчество Лермонтова отъ знакомства съ Байроновскою поэзіей? Чтó заимствовалъ Лермонтовъ изъ этой поэзіи и чѣмъ онъ вовсе не воспользовался?

VII.

Я весьма далекъ отъ намѣренія утверждать, будто бы всѣ чувства: гордой независимости, презрѣнія къ людямъ, страданія отъ тягости бытія — общія и Байрону, и Лермонтову—были прямо взяты послѣднимъ у перваго и только пересажены искусственнымъ образомъ. Какъ у Пушкина, послѣ его страданій въ 1820 г., такъ и у Лермонтова, 16-лѣтняго юноши, менѣе страдавшаго, сѣмя падало на подготовленную и прошедшимъ, и внѣшними событіями почву. До поступленія въ московскій университетъ Лермонтовъ сдѣлался предметомъ мучительнѣйшаго для него пререканія между отцомъ его, далеко не безгрѣшнымъ въ семейномъ быту человѣкомъ,—который пытался переманить, или, лучше сказать, перетащить, въ свою убогую усадьбу многообѣщавшаго сына,—и богатою бабушкою Арсеньевою, трепещущею при мысли, что у нея могутъ похитить этотъ кладъ, къ которому она безпредѣльно привязалась, либо просто силою, либо на основаніи закона («Русск. Мысль» 1882 г., № 12, ст. г. Висковатаго). Въ обострившейся до крайности борьбѣ изъ-за «Мишеля» онъ былъ безвинною жертвою этого конфликта, узналъ изнанку жизни, несправедливость и пристрастіе другъ къ другу дорогихъ ему лицъ. Конфликта этого онъ не могъ осилить, и вышелъ изъ этой пытки надломленнымъ существомъ. Сердце влекло его къ отцу, но предъ нимъ расплакалась и предстала въ своемъ ужасающемъ одиночествѣ бабка. Онъ сжалился надъ нею,—тогда отецъ заподозрилъ его въ томъ, что его прельстило богатство бабки. Отецъ бросилъ Тарханы, уѣхалъ и вскорѣ умеръ, обременивъ совѣсть сына предположеніемъ, что, можетъ быть, поведеніе Мишеля ускорило эту смерть. Такимъ образомъ, Лермонтовъ впервые въ жизни испыталъ *судьбу*, тотъ *рокъ*, съ которымъ онъ всю жизнь потомъ велъ ожесточенную, отчаянную борьбу. Какъ настоящій художникъ, онъ занялся тотчасъ литературнымъ эксплоатированіемъ пережитыхъ мукъ.

Онъ сталъ изображать драматическую игру страстей, подмѣченную имъ въ своей душѣ и у другихъ. Послѣ дѣтской подражательной трагедіи: «Испанцы», наполненной мотивами изъ «Разбойниковъ», «Kabale und Liebe», «Натана Мудраго», и послѣ драмы: «Два брата», воспроизводящей антагонизмъ Карла и Франца Мооровъ изъ «Разбойниковъ» Шиллера (онъ любовался этою драмою въ 1829 г. на московской сценѣ въ исполненіи Мочалова,—II, 435), — написаны Лермонтовымъ «Menschen und Leidenschaften» (1830), и вслѣдъ затѣмъ — «Странный человѣкъ» (1831). Въ обѣихъ драмахъ героемъ является сынъ. Лицо это собственно не трагическое, потому что не дѣйствуетъ, мучается безвинно и погибаетъ подъ тяжестью отцовскаго проклятія и отвергнутой любви къ женщинѣ. Въ драму: «Menschen und Leidenschaften» вставлена вся семейная тархановская исторія, причемъ самыми темными красками расписана бабушка, старая помѣщица, суровая хозяйка по Домострою, окруженная пресмыкающеюся предъ нею дворнею, которая возстановляетъ ее противъ зятя. Матеріалъ для любовной интриги, занимающей второстепенное мѣсто въ этой пьесѣ, доставила любовь Мишеля къ одной изъ своихъ кузинъ, вѣроятно къ Варварѣ Лопухиной. Сынъ оклеветанъ передъ отцомъ, который его проклинаетъ; пораженный этимъ проклятіемъ, сынъ отравляетъ себя. Матеріалъ для драмы дала сама жизнь; авторъ изобразилъ себя не по-байроновски, т.-е. не дѣйствующимъ лицомъ, а скорѣе похожимъ на Шиллеровского Фердинанда въ «Kabale und Liebe». Передъ смертью сынъ извѣрился до атеизма («Природа подобна печи, откуда вылетаютъ искры; искры неравны между собою, но всѣ погаснутъ безъ слѣда; когда огонь истощится, собираютъ пепелъ и выбрасываютъ вонъ... Нѣтъ другаго свѣта, нѣтъ рая, нѣтъ ада. Люди — брошенныя, безпріютныя созданія». Дѣйств. V, явл. 9 и 10). Но этотъ же извѣрившійся человѣкъ вступаетъ въ споръ съ Богомъ и обвиняетъ его со всею тонкостью рѣжущей діалектики, какою Бай-

ронъ вооружилъ своего Каина: «если онъ всевѣдущъ, то зачѣмъ не удержалъ удары людей отъ моего сердца? зачѣмъ хотѣлъ моего рожденія, зная мою гибель? гдѣ его воля, когда по моему хотѣнію я могу умереть или жить?... «Драма была вѣроятно написана подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ смерти отца, внушившимъ поэту столько скорбныхъ звуковъ (1831, II, 227.—«Дай Богъ, чтобы какъ твой спокоенъ былъ конецъ—Того, кто былъ всѣхъ мукъ твоихъ причиной, — Но ты простишь меня!). — Вскорѣ потомъ (1831) Лермонтовъ раздумался, убѣдился въ своей несправедливости къ бабушкѣ,—вѣроятно ему разсказали всѣ вины отца по отношенію къ матери,— вслѣдствіе чего въ «Странномъ человѣкѣ» уже совсѣмъ нѣтъ на сценѣ бабушки, но зато въ весьма непривлекательномъ видѣ представленъ отецъ, семейный деспотъ, безжалостный къ женѣ, безъ толку проклинающій сына за то, что этотъ послѣдній вступился за покинутую мать. Сынъ сходитъ съ ума отъ этого проклятія и отъ того еще, что ему измѣнила любимая женщина, сдѣлавъ иной выборъ по благоразумному разсчету. Такія отношенія отца къ сыну нимало не похожи на извѣстныя намъ отношенія Юрія Лермонтова-отца къ Мишелю, въ предисловіи же къ «Странному человѣку» заявлено, что драма изображаетъ происшествіе истинное, которое долго безпокоило автора и всю жизнь занимать его не перестанетъ; что всѣ лица взяты съ природы, и что авторъ желаетъ «чтобы они были узнаны», а потому слѣдуетъ заключить, что авторомъ заимствована изъ дѣйствительности и изображена автобіографически только одна любовная исторія. Эпиграфъ къ драмѣ взятъ изъ Байронова «Сна» (The Dream); въ 4-ю сцену у студентовъ вставленъ яко-бы сочиненный сыномъ отрывокъ, составляющій прямое подражаніе «Сну» Байрона. Извѣстно, что «Сонъ» Байрона есть одно изъ задушевнѣйшихъ его произведеній, исповѣдь его отроческихъ сердечныхъ мукъ, когда миссъ Чауортъ предпочла хромому мальчику болѣе зрѣлаго человѣка. Мальчикъ покидаетъ нав-

сегда любимую женщину, несказанно страдая, но съ ледянымъ на видъ равнодушіемъ Подобныя страданія испыталъ Лермонтовъ нѣсколько разъ въ жизни, — они и породили, вѣроятно, мизантропическое его настроеніе и вражеское отношеніе вообще къ женскому полу, страсть къ тому, чтобы ухаживать за женщиною, а потомъ съ хохотомъ и насмѣшкою ее бросить. Въ «Странномъ человѣкѣ» Лермонтовъ еще очень мягокъ: «Богъ, Богъ!— восклицаетъ онъ: — во мнѣ отнынѣ нѣтъ къ тебѣ ни любви ни вѣры. Зачѣмъ ты далъ мнѣ огненное сердце, которое любитъ до крайности и не умѣетъ такъ же ненавидѣть!» (сц. 12). Однако какъ въ этомъ произведеніи, такъ и въ другихъ, написанныхъ въ этотъ до-байроновскій періодъ, разсѣяны во множествѣ уже готовыя черты будущаго мизантропа, анатомирующаго каждую крошку горя, посылаемаго ему судьбою (сц. 1), напрасно старающагося потопить въ потокѣ удовольствій тяжелую ношу самосознанія, и признающаго за собою несносный характеръ, злой умъ и всегда печальное воображеніе, желанія, не знающія преграды и перемѣнчивость склонностей» (сц. 11). Его сердце созрѣло раньше ума, онъ «узналъ дурную сторону свѣта, когда не могъ еще остерегаться его нападеній и равнодушно переносить ихъ (сц. 1). Онъ уже отзывается объ обществѣ съ большимъ пренебреженіемъ: «собраніе людей безчувственныхъ, самолюбивыхъ, полныхъ зависти къ тѣмъ, въ чьей душѣ есть малѣйшая искра небеснаго огня» (Предисловіе). «Страннымъ человѣкомъ» заключается отроческій періодъ въ жизни Лермонтова, исчезаетъ юноша, страдающій безвинно, появляется закаленный человѣкъ, сознательно самолюбивый, злой и предпріимчивый. — («Какъ демонъ мой, я зла избранникъ», —говоритъ онъ въ предисловіи къ третьему очерку «Демона»). Въ посвященіи 1831 (I, 513) онъ пишетъ: «Какъ Демонъ хладный и суровый, я въ мірѣ веселился зломъ».—Есть одно мѣсто въ письмѣ къ М. А. Лопухиной (28 авг., 1832. I, 440), которое проливаетъ свѣтъ на внутрен-

нюю работу Лермонтова надъ самимъ собою, совершаемую съ цѣлью, чтобы зачерствѣть и по возможности озлиться: J'écris peu, je ne lis pas plus, mon roman devient une oeuvre de désespoir; j'ai fouillé dans mon âme pour en retirer tout ce qui est capable de se changer en haine, et je l'ai versé pêle-mêle sur le papier. Vous me plaindriez en le lisant... Онъ сознаетъ свою силу и мастерство въ злословіи; онъ будетъ изощряться въ этомъ мастерствѣ, оправдывая себя тѣмъ много разъ повторяемымъ резономъ, что «не вѣритъ больше ничему», потому что прежде вѣровалъ всему. Перемѣна, происшедшая въ творчествѣ, не поясняется никакими намъ извѣстными въ жизни его событіями. Ее можно постигнуть только съ помощью предположенія, что въ промежуткѣ между пансіономъ и юнкерскою школою онъ начитался Байрона и усвоилъ себѣ вполнѣ и его рѣзкость сужденій, и его гордыню, и его сатанинскій сардоническій хохотъ. Я отрицалъ основательность сдѣланнаго Аполлономъ Григорьевымъ опредѣленія поэзіи Байрона, что она есть поэзія цинически откровеннаго эгоизма, клевещущая на душу человѣческую и разражающаяся ироніею и тоскою, такъ какъ голый эгоизмъ противенъ натурѣ человѣческой. Я утверждалъ, что это опредѣленіе потому и нейдетъ къ Байрону, что эта поэзія имѣетъ широкую гуманистическую подкладку, вѣру въ идеалы, которымъ Байронъ преданъ, хотя весь міръ кругомъ поклоняется съ колѣнопреклоненіемъ идоламъ грубой силы и золотому тельцу. Но я не могу не признать, что опредѣленіе Григорьева очень подходитъ къ поэзіи Лермонтова, и что Григорьевъ могъ бы быть введенъ въ заблужденіе, еслибы, опредѣляя Байрона, смотрѣлъ на него сквозь призму поэзіи Лермонтова. Есть стекла спектральныя, разлагающія лучъ солнечный на цвѣта, пропускающія одни цвѣта спектра и задерживающія другіе. Лермонтовъ и представляетъ собою такое стекло. Перелистывая его, вы едва ли найдете какія-либо изъ тѣхъ возвышенныхъ чувствъ, которыя

вдохновляли Байрона при написаніи четвертой пѣсни «Чайльдъ-Гарольда», Байрона—излечившагося отъ ироніи, Байрона лучшихъ дней, провозглашающаго: «I love the man not less, but Nature more... To fly from need—not to hate mankind»; Байрона, пишущаго къ Муру (6 апр., 1819): «You have so many *divine* poems, is it nothing, to have written a *humane* one?»—Все, что было у Байрона свѣтло-голубого, исчезло у Лермонтова; за то выступило наружу все багровое, злобное, демоническое, съ такою силою, что для людей, которые приноровились распознавать человѣка по его манерѣ писать, по его пошибу, Лермонтовское настроеніе можетъ иногда показаться болѣе Байроновскимъ, чѣмъ у самого Байрона. Укажу на одинъ небольшой примѣръ такого подчеркиванія, подкрашиванія, возведенія демоническаго—какое есть и у Байрона—въ квадратъ.

У Байрона имѣется прелестная по простотѣ и трезвости колорита еврейская мелодія: *My soul is dark*, переведенная Лермонтовымъ, въ 1836 году: «Душа моя мрачна». Неизвѣстно кто—вѣроятно царь Саулъ (Книга I Царствъ, 18, 10) требуетъ отъ арфиста: «играй, играй, смягчи меня, вызови слезу, дабы пересталъ горѣть мой мозгъ (cease to burn my brain). Да будетъ эта пѣснь дика и скорбна; я говорю тебѣ — я плакать долженъ, или сердце разорвется отъ муки. Теперь рѣшительный часъ, оно либо разорвется, либо растаетъ въ пѣснѣ» (break at once or yield to song). Разумѣется, что Лермонтовъ перевелъ это стихотвореніе блистательно и столь же сжато (16 стиховъ); но такъ какъ фантазія у него съ юныхъ лѣтъ, съ перваго посѣщенія Кавказа, была восточная, страстно любящая яркое и пестрое, то Лермонтовъ и оснастилъ простую основу мелодіи бездною золотыхъ блестокъ и стекляруса, употребивъ имѣвшіяся у него въ запасѣ готовыя клишэ. Арфа выходитъ *золотая*. Рука музыканта должна извлечь изъ нея не *melting murmurs*, а звуки *рая*. Привлеченъ сюда и *рокъ*, уносящій надежды. У Байрона нѣтъ «застывшихъ

глазъ» и такихъ слезъ въ нихъ, которыя должны «растаять»; скорѣе надо предположить, что глаза эти воспалены, какъ и мозгъ: —И если есть въ очахъ остывшихъ капли слезъ,—онѣ растаютъ и прольются. Должно быть, Лермонтовъ постоянно носился съ плотною «свинцовою слезою», одною изъ тѣхъ, которыми прожженъ камень у монастыря Тамары. Въ стихахъ:—«Какъ мой вѣнецъ, мнѣ тягостны веселья звуки», — первыя три слова составляютъ вставку собственнаго издѣлія, одну изъ излюбленныхъ фразъ, уже давнымъ-давно сочиненныхъ и часто повторяемыхъ. Наконецъ, заключеніе, подставляющее вмѣсто сердца, которое должно разорваться или разрѣшиться пѣснью—*грудь* (то-есть, тоже сердце), «какъ кубокъ смерти яда полный», есть явное измѣненіе смысла подлинника, внушенное поэту постоянно присущимъ ему представленіемъ о ядовитости продуктовъ его собственнаго творчества. Та перекройка Лермонтовымъ Байрона по своему собственному темпераменту, которую мы наблюдали въ маленькомъ хрусталикѣ мелодіи: *My soul is dark*, повторяется въ большихъ размѣрахъ въ крупныхъ эпическихъ и позднѣйшихъ драматическихъ произведеніяхъ Лермонтова, въ числѣ которыхъ первое мѣсто занимаетъ поэма: «Демонъ», которую онъ всю жизнь гранилъ, точилъ и полировалъ, еще съ 1829 г., когда начерталъ первый очеркъ, до окончательнаго пятаго, въ 1838 г. (9 лѣтъ — работа болѣе продолжительная, чѣмъ Пушкина надъ «Онѣгинымъ»). Исторія этого произведенія настолько интересна, что на ней слѣдуетъ остановиться.

VIII.

Есть у Лермонтова одна ранняя поэма — *Ангелъ Смерти*, восточная повѣсть, — ростокъ, происходящій отъ одного общаго корня съ «Демономъ». По первоначальному замыслу, сохранившемуся въ черновой тетради (II, 524), ангелъ смерти, котораго назначеніе услаждать

поцѣлуемъ послѣдній мигъ умирающаго, тронутый отчаяніемъ любовника умирающей дѣвы, начальника возстающихъ грековъ, оживилъ ея трупъ своею собственною душою, но потомъ раскаялся, потому что этотъ любовникъ оказался человѣкомъ мрачнымъ и кровожаднымъ. Грека убиваютъ въ сраженіи; ангелъ не можетъ уже облегчить его смерти, какъ воплотившійся въ смертное существо, но покидаетъ и тѣло дѣвы, и съ тѣхъ поръ уже не любитъ людей, для которыхъ — «Хладнѣе льда его объятья—И поцѣлуй его—проклятья!»—Въ самой поэмѣ дѣйствіе перенесено въ Индію, грекъ превратился въ отшельника Зораима. У Зораима есть любовница Ада, въ моментъ смерти которой, изъ состраданія къ Зораиму, въ тѣло ея переселился ангелъ смерти. Замыселъ теряетъ свою первичную простоту и прозрачность. Зораимъ, увлекаемый внезапно честолюбіемъ и жаждою славы, кидается въ войну и смертельно раненъ на полѣ битвы. Страдальцу не можетъ помочь духъ, изъ ангела превратившійся въ смертную женщину. Со смертью Зораима ангелъ освобождается также отъ земныхъ узъ и возвращается въ небеса, но—«За гибель друга въ немъ осталось—Желанье міру мстить всему».—Ангелъ «простился съ прежней добротой, — Людей узналъ онъ: состраданья — Они не могутъ заслужить». — Поэма эта, очевидно, мизантропическая, но еще не демоническая. Она указываетъ на то, что̀ по сознанію поэта есть — «пятно тоски въ умѣ моемъ, — И съ каждымъ годомъ шире то пятно, — И скоро все поглотитъ» (II. 224). Есть черновая замѣтка, изъ которой видно, что Лермонтовъ предполагалъ написать длинную сатирическую поэму: *Демонъ*.

«Демонъ» и былъ написанъ, но вышелъ онъ не сатирическій. Прежде всего у Лермонтова онъ представляетъ аллегорію отвлеченной идеи зла. Есть у Пушкина одинъ недоразвившійся бутончикъ того же наименованія, относительно котораго спорили, изображаетъ ли онъ человѣка-скептика, или олицетвореніе сомнѣнія, какъ

нравственнаго зла. Будучи 14 лѣтъ, Лермонтовъ сталъ парафразировать этотъ Пушкинскій сюжетъ («Мой демонъ», 1829, II, 32: Онъ недовѣрчивость вселяетъ. — Онъ презрѣлъ чистую любовь...), съ тою существенною разницею, что его демонъ—не хладный насмѣшникъ, а существо, дѣйствующее голосомъ страсти и жестокое (Онъ равнодушно видитъ кровь — И звукъ высокихъ ощущеній — Онъ давитъ голосомъ страстей); наконецъ, въ этой абстракціи слиты и зло физическое, и зло нравственное (Средь листьевъ желтыхъ, облетѣвшихъ — Стоитъ его недвижный тронъ;—На немъ, средь вѣтровъ онѣмѣвшихъ, — Сидитъ унылъ и мраченъ онъ), чтó и служитъ зародышемъ изображеній въ послѣдующихъ очеркахъ «ледяного царства Демона» и его трона на вершинѣ льдовъ, гдѣ «бѣлогривыя мятели—Какъ львы у ногъ его ревѣли» (I, 516). Затѣмъ идутъ видоизмѣняющіяся повѣствованія о дѣяніяхъ Демона въ длинномъ ряду очерковъ. Первоначальный замыселъ 1829 г. простъ (I, 496) и вѣренъ представленію о демонѣ, какъ олицетвореніи одного только зла. Демонъ узналъ, что одинъ изъ противниковъ его, ангелъ, любитъ смертную. На зло ангелу онъ обольщаетъ эту женщину, которая скоро умираетъ и дѣлается духомъ ада. Выписки «Каина» Байрона (изданнаго въ 1821 году) предпосланы, въ видѣ эпиграфа, ко второму очерку «Демона», писанному въ пансіонѣ въ 1830 году. Со второго очерка обстановка будетъ постоянно мѣняться: соблазняемая женщина будетъ представлять собою сначала еврейку временъ вавилонскаго плѣненія, потомъ испанскую монахиню, пока она не превратится окончательно въ грузинскую княжну Тамару; но уже со второго очерка коренная идея поэмы фиксирована; сюжетомъ ея становится то, что одинъ изъ главныхъ подручниковъ архистратига адскихъ силъ, сатаны — Демонъ — влюбился настоящею половою любовью въ одну изъ правнучекъ прародительницы Евы, и что любовь увѣнчана была взаимностью. Мысль эта сама по себѣ не нова, съ нею

возился Байронъ, сочиняя въ 1821 г. мистерію: «Heaven and Earth», изображающую женщинъ изъ племени Каинова и ангеловъ, изъ-за этихъ женщинъ дѣлающихся непослушными Богу. И женская любовь къ князю тьмы не есть также предметъ небывалый въ литературѣ. На ней основана лучшая изъ поэмъ Альфреда де-Виньи, появившаяся въ 1828 г. въ собраніи его поэзій: «Eloa la soeur des anges». Слеза, пролитая Христомъ у гроба Лазаря, даетъ начало ангелу-женщинѣ, Элоа. Во время своихъ странствованій по вселенной, Элоа встрѣчается съ павшимъ сатаною, поражающимъ даже и въ паденіи своею дивною красотою. Хотя. сочувствуя ему, Элоя пытается бѣжать, догадываясь, кто ея собесѣдникъ; но онъ разрыдался и явилъ себя столь безконечно несчастнымъ въ случаѣ, если она его покинетъ, что изъ сожалѣнія Элоа осталась при сатанѣ, который и увлекъ ее въ бездну.—Лермонтовъ задался замысломъ, весьма похожимъ на Элоа, въ «Ангелѣ смерти», произведеніи, имѣющемъ центральною фигурою женщину-Аду и основанномъ на чувствѣ состраданія. Но въ «Демонѣ» Лермонтова главнымъ лицомъ становится уже не женщина, а самъ духъ тьмы, дивно красивый, безконечно могучій и злой, сѣятель зла и обольститель. Какъ Люциферъ у Байрона, Демонъ зоветъ себя «царемъ познанья и свободы»; кромѣ того, онъ — аллегорическое олицетвореніе всякаго зла (Я врагъ небесъ, я зло природы). По своей не-человѣческой природѣ и безсмертію, онъ обреченъ на то, чтобы «жить для себя, скучать собой,—Всегда жалѣть и не желать, — Все противъ воли ненавидѣть—И все на свѣтѣ презирать!»—Въ первоначальныхъ набросках еще сильнѣе была подчеркнута эта обязательная ненависть ко всему: «...ему любить— Не дoлжно сердце допустить,—Онъ связанъ клятвой роковою» (данною имъ самимъ при изгнаніи ихъ на землю). Сюжетъ простъ, но живописно обставленъ. Предъ вами: сѣдой Гудалъ и дочь его Тамара; ея помолвка съ владѣтелемъ Синодала; ѣзда этого жениха на свадьбу съ

караваномъ навьюченныхъ дарами верблюдовъ; пропущенная имъ, по навожденію лукаваго, молитва у часовни и послѣдовавшій затѣмъ выстрѣлъ; несостоявшійся свадебный пиръ, вслѣдствіе смерти жениха; похороны его и плачъ Тамары. Всѣ эти красивыя детали внесены въ поэму потомъ, при постепенной обработкѣ сюжета. Въ нихъ обнаруживается удивительный талантъ ставить на сцену артистическую идею, — талантъ, которымъ никто изъ послѣдующихъ русскихъ поэтовъ не можетъ съ Лермонтовымъ сравняться (всего ближе подходитъ къ Лермонтову по яркости красокъ гр. Алексѣй Толстой). Разъ коснувшись техники, нужнымъ считаю замѣтить, что Лермонтовъ безподобенъ при изображеніи картинъ природы, да притомъ природы кавказской, и что онъ никогда почти не выходилъ изъ заколдованнаго круга впечатлѣній, доставленныхъ ему въ самомъ раннемъ возрастѣ, десяти лѣтъ, — его вторымъ и можно даже сказать — его настоящимъ отечествомъ. Будучи отрокомъ, онъ писалъ: «Синія горы Кавказа, вы къ небу меня пріучили, и я съ той поры все мечтаю о васъ и о небѣ. — Кто разъ лишь на вашихъ вершинахъ Творцу помолился, тотъ жизнь презираетъ, хотя въ то мгновенье гордится онъ ею» (1830, II, 512). Подъ конецъ жизни (1840), въ посвященіи «Демона», онъ восклицаетъ: «Тебѣ, Кавказъ, суровый царь земли, — Я посвящаю снова стихъ небрежный... — На сѣверѣ, въ странѣ тебѣ чужой, — Я сердцемъ твой, всегда и всюду твой». Обыкновенно различаютъ чувствованіе красотъ природы первобытное, миѳологическое, свойственное народамъ, воображающимъ, что природа населена множествомъ невидимыхъ, духовныхъ силъ, подобныхъ человѣку, — и чувствованіе тѣхъ же красотъ эстетическое, отыскивающее въ событіяхъ внѣшней природы источники ощущеній волнующихъ, возбуждающихъ, подходящихъ къ темпераменту поэта, сродныхъ извѣстнымъ состояніямъ его души. Лермонтовъ одаренъ чувствомъ красотъ природы второго рода. У него темпераментъ настоящаго южанина, который мерк-

нетъ и вянетъ на тускломъ сѣверѣ (Мы, дѣти сѣвера, какъ здѣшнія растенья—Цвѣтемъ недолго, быстро увядаемъ. — Какъ солнце зимнее на сѣромъ небосклонѣ,—Такъ пасмурна жизнь наша, такъ недолго—Ея однообразное теченье). Онъ чувствуетъ себя въ своей стихіи только при палящемъ зноѣ, среди самой роскошной и почти тропической природы. Воображеніе его восточное; оно старается подбирать краски еще свѣжѣе природныхъ, изобрѣтать самыя изысканныя метафоры, чтобы передать, насилуя тонъ, силу страсти или порывъ чувства. Простоты, конечно, и не ищите, но есть увлекательная, опьяняющая и брызжущая цѣлымъ фонтаномъ реторика звучныхъ словъ и яркихъ образовъ въ этихъ всѣмъ извѣстныхъ лирическихъ отрывкахъ: «Клянусь я первымъ днемъ творенья, — Клянусь его послѣднимъ днемъ» и т. д... цѣлыхъ двадцать стиховъ. Или: «И для тебя, звѣзды восточной, — Сорву вѣнецъ я золотой,—Возьму съ цвѣтовъ росы полночной,—Его усыплю той росой;—Лучомъ румянаго заката—Твой станъ, какъ лентой, обовью...» То же можно сказать и про описанія. Пушкинъ, въ сравненіи съ Лермонтовымъ, только акварелистъ. Гдѣ онъ довольствовался бы нѣсколькими тонкими штрихами и далъ бы простое, трезвое, но весьма правдивое выраженіе своей мысли, тамъ Лермонтовъ дѣйствуетъ не кистью, а какъ бы щеткою, покрываетъ полотно цвѣтными пятнами и брызгами красокъ. Онъ пишетъ не эскизъ или картину, а панораму, такъ что не знаешь, гдѣ кончается реальная обстановка зрителя, и гдѣ начинается писаніе по холсту. Трудно пріискать что-нибудь по иллюзіи и пластичности подходящее къ описанію каравана въ «Трехъ пальмахъ» (1839): «Пестрѣли коврами покрытые вьюки,—Звонковъ раздавались нестройные звуки,—И шелъ, колыхаясь, какъ въ морѣ челнокъ, — Верблюдъ за верблюдомъ, взрывая песокъ»... и т. д., цѣлыхъ три строфы до фариса, который, съ крикомъ и свистомъ несясь по песку, бросалъ и ловилъ копье на скаку.

Возвращаюсь къ «Демону». Поэтъ оставилъ насъ въ недоумѣніи,—не злымъ ли умысломъ Демона, уже влюбленнаго въ Тамару, причинена смерть владѣтелю Синодала. Время, когда узналъ Демонъ Тамару, имѣетъ также весьма второстепенное значеніе; въ первоначальныхъ очеркахъ онъ съ нею знакомится какъ съ монашенкой. Какъ только онъ ее увидѣлъ, тотчасъ почувствовалъ себя добрѣе: «И вновь постигнулъ онъ святыню—Любви, добра и красоты». Подобно Сатанѣ у de-Vigny, радующемуся, что можетъ еще любить, и способному исправиться, еслибы Элоа протянула ему руку и повела его (Si la céleste main qu'elle eut osé lui tendre — L'eut saisi repentant, docile à remonter, — Qui sait? le mal peut-être eut cessé d'exister), Демонъ Лермонтова къ Тамарѣ — «входилъ любить готовый,—Съ душой открытой для добра, —И мыслилъ онъ, что жизни новой — Пришла желанная пора». Но поворотъ къ лучшему длится только мгновеніе, послѣ котораго верхъ беретъ сила зла, ставшая привычкою испорченной натуры. По ничтожному поводу, по очнувшейся въ Элоа богобоязни—у Виньи, или при видѣ херувима, пріосѣнившаго Тамару крыломъ—у Лермонтова, Демонъ восклицаетъ, что на это сердце «онъ наложилъ печать свою;—Здѣсь больше нѣтъ твоей святыни, — Здѣсь я владѣю и люблю». Затѣмъ Сатана у Виньи: «sans amour, sans remords au fond d'un coeur de glace—Des coups qu'il va porter il médite la place»; а у Лермонтова слѣдуетъ обольщеніе, котораго пріемы у обоихъ поэтовъ почти одни и тѣ же; такъ напр. у Лермонтова: «Въ душѣ моей съ начала міра—Твой образъ былъ запечатлёнъ,—Передо мной носился онъ—Въ пустыняхъ вѣчнаго эѳира»; а у Vigny: «Dans tout être créé j'ai cru te recomaître; — Je te cherchais partout, dans un souffle des airs, — Dans un rayon tombé du disque de la lune,— Dans l'étoile qui fuit le ciel qui l'importune»... Но въ выборѣ средствъ обольщенія пути поэтовъ окончательно расходятся. Элоа задумана идеальнѣе; она гибнетъ отъ самопожертвованія, отъ избытка милосердія, при пѣснѣ

хора ангеловъ: «Gloire dans l'univers, dans le temps à celui—Qui s'immole à jamais pour le salut d'autrui». Въ сравненіи съ Элоа, Тамара—слабое существо, беззащитная голубка, которой не по силамъ сопротивленіе. Она безъ боя побѣждена, когда, зная, что имѣетъ дѣло съ духомъ зла, въ послѣднихъ судорогахъ сопротивленія говоритъ соблазнителю: «Нѣтъ! дай мнѣ клятву роковую... отъ злыхъ стяжаній—Отречься нынѣ дай обѣтъ! —Ужель ни клятвъ, ни обѣщаній — Ненарушимыхъ больше нѣтъ?..» Ничего, конечно, не стоитъ духу злому и лживому устранить и это послѣднее колебаніе сознательно лживыми и почти ироническими увѣреніями: «Отрекся я отъ старой мести...—Хочу я съ небомъ помириться,—Хочу любить, хочу молиться,—Хочу я вѣровать добру». Демонъ безъ нужды расточаетъ передъ Тамарою совсѣмъ излишнія, по отношенію къ ней, обѣщанія: «Пучину гордаго познанья — Взамѣнъ открою я тебѣ...—Чертоги пышные построю—Изъ бирюзы и янтаря...—...Возьму (тебя) въ надзвѣздные края! — И будешь ты царицей міра,—Подруга первая моя!—Тамара принадлежитъ ему и безъ этихъ обѣщаній; онъ ее подчинилъ себѣ, когда по ночамъ стоялъ у ея изголовья, «сіяя тихо, какъ звѣзда... похожъ на вечеръ ясный, ни день, ни ночь, ни мракъ, ни свѣтъ!..» Она вѣдь и просилась у отца въ монастырь потому только, что—«трепещетъ грудь, пылаютъ плечи, — Нѣтъ силъ дышать, туманъ въ очахъ, — Объятья жадно ищутъ встрѣчи»... Она такъ создана, что роковымъ образомъ должна была сдѣлаться жертвою зажегшаго въ ней пламень похоти своего крылатаго Донъ-Жуана. «Онъ жегъ ее; во мракѣ ночи — предъ нею прямо онъ сверкалъ — Неотразимый, какъ кинжалъ»... Все послѣдующее затѣмъ, какъ-то: смерть при первомъ поцѣлуѣ отъ яда, заключающагося въ его лобзаньѣ, довольно банальный бой между ангеломъ и демономъ въ пространствѣ эѳира за эту несомнѣнно согрѣшившую душу, спасенную только по тому— довольно также банальному — мотиву, что она страдала

и любила; наконецъ похороны ея въ заоблачной обители у подножія Казбека, которою любуется всякій проѣзжающій по военно-грузинской дорогѣ — всѣ эти аксессуары и декораціи великолѣпны, но весьма мало прибавляютъ къ содержанію произведенія.

Таковъ капитальнѣйшій поэтическій трудъ Лермонтова. Если его сопоставить съ «Каиномъ» Байрона, то окажется, что между обоими произведеніями нѣтъ почти никакого сходства. И Байроновскій «Люциферъ», и «Сатана» Мильтона—не лица, а только олицетворенія идеи, того «Demon Thought», того сомнѣнія пытливаго ума, которое и мучитъ человѣка, и возвышаетъ его, такъ что лучше, пользуясь имъ, мыслить и страдать, нежели блаженствовать съ неразумными существами. Демонъ Лермонтова едва ли не напрасно провозглашаетъ себя царемъ познанья и свободы: онъ ничѣмъ не доказалъ своей мощи въ области мышленія, онъ гораздо сроднѣе Сатанѣ у de-Vigny: «Sur l'homme j'ai fondé mon empire de flamme—Dans les désirs du coeur, dans les rêves de l'âme, —Dans les désirs du corps, attraits mystérieux, — Dans les trésors du sang, dans les regards des yeux». Лермонтовъ безконечно превзошелъ своего французскаго предшественника, превосходнаго мыслителя, но посредственнаго художника и суховатаго живописца силою выраженія страсти, блескомъ формы, стихомъ, волнующимъ и жгучимъ, въ которомъ на каждомъ шагу сказывается субъективное «я» поэта, свое собственное, но уже испытавшее на себѣ вліяніе Байрона и этимъ вліяніемъ отмѣченное, страдающее отъ неудовлетворимаго желанія и этою мукою гордящееся. Въ иномъ мѣстѣ, въ «Измаилъ-Беѣ», Лермонтовъ изобразилъ эту несокрушимость своего сопротивленія въ выраженіяхъ, которыя шли бы и къ самому «Демону». «Когда, столпясь, всѣ адскія мученья — Слетаются на сердце и грызутъ... — Лишь дунетъ вихрь, и сломится лилея.—Таковъ съ душой кто слабою рожденъ,—Не вынесетъ минутъ подобныхъ онъ.—Но мощный умъ, крѣпясь и каменѣя,—Ихъ

обращаетъ въ пытку Прометея». Въ Демонѣ Лермонтовымъ не только начерченъ собственный портретъ автора, но выраженъ чрезвычайно типически и его эротизмъ, стремительность и сила его любви. Подъ 11-мъ іюня 1832 г., Лермонтовъ писалъ о любви (II, 120): «Разстройство мозга иль видѣнье сна, — Я не могу любовь опредѣлить,—Но это страсть сильнѣйшая! любить—Необходимо мнѣ, и я любилъ — Всѣмъ напряженіемъ душевныхъ силъ!» По его понятіямъ, любовь владычествуетъ всего сильнѣе въ сердцѣ разбитомъ. Поселите эту любовь въ сердце человѣка, презирающаго всѣхъ другихъ, въ сердце эгоиста изстрадавшагося и озлобленнаго, доведите ее до максимума, до того, что она истощаетъ того, кѣмъ владѣетъ, и дѣлается смертоносною для другихъ—вы получите «Демона», произведеніе единственное, выходящее за предѣлы Байроновской поэзіи, въ высшей степени романтическое и поражающее своею смѣлостью, даже если его разсматривать какъ одну изъ самыхъ крупныхъ волнъ этого порывистаго и слѣпого литературнаго движенія. Полъ-вѣка прошло съ тѣхъ поръ, какъ была задумана поэма, романтизмъ прошелъ и забытъ, но этотъ цвѣтокъ романтизма, одинъ изъ самыхъ пышныхъ, сохранилъ донынѣ свой сильный и безподобный ароматъ.

IX.

Пройдемся по другимъ кавказскимъ эпическимъ поэмамъ Лермонтова, образующимъ цѣлую галлерею созданныхъ имъ образовъ и типовъ. Въ нихъ онъ больше, чѣмъ въ «Демонѣ», ученикъ Байрона; порою превосходитъ учителя большею способностью изображать не только свои личныя эмоціи, но и весьма отличные отъ своего *я*, хорошо задуманные и жизнеспособные человѣческіе типы; представлять не только европейца, тяготящагося цивилизаціею и убѣгающаго на лоно природы къ дикарямъ, но и настоящихъ полудикихъ людей, съ

ихъ несложными понятіями, съ ихъ страстными порывами, неудержимыми потому, что, по недостатку умственнаго образованія, эмоція превращается у нихъ въ желаніе, а желаніе, безъ удержу и рефлексіи, мгновенно разряжается дѣломъ. И Байронъ былъ реалистъ въ томъ смыслѣ, что онъ поэтизировалъ не вымышленное, но дѣйствительно испытанное своею собственною душою. Лермонтовъ способенъ былъ заглядывать и въ чужія души, по крайней мѣрѣ въ души любимыхъ имъ кавказскихъ горцевъ, и разгадать ихъ организацію. Такіе типы, взятые съ натуры, какъ татарченокъ Азаматъ, продающій сестру за коня, или какъ Казбичъ, или какъ Бэла въ «Героѣ нашего времени»—родная сестра княжны Тамары въ «Демонѣ», и не могли бы зародиться въ фантазіи Байрона, слишкомъ субъективной. Привычка писать при помощи заготовляемыхъ клише, съ переносомъ изъ одной тэмы въ другую цѣлыхъ готовыхъ кусковъ, даетъ возможность установить хронологическій порядокъ въ произведеніяхъ Лермонтова, начиная съ юношескихъ. Первою въ ряду является поэма «Каллы» или «Убійца» («Русская Старина» 1882, № 12). Мулла открываетъ въ ней молодому кабардинцу Аджи, что вся семья его изведена Акъ-Булатомъ, послѣ чего беретъ съ Аджи клятву кровной мести. Аджи прокрался ночью въ саклю Акъ-Булата, перерѣзалъ горло ему и его сыну, но испыталъ страшную муку, когда ему пришлось убить и прекрасную дочь Акъ-Булата. Клятву свою Аджи исполнилъ, принесъ муллѣ отрѣзанную у убитой женщины косу, но тотъ же самый кинжалъ, совершившій тройное убійство, онъ вонзаетъ и въ грудь самого муллы. Въ этой повѣсти уже содержится въ зародышѣ другая, а именно Хаджи-Абрекъ». У дряхлаго старика-лезгина, потерявшаго семью, оставалась одна дочь—Леила, которую похитилъ у него Бей-Булатъ. Старый лезгинъ молитъ жителей своего родного аула: «кто знаетъ князя Бей-Булата? кто привезетъ мнѣ дочь мою?»—Я,—сказалъ Хаджи-Абрекъ, и вызвался онъ на этотъ подвигъ, не видавъ никогда

Леилы, а только потому, что у него есть свои личные счеты съ похитителемъ — убійцею его родного брата. Мститель Хаджи проникаетъ подъ видомъ странника въ саклю Бей-Булата во время отсутствія сего послѣдняго и принятъ гостепріимно Леилою, но она не соглашается бѣжать къ отцу, потому что счастлива, потому что нашла у Бей-Булата свой рай: «повѣрь мнѣ, счастье только тамъ, — Гдѣ любятъ насъ, гдѣ вѣрятъ намъ»... Хаджи въ полномъ смыслѣ слова, Байроновскій герой и *«сынъ рока»*. Онъ спрашиваетъ у Леилы, знаетъ-ли она, какое блаженство на землѣ второе «тому, кто все похоронилъ,— Чему онъ вѣрилъ, что̀ любилъ... — Нѣтъ, за единый мщенья часъ, — Клянусь, я не взялъ бы вселенной». Хаджи отсѣкаетъ безжалостно голову у Леилы и, привезя въ свой родной аулъ, бросаетъ ее къ ногамъ отца. Годъ спустя найдены трупы двухъ вцѣпившихся другъ въ друга, въ предсмертныхъ судорогахъ, враговъ—Бей-Булата и Хаджи.

Рядомъ съ мотивомъ мести идетъ и мотивъ любви столь сильной, что она превращаетъ родныхъ братьевъ въ смертельныхъ враговъ: таковъ сюжетъ *Аула Бастунджи* («Русская Мысль», № 2, 1883 г.). Были два брата; старшій, Акъ-Булатъ, вскормилъ и воспиталъ младшаго, Селима. Однажды онъ вернулся домой съ добычею, введя которую въ домъ, онъ сказалъ Селиму: люби ее — она моя жена. Селимъ не только полюбилъ, но и влюбился до безумія въ жену брата, Зару. Онъ молилъ брата: отдай мнѣ Зару, уступи! я буду твоимъ рабомъ... а если ты не хочешь, что̀ медлить? я готовъ! — «Не размышляй — одинъ ударъ и мы спокойны оба». Братъ отвѣчаетъ, что заблужденіе пройдетъ, какъ сонъ: «Есть много звѣздъ—одна другой свѣтлѣй,—Красавицъ много безъ жены моей». Селимъ бѣжалъ, похитилъ Зару, убилъ ее за отчаянное сопротивленіе, послѣ чего сжегъ и самый родной аулъ Бастунджи.

Такая же смертоносная борьба между братьями, но только изъ-за честолюбія и политическихъ разсчетовъ,

на подкладкѣ войны черкесовъ съ русскими за свободу или за порабощеніе Кавказа, составляетъ содержаніе наиболѣе запутанной по замыслу повѣсти: «Измаилъ-Бей», которую цѣнители Лермонтова ставятъ весьма высоко, но за которою я не могу признать приписываемыхъ ей качествъ и достоинствъ, потому что въ ней замѣтно полное отсутствіе единства идеи, и она переполнена заимствованіями. Покорившійся русскимъ князь Бей-Булатъ отдалъ младшаго сына на воспитаніе въ одинъ изъ русскихъ кадетскихъ корпусовъ. Измаилъ даже и христіанство принялъ, такъ что потомъ, когда его убили, земляки его съ ужасомъ узнали, что онъ гяуръ проклятый—по крестику, носимому имъ на груди. Измаилъ получилъ образованіе, жилъ долго между русскими, соблазнилъ не одну русскую дѣву, но тоска по родинѣ одолѣла его и превозмогла всѣ другія чувства (За кровлю сакли бѣлой,—За близкій топотъ табуна—Тогда онъ міръ отдалъ бы цѣлый). Измаилъ задуманъ вполнѣ по шаблону Байроновскихъ героевъ (На родину онъ сердце хладное принесъ... — Хладенъ блескъ его очей.—Чувства страсти.—Въ очахъ навѣки догорѣвъ,—Таятся, какъ въ пещерѣ левъ,—Глубоко въ сердцѣ; но ихъ власти — Оно никакъ не избѣжитъ). Съ собою на родину онъ принесъ не любовь къ родинѣ, а одну лишь ненависть къ врагамъ; онъ даже не патріотъ (Не за отчизну, за друзей онъ мстилъ,—И не родной аулъ—родныя скалы—Рѣшился онъ отъ русскихъ защищать). Онъ сознаетъ, что на немъ тяготѣетъ нѣчто роковое: «Мое дыханье радость губитъ,—Щадить мнѣ власти не дано». Родного аула Измаилъ не нашелъ, потому что, уступая передъ русскими, черкесы сожгли его, далеко уходя въ горы. На первомъ шагу въ родныхъ горахъ Измаилъ-Бей, въ которомъ очнулся духъ его природный, зарубивъ безъ нужды охотившагося за фазанами казака, нашелъ гостепріимство въ саклѣ разбойничьей лезгинской семьи. Дочь домохозяина, Зара, въ уста которой вложены слова Леилы изъ «Хаджи-Абрека»: «По мнѣ

отчизна—тамъ,—Гдѣ любятъ насъ, гдѣ вѣрятъ намъ»,—привязалась къ нему, бросила домъ, переодѣлась джигитомъ, и, какъ Гюльнара за Корсаромъ, послѣдовала за Измаиломъ къ родному его племени, которымъ управляетъ старшій братъ Росламбекъ. Между братьями возникаетъ соперничество. Росламбекъ завидуетъ удальству Измаила; онъ бы изводилъ русскихъ, но тайкомъ и измѣннически, храня видъ покорности, между тѣмъ какъ Измаилъ гнушался коварствомъ и хотѣлъ бы открытой войны. Въ повѣсть вставленъ ненужный эпизодъ, заимствованный изъ «The ledy of the Lake» Вальтеръ-Скотта (Яковъ V, шотландскій король, въ гостяхъ у Родрига Чернаго, главы Альпинова клана), заключающійся въ томъ, что заблудившійся въ горахъ кавказскій офицеръ, смертельный врагъ Измаила, соблазнившій его невѣсту, находитъ пристанище у Измаила, потому что сказалъ ему: «твоей я чести предаюсь», и отпускается Измаиломъ цѣлъ и невредимъ. Война кончается для черкесовъ несчастно; братья раздѣлились, и оба разбиты. Измаила поражаетъ измѣннически выстрѣломъ Росламбекъ. Зара погибла раньше Измаила, котораго никто не оплакиваетъ, которому не вырыли даже могилы, какъ отступнику.

Есть еще одна серія вырабатывавшихся одна изъ другой повѣстей Лермонтова: «Исповѣдь», «Бояринъ Орша», «Мцыри». Мотивъ ихъ первоначальный, чисто-романтическій, состоялъ въ изображеніи судьбы безроднаго человѣка, стоящаго на низшей ступени общественной и бунтующаго противъ своей участи. У Шекспира были излюбленныя лица — энергическіе бастарды; Гюго искалъ также своихъ героевъ между людьми отверженными и обиженными. Та же идея руководила и Лермонтовымъ, когда онъ искалъ еще своихъ предковъ въ Испаніи и изобразилъ (1830) въ «Исповѣди» какого-то насильно постриженнаго испанскаго монаха, судимаго монастырскимъ судомъ, который защищается тѣмъ, что «подъ одеждой власяной я человѣкъ, какъ и другой» («Русская Старина» 1887 г., № 10). Все

существенное въ «Исповѣди» вошло, въ 1835 г., въ «Боярина Оршу», повѣсть якобы русскую, но въ которой нѣтъ ничего русскаго. Орша является феодальнымъ барономъ; монастырскій судъ надъ безроднымъ найденышемъ Арсеніемъ, бывшимъ послушникомъ въ монастырѣ, являющимъ подобіе Гришки Отрепьева въ «Борисѣ Годуновѣ» Пушкина, удивительно походитъ на трибуналъ испанской инквизиціи. Арсеній неизвѣстно какъ попалъ на дворъ Орши; въ то же время онъ состоитъ атаманомъ разбойничьей шайки. Бояринъ Орша засталъ разъ ночью свою любимую дочь въ объятьяхъ этого своего раба; онъ заперъ дочь въ ея свѣтлицѣ, ключъ отъ которой бросилъ въ волны Днѣпра, омывающаго стѣны его зàмка, а раба предалъ духовному суду. Недодѣланная поэма была потомъ въ этомъ состояніи брошена. Во время своей ссылки, въ 1837 г., на Кавказъ за стихи на смерть Пушкина, видоизмѣнился въ головѣ поэта первоначальный замыселъ произведенія и получилъ слѣдующую форму. При посѣщеніи живописнаго монастыря въ Мцхети, гдѣ «шумятъ — Обнявшись, точно двѣ сестры — Струи Арагвы и Куры», Лермонтовъ узналъ отъ водившаго его по монастырю служки, что родомъ онъ черкесъ, что генералъ Ермоловъ взялъ его ребенкомъ въ развалинахъ добытаго штурмомъ аула, привезъ въ монастырь и оставилъ на воспитаніи у братіи. Юный горецъ пытался нѣсколько разъ бѣжать въ родныя скалы, поплатился за эти продѣлки страшною болѣзнью и только послѣ многихъ лѣтъ привыкъ къ монастырю. Разсказъ чернеца поразилъ поэта: онъ выкинулъ изъ поэмы мотивы дикихъ страстей, любви, мести, общественныхъ узъ и цѣпей, даже монахи на этотъ разъ превратились въ сердобольныхъ добряковъ. Поэма упрощена до-нельзя, до незатѣйливаго положенія, а именно, что волчонка, хотя и прирученнаго, тянетъ сама природа въ лѣсъ, а льва — въ его пустыню: тамъ только можно дикарю на волѣ погулять, поспорить съ барсомъ въ ловкости, визжать неистово, какъ онъ, и задушить

его въ своихъ объятiяхъ. Но волчонокъ уже былъ на цѣпи, уже прирученъ и свыкся съ людьми (...мнѣ на родину слѣда—Не проложить никогда), вслѣдствiе чего онъ и умираетъ, потому что пламень, бывшiй у него въ груди, не находя себѣ пищи, прожогъ свою тюрьму. Чувства поэта, истаго сына дикой природы, находятся въ полномъ созвучiи съ этою природою: въ этомъ отношенiи поэма «Мцыри» есть одинъ изъ прелестнѣйшихъ алмазовъ поэзiи не только русской, но и всемiрной.

X.

Остаются еще неразобранныя только два крупныя произведенiя Лермонтова: романъ въ прозѣ: Герой нашего времени», и драма: «Маскарадъ». Про романъ такъ много и такъ обстоятельно писано, что я позволю себѣ ограничиться теперь немногими словами. Первоначально предлагаемо было дать ему заглавiе: «Одинъ изъ героевъ нашего времени». Въ предисловiи ко второму (1841) изданiю авторъ признаетъ, что онъ преподноситъ публикѣ ѣдкую истину, горькое лекарство, но отрекается отъ всякаго намѣренiя исправлять людскiе пороки. Его произведенiе, такимъ образомъ, не сатира, не нравоученiе; тѣмъ менѣе можетъ быть оно разсматриваемо какъ идеалъ, указывающiй современному человѣку, какимъ онъ долженъ быть, или какъ мечта автора о самомъ себѣ, какимъ онъ желалъ бы быть. Лермонтовъ утверждаетъ, что Печоринъ есть портретъ пороковъ всего его поколѣнiя въ полномъ ихъ развитiи, указанiе болѣзни — и только: какъ ее лечить — знаетъ только Богъ. Оцѣнку своему произведенiю авторъ далъ явно преувеличенную въ томъ отношенiи, что его книга не есть портретъ пороковъ всего извѣстнаго поколѣнiя людей, не есть изображенiе болѣзни вѣка; иными словами она не есть изображенiе типа одержимаго этою болѣзнью современнаго автору человѣка. Для выполненiя съ полной объективностью этой весьма возможной, хотя труд-

ной задачи, мало одной острой наблюдательности, которою былъ несомнѣнно одаренъ Лермонтовъ — необходимы еще продолжительныя упражненія надъ большимъ числомъ разнообразныхъ субъектовъ, а этого-то условія именно и недоставало. Лермонтовъ былъ такой «чужакъ» въ современномъ ему обществѣ, настолько увѣренъ, что весь этотъ свѣтъ, отъ мала до велика, сплошь состоитъ изъ однихъ либо глупцовъ, либо обманщиковъ и лицемѣровъ, что «самъ геній, прикованный къ чиновническому столу, долженъ былъ бы умереть или сойти съ ума»,—что онъ и не изучалъ этого общества; что его умственнымъ глазамъ, по непривычкѣ, едва ли былъ доступенъ весьма сложный продуктъ исторіи — современный человѣкъ, съ ровною гладью его поверхности, съ затаенными страстями, съ преобладаніемъ и господствомъ въ немъ вниманія и рефлексіи, съ отсутствіемъ въ немъ той простоты и непосредственности, за которыми, гоняясь, Лермонтовъ бѣжалъ на Кавказъ и которыя любилъ онъ изображать въ дѣтяхъ природы — горцахъ. Аналитическая способность у Лермонтова была отъ природы велика, но она главнымъ образомъ упражнялась только посредствомъ наблюденій надъ самимъ собою. По темпераменту Лермонтовъ весьма близокъ къ Байрону; онъ и вылѣпилъ себя по образцу героевъ Байрона, которые, какъ извѣстно, были портретами, снятыми Байрономъ съ самого себя.—Въ своихъ публичныхъ петербургскихъ лекціяхъ («Вѣстникъ Европы» 1887 г., № 11) Брандесъ называетъ Печорина совершеннѣйшимъ изъ типовъ, созданныхъ внѣ предѣловъ Англіи умственнымъ главенствомъ Байрона. Брандесъ удостовѣряетъ, что, прочитавъ 17-ти лѣтъ отъ роду эту книгу, онъ былъ до глубины души взволнованъ образомъ героя—печальнымъ, но привлекательнымъ по его простотѣ, мужеству, холодности и скептицизму. Не подлежитъ сомнѣнію, что Печоринъ безконечно сильнѣе дѣйствуетъ на воображеніе, нежели кипучій, но мягкій Онѣгинъ. Печоринъ есть первый

экземпляръ непереводящагося до сихъ поръ рода людей изъ закаленной стали, большею частью пропадающихъ безцѣльно и безславно, по полному ихъ неумѣнію или нежеланію справляться съ мелкими будничными задачами обыкновенной, покойной жизни и порывающихся на нѣчто болѣе великое. Въ одномъ я несогласенъ съ Брандесомъ, а именно, что въ Печоринѣ начерченъ будто бы «меланхолическій и обольстительный идеалъ». Я также несогласенъ и съ Рейнгольдтомъ (Geschichte der russischen Literatur, 1885, стр. 628), будто Печоринъ есть только воплощеніе der ungestüm hohlen Elemente des russischen Byronismus. Несмотря на озлобленную иронію и нѣсколько подкрашенную черноту героевъ Байрона, насъ поражаетъ могучая человѣчность этихъ якобы адскихъ типовъ, способность ихъ къ необычайно доблестнымъ дѣламъ. Эта-то человѣчность и дѣлаетъ произведенія Байрона привлекательными, несмотря на однообразіе сюжетовъ и задачъ. Устраните изъ произведеній Байрона эту человѣчность — останется только голый эгоизмъ, не поддающійся идеализаціи, но сильно располагающій къ анализу. «Герой нашего времени» и составляетъ опытъ такого безнадежнаго анализа психологическаго, доведеннаго до послѣднихъ предѣловъ, анатомическій препаратъ одного только сердца, одинъ изъ тѣхъ *documents humains*, о которыхъ хлопочетъ новѣйшій французскій натурализмъ. Авторъ вполнѣ сознаетъ, что его герой Печоринъ весьма дурной человѣкъ, но авторъ сознательно и ставитъ задачу, нисколько не художественную, а скорѣе научную: «исторія души, хотя бы и самой мелкой, — говоритъ онъ, — любопытнѣе и полезнѣе исторіи цѣлаго народа, особенно, когда она плодъ наблюденій ума зрѣлаго надъ самимъ собою и когда писана безъ тщеславнаго желанія возбудить участіе или удивленіе» (иными словами, безъ желанія порисоваться). «Я взвѣшиваю, — записалъ въ дневникѣ Печоринъ,—записываю свои собственныя страсти и поступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія.

Во мнѣ два человѣка: одинъ живетъ въ полномъ смыслѣ слова, другой мыслитъ и судитъ его... Я никогда не дѣлался рабомъ любимой женщины, напротивъ — всегда пріобрѣталъ непобѣдимую власть, вовсе о томъ не стараясь. Надо признаться, что я и не люблю женщинъ съ характеромъ: ихъ ли это дѣло!.. Изъ горнила страстей я вышелъ твердъ и холоденъ, какъ желѣзо, но утратилъ навѣки пылъ благородныхъ стремленій — лучшій цвѣтъ жизни. Моя любовь никому не принесла счастія, потому что я ничѣмъ не жертвовалъ для того, кого любилъ; я любилъ для себя, для собственнаго удовольствія, я только удовлетворялъ странную потребность сердца, поглощая съ жадностью чувства людей, ихъ нѣжность, ихъ радости и страданія—и никогда не могъ насытиться». Другой, столь же печальный, психологическій этюдъ эгоиста изъ породы свѣтскихъ львовъ представляетъ драма: «Маскарадъ». Многочисленные враги, которыхъ нажилъ себѣ герой драмы, Арбенинъ, своимъ высокомѣріемъ и безсердечіемъ, заставляютъ его разыграть противъ воли роль Отелло по отношенію къ его безвинной женѣ, столь же недогадливой, какъ Дездемона. Онъ ее отравилъ, послѣ чего сошелъ съ ума. По методу безпощаднаго психологическаго анализа, авторъ «Героя нашего времени» и «Маскарада» выходитъ далеко за предѣлы круга Байроновскаго вліянія и главенства. Его бы слѣдовало изучать совмѣстно съ Бейлемъ (Стендалемъ). Заимствую изъ книги Faguet (Etudes littéraires sur le XIX siècle, 1887, p. 43) слѣдующій отрывокъ, относительно котораго позволю себѣ спросить, не представляетъ ли онъ и Лермонтова: Chateaubriand a plus d'imagination que de sensibilité. Sa sensibilité est égoïste et son imagination éxpansive. Cette sensibilité n'a jamais pour objet que lui-même. Il est peu d'hommes qui ayent plus séduit et moins aimé. L'enchanteur a charmé le monde, et il n'a tenu au monde que par le gout qu'il avait de l'ensorceler. Разница, конечно, есть между двумя поэтическими темпераментами, но она всего болѣе въ

томъ, что Шатобріанъ былъ наивный эгоистъ, не сознающій того, что онъ эгоистъ, и принимающій всѣ жертвы сердечныя какъ законно слѣдующую ему дань, не говоря даже спасибо; а Лермонтовъ страдалъ, сознавая, что онъ эгоистъ, но не могъ отъ этого органическаго недостатка никакимъ образомъ излечиться. Есть въ концѣ повѣсти Шатобріана: «Атала», одна вычурная по изысканности своей картина: «Сердце самое безмятежное на видъ похоже на естественный колодезь въ саваннѣ Алачуа: поверхность чиста и гладка, но загляните на дно бассейна—увидите тамъ большого крокодила, котораго питаетъ колодезь въ своихъ водахъ». Этотъ отрывокъ извѣстенъ и въ русской литературѣ, потому что его заимствовалъ, не указавъ источника, Батюшковъ и помѣстилъ въ стихотвореніи 1810 г.: «Счастливецъ» (Соч. Батюшкова, изд. 1887 г., I, 124): «Сердце наше кладезь мрачный,—Тихъ, покоенъ сверху видъ,—Но спустись ко дну—Ужасно! Крокодилъ на немъ лежитъ». (За этого крокодила и осмѣивалъ Батюшкова Воейковъ въ «Домѣ Сумасшедшихъ»). Сентъ-Бёвъ говоритъ (Chateaubriand et son groupe littéraire, 9 leçon), что этотъ крокодилъ помѣщался въ сердцѣ Шатобріана. О Лермонтовѣ можно сказать, что этотъ вполнѣ имъ сознаваемый крокодилъ всю жизнь и ужасалъ его, и мучилъ. Въ стихахъ: «Толпѣ» (1831 г., II, 114), Лермонтовъ писалъ: «Пускай возвышусь я надъ вами,—Но удалюсь ли отъ себя?»—Еще раньше, будучи 16-ти лѣтъ (1830 г., II, 57) онъ писалъ: «Меня спасало вдохновенье—Отъ мелочныхъ суетъ,—Но отъ своей души спасенья — И въ самомъ счастьѣ нѣтъ». Быть одинокимъ, не имѣть способности любить кого бы то ни было настоящею любовью, до забвенія, до самопожертвованія, гнушаться этимъ самолюбіемъ, бѣжать отъ самого себя и спасаться отъ этой тоски только посредствомъ творчества, въ процессѣ пѣснопѣнья, когда по словамъ его же: «Я о землѣ позабывалъ»,—такова была судьба Лермонтова, изъ чего слѣдуетъ, что онъ купилъ не дешево

свой поэтическій вѣнецъ терновый, на который онъ горько жалуется (1841 г., I, 145: «вѣнецъ пѣвца— вѣнецъ терновый»), который не люди на него возложили, и которымъ онъ былъ обязанъ только особенностямъ своей психической организаціи. Извѣстно, какимъ образомъ Шатобріанъ избавился отъ мучившей его тоски. Однажды, послѣ постигшаго его (1798) семейнаго несчастія, онъ сообщаетъ: ma conviction est sortie du coeur: j'ai pleurè et j'ai cru,—вслѣдствіе чего крокодилъ былъ обузданъ и явилъ изъ себя подобіе того послушнаго животнаго, которое несетъ на своей чешуѣ св. Теодора на извѣстной колоннѣ среди Піацетты въ Венеціи. Душевныя страданія Лермонтова не могли получить такого исхода либо потому, что религіозныя впечатлѣнія его въ дѣтствѣ были слабѣе и не могли съ такою же силою воскреснуть, либо потому, что, проникнувшись насквозь и навсегда духомъ Байроновской поэзіи, Лермонтовъ усвоилъ себѣ міросозерцаніе Байрона, то-есть сдѣлался не то что атеистомъ (самъ Байронъ никогда атеистомъ не былъ и всю жизнь колебался между отвлеченнѣйшимъ деизмомъ и безвѣріемъ), но врагомъ всякаго положительнаго вѣроисповѣданія. Несмотря на это отсутствіе положительной вѣры, а вмѣстѣ съ нею и твердой точки опоры для убѣжденій, несмотря на свой мрачный и радикальнѣйшій пессимизмъ, поэзія Лермонтова не производила, однако, на современниковъ и не производитъ на потомство удручающаго впечатлѣнія и чувствъ отчаянія и безнадежности, которыхъ повидимому можно было бы отъ нея ожидать по ея отрицательному направленію. Напротивъ того, дѣйствіе ея было какъ будто бы противоположное: она воспламеняла энтузіастовъ, вселяла скорѣе бодрость, а не малодушіе; она заставила признать Лермонтова прямымъ наслѣдникомъ лиры Пушкина, первымъ въ Россіи поэтомъ, ранняя смерть котораго оплакиваема была какъ народное бѣдствіе. Какъ согласовать эти кажущіяся противорѣчія? Для разрѣшенія этого вопроса необходимо разобрать еще одну—и

уже послѣднюю—изъ взятыхъ въ совокупности стихій его поэзіи, а именно содержащійся въ ней элементъ метафизическій, обезпечивающій за нею прочное и могучее вліяніе, сообщающій ей чарующую прелесть.

Я употребилъ слово: метафизическій, а не мистическій, потому что склонности къ мистицизму у Лермонтова не было, но всѣми своими помышленіями онъ стремился къ сверхчувственному, къ недоступному для нашего ума, и больше жилъ въ этой угадываемой области, нежели въ мірѣ дѣйствительномъ.—Таинственное, непознаваемое есть вѣчный антагонистъ систематическаго, научнаго знанія, но и къ нему наука ежеминутно подходитъ, строя помосты изъ гипотезъ; искусство же и обойтись не можетъ безъ мысленнаго продолженія никогда невысказываемой вполнѣ въ произведеніи идеи его въ безконечномъ. — Постараюсь доказать нѣсколькими выдержками изъ произведеній Лермонтова, что складъ его ума былъ по преимуществу метафизическій; пользуюсь при этомъ мыслью, уже высказанною въ одномъ изъ литературныхъ кружковъ, моимъ пріятелемъ и товарищемъ С. А. Андреевскимъ.

XI.

Беру поэтическую автобіографію поэта, его «11 іюня 1831 г.»: «Моя душа, я помню, съ дѣтства — *Чудеснаго* искала; я любилъ Всѣ обольщенья свѣта, но не свѣтъ,— Въ которомъ я минутами лишь жилъ, — И тѣ минуты были мукъ полны. — И населялъ таинственные сны — Я этими мгновеньями...—... всѣ образы мои— Не походили на существъ земныхъ. — О, нѣтъ! все было адъ иль небо въ нихъ». — Въ этихъ стихахъ очерчены и организація, и процессъ дѣятельности ума, имѣющаго складъ метафизическій. Желанія этой души необъятны; они направлены къ *чудесному*, къ тому, чего никогда дать не можетъ земная жизнь, реальное бытіе. Ей кажется, что она достигаетъ подобія желае-

маго состоянія въ рѣдкіе моменты наисильнѣйшей страсти (скажемъ точнѣе, принявъ въ соображеніе темпераментъ поэта—страсти эротической: онъ жить не могъ безъ любви, то-есть безъ женскаго сердца, подчиняющагося ему). Страсть эта по самой интенсивности своей мучительна; моменты ея бываютъ коротки, оставляютъ послѣ себя ощущеніе горечи, но тѣмъ не менѣе воспоминаніями объ этихъ мгновеніяхъ населяется и скрашивается вся будничная дѣйствительность. Иными словами, мы имѣемъ передъ собою систематическаго мечтателя, похожаго на лунатика, ходящаго по улицамъ съ открытыми, но не зрящими глазами. Этотъ мечтатель относится съ полнѣйшимъ равнодушіемъ къ окружающимъ его людямъ и предметамъ и устроиваетъ для себя мысленно иной міръ, убранный во все то, что только авторъ отмѣтилъ въ природѣ, какъ наиболѣе подходящее къ состояніямъ его души, и населенный не настоящими людьми, въ которыхъ добро и зло смѣшаны, а существами воображаемыми, либо вполнѣ ангельскими, либо вполнѣ демоническими. Онъ до того замечтался, и умъ его до того расположенъ мыслить метафизически, становясь на внѣ-человѣческой метафизической точкѣ зрѣнія, что, въ концѣ концовъ, самъ не знаетъ, онъ ли это самъ мечтаетъ, или иное, сидящее въ немъ «высшее существо». Вспомнимъ «Чашу жизни» (II, 202), чашу бытія съ золотыми краями... Умирая, мы убѣждаемся, «Что пуста была златая чаша,— Что въ ней напитокъ былъ *мечта*—И что она *не наша!*» Отъ этого обычнаго у Лермонтова поэтическаго его лунатизма происходило и пренебреженіе къ людямъ, похожее на Байроновское, но въ сущности запечатлѣнное нѣсколько инымъ характеромъ. Люди ему противны не потому, что далеки отъ идеала человѣчества, какимъ онъ долженъ былъ быть по понятіямъ Байрона: гордый, свободный, любящій. Люди досаждаютъ Лермонтову просто потому, что они — призраки (Мелькаютъ образы бездушные людей—Приличьемъ стянутыя маски... «1-ое января», 1840, I, 109). Эти

призраки—говоритъ поэтъ—«спугиваютъ мечту мою—на праздникъ незванную гостью». За эту-то несознаваемую ими провинность поэту хотѣлось бы «дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ, облитый горечью и злостью».— Тою же мечтательностью объясняется и шальное пренебреганіе жизнью, весьма характерное свойство Лермонтова, какъ человѣка, внушавшее ему избитый потомъ отъ повторенія стихъ: «Что́ страсти? вѣдь рано иль поздно ихъ сладкій недугъ — Исчезнетъ при словѣ разсудка,—И жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманіемъ вокругъ — Какая пустая и глупая шутка!» (1840 г., I, 120). Это пренебреженіе жизнью, которую не ставятъ ни въ грошъ, замѣчательно еще и тѣмъ, что оно не дополняется вовсе видѣніями будущей жизни, разсчетами на мзду за земное за гробомъ. Лермонтовъ потому-то именно и цѣнится тѣми, которые не имѣютъ счастія вѣрить, что онъ вовсе не мистикъ, а только мечтатель, что онъ не испытываетъ видѣній, а только какъ будто бы вспоминаетъ, что имѣлъ ихъ когда-то, въ какомъ-то волшебномъ снѣ. Какъ величайшій изъ мечтателей-философовъ—Платонъ, онъ убѣжденъ, что эти сны снились его неимѣющей ни начала, ни конца душѣ еще до его рожденія на землѣ. Всякому памятенъ стихъ: «По небу полуночи ангелъ летѣлъ — И тихую пѣсню онъ пѣлъ.—Онъ пѣлъ о блаженствѣ безгрѣшныхъ духовъ — Подъ кущами райскихъ садовъ.—Онъ душу младую (имѣющую воплотиться) въ объятіяхъ несъ—Для міра печали и слезъ... — И долго на свѣтѣ томилась она,—Желаніемъ чуднымъ полна,—И звуковъ небесъ замѣнить не могли—Ей скучныя пѣсни земли».—Его сердце тоскуетъ, потому что хранитъ въ себѣ «глубокій слѣдъ—Умершихъ, но святыхъ видѣній,—И тѣни чувствъ, которыхъ нѣтъ» (II, 202). Есть слова и звуки, сами по себѣ неважные, которые напоминаютъ душѣ поэта о неземномъ, снящемся ему блаженствѣ: «Есть слова—объяснить не могу я, — Отчего у нихъ власть надо мной;—Ихъ услышавъ, опять оживу я, — Но отъ

нихъ не воскреснетъ другой» (1830 г., II, 43). Каждый такой звукъ, напоминающій далекую, неземную родину, походитъ на залетную птичку изъ рая съ ея дивною пѣснью подъ небомъ суровымъ и на сухой вѣткѣ. Въ этой заколдованной области мечтаній пышнымъ солнцемъ сіяетъ идея Бога самаго отвлеченнаго, какого только можетъ воображеніе себѣ представить, безъ опредѣленныхъ аттрибутовъ, за исключеніемъ того, что какъ демонъ Лермонтова являетъ собою олицетвореніе зла, и физическаго, и нравственнаго, такъ и Богъ его есть добро природы, и души человѣческой. Можно бы подумать, что пантеистомъ былъ тотъ, кто писалъ слѣдующіе стихи въ восторгѣ отъ цвѣтущей природы: «Когда волнуется желтѣющая нива...—Тогда смиряется души моей тревога—И счастье я могу постигнуть на землѣ, — И въ небесахъ я вижу Бога» (I, 34, 1837 г.)—Но когда, обѣщаясь обратиться на тѣсный путь спасенія, поэтъ сознаетъ, что то *тайное*, что обѣщалъ намъ Богъ, могло бы быть постигнуто чрезъ мышленіе и годы, (II, 65), когда онъ извиняется, что міръ ему тѣсенъ: «Къ Тебѣ-жъ проникнуть я боюсь,—И часто звукомъ грѣшныхъ пѣсенъ,—Я, Боже, не Тебѣ молюсь» (II, 39),—то это обращеніе есть обращеніе къ Богу личному, въ котораго Лермонтовъ никогда вѣровать не переставалъ.

Въ связи съ метафизичностью Лермонтова слѣдуетъ изучать и его опредѣленіе поэта и пророка. Подобно Байрону, а можетъ быть и по его примѣру и внушенію, Лермонтовъ считалъ себя высшею натурою, перерастающею другихъ людей головою (Любимцы есть у ней (т. е. у природы), какъ у царей другихъ,—И тотъ, на комъ лежитъ ея печать,—Пускай не ропщетъ на свою судьбу.—II, 199)... «Причуда злой судьбы ихъ бытіе; — Чтобъ самовластье показать свое,—Она порой кидаетъ ихъ межъ нами, — Такъ древле въ море кинулъ царь алмазъ». (Измаилъ-Бей). Свое величіе Лермонтовъ основываетъ не на поэтическомъ дарованіи, а на своихъ страданіяхъ и на печати рока, то-есть на независимости его судьбы

отъ воли. Онъ какъ казнь падалъ на головы не имъ обреченныхъ на погибель жертвъ, и совершалъ всегда эту казнь безъ злобы и безъ сожалѣнія («Герой наш. вр.», I, 312). По своей необщительной натурѣ Лермонтовъ не постигалъ общественнаго значенія поэзіи; онъ догадывался, что поэзія должна имѣть власть надъ людьми, но какъ истый романтикъ онъ перенесъ ея владычество изъ прозаическаго изнѣженнаго XIX вѣка въ прошедшее, когда звукъ лиры «воспламенялъ бойца для битвы» и былъ толпѣ нуженъ, «какъ чаша для пировъ, какъ ѳиміамъ въ часы молитвы» (I, 84). Увлекать людей къ предпріятіямъ практическимъ можетъ только человѣкъ, любящій другихъ и имѣющій практическую смётку, а у Лермонтова недоставало этихъ качествъ. Въ приведенномъ нами «Поэтѣ» Лермонтовъ изображаетъ не себя, но поэта, какимъ онъ нѣкогда былъ и быть нынѣ не можетъ—предположеніе ошибочное, потому что функція поэзіи не измѣняется никогда, и она не теряетъ и нынѣ своего высокаго значенія. Въ послѣднемъ изъ своихъ стихотвореній—«Пророкъ», идеализируя не себя, но поэта, какимъ онъ долженъ быть, снабжая его всевѣденіемъ и способностью читать въ очахъ людей «страницы злобы и порока», между тѣмъ какъ самъ онъ ихъ не читалъ и, не читая, заранѣе ихъ во всѣхъ людяхъ предполагалъ, сдѣлавъ поэта превозглашателемъ «любви и правды чистыхъ ученій», которыя онъ самъ и провозглашать никогда не могъ, по своей нелюдимости и отчужденности отъ свѣта, Лермонтовъ изобразилъ пророка съ самой непривлекательной стороны, со стороны его суровой неуживчивости: «Смотрите, дѣти, на него,—Какъ онъ угрюмъ, и худъ и блѣденъ,—Смотрите, какъ онъ нагъ и бѣденъ,—Какъ презираютъ всѣ его!»—Лермонтовъ не испыталъ на себѣ этихъ бросаемыхъ въ пророка каменьевъ. Онъ принадлежалъ къ числу рѣдкихъ удачниковъ, которыхъ вѣнчаютъ еще при жизни, и предъ которымъ аристократическій міръ открылъ обязательно двери, ведущія въ богатые чертоги. Замѣча-

тельно, что, рисуя не съ себя писанный идеалъ осмѣяннаго пророка-поэта, Лермонтовъ употребилъ для изображенія его черты, которыхъ ему самому недоставало, а не указалъ, напротивъ того, на тѣ, которыми онъ дорогъ намъ, —именно на гордое одиночество энергической души, выдѣляющей себя изъ толпы, и на увѣренность въ бытіи чего-то лучшаго, вѣстникомъ котораго онъ былъ въ тяжелыя времена. — Могильный сумракъ господствуетъ подъ сводами готическаго собора и въ немъ было бы страшно, еслибы не прорѣзывался лучъ солнца сквозь цвѣтныя стекла оконъ, являющихъ въ этотъ сумракъ подобіе отверзтыхъ дверей рая. Среди глубокой тишины несется чуть слышное pianissimo органа, точно хоръ далекихъ ангельскихъ голосовъ. Позаимствую еще одно сравненіе у самого Лермонтова изъ раннихъ очерковъ «Демона» (I, 493): «Ужъ скрылась колесница дня. — Снѣга Кавказа на мгновенье,— Отливъ пурпурный сохраня,—Сіяютъ въ темномъ отдаленьѣ.—Но этотъ лучъ полуживой—Въ пустынѣ отблесковъ не встрѣтитъ—И путь ничей онъ не освѣтитъ— Съ своей вершины ледяной».—Онъ, конечно, ничего не освѣщалъ, но среди глубочайшаго мрака все-таки свидѣтельствовалъ о невидимомъ солнцѣ. Иногда этого пурпурнаго воспоминанія о невидимомъ достаточно для пріободренія живущихъ къ тому, чтобы они перенесли всю тягость ночи и дожили до слѣдующаго дня.

Этимъ я и заключаю характеристику одного изъ великановъ не только русской, но и европейской литературы, человѣка, похожаго на Байрона болѣе по темпераменту, нежели по чертамъ лица, и развивавшагося подъ вліяніемъ Байрона, оставившимъ на немъ глубокіе, неизгладимые слѣды. — Оба они были люди высокой породы, оба принадлежали къ племени Прометея.

Октябрь, 1887.

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ТОМА.



Содержаніе II тома.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ И ПОРТРЕТЫ.

Каминка, А. И. Очерки по торговому праву. Вып. I. Изд. 2-ое. 1912 г. Ц. 2 р. 50 к. (въ перепл.).

— Уставъ о векселяхъ. Изд. 2-ое, дополн. 1911 г. Ц. 1 р. 75 к. (въ перепл.).

Канторовичъ, Я. Авторское право на литературн., музыкальн., художеств. и фотографич. произв. Законъ 20 марта 1911 г., съ разъясн. Ц. 1 р. 50 к.

— Законы о состояніяхъ, съ разъясненіями. Изд. 2-ое, 1911 г. Ц. 5 р. 50 к.

— Конвенція между Россіею и Франціею для защиты литературныхъ и художеств. произведеній. 1912 г. Ц. 50 к.

Коптевъ, Д. и Латышевъ, С. М. Уголовное уложеніе (статьи, введенныя въ дѣйствіе), съ законодат. мотивами, разъясн. и предм. указателемъ. 1912 г. Ц. 4 р. 50 к.

Кулишеръ І. М. Лекціи по исторіи экономическаго быта Западной Европы. Изд. 3-ье, 1913 г. Ц. 2 р. 50 к.

Лазаревскій, Н. И. Лекціи по русскому государственному праву, т. І. 1910 г. Ц. 3 р. т. II ч. 1. 1910 г. Ц. 2 р.

Ливинъ, Я. и Ранскій, Г. Уставъ о воинск. повинности., дополн. закономъ 23 іюня 1912 г. и др., съ разъясненіями и предм. указателемъ подъ ред. А. Д. Протопопова. 1913 г. Ц. 3 р. (въ перепл.).

Магазинеръ, Я. М. Чрезвычайно-указное право въ Россіи. 1911 г. Ц. 1 р.

Малянтовичъ, П. Н. и Муравьевъ, Н. К. Законы объ общественныхъ и политич. преступлен. Практич. комментарій. 1910 г. Ц. 3 р. 50 к. (въ перепл.).

Митинскій, А. Поссессіонное право. 1911 г. Ц. 2 р.

Никоновъ, Б. Споръ о ребенкѣ. 1911 г. Ц. 60 к.

Нольде, Б., баронъ. Очерки русскаго государственнаго права. 1911 г. Ц. 3 р.

Нолькенъ, А. М. бар. Законъ о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ. Практическое руков. 1913 г. Ц. 2 р. 75 к. (въ перепл.).

— Законы о вознагражденіи за увѣчье и смерть въ промышленныхъ заведеніяхъ частныхъ, общественныхъ и казенныхъ. Практическое руководство. 1911 г. Ц. 2 р. 50 к. (въ перепл.).

— Уставъ о векселяхъ. Практическое руководство. Изд. 5-ое, 1911 г. Ц. 2 р. (въ перепл.).

— Вопросы административной практики (1904—05 г.г.) 1906 г. Ц. 1 р. 50 к.

Нюренбергъ, А. М. Уставъ о службѣ по опред. правительства, съ разъясн. 1910 г. Ц. 3 р. (въ перепл.).

Пиленко, А. А. Привилегіи на изобрѣтеніе. Изд. 7-ое, 1912 г. Ц. 85 к.

— Очерки по систематикѣ частнаго международнаго права. 1911 г. Ц. 3 р. 50 к.

Плеханъ, И. Общій уставъ счетный. 1910 г. Ц. 1 р. 50 к. (въ перепл.).

— Бюджетные законы. 1911 г. Ц. 3 р. 50 к.

Плетневъ, В. и Садовскій, Г. Законъ о госуд. налогѣ съ недвиж. имуществъ. Законъ 6 іюня 1910 г. 1911 г. Ц. 1 р.

Сергѣичъ (П. П-въ). Искусство рѣчи на судѣ. 1910 г. Ц. 3 р.

— Уголовная защита. Изд. 2-ое, доп. 1913 г Ц. 1 р. 25 к.

Синайскій, В. Личное и имущественное положеніе замужней женщины въ гражданскомъ правѣ. 1910 г. Ц. 2 р. 50 к.

— Исторія источниковъ римскаго права. 1911 г. Ц. 1 р. 50 к.

Современныя конституціи. Пер. подъ ред. В. М. Гессена и бар. Б. Э. Нольде. Т. І. Конституціонныя монархіи. 1905 г. Ц. 3 р., (въ перепл.) т. II. Федераціи и республики. 1907 г. Ц. 3 р. (въ перепл.).

Созоновъ, Л. И. Обжалованіе приговоровъ воен. судовъ. 1910 г. Ц. 75 к.

Соколовъ, К. Н. Парламентаризмъ. 1912 г. Ц. 3 р.

Стифенъ, Дж. Очеркъ доказательственнаго права. Перев. съ вступ. статьями П. И. Люблинскаго. 1910 г. Ц. 1 р. 50 к.

Трахтенбергъ, В. Блатная музыка (жаргонъ тюрьмы), подъ ред. и съ предисловіемъ проф. И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ. 1908 г. Ц. 1 р.

Цвѣтковъ И. С. Практика пр. Сената по Гражд. Кас. Деп. и Общему Собр. 1, 2, и Кас. Д-овъ за 1901—1908 г.г. съ алф. предм. указат. 1910 г. Ц. 1 р. 75 к. (въ перепл. 2 р.).

Шафиръ, М. Положеніе о взысканіяхъ по безспорнымъ дѣламъ казны. 1911 г. Ц. 1 р. 75 к., и мн. др.

Складъ высылаетъ—наложен. платежомъ—всѣ книги, имѣющіяся въ продажѣ. Каталоги безплатно.

Складъ изданія при Юридическомъ книжномъ складѣ „ПРАВО“,
С.-Петербургъ, Литейный пр., 28.



